

**НОВЫЙ  
МИР**

4

---

1934

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**Ч Е Т В Е Р Т А Я**

**А П Р Е Л Ь**

---

**М О С К В А**  
**1 . 9 . 3 . 4**

Статформат В/5. 176 × 250.

Уполн. Главл В—82932. Объем  $14\frac{3}{4}$  п л. по 64,000 знак. Техн. ред. В Белоконов Зак. 789 Тир. 50 000.

Тип. им. тов. И И. Сковорода-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, *роман* . . . . . 5
2. ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ. — Трактир, *поэма* . . . . . 36
3. БОР. ПИЛЬНЯК. — Рассказы . . . . . 41
4. ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. — Недра, *роман*, окончание . . . . . 49
5. АЛ. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, *роман*, окончание, книга 2-я . . . . . 70
6. И. ЛЕЖНЕВ. — Записки современника . . . . . 88

### ЛЮДИ И ФАКТЫ:

7. МАКС ЗИНГЕР. — Герои Советского Союза . . . . . 142
8. МИХ. РОССОВСКИЙ. — Уборочная . . . . . 156
9. И. СКЛЯРОВ. — Жемчужина . . . . . 187

### ЗА РУБЕЖОМ:

10. БЕЛА КУН. — Вооруженные силы двух фронтов . . . . . 201
11. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. — Марафон танцев . . . . . 211

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

12. МАРИЭТТА ШАГИНЯН. — Беседы с начинающим автором,  
продолжение . . . . . 216
13. И. АНИСИМОВ. — Андре Жид . . . . . 223





# Похождения факира

Роман

В.С. ИВАНОВ

Часть первая

## ФАКИР ПОДХОДИТ К ЦИРКУ

1

Вся моя родня отличалась удивительнейшей тщеславностью. Вот мне сейчас 39 лет, я видел множество людей, иногда их расспрашивал с любопытством почти страстным, обехал много стран, прочел много книг по истории, но нигде и никогда не встречал я людей более тщеславных, чем моя родня.

Дед мой с материнской стороны, Семен Калистратович Савицкий, когда ему было заведомо 70 лет, рассказывал всем, что ему 117, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник. В переднем углу, возле божницы, висели громадные цепи, которыми его будто бы приковывали к тачке на каторге. Шесть дней в неделю он страшно враждовал с богом. Ругательства и подлости, которыми он награждал бога, сыпались из его рта непрерывно. Под конец он выбрасывал иконы в чулан, грозя их разрубить топором, и не рубил только потому, что фальговые ризы мог выдавать за серебряные. Приходило воскресенье. У деда собирались гости. Появлялся поселковый поп Андрей, ехидный и глуховатый старикашка, с пепельным лицом и короткими ручками, постоянно сморкавшийся в серый платок, длинный-предлинный. Поп больше всех гостей восхищался рассказами деда Семена, и ради этого восхищения дед мой в воскресенье утром примирялся с богом. Дед протирали ико-

ны постным маслом, зажигал лампадку, а поздней ночью целовал кандалы, утверждая, что только через кандалы он познал настоящего христианского бога, который являлся ему всегда при его страданиях, утешал его, а особенно ловко утешал деда тогда, когда его поролли шпицрутенами.

— Каторжников-то, кажись, не поролли шпицрутенами? — осторожно говорил ехидный поп Андрей, так быстро орудуя сереньким своим платочком, что короткие ручки его, казалось, доставали до пола.

— Почему же не пороть бы?

— Военных поролли шпицрутенами, и даже наказание это считалось для штатского приобретением. Некоторые даже гордились, когда попадали к таковому наказанию.

— Вот меня и поролли, поймавши после восстания. Я воевал за Польшу, будучи польским военным.

— Любопытно бы узнать, через какой способ поролли шпицрутенами?

— Для каждого удара отдельная палка.

— А если три тысячи ударов? — спрашивал ехидно попик.

— Восемь тысяч я выдержал, — орал тощим своим голосом дед Семен. — Восемь тысяч, и на каждый удар отдельная палка. Пятнадцать взов палок на меня истратили, а я продолжаю стоять неподвижно. Тогда генерал рассердился, заковал меня в кандалы и сказал: «Послать его к чертям

собачьим в Сибирь на Иртыш, в поселок Лебяжий, и пусть он живет до ста пятидесяти лет». И проживу!

— Как не прожить, — соглашались гости.

О, эта родня моего деда! Выслушав, они начинали сами. Оказывалось, что поп Андрей приходился ближайшим родственником Ермаку и графу Демидову Сан-Донато. Крестный мой участвовал в штурме Варшавы. Взял в плен моего деда и весь полк, которым тот командовал. А поселок Лебяжий раньше несомненно был столичным городом. А в Иртыше, по ту сторону, на отмелях можно найти неисчислимые сокровища турецких богдыханов.

Трубки дымились, клокотал самовар. За крошечными окнами блестела широкая степная тишина. Каменные бабы торчали возле солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие усатые почталыоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади. Озера похожи на бельма, вокруг них камыши, за камышами лога, а дальше на десятки и сотни верст заросли дикой клубники, где бродят пудовые жирные дрохвы, а за дрохвами сосновые леса — «боры».

Бабка моя Фекла, жена деда Семена, неустанно желала быть святой подвижницей. Поэтому богохульство ей даже доставляло удовольствие. Чем больше страданий, тем легче стать праведником. Она любила водку, хорошую закуску, веселых гостей, но от всего от этого отказывалась, а в последние годы, чтобы меньше видеть греха, начала притворяться слепой. Зимой и летом в тулупчике, кругленькая, курносенькая, сидела она на крылечке, держа в руках мешочек с травами.

По двору бегал длинный синий и тощий дед Семен с ружьем за плечами, поглядывая в небо. Он любил стрелять ворон и коршунов. Мне казалось, что он хочет поймать и подстрелить бога, а бабка караулит, дабы удержать его от этого великого преступления.

Бабка Фекла ничего не понимала ни в травах, ни в болезнях, но так как все предания говорили о том, что святые излечивали больных травами, то лечила и она. Думаю, приходили к ней ле-

читься не столь больные, сколь желающие похвастать, что их излечила лебяжинская святая Фекла. Денег за лечение она не брала, не брал их и дед Семен, который хотя и ругался, что в доме завелась угодница, но тем не менее был явно доволен тем, что если самому богу некогда спускаться к нему для борьбы, то он подсылает своих святых.

Бабка Фекла вылечила однажды богатого киргиза Таксы-бая. Киргиз страдал болями в желудке, бабка велела с'есть ему на рассвете полфунта желтой глины, смешанной с отрубями и травами, а затем поститься десять дней. Выздоровев, Таксы-бай привел мне в подарок необ'езженного жеребца. Коня он мне подарил потому, что ни дед, ни бабка и тем более отец мой подарка бы не приняли. Происходило это в рождественские каникулы 1909 года. Я тогда учился в Павлодарской сельскохозяйственной школе. За мною числилось 14 лет жизни.

Конь, как и полагается необ'езженному коню, бил копытами, раздувая ноздри, хвост трубой. Ветхие заборы нашей ограды были унижены любопытствующими казаками, все желали видеть, как я буду об'езжать подарок, ибо по казачьему обычаю полагалось сесть на подаренного коня, если он об'езженный, один раз, а если необ'езженный, — три раза, а сшибет он вас там или не сшибет, это уже дело другое.

Коня оседлали. Отец смотрел на меня с гордостью. Бабка — в землю, дед целился в небо. Я с трепетом уселся в седло. Конь взвился. Я перелетел через его голову. Конь перелетел через меня. Я перелетел через сугроб. Снежные бури перелетели через меня. Из сугроба меня выволокли за ноги. Отец смотрел скромно, бабка — готовясь излечить, дед — вспоминая свою молодость.

Я влез второй раз. Еще более стремительно я ударился в сугроб, и конь, испугавшись моего воя, перемахнул через бревенчатый забор. С укрючинами в руках за конем побежали киргизы. «Хоть бы им его совсем не поймать» — томительно думал я. Широко вокруг меня расстилалась пустота, упиравшая-

ся в молчаливое презрение. Из снега торчали втопганные конем мои рукавицы, шапка, полусубок. В ногах звенело, из ушей лилась вода.

— Ведут, — сказала бабка Фекла лечебным своим голосом.

И вот третий раз подвели мне коня. Он был страшен, пар клубился над ним, пена струилась изо рта, от каждого удара его копыта лиловый клуб снега взлетал над толпой. Треск из его желудка походил на треск лопающихся льдин при крещенских морозах. А глаза у него были нежные, голубые. Надеюсь единственно только на эти голубые глаза, я поставил ногу в широкое стремя. Киргизы совсем было отпустили поводья, но тут дед Семен потрепал меня рукой по валенку и сказал:

— Упадет, непременно упадет, и не в сугроб теперь, а в бревно головой, и никаким святым не исцелить его.

— Христос и мертвых воскрешал, — обиделась бабка Фекла.

— А если я сегодня и в Христа не верю? — завизжал дед, уцепившись синими руками за седло, — если мне сегодня на всех богов начхать! Слезай, Сиволот!

— Мне надо проехать третий раз, — сказал я, немедленно слезая.

— Поездишь после меня. Я вам покажу, как надо коней обезжать.

Сам Таксы-бай почтительнейше подал деду Семену стремя.

— Я вам покажу, как обезжали коней сто лет тому назад, — сказал дед, усаживаясь в седло и подбирая под себя полы чапана. Он похлопал коня рукавицей вдоль заиндеветшей гривы и взял повод. — Пускай!

— Пу-уска-ай! — воскликнули киргизы.

— Эх, ты, милый! — взвизгнул дед. Киргизы отпрыгнули. Сердце мое екнуло от гордости. Конь свершил такую невероятный прыжок, что мне было приятно подумать: вряд ли падал кто-нибудь с такой высоты, с какой мог упасть я. А конь крутил, носился по двору и голубовато-белые сугробы вертелись вокруг него. И вот уже без всадника махнул голубоглазый конь через забор, а дед мой лежит в сугробе как

раз в том месте, где недавно лежал я.

Я схватил деду за ноги.

— Тащите меня под образа, — сказал дед Семен, — а ты, Фекла, зови всех богов меня исцелять, не дожидать мне до полутораста лет. Да и тебе, Сиволот, не дожидать.

Мне было жалко деду. Я плакал. Я любил его синюю бороду, длинные синие рукава его чапана, его тощий голос, его каторжные цепи, его Варшаву. Сам я имел все основания сомневаться в божьем могуществе. Несколько лет назад отец мой определил меня в церковь прислуживать попу. На меня надели парчевый халат, серебристый и широкий. Я подавал кадило. Когда поп уходил из алтаря, я пил теплое разбавленное кипятком вино, приготовленное для причастия, и курил, пуская дым в форточку печки, украденные у отца папиросы. Слева висел чернобородый Николай Мирликийский. Он неустанно смотрел мимо меня. Его спокойствие злило меня, я подпалил свечкой его бороду, я прожег ее вплоть до дерева. Затем я съел четыре просфоры, приготовленные для причастия. Боги молчали. Я бросил таракана в питье, которым запивают причастие. И наш почтенный церковный староста выпил этого таракана. Бог молчал.

Тогда, исключительно только с целью напакостить богу, я продал свою душу дьяволу. В нашем роду, причислявшем себя почему-то к польским выходцам, много рассказывали о пане Твардовском, который продал свою душу сатане. У pana Твардовского, судя по всем рассказам, душонка была среднего качества, но дьяволу она почему-то понравилась, и пан променял ее на большие выгоды. Его например никак не могли арестовать, он безнаказанно совершал всяческие жульничества и подлоги, он исчезал, рисуя на стене углем коня. Но лично встречаться с дьяволом мне все-таки не хотелось, и я рассчитал, что если я напишу кровью обязательство и брошу его в церковную печь, то оно непосредственно попадет в руки дьяволу, ибо дьявол как-раз и сидит на углях, не решаясь вылезть в алтарь. Поп Андрей часто подходил к



печке и плевал в нее. Не иначе, — думал я, — что он плюет на дьявола.

С трудом я достал в воскресенье перочинный нож, который имелся у гимназиста Егорки, поповского сына. Ножик оказался тупым. Я попробовал прокусить руку — больно. Тогда я сбежал в сторожку и выпросил шило у звонаря. Ткнул шилом в руку, показалась кровь. У меня было приготовлено гусиное перо, ибо я помнил, чем пан Твардовский подписывал договор.

Перо очинено плохо, писал я на подоконнике в алтаре. За окном лежали неисчислимы сугробы. Взлетали голуби, шло гозенье. Поп сонно бормотал у алтаря. Угли в печке горели медленно атласным огнем. Пахло ладаном. Весь подоконник заставлен пустыми бутылками «церковного» вина. К тому же оказалось, что писать целый договор, помимо моего незнания, какова же его форма, было трудно и потому еще, что поп меня мог заметить. Поэтому я просто написал: «Согласен. В. Иванов», и бросил эту бумажку в печь, но тут же, чтобы дьявол не обманул меня, я высказал ему шопотом мои условия. Я требовал: цвета яичного желтка в молоке знаменитые «барнаульские» расшитые валенки; коньки; перочинный ножик и окончание романа «Таинственный остров», начало которого я нашел у попа на чердаке.

Дьявол, должно быть, удовлетворял запросы других своих клиентов и не торопился исполнить наш договор. Коньки я получил приблизительно лет шесть спустя, «Таинственный остров» прочел через восемь лет, перочинный ножик приобрел только зимой 1933 года в Берлине, а валенок желаемого цвета и расшивки все еще не имею.

Итак, дед Семен помирал. Помирал очень обиженный, объясняя неудачу тем, что конь заколдован, а бабка Фекла не сумела отколдовать. Бабка и здесь делала особое лицо. Ясно, ей хотелось исцелить деда, но в то же время — какая ж она святая, если начнет исцелять домашних? Общеизвестно, что святые исцеляли чужих. Она даже обмолвилась: «Эх, будь бы ты, Семен, по-

сторонний!» Прах ее знает, но, пожалуй, что она и желала его смерти. Теперь-то и начнутся для нее те чудовищные неистребимые страдания, которыми мучились все святые. Дед Семен как никак вносил большое легкомыслие в ее жизнь.

Дед Семен умер. Его похоронили, но тщеславие моей родни нисколько не уменьшилось, и не успел труп деда остыть, как уже говорили, что вот Сиволот не сумел коня обездить, а деду было 117 лет, он укротил. Кстати сказать, конь оказался очень смиренным, а дурил он тогда оттого, что при поспешной седловке ему под кошму, заменявшую чепрак, попала щепка. Но самое удивительное, что историю о том, как я не смог обездить коня, а 117-летний дед мой обездил, я рассказывал сам еще совсем недавно, и прекратил это рассказывать только тогда, когда понял, что истина есть наиболее трудное из всего, что способен передать другим человек.

Бабка Фекла ото дня в день святела все больше и больше. Просто износу не было ее святости. Она всем надоедала. Притворяясь слепой, она требовала, дабы ее вело под руки не меньше двух человек, причем эти водители бормотали бы за ней нескончаемые молитвы. Конечно нашему дому было приятно, что о нас вдоль всей Горькой линии шла слава. К нам заезжали самые знаменитые люди и однажды даже остановил свою тройку станичный атаман Егор Трубочев. Но моему отцу видеть все это было обидно. Он понимал, что он тоже должен чем-нибудь проблистать.

Мой отец, Вячеслав Алексеевич Иванов, был удивительнейший человек. Водку он не любил, переносил ее с трудом, но пил ее в неизмерном количестве. Мать его, Дарья Бундова, по ее слову, служила в экономках у знаменитого генерала Кауфмана, «завоевателя Туркестана». Есть все основания полагать, хотя бы из того, каким мой отец был наездником-джигитом, у бабки Дарьи мог произойти «грех» с кучером. Но так как отец мой был «незаконорожденный», то бабка рассказывала, что грех этот от

Кауфмана. Отец мой работал раньше на присках, затем прошел учительскую семинарию в Ташкенте, а оттуда явился пешком на Иртыш. Лебязинских мальчишек он обучал преимущественно маршировке и пляскам. Он даже арифметику умел преподавать с плясом. Да что арифметику! Уж на что чистописанис, казалось бы, какой замысловатый предмет, но и туда он умел вносить пляску. Он играл на балалайке, а ученики плясали по кругу, вдоль которого были выведены на полу мелом правильно написанные буквы. Для того, чтобы запомнить букву «ять», он навешивал слова с «ятью» на спины ученикам, и они опять плясали.

И вот этот учитель Вячеслав Иванов сделался зятем святой Феклы. Святость ее быстро ему надоела. Какое бы дело ни свершил отец для славы, все же бабка Фекла перекрывала его. Отец получил за джигитовку саблю с надписью. Он брал призы в «городке», он скакал лучше всех. Тщеславие его было столь огромно, что он, несмотря на свою хилость, в «байгу» боролся с искуснейшими борцами — и часто побеждал. Но бабка Фекла исцеляла глухую. Бабка Фекла молилась о дожде, и — дождь выпал. Заболеет корова, она мгновенно вылечит корову. У станичного атамана Трубочева угнали аргамака — она помогла найти воров.

Отец принес ей книги, читал «Пролог» и «Четы-Миней», говоря, что святые не таковы. Нигде не написано, будто бы святым подобает пить кумыс. От кумыса бабке было труднее всего отказаться. Бабка говорила: «Как и всем святым, у которых имелись зятья, ей предстоит испытать и не такие еще издевательства».

И точно, она их испытала.

Киргизы были доверчивее казаков, и к бабке приходило много киргизов исцеляться. Не в дар, а для разговора, они приносили ей в турсуках кумыс, которого она выпивала не меньше ведра в день. Она сидела на крыльце, розовая, веселая, с закрытыми хотя, но хитрыми глазами.

Отец выписал азбуку арабского языка, а несколько позже словарь. Он вы-

учил арабский язык. Затем он съездил в степь к знаменитому ишаму Гауказу Фахтулину проверять знание. Однажды он созвал к себе киргизов и стал читать им коран по-арабски. Он читал по всяким поводам. Читал и толковал при болезни, при несчастьи, при счастье, он объяснял будущее, он разъяснял настоящее. Он врачевал! Киргизы повалили к отцу.

Но он не мог пить кумыса. Он отдавал бабке кумыс.

Исцелять, повидимому, возможно многими способами. Отец например исцелял посредством корана. Но бабка Фекла не верила в коран и говорила, что отец украл у нее тайны трав. Вскоре она нажаловалась попу Андрею. «Учителя посетил дьявол, — говорила она, — он отнял у нее киргиз, которых она хотела обратить в христианство». Поп Андрей смутился и поехал за советом к благочинному. К отцу явились благочинный, о. Гавриил, поп Андрей и станичный атаман Трубочев. Благочинный был высокий и седой старик, большой любитель коней и сам отличный наездник.

— Ты чего это, Вячеслав Алексеевич, разводишь? В магометанство переходить собираешься?

— Нехорошо! Жил, как человек, а тут... — станичный атаман склонил толстую голову набок и задремал, ибо наказной атаман сибирского казачьего войска генерал Шмидт тоже любил подремать.

— Надо, прежде чем осуждать, узнать причины, — сказал им отец. — Вот смотрите, здесь написано...

Он раскрыл коран и прочел по-арабски.

— А я им объясняю, что все эго ложь. Я их сшибаю с направления через неправильное толкование и тем склоняю к христианской вере. Вот вы киргизов спросите-ка, каковы их мысли о своем Магомете.

— Охота мне, — сказал благочинный и уехал, довольный объяснением отца.

Отец был тоже доволен, но битвы между ним и бабкой продолжались.

Получив двухведерный турсук кумыса, отец влил туда бутылку спирта, а

через день, когда кумыс пробродил, принес турсук в подарок бабке Фекле.

Кумыс ей понравился, она пила его стакан за стаканом. Отец пригласил гостей. Он врал о какой-то необыкновенно страшной любви своей к великой княгине Софье, которая жила в городе Верном. Кстати, он рассказывал о найденном им и немедленно пропитом кладе со-санитских монет. На дворе была жара и высокое солнце. Бабка вдруг запела, но не церковное, а «Вот мчится тройка удалая». Отец смотрел насмешливо. У него желтое лицо, внизу прокуренные зубы, сверху карие узкие глаза, он весь стройный, ловкий, узкий.

Бабка пошла в пляс. Вначале гости подумали, что так полагается для святых или она помешалась. Но бабка раскрыла глаза. Бабка Фекла прозрела! Бабка требовала водки. Она напилась вдребезги и заснула на паперти, облевав всю вокруг и пририсовав углем великомученице Варваре, иконе, которая стояла у входа, нечто непотребное. Отец был жалостлив. Он принес бабку домой на плечах, уложил спать, а непотребность счистил.

Свержение Феклиной святости принесло отцу моему множество бед и страданий. Так как бабка теперь уже никак не могла бы превратить себя в святую, то она пустилась в торговлю. Она подбирала компаньонов, чтобы открыть мелочную лавку в Лебяжьем. Лавочник, брат атамана Трубочева, забеспокоился и побежал жаловаться.

— Она же кыргыз хочет взять с собой в комерцию. Кыргызы будут за-служенным казакам, георгиевским кавалерам продавать.

Атаман призвал моего отца.

— Тебе, друг мой, лучше бы не сбивать людей с правильного... Вот ты к чему кыргыз-то кораном потчевал. Приобрести с ними хочешь капитал? Я тебя для начала уволю, а там еще и под церковный суд отдам.

Отец испугался и захолопал глазами.

— Мирись, пускай лучше она святой останется.

Отец побежал мириться. Многие он придумывал, дабы вернулась бабка Фекла к святости. Он и коран толко-

вал где выходило: киргизу не полагается торговать в компании с христианами, он и сам грозил, что откроет торговлю. Не помогло. Слухи об открытии Феклой торговли попрежнему шли, хотя компаньонов, особенно, когда узнали, что станичный атаман обижается, не находилось. Для начала бабка стала шинкарствовать. Отец, решив, что скоро бабка накопит денег, откроет торговлю, и его тогда выгонят, начал обдумывать новый поворот своей жизни.

Отец мой решил стать ученым. К тому же он уже знал арабский язык, знал он и киргизский. Для начала своей ученой деятельности он взялся составлять словарь киргизского языка. Но тут какой-то проезжий старичок из Москвы описал ему замечательную форму студентов Лазаревского института восточных языков. «Пора мне быть студентом» — сказал отец.

Он взял краюху хлеба, вырезал палку, зашил в полу 30 рублей скопленных денег и пошел пешком в Москву, сдавать экзамен на студента Лазаревского института. Он ходил три года. Мать моя Ирина Семеновна в это время служила по людям кухаркой. Изредка мы получали от него письма. Одно из них было из Иерусалима. Сдав экзамен, он надумал по дороге посетить Мекку и для этого, попрежнему пешком, он направился в Одессу.

В Одессе он познакомился с богатыми мусульманами, которым сказал, что желает или даже перешел уже в мусульманство. Он завел зеленую чалму и называл себя Иван-беом. Богатые мусульмане купили ему билет на пароход, который должен был везти паломников к Мекке. Перед отъездом, на постоялом дворе, он разговорился с паломниками, которые на другом пароходе уезжали в Иерусалим. Его начали стыдить. Тогда отец мой решил вначале съездить в Иерусалим... Как-никак он православный! Он продал мусульманский билет и купил себе новый билет до Иерусалима, да и пароход, который шел к Иерусалиму, отправлялся раньше, чем меккский.

В 1912 году, приехав из Павлодара, нашего уездного городка, уже набор-

щиком, то-есть считая себя человеком совсем самостоятельным, я спрашивал у отца:

— Ну, каков из себя Иерусалим?

— Так, вроде Ташкента, — уклончиво отвечал отец.

Мы стояли у школьного забора, перед нами пыльная поселковая улица. Бредет желтый отбившийся от стада теленок. Девчонка гонит его хворостинной. Теленок прыгает и никак не хочет в пригон. Утки поднимаются лениво по откосу с Иртыша. В небе тоже утки.

Отец вынес из странствований длинную косяную зубочистку. Эта зубочистка в поселке всех необычайно удивляла. Отец постоянно, даже во время обеда, ковырял ею в зубах. И сейчас он стоял, ковыряя ею.

Меня возмущало его тщеславие.

Сдав в Лазаревском институте вступительный экзамен, отец выпорол зашитые тридцать рублей, купил себе тушурку с погонами, блестящими пуговицами, петлицами, а на штаны нехватило. Через три года, подойдя ранним утром к поселку, он не вошел в поселок, а остановился возле ветряных мельниц. Он ждал, когда наступит вечер и казаки выйдут на завалинки курить свои трубки. И казаки знали, что учитель В. Иванов пришел, что ходит возле поселка, и все они считали, что он поступает правильно, дожидаясь вечера. При закате солнца казаки надели мундиры, штаны с лампасами, фуражки с кокардами, зарядили трубки самым лучшим табаком и уселись на завалинках.

И тогда отец вынул из котомки великолепнейший мундир студента Лазаревского института восточных языков, вычистил сапоги, достал из котомки пять книг, взял их подмышку и медленно пошел по поселку, не глядя по сторонам!

Казаки вставали с завалинок и отдавали ему честь, а казачки кланялись в пояс.

Придя домой, отец снял мундир, выхлопал его и положил в сундук.

— Я не был в Ташкенте.

— Побывай, полезно, — ответил отец, ковыряя в зубах.

— Нехорошо, пап.

— Чего нехорошо?

— Нехорошо этак легкомысленно действовать. Мать три года мучилась по чужим людям.

— Я тоже мучился по чужим людям, — сказал отец. — Кормили меня, браток, с трудом. Придешь в монастырь, дадут похлебать рыбной дрянью, а потом работать заставят, да еще по шее набьют, если плохо работаешь. А в Иерусалиме, в подворье, заставили нужники чистить, честное слово! Хорошо хоть, сказал им, мол, я студент, тогда на картошку посадили. Я и дома-то никогда картошки не чищу.

— Все-таки каков он, Иерусалим-то?

— Вроде Самарканда, — сказал, подумав, отец, — собак, пожалуй, больше.

Я помолчал и сказал решительно:

— Эх, нехорошо!

— Чего нехорошего-то? Если бога нет, то просто прогулялся из любопытства, а если имеется, то все-таки подвиг, зачтут там на небе-то.

— Тщеславие — штука нехорошая.

— Тщеславие? — повторил он с удивлением. — Этакого слова я вроде даже и не проходил.

— Тщеславие, — объяснил я, — присуще многим особям, но больше всего жителям нашего поселка. Тщеславие — это когда люди гордятся пустяковыми и часто даже бесполезными вещами. Тщеславие заставляет людей совершать глупые и необдуманные поступки, которые часто губят всю их дальнейшую жизнь. Тщеславие особенно страшно, если оно проводится в семье последовательно и долго. Благодаря тщеславию на детей не обращается внимания, они растут покинутыми, предоставленными влиянию улицы, они вырастают самоуверенными, презирают науку, думают прожить очень легко, сразмаху. Тщеславие тем еще опасно, что оно ужасно прилипчиво, оно приобретает быстро, но трудно исцелимо. Тщеславие губительно для женщин, но еще губельнее оно для мужчин. Ты посмотри, что делается вокруг нас в поселке, — сельскохозяйственные машины вместо того, чтобы быть убранными в сарай, выставлены на улице под окнами, они ржавеют и

портятся. Для угощения, чтобы показать свое богатство, скармливаются все заработанное в течение года, лучших коней загоняют на скачках...

Отец с крайней горечью смотрел на меня. У него потекли по щекам слезы. Он припал к моему плечу. Я никак не ожидал, что моя речь подействует на него так. Я тоже растрогался.

— Ты прав, Всеволод, — сказал мне отец, смахивая зубочисткой слезы.

— Еще бы не прав.

— Ты прав, Всеволод. Не женись, брат.

— Я и не собираюсь.

— Не женись, сыночек. То-то приглядываюсь я к тебе, и правильное ты выпустил слово — тщеславие, — сказал он протяжно. — Сто лет думай, и лучшего определения для тебя нету.

Я оторопел:

— Для меня?

— Не женись, загубишь ты и жену, и детей.

— Я же про тебя говорил.

Отец погладил меня по голове.

— Я тебя понимаю, Всеволод, когда ты на других сваливаешь. Как же иначе? Молодость любит говорить иносказательно. Только к старости приобретаешь откровенность. Теперь, будучи стариком, я могу тебе указать, что ты, Всеволод, поистине тщеславный человек. Повторю тебе еще раз: не губи ты себя, а главное, не губи своих детей. Будущих. Я бы тебе в монахи посоветовал.

— Капусту жрать?

— Жизнь конечно там трудная. Дерутся они, пьянствуют. Но по крайней мере никому другому, — таким же испорченным портят жизнь. А тут ты будешь приличным людям ломать хребты. Вот ты насчет сельскохозяйственных машин? Выставлены. Ржавеют. Тебе кажется глупость, а на самом деле коммерция.

— Какая ж тут коммерция?

— Значит, богатство стоит на глазах. Больше кредита откроют. На земле все творится для кредита.

Он мечтательно посмотрел вдоль улицы. Девчонка все еще не загнала телушку, утки все еще переваливаются

с боку на бок, и все еще лениво светит солнце.

Отец вдруг сказал:

— А ты слышал, у нас в поселке банк собираются открыть? Кредиты требуются для казачков крупные, а как без банка?

Он толкнул меня кулаком в бок и радостно рассмеялся.

— А я, кажись, буду директором. Вот кабы не твое тщеславие, так я и тебя пристроил бы. Почему я директором? Потому что я шестью восточными владею и западно-французским.

О языках он не врал. К тому времени, правда, плохо, он знал шесть восточных языков и уже читал по-французски. И тем более обидно было мне слушать о банке, что я уже знал: вечером моя родня будет обсуждать кандидатуру директора, ему назначат не менее пяти тысяч жалованья, он уже закупит подарки, он осчастливит всех своих друзей, табак он непременно начнет выписывать из Турции, для переговоров к нему Персия и Афганистан потянут караваны. Мне стало грустно.

— Вспоминаю, ты и в детстве, Всеволод, был тщеславный. Скажешь, нет? Прогуляйся-ка в детство...

## 2

Отчетливо и последовательно я помню мое детство от села Волчихи, Барнаульского уезда, где в начале Русско-Японской войны отец мой служил учителем. Все, что происходило до Волчихи, я помню смутными урывками. Позже о раннем детстве моем мне много говорила мать, поэтому я не рассказываю о нем, ибо не могу разобраться, где лежит сохраненное моею памятью, а где лежит с материнских слов.

— Японцы-то!

Отец достал со стены пожалованную саблю и начал «отпускать» ее.

Отец мой был красноречив, рассказы его были пестры. Он любил переезжать из поселка в поселок. Исчерпав свои рассказы и видя утомление слушателей, он уезжал в город хлопотать о переводе. Там уже конечно знали, что он «неза-

коннорожденный» сын барона Кауфмана; что за джигитовку ему пожалована сабля; что он пьяница и великий знаток языков; что он наконец студент Лазаревского института. Он быстро получал перевод.

— Мне, Ариша, только в армии и служить, там людей с великим прошлым уважают. Вернусь я с пятью «георгиями».

Отпустив саблю, отец завязал ее в газеты и направился в город, захватив меня, видимо, для того, чтобы было кому подтвердить его подвиги.

— Ребенка-то хоть бы оставил, — плакала мать.

— В Спарте, — сказал отец, — дети с трех лет привыкали к оружию.

Я рadowался и отъезду из Волчихи, и отпущенной сабле, и даже тому, что отец пойдет добровольцем, хотя я уже знал, как страшна война, как страшна смерть. И вообще я знал очень многое. Мы часто забываем, став в летах, как много мы знаем в детстве, и это многое знаем более здраво, чем взрослые. Особенно — любовь.

Волчиха имела две школы — церковно-приходскую, где учительствовал мой отец, старую, грязную, темную. И новенькую, «земскую», где и учителя-то были чище, получали больше жалованья, школа просторная, стояла далеко от церкви, и попы ее не любили. Я не помню ни фамилий, ни имен «земских», помню только: один учитель волосат, ходит в черной рубашке, в широком кожаном ремне, рябой. У него я таскал книги для чтения. Учительница высока, бела, грудаста и неповоротлива. Все в ней есть, о чем поется в степи. Я влюбился в нее.

Брат ее Кузьма, розовый гимназист лет двенадцати, летом обычно приезжал на отдых вместе с отцом, хромой и лысый чиновником. Вкруг Волчихи отличные леса и рыбная ловля. Отец мой любил ловить рыбу. За два часа он налавливал ведро окуней.

Учительница, Кузьма, отец их ходили на рыбную ловлю вместе с нами. Мой отец пылко рассказывал о пленительном Туркестане. Сосны. Желтые кувшинки в тихом заливе тихонько кивали голо-

вами, их листья похожи на громадные подметки.

Учительница смотрела отцу в глаза, не замечая, как окуни склевывали насадку. Я завидовал и восхищался отцом.

Ночью мы зажигали костры на берегу, затем отец stalkивал в воду сухие лeсины, делал из них небольшой плот, сверху наваливал лапы желтой хвои и зажигал. Плот медленно плыл по реке. Отец шел по берегу с шестом и отталкивал. Отец был багровый, высокий, ловкий. Эх, кабы не мое любовное беспокойство, вот мне было б легко и приятно.

Мы сидели с гимназистом поодаль, и он мне рассказывал сочинения Жюль Верна. Меня сердило, что он читал так много, а мне негде достать эти удивительные книжки. И вот я спросил его:

— А читал ли ты «Зеленую реку»?

— Нет, — ответил он, видимо, предчувствуя что-то неладное. И он сказал на всякий случай: — И из знакомых никто не читал, значит, это не интересно.

— А ты послушай.

Книга ему понравилась. Он записал заглавие и автора.

— А читал ли ты, Кузьма, «Путешествие в синей трубе»?

Теперь он уже просил рассказать ему это путешествие.

В течение двух недель я рассказал ему содержание сорока книг, которые тут же придумывал, — от заглавия, автора и до счастливого конца. Кузьма почувствовал ко мне большое уважение. Это было приятно, но слегка и обидно, — он перестал мне рассказывать романы, так как считал, что я прочел больше, чем он, удивительных и страшных книг.

В зимний прозрачный вечер волосатого «земского» учителя нашли повесившимся у косяка на полотенце. Отец мой никогда «романов» не читал, презирая их. А полка над кроватью учителя была туго заполнена «романами».

В тот вечер отец рассказывал в гостях у кузнеца, как рыцарь Дон-Кихот, начитавшись романов, произвел многие

опустошения на своей земле. Один из мужиков вставил:

— Спасибо, народ наш смиренный, за место убийств самое большое — повесится.

Отец мой читал монархическую газету, ту, какую присылали в школу. В те дни газеты много печатали брехни о Максиме Горьком, о его книгах и, кажется, о пьесе «На дне», о том, что Горький — пьяница, развратник и богач.

— Шесть домов имеет четырехэтажных, — сказал мечтательно отец. — Выезд из белых лошадей, и сам саженного роста, из генеральских сыновей, горюят. Может быть, даже самого Скобелева.

Больше всего мужиков поразило, что от писания книг можно завести дома, и тот мужик, который говорил, что наш народ смиренный, добавил:

— Слово такое черное знает, а на черное слово деньга идет. Черные книги пишет.

И все согласились, что без черного слова нельзя обойтись в таком деле.

В селе шла ярмарка. Отец выдавал мне, на разгульную жизнь, каждодневно по пятаку. Сияли голубой глазурью горшки среди соломы — желтой, хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были, как кусок неба. Над балаганами, словно вздыбленные кони, стояли сугробы. Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак я мог купить книжку в 96 и 112 страниц: «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика». В одном лотке, на самом низу, я встретил (сколько помнится, издание «Донской речи») книжки, над названием которых стояло: «М. Горький». Они были по 32 страницы и меньше и стоили по три копейки штука. За шесть копеек я мог купить только 64 страницы! Совершенно невыгодно! Я купил «Как львица воспитала царского сына». Но, купив, тотчас же раскаялся: всякому в Волчихе будет любопытно прочесть, что пишет человек, имеющий несметное богатство и выезд из белых коней. Ясно, что до

завтрашнего пятака книжки раскупят. Я побежал домой.

Отец отказал выдать мне завтрашний пятак. Я пожаловался приятелю Микешке. Микешка был великий игрок в бабки и знаменитый опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинные рукава моего тулупа.

— А это что, зачем тебе дано? — спросил он гнусаво, подражая кузнецу. — Подпояшься потуже и в рукава, когда будто книжки выбираешь, в рукава их спускай! Пойдем. Мы вместе выбирать будем.

И вот мы украли у лотошника все книжки Горького. Мы спускали книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку, будто почесаться, книжка и проskalывала за пазуху. Отойдя от лотошника и пощупав книжки, мы испугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, попросили лампу у бабки Феклы и, завесившись шубенками, начали читать. Печь была раскалена, было душно, мы сидели голые, бабка часто просыпалась и ворчала:

— Тушите, чего керосин переводите.

— Сейчас, сейчас, погасим, — отвечали мы.

Мы читали всю ночь. Рассказы нам не понравились, нет заморских стран, нет чудес, многое было непонятно, и стало даже обидно, что на такой непонятности человек может разбогатеть и выезжать на белых конях вроде царя. Но на сердце лежало томление удалой тоски. Я думал о море. Оно мне казалось молочно-белым; все в огромных застывших валах.

Я шел домой, книжки лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горланя и ломаясь, ехали с ярмарки. Плетни в снегах. А дальше, по сугробам, заячьих следы. Мне очень хотелось к морю, и было очень хорошо... Слезы стлы у меня в глазах. И было приятно, что я не купил книжки, а украд, словно я нашел в краже этой великую тайну. Когда я дома раздевался, книжки выпали на пол. Отец увидел их; взглянул на меня искоса, пренебрежительно плюнул и бросил книжки в печь. Я его обругал теми словами, которыми ругались возвращаю-

щиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко.

Я вырвался на двор, залез под амбар (амбары у нас строят на вкопанных в землю бревнах так, что между землей и полом амбара остается пустое пространство на полметра или меньше, мне было невыносимо холодно, я дрожал, плакал. Отец бегал, искал меня, звал, а я прижимался к бревнам, грозил ему кулаком и сам про себя бормотал:

— А вот и не вылезу, замерзну, сохну, плачьте, а не вылезу. Загубили, потом скажете, сына...

Не нравилось мне село Волчиха, не нравилось его богатство, особенно же не понравилось, когда я увидел, как вскоре после ярмарки били пойманного конокрада. Это был плечистый сизобровый цыган. Цыгана били толпой, скопом, трусливо, дабы не отвечать одному, а отвечать всем обществом. Его поднимали за руки и за ноги, подбрасывали, расступались, и он тяжело падал на дорогу. Его кинули умирать у забора. Он лежал с пятнистым, сине-багровым лицом, кудри у него не развилась, плисовые шаровары и желтая рубаха с туго застегнутым воротом были опрятны. Мальчишки долго стояли, смотря, как корчится цыган, хватая ртом снег, и как на щеке его прыгает выбитый глаз.

Я, плача, пришел домой. Я решил завести дневник, где буду записывать всю свою неправильную жизнь. Я исписал целую тетрадку, но писал я совсем не то, что случилось со мною. Я писал другое, — легкое и розовое, — хотя оно каждый день и отмечалось теми цифрами, которые были крупно напечатаны в нашем отрывном календаре. Меня везет какой-то корабль по тихому морю, и все округ — тихое.

Дата. Год.

«Море тихое. 45 градусов восточной долготы и 56 западной».

Дата. Год.

«Море тихое. 45 градусов восточной долготы и 56 западной. Острова. Люди тихие. Ветра нет. Бурана нет. Конокрадов нет».

Дата. Год.

«Море тихое. Острова. Лодки. Наши выброшенных крушением. Ко-

рабль их потонул, но люди все целы. Люди тихие. Опять острова. Мы плывем дальше».

Дата. Год.

«Море тихое. 67 градусов восточной долготы и 42 западной широты. Америка. Люди тихие. Проехали мимо. Опять острова...»

Особенно нравилось мне писать — острова. Я помнил их на Иртыше. В половодье их заносит илом, и когда вода спадает и ты подплывешь, то на поразительно гладком песке видны одни лишь следы птичек. Тонкие, синие прутья таволожника, обвитые у корня травой, склоняются перед лодкой. Выберешь место, сядешь удить. Хоть и не клевет, но все равно приятно.

Или еще вот остров на озере, неподалеку от Волчихи. Мы с отцом отправились за грибами, поднялась буря, лодчонка у нас была паршивенькая, дощатый плоскодонник. Нас качало, заливало, водой, отец крестился, прижимал меня к себе, и оттого грести ему было трудно. Я испугался. Нас вдруг подхватило громадной волной. Бил гром, сверкала молния, такая, какую можно увидеть лишь в детстве, величиною со все твоё разумение. Нас широко мотнуло — и посадило на куст. «Остров!» — крикнул радостно отец. И точно, остров, а мы, совсем как в романе, сидим, закинутые вместе с лодкой на куст, внизу торчат кочки. Мы шли по зыблущимся, покрытым острой осокой кочкам. Перед тем как шагнуть, отец пробует кочку шестом: прочна ли? Лодку он тащит за собой. Мы вышли на песчаный берег острова. Спокойные сосны встречают нас. Подле сосен чистенькие грибы. Ветер прекратился. Было тихое утро.

Отец нашел и прочел мой дневник.

— Дураком ты у меня растешь, Севолод, — сказал он снисходительно. — Надо погоду записывать. Меня вот скоро заведующим метеорологической станцией назначат и могут выдать медаль.

На следующий день я записал:

Дата. Год.

«Погода хорошая. Острова. Был дождь, но не сильный. Шесть граду-



сов по Реамюру. Острова. Индия! Проехали дальше. Погода средняя, тучи, но тепло. Опять Индия! Опять проехали дальше».

Я понимал необыкновенную снисходительность моего отца, белокурая, голу-боглазая учительница любила его.

Об этой любви говорила вся Волчиха. Поп учил отца:

— Надо, Вячеслав Алексеевич, блюсти семейную чистоту, ибо и без того много смуты.

А понять ее любовь можно было хотя бы по тому, как она смотрела на наши школьные драки. Я часто писал стихи против «земских». В большую перемену две школы делали друг против друга снежные городки. Мы, «церковники», влезали на наш городок и пели стихи про «земских». Пение это обычно кончалось дракой, выбегали учителя с папками, сторож с метлой, иногда церковный звонарь.

Теперь белокурая учительница не ахала, не взметывала руками, не говорила: «Перестаньте драться», а какими-то чужими глазами смотрела поверх нас, но, как я полагаю, думала: «Вот из-за ее молодости и любви вешаются люди, горюют, дерутся». Я завидовал моему отцу и в то же время гордился им. Моего отца нельзя было не любить. Он переписывал ей в альбом стихи разноцветными чернилами на восьми языках: на шести восточных, одном западном и одном русском...

Об этой любви знала моя мать. Но хотя я и уважал свою мать, но у меня к ней было какое-то далекое презрение. Жена учителя, а неграмотна. Обо всем и обо всех она говорит непрерываемо, всех осуждает. Отец, когда напивался, бил ее, она же всем рассказывает, что никто так не умеет управиться с мужем, как она. Все знают правду, все смеются над ней за глаза, а она думает, что никто ничего не видит. Ходила она всегда в ситцевых платьях, потому, дескать, что они к ней идут, а на самом деле просто не было денег купить шерстяные. Я ее уважал за то, что она защищала меня от побоев, но было обидно, что иногда побои доставались ей, а не мне. Я не хотела, чтобы она страда-

ла, получая от меня, хотя бы скрытое, презрение.

Она выговаривала отцу:

— Бросаешь ты меня. В поселок мне до позора вернуться, что ли?

— Зачем бросаю? При двоих детях порядочные люди не бросают женщин.

— А учительница?

— Учительница—особая статья, Арина. Ты заходила к ней?

— Приходилось.

— Ножную швейную видала?

— Удивишь меня ножной швейной!.. Кабы поменьше пил, давно б завели...

Мать моя постоянно мечтала приобрести швейную машинку, хотя бы ручную, хотя бы за 60 рублей. Через несколько лет мы ее приобрели: в рассрочку по 3 рубля в месяц. Платить было тяжело. Агент компании Зингер приходил каждый месяц и вклеивал трехрублевые марки в нашу книжку, но так как мы часто переезжали, то агент наконец потерял наш след, и машинка досталась нам за 33 рубля.

— Так вот я тебе и открою, Арина, правду; я ее обольщу и так обольщу... Я вокруг нее на восьми языках кручусь и так закручу, что она мне машинку отпишет, а сама от несчастной любви повесится.

— Не повесится она, — ответила моя мать спокойно.

— Я тебе говорю, повесится. Что я, баб не знаю?

— Баб-то ты знаешь, — ответила с почтением мать, — но она ведь городская, отец у нее чиновник. А чиновники тебя засудят.

— Меня?

— Либо сам ты повесишься.

— Не может такого случиться, чтобы в один год в одном селе два учителя повесились.

Этот довод убедил мою мать.

— Конечно, она девка. Если завертится в ней ребенок от тебя, так она и повесится. А если ребенка не будет?

— Чего же не быть? У тебя от меня сколько их было? Сейчас двое, да Клава, да Андрюшка помершие, — выходит четверо.

Мать заплакала.

— Наша машина будет, Ариша, а потом я уже ни за кем, кроме тебя. Пускай из-за меня хоть одна баба повесится. Зачем же иначе меня уродил барон фон-Кауфман? После нее не буду больше блудить, вот тебе перед божницей перекрещусь.

— Да я не об том, мне ребеночка ее жалко будет, она девка блудливая, а ребеночек был бы у нас пятый.

Мне хотелось остановить учительницу, когда она проходила мимо меня в шелковом своем платье в церковь. На паперти она встретится с моим отцом, у нее длинная коса и голубые глаза. Вот я подойду к ней и скажу: «Отец хочет утащить у тебя машинку, не верь ему, не надо мне братьев». Но я не говорил ей этого: и потому, что я знал, полюбить она меня не может; и потому, что мне лестно было думать, что она способна повеситься из-за моего отца. В поселке Лебяжьем я рассказывал бы: «Был у меня знакомый гимназист, которого я погубил знанием бесчисленных книг, который стал пить запоем, а сестра его от любви к моему отцу повесилась». Я видел, как снимали ее с петли, как ревел отец, а мать везла к нам швейную ножную машинку.

Кончилась эта любовь тем, что учительнице кто-то вымазал ворота квартиры дегтем. Учительница уехала в город. Исчезли ее голубые глаза и широкая коса.

## 3

Отец хотел повидать в городе голубоглазую. «А кто ее знает, — думал он, — не пошла ли она сестрой милосердия на войну?» Всю дорогу отец мне рассказывал о сестрах милосердия. Он говорил о них всяческие пакости и особенно восхищался тем, как много они наживают денег в Харбине, какие там идут великие кутежи и как знаменитые князья проигрывают имения.

— Встречу я там, Всеволод, своего брата, и отвалит он мне тысяч пятьдесят, небось, не иначе, как шулер, и сразу выигрывает по громадным кушам.

— А разве у тебя есть братья?

— Двое детей законных произошло от барона Кауфмана.

Повторяю, в детстве мы знаем больше, чем думаем об этом знании взрослыми.

— Не признает он тебя, — сказал я наставительно.

— Другие признают и устыдят. Мы все трое на одно лицо, разница только в чинах.

К тому времени отец всюду именовал себя коллежским ассесором.

— Братья-то у меня, небось, георгиевские кавалеры и генералы.

Остановились мы на постоялом дворе. Среди подвод ходили на костылях раненые солдаты в широких папахах. Солдаты сердито просили милостыню. Отец вычистил куртку, натянул штаны с лампасами, прицепил саблю — и направился к учительнице. Вышел старичок чиновник.

— Дочь? Замужем она и переехала в Томск. Муж у нее землемер.

Старичок добавил хвастливо:

— Двести семьдесят пять рублей в месяц загребает. Сам весь лысый, водку не пьет. А каков у вас урожай нынче в Волчихе?

— Гречуха хороша, хотя и мышей много, — ответил отец и злобно хлопнул дверью.

У палисадника мы остановились. Чиновник смотрел в окно, держа в руке графинчик зеленой настойки. Отец сразу развесялся, хотя, видимо, и обижался, что чиновник не угостил его водкой.

— Врет старичок! Просто не взяли ее в сестры милосердия, она и отправилась к Сметанихе.

— Куда? — спросил я.

— В публичный дом, а как же иначе? Придется и нам пойти туда, Всеволод, — сказал отец необыкновенно убежденно.

— Придется, видно.

Я много слышал разговоров о публичных домах, мне любопытно было посмотреть, что же делает там голубоглазая учительница. Я только высказал отцу опасения, что всех хороших девок могли отправить в Манчжурию и осталась шваль. Отец не удивился моим сведе-

ниям, — возможно, ему показалось, что он отвечает своим мыслям. Он сказал:

— Раз ее не взяли в сестры, так она с публичными девками в Манчжурию не поедет. У ней тоже есть своя амбиция.

Возле голубого дома неподвижно стоял ржавый фонарь, широкий и разбитый. Из подворотни вылезла собака с черной, тоже разбитой, мордой и лениво тявкнула. Отец весело дернул за ручку звонка. Дверь быстро открылась. Плотная хозяйка с толстой шеей медленно вышла к нам. Вдоль стены венские стулья, круглый стол покрыт бархатной скатертью, на нем лежал альбом и сверкала лаковая тройка. Лихой ямщик сидел «на облучке, в тулупе, красном кушачке». Отец придвинул стул к альбому и посадил меня.

— Кого пожелаете, господин офицер? — спросила вяло хозяйка.

— Гони всех девок. Учительницу впереди.

— Да они в бане, а учительницу пока не имею.

— Вот и гони их из бани. Плачу за всех. И угощаю коньяком.

Денег у отца было всего два рубля сорок. Мне стало страшно. Я знал, как бьют здесь, и даже слово «вышибало» мне было известно, но я тотчас же подумал, наверное то же самое, что думал и отец: за все наши проворства заплатит учительница. Я не верил, как и отец, Сметанихе.

Вышли багровые девки. Одна, в длинном халате, с веником, тощая, с длинными кудрями за ушами, показалась мне очень смешной. Они выстроились в ряд. Отец подошел к низенькой, белокурой, с голубыми глазами.

— Эту! — сказал он, стукнув ее кулаком по плечу. — На два часа и коньяку полбутылки.

— Спеть, что ли? — спросила девка с веником.

— Допаритесь и споете, — ответил отец и вышел, не оглянувшись на меня.

Хозяйка сказала мне:

— Вы, молодой человек, только не ковыряйте пальцем лак, он отпадает, и вообще с вещами надо обращаться осторожно.

Когда комната опустела и я просмотрел весь альбом, я вдруг сильно испугался. Непременно нас будут бить. Мало того, на постоялом отец меня будет бить еще и за то, что я не отговорил его. Мимо малиновых портьер по сеням, припадая на ногу, прошел широкоплечий детина с длинными руками. На дворе торжественно кричал петух. И тогда впервые за всю свою жизнь я заорал диким голосом.

Вбежала белокурая девка, за ней вышел отец, лицо у него было злое. Я заорал еще сильнее. Отец вытолкал меня на улицу. Я продолжал орать. Улица пустынна, хоть бы какой-нибудь мальчишка удивился б на мое оранье. Я схватил кирпич и закричал, что расшибу окно. Появился отец. Он лихо крикнул с парадного:

— Тридцать копеек до воинского присутствия.

— Пожалуйте, — ответил извозчик.

Усевшись, отец развеселился.

— Пожалуй, ты прав, Всеволод, деньги мне и в армии сгодятся. Я, братец, немедленно карточную игру открою. Вот жалко, за приглашение пришлось выплатить хозяйке полтинник. Зареветь бы тебе пораньше.

— Я ревел.

— Разве так ревут? Ты бы погрозил, мол, альбомом в окно пустим.

Воинский начальник, зобастый, в синих очках и расстегнутом чесучевом кителе, одной рукой придерживая синюю папку, другой держа на ней длинный карандаш, вежливо поклонился отцу. Студенты в городе Кольвани были редкостью. Солдаты, вдовы и писцы расступились. Отец оперся на саблю.

— Добровольцем иду против врагов отечества, — сказал он таким же высоким голосом, каким заказывал коньяк. — Прошу отправить немедленно на фронт, в действующие казачьи части около Харбина. Единоутробных своих братьев хочу найти на поле брани. А сам я погибну за отечество, срубив предварительно несколько японских голов.

— Прелестное дело, — сказал одобрительно воинский начальник, указывая зачем-то рукой на висевший за его спиной портрет Николая II. — По-

двиньте стул и садитесь. Документы в порядке?

— У казака все в порядке.

— Прелестное дело, — повторил воинский, рассматривая документы, — именно в порядке. Вдова будет получать пенсию, сынишку устроим в кадетский корпус, а сами вы, хотя и мертвый, но достигнете дворянства. Извините, начнем официально. Ваше имя и отчество?

— Вячеслав Алексеев Иванов.

— Прелестное дело. Откуда родом?

Отец побледнел. Идя сюда, он наверное думал, что воинский начальник поблагодарит его за усердие, выдаст медаль да еще денег каких-нибудь. А тут он вдруг понял — быть ему через полчаса солдатом, а через несколько дней помчат его на сопки Манчжурии. Мне было обидно за отца, и в то же время я чему-то радовался.

Отец вскочил, уперся обеими руками о зеленый стол и, приблизившись к лицу воинского, крикнул обиженно:

— Так-то вы, сукины дети, поступаете с добровольцами! Ура-а!

Я схватил его за штаны, он лягнул меня, я упал. Он выхватил саблю. Штаны с лампасами взметнулись на стол, а на полу, под столом, я увидел тонкие ноги воинского начальника. На стене что-то затрещало. Этот треск протяжным вздохом отозвался в соседних комнатах и разнесся по всем коридорам. На пол шлепнулась вырубленная из рамы голова Николая II. Отец топнул ее ногой и понесся по пустому коридору, размахивая саблей.

— Ура-а!

На улице послышались свистки. Кто-то крикнул у окна: «Коня! Пожарных! Ловите сумасшедшего!»

Передо мной колыхалось зеленое сукно, а ниже лежала отрубленная голова Николая II. Я пополз. Зобастый начальник выполз раньше меня. Он сел на корточки возле срубленной головы, затем быстро обернулся ко мне, хлестнул меня несколько раз по щеке, поднялся на ноги и, пальцами отрясая пыль с брюк, басом спросил:

— Поймали?

— Ловят, — ответил вошедший солдат.

— Допросить! Следующий!

Но следующего не оказалось. Присутствие убежало. Воинский осторожно, двумя пальцами поднял голову Николая II и еще раз хлестнул меня ею по лицу.

— Убирайся к черту!

Я был совсем одинок на этой пустынной улице. Куда-то мчались свистки, скакали кони, обыватели бежали с кольями и вожжами. Все они ловили моего отца. Возможно, его уже поймали и уже бьют. Я плакал. Лучше бы оставить его с голубоглазой девкой, лучше б его избili там, в голубом доме. И все-таки мой отец остался бы тогда при мне. Кроме того, я боялся возвратиться на постоялый. Я вспомнил страшных раненых, чужие подводы, бородатых цыган, бродивших возле подвод, вспомнил я и рассказы о том, как цыгане воруют детей. Увезут они меня с собой.

Я направился к Сметанихе. Позвонил. Вышла хозяйка.

— Ту, голубую, — сказал я.

«Она немного похожа на учительницу, значит, имеет доброту» — думал я.

Хозяйка начала меня выпрашивать. Она сочувствовала отцу, пока не узнала, как он изрубил портрет царя. «За такие дела вешают, — сказала она хрипло, — а ты лучше уходи». Она подала мне булку, но раздумала и отрезала мне горбушку от этой булки. Я ждал у палисадника, не выглянет ли та, голубая. Я думал — вот она выйдет, обнимет меня теплой рукой за шею и поведет на постоялый, где остался у нас мешок с провизией и белье. Она наймет мне подводу и напишет длинное письмо к матери. На прощанье она погладит мою голову, я расплачусь, она тоже прослезится.

Но не колыхалась герань в окне, плотны и неподвижны были ситцевые занавески.

Так окончилась моя любовь к голубой учительнице.

На постоялом я сказал хозяину, что отца моего убили, он испуганно выдал мне наш мешок. Я направился пешком домой. Добрые люди подвезли меня к Волчихе.

Отца отправили в Томский сумасшедший дом. У него нашли белую горячку. Мы переехали в Томск. Мать поступила в кухарки. Стряпала она плохо, кроме того, ей часто приходилось менять службу, так как я почему-то не нравился всем ее хозяевам. Службу она старалась найти неподалеку от сумасшедшего дома.

Каждое воскресенье мы навещали отца. Мне казалось, в сумасшедшем доме он стал рассуждать спокойнее и правильнее. Он составлял киргизский словарь, а в свободное время колот дрова для зрителя. Жизнью своей он был очень доволен. Палаты чистые, опрятные, соседи смирные. Вскоре мне самому захотелось стать сумасшедшим.

— И долго тебя продержат? — спрашивал я с завистью.

— Да вот доктор говорит: прибавите еще десять фунтов, и можно выпустить. Главный доктор больного меньше пяти пудов не выписывает. Какой, говорит, он поправившийся, если не весит пяти пудов.

— Опять к Волчихе поедешь? — спрашивала мать с тоской.

— Надоели мне мужики, вернусь я в казачество. Кроме того, давно я стерлядей не ловил.

— Лов хороший. — сказала мать.

— Писали, что ли?

— Не писали, а наших казачков встретила.

А встретили мы наших казачков так. Возвращались мы поздно ночью с матерью из гостей. Она ходила к знакомой рябой кухарке помогать стряпать пельмени. В городе шел еврейский погром. Стряпая пельмени, кухарки рассказывали друг другу о том, как черная сотня сожгла народный дом вместе с митинговавшими студентами и рабочими.

Мы пересекали пустынную площадь. Где-то в стороне у белого дома горел костер. Не помню, было ли это зимой или весной, но пронизывающая тоскливейшая изморозь осталась во мне и по сие время, когда я вспоминаю эту длинную площадь. Мать шла довольная, пельмени удались, она несла остатки, чтобы завтра утром поджарить и уго-

стить меня. Наша хозяйка, как и все хозяйки, обижалась, что кухаркин мальчишка много жрет.

От белого дома мы услышали крик. Затопал иноходец. К нам скакали с пиками наперевес широкие папахи. Мы остановились. Кони уперлись в нас, к седлу приторочено что-то пушистое. Я не испугался, я даже обрадовался казакам. Они были пьяны, гордились своей удачью, они не видели никакой подлости в том, что грабили людей, радовались тому, что не попали в Манчжурию, а сражаются в безопасном и тихом месте, радовались и будущим медалям.

Размахивая пикой, казак крикнул пьяным и ленивым голосом:

— Жидовка, младенца спасает?

Второй закурил трубку, звякнул шашкой о стремя, голос у него был еще ленивее, чем у первого.

— Не успели дорезать.

— Дорезем.

Мать молчала.

— Жидовка, отойди. Сейчас пронзатъ будем сына твоего пиками.

— Кетер, шайтан, — ответила моя мать торопливо, — таре дчал часым? Очумели совсем, чо, своих не узнали, штобы те язвило! Совсем перепились.

Казак с трубкой сплюнул.

— Чо? С Иртыша? Ишь ты, гемерь.

Казак добавил:

— Какой станицы, тетка?

— Семиярской, — ответила мать.

Первый казак спросил:

— Прохора Хворостинина из Урлютюпа знаешь?

— Слыхала.

— Передай по всей линии, что сына его встретила в Томске. Жидов громит, дескать. А это бери себе.

От отстегнул от седла черное и бросил матери. Мать пощупала и передала мне. Это был разорванный сюртук и шапка меховая с длинной тульей. Хворостинин слез с коня и, шатаясь, с протянутой рукой, подошел к матери.

— Это видишь, тетка?

На ладони у него лежали золотые часы.

— Мог бы тебе подарить, но скажут, не с удалства, а — спал с пей. Смотри, тетка.

Он поднял коню переднюю ногу. Хворостинин положил часы на землю и опустил копыто. Легонько хряснуло. Хворостинин опять поднял ногу и показал сплюсненные в лепешку часы. Поцелкал по ним ногтем, плюнул и бросил изо всей силы в сторону.

— Вот как сибирячку-то поступают, — сказал он, отъезжая.

Мы долго ползали по земле, разыскивая эти часы. Чуть рассвело, мать вернулась на площадь, но часов она так и не нашла. Тогда она обругала Хворостинина, который наверно только махнул рукой, а часы оставил в ладони.

— Знаю я этих казачков, жадней зверя не встретишь.

## 4

В Томске мы прожили два года. Отец все еще не мог дотянуть до пяти пудов. Мать испытывала к нему огромное уважение. Она теперь считала, что каждый умный и ученый человек только тогда может быть до конца ученым, когда посидит в сумасшедшем доме. Она, отличавшаяся и без того большим трудолюбием, теперь, слушая советы отца о тихой «подчинительской» службе, работала еще лучше. Хозяева прощали ей даже мое пребывание на кухне.

Отец мой басил и тучнел от важности. Он уже заведывал библиотекой, а почерк его в канцелярии считался лучшим во всем сумасшедшем доме. Приняв нас однажды в кабинете начальника, под портретом профессора, отец надел пенсне и степенно сказал:

— Поехали бы вы в Павлодар, а мне если понадобится, приду пешком.

Мы и поехали.

У матери в Павлодаре находилось две сестры: Фиоза Семеновна за подрядчиком Петровым и Фелицата Семеновна — вдова. Фиоза Семеновна жила на краю города, неподалеку от сельскохозяйственной школы, мрачного и громадного здания. Фелицата Семенов-

на — на берегу Иртыша. У одной — каменный дом, и уже кляли другой в три этажа. У второй сестры — «деревяшка» в две крошечных комнаты, покосившиеся, с разноцветными от древности окнами. К богатой сестре мать моя побоялась пойти и поселилась у бедной.

Фелицата Семеновна существовала тем, что поила чаем киргизов-грузчиков, брала она три копейки с человека. Чай для киргизов заменял обед. За свои три копейки они пили часа по два. Кучами они сидели во дворе, в комнатах, в сенях. Тетка ходила между ними, раздувала несколько самоваров, мать ей помогала. В течение всего лета день и ночь поили киргизов, а накапливали денег столько, чтобы с грехом пополам прожить зиму.

Тетка Фелицата обладала возвышенными стремлениями. Киргизов она пила чаем, чтобы облегчить их участь, впрочем брала она с них не дешевле других «поилиц».

— Но у меня душевное обращение, — хвасталась она, — где им такую ласку найти?

Но все возвышенные ее стремления оканчивались обычно чепухой. Покойный муж ее считался яростным пожарным и все мечтал иметь ребеночка. Фелицата не любила детей, но для нежности она усыновила ребеночка. К тому времени, когда мы поселились у тетки Фелицаты, приемышу Марье шел пятнадцатый год.

Держать этого приемыша было трудно. Упрямо решил приемыш: надо беречь красивую фигуру свою, замечательные руки и ноги. Поэтому ходила Марья непременно в перчатках и за таскание самовара скидывала киргизам по копейке, дабы не портить фигуры. За это самовольство и вообще — вперед и назад — тетка била приемыша раза три-четыре в день. Порки Марья переносила молча.

Акушерка Мулутова занимала половину дома. Мулутова была фиолетовая какая-то, страстно разводила кошек. Она заботилась только о себе, но умела произносить пышные фразы: кошек

она растила потому, что их разбирали купчихи. У нее был ангорский кот и две ангорские кошки. В комнатке постоянно пахло котятами. Она запирала комнатку, чтобы котята не потерялись, их было множество.

Она стояла на пороге. Глаза ее сияли довольством. Но за всем не уследишь!

Я делал удочку, привязывал к ней кусочек мяса и ташил. Котенок бежал за мясом. Я прятался под бочку у окна. Едва котенок появлялся на подоконнике, я хватал его и бежал с ним «на зады», оттуда к плотам, где у меня устроена была норка. Я прятал котенка. Надо было продержатъ его дольше. Акишерка сначала обещала пять копеек, если я его найду, затем семь, и дело доходило иногда, смотря по достоинству котенка, до двенадцати копеек. Особенно хорош был один с разноцветными глазами. Мне его страстно хотелось стащить, но акушерка, когда открывала окно, держала котенка всегда зажатым между коленями.

Однажды я сманил все-таки его, привязав кусочек печенки на ниточку. Котенок был удивительно мягкий и приятный. Я рассчитывал получить за него не меньше полтинника. Мулутова набавляла каждый день по гривеннику. Она обыкновенно волновалась, говорила страшно пышные слова о справедливости и благе и обедала поэтому каждый день у тетки, которая была этим польщена и отдавала ей лучшие куски, до этого достававшиеся мне.

Пришел день, когда пушистый разноглазый комочек стоил уже сорок копеек. Я не спал полночи, мечтая о полтиннике. Нужно сказать, что акушерка хотя и морщила свой фиолетовый нос, но уплачивала деньги аккуратно. Утром она грустно сказала:

— Хорошо бы бараночек.

— Сходи, — сказала мне тетка.

Фелицата посмотрела на акушерку, Мулутова наглыми глазами — на тетку. Тетка молча вздохнула, достала деньги, впрочем она была довольна, что у акушерки нету денег.

— Иди! На гривенничек.

— Мало, — сказала акушерка.

— Купи на пятиалтынный.

Грызья баранку, акушерка заявила, что она за котенка не даст ни копейки, искать его не стоит. Мать сидела покорная, глядя на три самовара, которые она чистила, встав еще до рассвета, — ей нехвато работы. Правильно! Если ученая акушерка завладела Фелицатой, и та отказалась, ввиду возвышенной любви к животным и расширению животного стада, брать за квартиру, — правильно!

— И ведь действительно, — мечтательно глядя на самовары, говорила тетка Фелицата, — надо развести кошек... А то ведь сколько же мыши поедят зерна.

— И чуму разносят, — добавила акушерка.

Тогда я посадил котенка в корзинку и сунул его тетке под кровать. Он просидел там до вечера, а вечером ему стало страшно, он начал пищать. Тетка достала его. Акушерка выбежала на писк. Я его вымазал в дегте. Акушерка решила, что эту жестокость свершила тетка. Мулутова ругалась, дулась.

Тетка с огорченья выпорола Марью. Марья, пряча руки и ноги под себя, молчала. Не кричала она еще и потому, что недавно ее приняли в прогимназию и открыли у нее отличный голос. Я сильно страдал, я знал — Марья не скажет, кто испортил котенка. Она любила меня. И я ее любил.

Да, я ее любил! Нас клали спать на сеновале, мы ложились в разных концах. Тетка целовала нас на ночь, а как только уходила, мы соединяли наши постели, запирали плотно сеновал и кидались в объятия друг к другу. Сколько мне было лет? Тринадцать. Наверное многие скажут, что это стыдно, что я был нехороший мальчик. Я и сам сознаю сейчас, пожалуй, что не столь нехорошо, сколько преждевременно, но тогда я был счастлив. По утрам во мне ходила нежность. Я помогал сестре. Я гордился ею, когда она надела коричневое платье и отправилась в прогим-

назию. Я пожелал учиться. Я желал приобрести форму и блестящие пуговицы.

Тогда меня повели к дяде Василию Ефимовичу Петрову.

Мать моя к тому времени поступила к богатой сестре Фиозе кухаркой и прачкой. Впрочем сестра потребовала, чтобы Ариша никому не говорила о родстве, — просто женщина из одного поселка. Мать согласилась без протестов. Очень возможно, что отец посоветовал ей.

Василий Ефимович Петров происходил из пермских мужиков. Отец его — пимокат. Город Павлодар был отменно ленивый город. Василий Ефимович отличался чрезвычайной подвижностью, соглашался на все и брал любые дела и притом немедленно. Он строил церкви, дома. Без архитектора, сам составлял планы и строил быстрее всех, метался по уезду, торопил, бил каменщиков, плотников. Церкви получались кособокие, с кривыми окнами, так что говорили: «А, это Петров построил». Люди дивовались и отдавали ему подряды исключительно от изумления перед его вдохновением.

На тетке он женился внезапно. Она ему попалась на дороге. У трашпанки сломалось колесо. Фиоза шла с водой. Совсем как в песне! Он попросил ее указать ему, где живет кузнец. Тетка, только из лени, чтобы не тащить до дому ведра, проводила его к кузнецу. Василию Ефимовичу показалась она оттого страшно деятельной, и он ей немедленно предложил тут же обвенчаться. Ему вспомнилось, что он до сих пор не женат. На другой день они и обвенчались.

Тетка переехала в город, купила громадную кровать, пуховик из лебяжьего пуха, прошлась два раза по городу. Город ей не понравился, а переезжать в другой она не хотела. Она и легла в постель. Она говорила и думала только об еде. Больше всего радовалась она, когда в городе открывали гастрономический магазин. К ней приходили приказчики. Она подробно выспрашивала их, что поступило в магазин. Рыболовы ей приносили лучших стерлядей.

Из поселка ей привозили пареный борышник, язей, баранов, она приказывала каждую неделю варить баурсаки в меду. Но ко всему тому она была скупа; мать мою наняла только потому, что Ариша брала меньше других. Еще любила она собак и волков. Ручной волк, его звали «Вилькой», скакал на цепи во дворе. Волку шел второй год.

Во дворе, перед возводимым трехэтажным домом, стоял Василий Ефимович в чесучевой рубашке и штанах. Увидав нас, он хвастливо крикнул, указывая на суматоху:

— Внизу предполагаем открыть лавку... и еще что-нибудь.

Среди возов с кирпичами пробирались к амбарам верблюды, навьюченные шерстью и кожами, толкались овцы, звенел цепью волк. Пока мы шли через двор, Василий Ефимович успел обежать вдоль фасада, слезил на чердак, заглянул в колодезь, который рыли тощие киргизы. Лицо у него сияющее и довольное, все идет отлично. Жена возлежит, не работает. Отлично! Пускай лежит. Подрядчик Василий Петров десять жен способен содержать. Впрочем он не думал о десяти женах, потому что если бы он подумал, то, несмотря на все неприятности, завел бы себе этих десять жен, даже если бы для этого потребовалось перейти ему в магометанство.

В теткиной комнате меня встретили таинственные запахи. Особое солнце лежало за густыми занавесками. Я впервые видел такую широкую алую постель и такую раскрашенную толстую женщину. Уважал я и атласное одеяло, под которым она лежала, несмотря на жару.

Мать, худенькая и покорная, остановилась у дверей за моими плечами.

— Ариша, — сказала ей тетка Фиоза, — ты чайку нам сготовь.

Тетка Фиоза со вздохом скинула одеяло и встала передо мной в рубашке до пят. Она, не торопясь, надела киргизский полосатый халат, расчесала волосы чудовищной длины и черноты. Я чувствовал — надо что-нибудь сказать, но губы мои одеревятели. Ни-



когда и нигде не встречал я подобной красоты! Я понимал — нельзя так скромно думать о тетке, но богатство отдаляло от меня родство, даже Марья показала мне ничтожной.

— Грамотный? — спросила она, кладя в алый рот коврижку.

— Да, — ответил я тихо, весь пылая.

Она чмокала, щурилась, поводила плечами.

— Ну, иди в столовую.

На круглом столе, который я тоже видел впервые, уже кипел самовар. Мать расставляла чашки, она было направила меня в кухню, но дядя Василий Ефимович остановил:

— Пускай здесь пьет, поощрение полезно.

На скатерти круглые прозрачные блюдечки для варенья, а сколько их, этих вареньев! Малиновое, яблочное, земляничное... Протяжной струей непрерывно текут они в тарелку к тетке. Мне положили клубничного, оно самое дешевое: неисчислимы поля дикой клубники в степи. После варенья тетка подвинула к себе торт, ела она жадно, торопливо, ее громадные круглые тела колыхались. Дядя, рыженький, плотненький, постоянно вскакивал, убежал куда-то, возвращался, открывал окошко и ругал в окошко каменщиков. Прихлебывая из стакана чай, он стучал кулаком по столу:

— Надо строить кирпичный завод. Выгоднее иметь свой.

Он обернулся ко мне и пощупал мои бицепсы.

— Учиться хочешь?

— Хочу, — ответил я, глядя на тетку.

Я завидовал и радовался удовольствию, с которым тетка Фиоза пила чай. Она жмурилась, вздыхала, в животе ее что-то благостно хлюпало.

— Учиться полезно. Вот и поедем сейчас, коней уже закладывают.

Дядя усадил меня править иноходцем. Мы проехали мимо мрачного здания сельскохозяйственной школы за город.

— Дорога отличная! Плоды отличные!

Дядя остановился и сорвал несколько арбузов. Подошедшему сторожу он дал пятак. Миновали много бакчей, полей. Поднялись на много пригорков. Я разомлел. Дядя просыпался на поворотах и указывал, куда мне свернуть.

Мы ехали часа четыре, пока не увидели желтые деревянные ворота. Меня удивило, что от ворот не идет ограды. На воротах надпись: «Опытная ферма Павлодарской сельскохозяйственной школы». «Наплевать, — подумал я, — буду и здесь учиться». Ворота мне понравились. За воротами виднелось несколько саманных длинных домов, скирды сена и обмолоченной пшеницы, сараи, а в стороне, возле громадного огорода и озера, беленький домик. Мы подъехали к домику.

Нас встретил заведующий школой. У него была странная фамилия Сваз, а имя самое простое — Иван Иванович. Он необычайно обрадовался дяде. Он прослезился. Он жал ему руки, гладил по плечам, по животу.

— Василий Ефимович, солнышко, откуда это тебя? Я ведь вас и не надеялся никогда увидеть. Я на тебя сердился.

И он на самом деле изобразил на лице сердитость.

— Третьего дня видались, у городского головы в гостях.

— Так разве это виденье? Виденье — это чтобы посидеть. Или ты не желаешь со мной знаться? — Он вспыхнул, впрочем тотчас же отошел, увидав меня. — Сын-то у вас, Василий Ефимович, какой вымахал. Небось, лет шестнадцать! В гимназии? Или посредством домашних учителей обучаете?

Он плясал, прыгал вокруг Василия Ефимовича. А тот прицеливался, как бы тут чего построить. Дядя болтал немного, он преимущественно действовал. Подумать можно было, что они приятели уже сотню лет. Оказывается, что они и в гостях-то виделись впервые, и даже Василий Ефимович ничего не строил Свазу.

Узнав, что Василий Ефимович привез меня учить, Сваз и этому обстоятельству несказанно обрадовался. Не знаю, почему, но ему не понравились

мои штаны, хотя это были самые обыкновенные серенькие штанишки из бумажной материи, вправленные в высокие сапоги с голенищами. Заведующий хозяйством увел меня. Дядя остался пить чай, но я еще не успел дойти до склада, как увидел, что он уже садится на трашпанку, видимо, вспомнив какое-то спешное дело. Обо мне он уже забыл. Связ тоже обо мне забыл, хотя, увидав меня, всегда делал крайне радостное лицо и вспоминал о самом удивительнейшем и приятном подрядчике Василии Ефимовиче.

Нас, учеников, было сорок два человека. Мы все жили вместе в длинном саманном сарае. Спали мы на железных кроватях, соломенных тюфяках, которые сами набивали каждые две недели. Одеты мы все были в одинаковые черные штаны и рубахи из «чортовой кожи» с белыми пуговицами по вороту, а зимой, когда мы приехали в город, нам выдали черные шинели с зелеными кантиками. Вставали мы рано, до рассвета. Мучительно вставание! Вставая, я думал, что никогда мне больше не встретить такой тяжелой работы.

Я пахал, боронил, сидел на косилке, гонял волов в город за лесом, спал под солнцем на лесинах. Вокруг — пустынная степь. Нос и рот забивала теплая пыль, глаза слипались, все время мучительно хотелось спать. Все-таки многое было приятно, кабы не просыпаться так рано. Приятно, когда мы сидели на высоких сиденьях лобогреек, перекликались друг с другом, кони бежали, махая хвостами. Овода впивались в наши загривки.

— Подбавля-яй!.. — начинал с одного конца поля молодой и звонкий голос.

— Подбавляй! — кричал другой.

Но мы ничего не подбавляли. Мы хлопали бичами, хотя кони не могли бежать быстрее, иначе поломалась бы машина. Но нам приятно: мы — как большие. Сами косим и жнем. Возвращаясь с поля, мы останавливались возле бакчей и срывали по арбузу или по подсолнуху. Мы щелкали семечки и врали друг перед другом, идя в туче теплой пыли. Отличная жизнь, кабы не вставать рано!

Отличная жизнь, кабы не кухня. Трое из нас, по очереди, каждый день дежурили на кухне. Один оставался убирать столовую, мыть посуду, выхлопывать постели, протирать окна. Трое помогали стряпухе. Надо было чистить картошку, сидеть на одном месте, таскать дрова в печь, чистить капусту, лук, нарезать хлеб для завтрака и обеда, разливать чай по чашкам и добавлять молока. Все на нас кричали. Одни: налили слишком густой чай; другие: слишком мало молока.

Посредине стола сидели старшие ученики, громадные, крепкие, расчетливые. Все, что они собирались сделать, они подвергали длительному обсуждению. Сколько чая и сколько кусков хлеба надо съесть на сегодняшний день? Они осторожно хвалили учителей, осторожно работали, они боялись всего нового, нельзя например переставлять им кровати, они боялись выйти из школы без спроса. Только из-за своей осторожности и заботности они доучивались и оканчивали школу. Это были дети крестьян-переселенцев.

По бокам стола сидели «вьюны» — приютские, бледные, тощие, они постоянно ругались и дрались, а самым ярым среди них был Порфирка Седомский, прозванный цыганом. Ему шел четырнадцатый год, он уже умел пить водку, рассказывал про знакомых девушек и собирался уйти в разбойники.

— Для заведующего работай! — гундосил он, дергая то рукой, то ногой. — Урожай жулит, овощи с огорода и бакчей жулит. Придумать бы, кому пожаловаться.

— Он тебе пожалуется, — говорила середина, и было непонятно, хочет она жаловаться или нет.

Порфирка постоянно кривлялся, он умел стоять на голове, перепрыгивал чрез кровать, кувыряясь в воздухе. У него был медный гребешок и синие очки. Я очень завидовал очкам. Он ненавидел Яшку Ялушина. Я завидовал его ненависти.

Яшка Ялушин числился подлинным казаком. Остальные ученики были или мещане, или мужики. Мой отец — казак «припишой», из мещан, а Яшка —

кровный. Курчавый, плечистый, с черными глазами на выкате, он постоянно ходил в длинных сапогах, на высоких каблуках, какие носят киргизы. Отец отдал его в эту позорную школу из-за непреборимой лени, разбавленной веселой наглостью, которую никакими кулаками не выколотишь. Озлобленный, жестокий, он лениво бил всех ночью и днем, лениво стравливал нас. Ложась в кровать, он мечтал:

— Вот возьму и подожду стога, только бы мне дожидаться, когда стряпху наймут помоложе. Заодно изнасилую, сожгу, заведующего убою...

— Не воруй? — спрашивал Порфирка.

— Нет, я за другое.

Больше всего пугала нас расчетливая Яшкина хитрость. Мы надеялись на Порфирку Седомского. Этот даст если по морде, так запомнит Яшка. Яшка не подступал к Порфирке, Яшка ходил угрюмый, переваливаясь с ноги на ногу, а Порфирка мотался по всей ферме, кувиркался, валял дурака. Порфирка любил собак, особенно одну, рыжую, с пушистым хвостом. Яшка поджег ей хвост, Порфирка долго всхлипывал, наконец расстегнул ворот рубахи.

— Ну, давай подеремся.

— Надо мне с тобой драться, — сказал Яшка, — у тебя железный прут, я тебя по-другому уничтожу.

С этого дня Яшка лез в кровати к «вьюнам» и предлагал им пакости. На него орали, его колотили ногами, но многие соглашались. Изображая страсть, он нарочно громко пыхтел и стонал. «Вьюны» поднимались утром с заплаканными глазами. Со страхом я думал, что вот Яшка взлезет ко мне в кровать, но Яшка не то боялся, не то презирал меня. Он толкнул меня как-то, и я упал в выгребную яму. Я вылез очень обиженный. Я не дрался потому, что все они казались мне умнее и ловчее, так как в крестьянской работе управлялись лучше меня.

С нами постоянно жил учитель Петр Осипович Вношня. Мы его звали Квашня. Ему пожаловаться? Попробуй, разбуди его. Он ходил такой далекий и даже ел без охоты. В городе он известен,

как сын богатого владельца бань и как очень больной чахоткой. Говорят, он даже ездил лечиться в Крым. Удивительная болезнь! Собой Петр Осипович румяный, толстый, сильный, особенно уши. Я никогда не видывал таких ядерных, розовых ушей. В полдень он раздевался догола, брал с собой пищу, уходил в поле и лежал там голый до вечера.

Зимой Петр Осипович преподавал нам физику, геометрию и животноводство. «Какие глупые и пустые науки, — думал я, — если Квашня способен им научиться!» Он раскрывал книгу, читал название главы, затем откладывал в сторону.

— Читай, Порфирка!

Квашня чертил карандашом по столу, дремал.

Он просыпался от звонка. Довольство лилось от него. «Эх, кабы мне захворать чахоткой» — думал я.

— Что и требовалось доказать, — говорил он и уходил из класса, сияя ушами.

Каждые две недели нас водили в баню. Мы шли через город черными парами. Мальчишки кричали нам: «Козлы!» Мы шли молча. Многие из нас гордились позорным званием вонючих козлов, но я страдал. Когда мы проходили мимо прогимназии, сестра моя Марья не выглядывала в окно.

Глупая моя форма!

И я подумал: «А если ей не нравится, что я ношу штаны, вправленные в сапоги? Если ей нравятся штаны «городских» учеников, которые в своих шинельках похожи на синиц?»

В следующее воскресенье я выпустил штаны поверх сапог и пошел к тетке Фелицате. Никто не заметил моих прекрасных штанов. Я остался ночевать. Нас положили рядом на полу, головами под стол. Керосиновая лампочка погасла. Я протянул Марье руку. Она не ответила мне! Опять пустынен подоконник, она спит, она так чудесно похрапывает, ей наверно приятно отшить ухаживателя. Ну, что же! Мне тоже приятно страдать!

Тетка Фиоза попрежнему лежала под атласным одеялом, а дядя Василий

Ефимович мегался по уезду, строя кривые церкви и школы.

Зимой мы мало работали. В свободные часы я уходил на застекленную террасу первого этажа. Здесь предполагали сделать столярную мастерскую, но кто-то украл инструменты и лес. Ученики не любили ходить на террасу, там было слишком светло и холодно.

Здесь я прочитал «80.000 лье под водой», «Север против Юга», «Дети капитана Гранта». Мне нравилась терраса, холодное солнце, большой свет. Терраса походила на пароход, особенно два деревянных столба: они — совсем как мачты. Стекла голубовато-прозрачные, высокие, если присмотреться, то через них снега, навороченные на площади громадными валами (сюда мешане возили навоз), очень походили на Ледовитый океан и даже на полюс. Смотришь и думаешь — сейчас кончатся снега, попадем в теплое течение, и корабль понесется к запашистым островам. Дневник мне вести не хотелось, и я написал письмо. Я писал: «Вот здесь сидел мальчик Всеволод Иванов, читал Жюль Верна и думал о том, что когда-нибудь он будет капитаном и поплывет в море. А пройдет много лет, это письмо найдет другой мальчик, прочтет и тоже будет мечтать о капитанстве». Но мне некуда было отправить мое письмо, и я бросил его в щель столба, так как столб обшит досками. Три года спустя это письмо нашел Петька Захаров. О Петьке Захарове и его замечательной жизни будет рассказано дальше.

К весне школьников всегда кормили хуже. Мы получали гнилую солонину, гнилую капусту. Чай нам подавали без молока. Правда, пища походила на корабельную, но нам она не нравилась, а когда нас начали гонять в церковь на говенье, то осталась только одна квашеная капуста, чай и тяжелый вонючий хлеб.

Перед исповедью нас послали перебирать картошку в погреб к управляющему И. И. Свазу. Да, мы видели пищу! Там стояли пузатые банки с солеными помидорами, несколько сорокаведерных

бочек с арбузами, висели толстые окорока, качались сушения, блестели маринады. А какие улыбались навстречу нам настойки! Мы утащили пять бутылок и на исповеди стояли полупьяные.

Я благодарен И. Свазу за настойки и за один забавный вечер.

Еще не зажгли ламп, я — дежурный. Ах, эта обязанность дежурных заправлять керосиновые лампы. Налъешь керосин, идешь с лампой остороженько. Классы пусты, повесишь лампу в проволочную цепалку и слегка качнешь. Все поплывет вокруг, тоже качаясь и наполняясь желтым светом. В углу стоит громадная черная доска, чистоты необыкновенной. Подойдешь и напишешь крупным мелом: « $2 \times 2 = 4$ . Индия, Болеарские острова».

Порфирка, я и белесый «вьюн» Кузька Выпих несли лампы. Сваз очинял у окна карандаш. В небе над ним горела звезда.

— К снегу, — неизвестно почему, сказал Порфирка, указывая на звезду.

Тогда Сваз обернулся к нам:

— Это Венера.

— Кто она такая?

Сваз обрадовался.

Едва он начал рассказывать, как я вспомнил его некрасивую, курносую жену с тоненькими глазками. О ней говорили, что она любовница Квашни и ворует у Сваза деньги, а Сваз ее боится и притворяется, что не знает о кражах.

— Так вот, ребята, была, говорят, на свете греческая богиня, а Греция — это такая теплая страна на море...

— У ней, кажется, есть архипелаги, — сказал я.

— Есть и архипелаги, а еще более удивительны ее боги.

Он рассказывал нам долго. Давно уже скрылась Венера, давно уже прозвонил дежурный: «В кровати!» А когда рассказ кончился и мы ушли от Сваза, огромная злоба овладела нами. К тому же мы пропустили ужин. Мы вспомнили его погреб. Тогда я предложил совершить подкоп в погреб Сваза и сразу всем сорока ученикам с'есть свазовские запасы. Неожиданно на моей стороне оказался Яшка Ялушин. За такое

дело нас могли выгнать. Приближалась весна, скоро наступит пахота. А пахать Яшке не хотелось, не хотелось и учиться, а тут еще экзамены.

Яшка хлестнул меня тряпкой, которой стирал мел с доски, и сказал:

— Наши сибирские казаки в Манчжурии не подкачали, а здесь-то и недавно.

Средина согласилась делать подкоп при том условии, если мы трое — Порфирка Седомский, Яшка Ялушин и я — возьмем всю вину на себя. «Вьюнам» мы пригрозили ножами, и «вьюны» испуганно замолчали.

Подкоп решили устроить во время экзаменов. Я очень боялся экзаменов, учился я плохо, и мне хотелось, чтобы меня выгнали из школы за удаль, а не за плохое ученье.

Но экзамен я выдержал успешно. За три дня перед экзаменами я прочел подряд все учебники — и запомнил их.

Широкогрудый поп с бородой в седую крапинку, председательствующий на экзамене, погладил меня по голове.

— Успешествуйся! Через три года будешь ты техником сельского хозяйства.

И сказал своему соседу:

— Техники необходимы. В прошлом году суслики уничтожили у меня две трети урожая.

— А саранча?

— И саранча вредна, — вздохнул поп.

Но как же подкоп? И зачем он мне нужен? Но я не мог предать приятелей. Сразу же после экзамена я пришел к управляющему и сказал, что дядя велел мне уйти из школы. И. И. Сваз необычайно обрадовался. Велел низко-низко кланяться дяде — и отпустил меня.

Круглый самовар. Суетливый дядя кричит в окно. Попрежнему перед теткой Фиозой бесчисленное варенье. Мать моя печет на кухне оладьи. Тетка Фиоза стала еще величественнее, еще румянее, еще белей. Я обмер так, как никогда не обмирал. Какое счастье жить с нею рядом, видеть ее каждый день! Взял бы меня дядя хоть в кучера. Василий Ефимович, обжигаясь, торопливо

допил стакан, покрутил усы, поддернул штаны.

— Ушел, значит?

— Ушел.

— Вобщем... Жениться тебе, Сиволот, рано, направляю я тебя, брат мой, в прикащики... — Он растерянно взглянул на жену: — Куда бы мне его направить?

— Направь его вниз.

— И верно, направляю я его вниз.

## 5

Ранним утром пароход высадил меня у крутого берега. Возле костра грелись киргизы. Тополя курчавились по высокому скату. Киргизы кинулись грузить бочки и кожи. Капитан с мостика кричал в широкий рупор. Из трубы парохода летели прощальные искры.

Я продрог. Большеголовый человек с белесым чубом, перекраивающим его лицо, потянул меня за руку. Большеголового звали Федор Малых. Он помогал моему «нижнему» дяде Кузьме Кузьмичу Македонову, заведующему лавкой Давыда Лыкошина в поселке Урлютюпском. В тележке Федор Малых всю дорогу от пристани до поселка рассуждал о моей судьбе, тяжелой и невыгодной. Вожжи же то и дело выпадали из его рук. Он достал кисет и тоже выронил. Долго искал, поучая меня, что я неправильно сижу, что человек даже в сиденьи должен иметь выгоду. Пряди волос падали ему на губы.

— Не ужиться тебе здесь, придется к «верхнему» дяде ехать.

Родственники наши делились на «верхних» и «нижних», — по течению Иртыша.

Дядя Кузьма Македонов жил в новом розовом доме. Говорили поселком — у него долгая и страстная любовь к хозяйке Юлии Лыкошиной. Сам владелец дела купец Лыкошин за убийство шансонетки в Омске был приговорен к четырем годам тюрьмы и уже отсидел два года. Дядя лыс, тонок, с пискливым голосом. Он холост. Хозяйством управляла его сестра, толстогубая Софья Кузьминична, помогала ей дальняя родственница Клавдия, девушка с зелены-

ми сережками в ушах. Жена купца Лыкошина ревновала дядю и часто ночами приходила внезапно: узнать, не лежит ли он с Клавдией.

Правилось мне все вокруг. Я спал у дяди на кухне, вставал рано утром, шел подметать лавку, двор, пилил с работниками дрова, носил из склада тюки мануфактуры. Днем мы ездили к пароходу, обедали почему-то в сарае. Отгускали нас домой поздно вечером. Ночью я часто просыпался, прислушивался: не идет ли с ножом в зубах купчиха Лыкошина. Тошая, с зонтиком и сумкой в руках, она необыкновенно искусно бранилась по-киргизски, била работников и злобно смотрела на дядю. Я был уверен, что она зарежет его. Это было даже немножко любопытно. Я полагал, что у лысых мало крови, и мне хотелось проверить свои предположения. Удивляло меня еще и то, что дядя Македонов, явно боясь купчихи, поддакивая ей во всем, послушно исполняя все ее приказания, все же ухитрялся так ловко обманывать ее, так ловко воровать, что в течение пятнадцати лет его ни разу не поймали ни хозяева, ни приказчики. Весь поселок завидовал его воровскому искусству, а больше всего завидовал Федор Малых. Приказчики неустанно следили за дядей. Неужели, — подумал я, — и мне следить? И я решил, что он ворует по приказанию купчихи. А если и спит с Клавдией, то это, чтобы купчиха смогла совершить преступление и проникнуть к своему купцу в тюрьму.

Но все мои размышления о любви и воровстве раздавило огромное количество увиденных сладостей на складе и в лавке. Нигде позже не видал я столько конфет — шоколадные, клюквенные, земляничные, мармеладные, в белоснежных, пурпуровых, желтых и алмазно-прозрачных коробках, они лежали на прилавках, глядели с полок, загромождали самые отдаленные углы склада. Но к ним трудно пробраться! Тюки кожи, сукна, сбруя, гвозди, цыбики чая преграждали мне путь. К сладостям допускались только опытные приказчики. Они раскрывали тюки с изюмом, урюком, винными ягодами, а мне доставали

лись кожи и чай. Неужели, — думал я, — казаки и киргизы столь лакомы? И я понял, чем меня прельщала Индия. Прежде всего она чрезвычайно сладка. Мне снился сахарный тростник. Качались под ветром белые сладкие стебли. Я твердо знал, что они не могут быть белыми, но все-таки я не верил в тростниковую зелень.

Я решил хорошо служить.

И вот я прилежно возил на пристань бочки с маслом, помогал принимать грузы. С парохода кричал сиплый голос: «Лови чалку!» Я ловил эту скользкую, мокрую веревку. Дожидаясь парохода, мы жгли костер и рассказывали свои похождения. Я сбирал в темноте валежник, ощупью: по хрусту возле ног. Я узнавал далекое шлепанье паровых лопастей по воде.

Начиналось лето. Несмотря на все мое прилежание, я все еще имел право делать не более пяти шагов вовнутрь кладовой, а до сладких тюков оставалось еще шагов двадцать. Мне выдали тяжелые сапоги и поддевку, в руках у меня приемная тетрадь и привязанный к ней карандаш, изгрызанный и пачкающий. Я доволен. Ну, еще месяц, ну два, и я попаду все-таки в сахарную кладовую и туго набью конфетами огромные карманы поддевки.

А через неделю Федора Малых и меня отправили «вправо», далеко через степь, к опушке бора. В этом далеком и загадочном бору киргизы заготовляли лес и возили его в Урлютюп.

Лыкошины решили открыть в бору лавку, где бы киргизы и переселенные украинцы покупали мануфактуру и сбрую. Вozы к бору идут пустые, — пусть лучше возят товары.

Мы ехали нескончаемо долго. Перед закатом волов выпрягали. Я сбирал сухой конский помет, разводили костер. Степь лежала глянцеви́тая и пустая. Я впервые попал в подлинную киргизскую степь. Как приятны молодые травы! Я вставал рано, ложился в траву и смотрел в небо. Волы пыхтели, от телег пахло дегтем. Небо в галунном блеске. Жаль, что мы везли плохие конфеты. Но и мануфактура тоже плоха.

Попрежнему у Федора Малых падали вещи из рук: рубахи, хлеб, чашки. Чуб валился в сторону, и казалось, глаза у него тоже вываливались. Свесив ноги с телеги, он рассуждал:

— Вот кабы украсть... такое... а что, и не знаю.

— Красть, по-моему, скучно, — говорил я.

— Не знаю, скучно или весело, а приходится. Все крадут. Ну вот попробуй укради в нашей лесной лавке. Македонов такие назначил хитрые цены, что киргизам и переселенцам за двести верст ехать за покупками выгоднее, чем у нас. Вот тут и назначь цены выше.

Казалось, Федор Малых знает, кто и сколько украл по всему миру.

— А кто не ворует? Укажи! — спрашивал он меня, возчиков-киргизов, всех встречных.

На краю громадного леса увидели мы нашу лавку. Лес был тяжелый, ровный, а если и выскакивала вверх какая сосна, то она непременно карминно-красная. Рядом с лавкой киргизы в ситцевых чамбарах неустойно пилили бревна. Сухая жара окружила нас.

— Нет, куда покупателю явиться!..

И точно, покупатель являлся плохо.

Киргизы складывали новые плахи на воза. Опять я ходил среди возов с тетрадью, опять жгли костер. Только валяжник собирать было легче.

Поодаль от нашей лавки, в зеленой избушке, жил лесной об'ездчик Петр Водозовов. Об'ездчик уехал в Урлютюп. Нас угощала чаем жена его Елизавета, высокая, удивительно стройная, с тяжело-чугунными глазами. Я обижался на свой малый рост, я старался говорить мудро, ходил вразвалку, словно киргиз, и отпустил чуб, подобно Федору Малых!..

Тетка Фиоза прислала к нам своего Вильку. Волк сорвался с веревки и передал у нее всех кур, залез к соседям и задушил теленка. Волка привезли в клетке, на тройке взмыленных и перепуганных коней. Киргизы долго рассказывали, с каким трудом они запрягали эту тройку. Вся степь крайне недоумевала: зачем сюда везти волка, когда и без того пасть волков!

Мы его привязали на цепь к углу лавки. По вечерам он выл. Лес отвечал ему тоже воем. Кони и волы танцевали.

Елизавета, жена об'ездчика, учила меня мягкому «разговору» с животными.

— И человеку, и прочей скотине надо в первую очередь лбстить, милый мой.

Легкая, какая-то непачкающаяся, она заставляла верить многому. Она находила особые мягкие слова, и, хотя все в хозяйстве было чрезвычайно грязно, хотя платье на ней болталось кое-как, в квашне плавали мухи, иконы висели косяком, пол не подметался, все же удивительная опрятность окружала ее. На другой день после нашего приезда она обнималась с Федором Малых, а ночью, взволнованный, я видел, как ее тискал киргиз, десятник пыльщиков. Он приехал час тому назад и Елизавету видел впервые. Мне стало легко. Еще вчера я завидовал удали Федора Малых. Мне хотелось сказать Федору о десятнике, но зачем? Елизавета также упадет у него из рук, как падали все вещи, как падал аршин, которым он мерил киргизам ситец.

Волк сидел у крыльца и, смотря на громадные сапоги киргизов с каблуками пальцев в шесть вышиной, весело выл.

Пищу волку варили в особом котле. Когда подходишь без пищи, он позволяет гладить, жмурит глаза, и когда он совсем закроет глаза, то котелок, который до этого держишь за спиной, внезапно сунешь ему под нос. Но руку убирай скорей, иначе он старался тянуть раньше всего за руку.

Елизавета не прятала пищу за спину. Она ставила котелок прямо к волчьей морде, и волк не кусал ее. Он позволял гладить себя ночью, когда выл и когда соотечественники откликались ему из лесу.

Елизавета ела, что попадется, вроде волка. И это, и то, что она по-особому умела смотреть на мужчин, казалось мне чем-то нездешним. Она подолгу стояла возле козел, и у нее был такой взгляд, что старый-престарый киргиз засучал гачи и взволнованно говорил:

— Кэтэ, уходи!

Она облизывалась и сплевывала, когда перед пилкой киргизы снимали рубахи. Опершись обеими руками о желтое бревно, на котором таяли солнечные искры и редкий ветерок словно оставлял свое течение в жирной смоле, она говорила:

— Малодогадливые вы.

— Твой очень плохая баба, — отвечал старик.

— Перетолмачь, не понимаю.

Федору Малых она говорила:

— Мне много надо творенья. Я веселая, как весы.

Федор попрежнему твердил:

— Умеют же люди ловко воровать. Пустая наука, а как подойдешь к ней?

Облокотившись на прилавок, она смотрела в сторону ласковыми глазами. Федор ей надоел.

— Хоть бы ты ограбил кого, Федор.

— Если даже и полную кассу украдешь, куда убежишь?

Иногда к ней являлись верст за полтора или за двести об'ездчики, якобы справляясь, не приехал ли муж. Она оживлялась, но утром опять ходила с чужунными глазами. Я думал: никто не умеет поговорить с ней по-настоящему. Я искал в себе особые слова, но тоже не мог ничего найти.

На закате Федор и я ходили в бор стрелять тетеревов. Вот странная, сдвинутая куда-то вбок птица! Тетерева непременно перед закатом садились на вершины самых высоких карминных сосен. Темные, мохнатые, они сидели неподвижно, словно тоскуя по уходящему свету.

Подойдешь к самому дереву, выстрелишь. Если не попал, тетерев, сверкая пушистыми крыльями, летит на другую карминную вершину. Мы шли от одной вершины к другой. Это было глупое и тоскливое занятие. Мы набивали громадный мешок тетеревов: для себя и для Вильки.

А на следующий закат карминные вершины опять наполнялись тетеревами.

По воскресеньям и двенадцатым праздникам мы ездили пить кумыс к богатым киргизам. Вся степь сплошь покрыта дикой клубникой. Ягоды величиной в наперсток, плотные, пахучие, ле-

жали перед нами верста за верстой. Возле дороги бродили дрофы, они, увидав нас, тяжело бежали и летели, словно с якорями. Федор Малых все никак не мог собраться поохотиться на дроф. Мне казалось, он навсегда увяз в скуке и в рассуждениях о воровстве.

— Ну, укради ты хоть десять рублей, — говорил я ему.

— Десять рублей — жульничество. Кража начинается от сотни.

Я резал птиц на кусочки и варил их в масле. Это кушанье по-киргизски называется «каурдак». Варить его нужно на чистом воздухе. Тогда оно мне чрезвычайно нравилось. Приходила Елизавета, брала кусочек мяса, относила к Вильке и, возвратясь, смотрела на огонь и тоскливо говорила:

— Увезли бы мое женство в город да посеяли в публичном доме. Только плохо там: и старики часто пляшут, а я не люблю стариков. Богатой бы мне быть, персики кушать. Для меня условиться легко, как перо сдунуть.

— Мужа тебе надо с кулаками, он бы тебя перетаврил.

— Увези меня, Федька, в публичный дом, вот тебе и кража.

Я впервые видел женщину, которая говорила о публичном доме так откровенно и просто.

— Зачем мне дано знать причину моей муки, а не дано изменить ее? Плохо, Федор, устроена моя жизнь. Ну, кто меня увидит в этом бору?

— Копи деньги.

— Сколько я скоплю от двадцати рублей жалованья? Пять лет копи, купишь шелковое платье, а глядишь — молодости-то и нету.

Она брала опять кусок мяса и несла его Вильке.

Когда ягода в степи осыпалась, приехал желтый, как из латуни, об'ездчик Петр Водовозов. Он ненавидел лес. Он любил городскую жизнь, любил рассказывать о своих встречах с особыми людьми, помнил, как они были одеты, и особенно точно помнил все металлическое на этих людях: кольца, сережки, пряжки. Он хвастался часами какого-то чудесного завода и серебряной цепочкой. Лес он об'езжал только опушкой, пото-



му что ему нравилось, когда выбегают зайцы. Он останавливал коня, махал плетью, вставал на седле и кричал. Голос у него был какой-то подплясывающий, к тому же он сильно шамкал.

Я шел раз из бора, нагруженный тетеревами. Он не видел меня и кричал в степь, вслед зайцу:

— Поддай! Эй! Живой! Бросок! Кулунда! Нажимайте! Смирнов, Терентьев, да что вы, ослепли, берите выше, осинником, осинником, говорю!

Но вокруг него не было ни собак, ни людей, да и заяц давно скрылся, а он все шамкал, все оборачивался влево, разводил руками и хвастливо говорил:

— Ну-с, каковы мои леса, Матвей Сидорович? Дарю тебе сто десятин корабельного.

Елизавета ездил по лесу одна. Я думаю, она скучала с мужем потому, что до его приезда она всегда сидела дома. Но лесные кражи от ее объездов не уменьшились. Переселенцы и киргизы посылали ей навстречу красивых шарней. Лениво смеясь и щипля Федора за бок, она говорила, возвратясь из бора:

— Я будто Екатерина Великая, только она наверно мужиков сгребала по другой причине, а может быть, и народ иной был, почему же я не могу выбрать Потемкина? Зачем мне дана такая страсть? И ребенка нету, так просто живу не для наказания, а для беспокойства.

Тень ее беспокойно нависала над валяжником, собранным для костра. Я боялся ходить в лес, чтобы не встретить ее. А вдруг, — думал я, — она пройдет мимо меня?

Водовозов знал какие-то свои приемы властвования над людьми. Лесные воры ночью стучали в окошко, он выходил, ему говорили о крупных порубках. Он не ездил сами не ловил порубщиков, он писал письмо, и порубщики присылали ему взятку. Он называл это «цапаньем за щиколотку». Он копил деньги, чтобы под каким-нибудь предлогом уехать в Павлодар или в Урлютюп и пропить. Елизавета ли, лес ли здесь очень хороший, но постоянно из бору доносился стук топоров. Мне думалось — порубят весь лес, а он стоял попреж-

нему густой, и попрежнему неисчислимые тетерева сидели на карминных вершинах.

Петр Водовозов и женой своей Елизаветой владел. Он ссорил ее с любовниками, рассказывал сплетни и рассказывал их так умело, что ему все верили.

— Вот Петька, он врать не умеет, — говорила Елизавета.

Он поймал Федора Малых и Елизавету на прилавке.

— Дверь-то бы хоть запирали, — сказал он и вышел.

Водовозов выписал четверть водки, настоял на смородине, подержал водку положенное количество дней на солнце, велел жене сделать пирожки из сушеной клубники и вечером пригласил Федора Малых. Комнату он украсил сосновыми ветками и хвостами тетеревов.

Малых понимал, что произойдет битва. Целый день он сидел на крыльце лавки с грустным лицом и чистил ружье. Ружье блестело в его тонких руках, он зарядил его крупной дробью.

— Не дано мне украсть крупной сумы, — говорил он, вздыхая.

Я смотрел в окно. Мне было любопытно, как же убьют Федора Малых. Он мне надоел.

Они долго и медленно пили из толстых матово-ржавых рюмок. Пирожки плоские, алые. Обездчик сверкал глазами, тыкал пальцем в тонкую свою латунную грудь. Тускло горела керосиновая лампа, а пузырь у ней очищен.

Они допили четверть. Водовозов потряс и опрокинул посуду, медленно из нее капали в рюмку длинные капли. Держа подмышкой четверть, Водовозов опрокинул в рот рюмку, ударил четвертью о стол и, освирепев, схватил висевшее среди зелени ружье.

Елизавета кинулась к дверям. Мне показалось, что лицо у ней было веселое и довольное. Федор Малых побледнел, затрясся и выполз через порог на корачках.

Дорогу вдоль опушки освещала луна. Я бежал впереди всех с криком и плачем. За мной Елизавета, а позади — Федор Малых. На Елизавете розовое платье, волосы ее развевались, дышала она легко.

Шамкая, бежал за нами об'ездчик и стрелял с ровными промежутками сразу из двух стволов. Больше всего меня пугало, почему они все бегут по дороге, а не хотят свернуть в лес. Петр Водовозов улюлюкал, так же, как он улюлюкал тогда на зайца.

— Максим Петрович, Иван Егорович, Сосвитуй, Пономарев, все смотрите, как уничтожаю жену-потаскуху и сажусь на каторгу!..

Федор Малых бежал развинченно. Деревья, казалось, обвисали на него. Он падал, и тогда Елизавета перегоняла меня с визгом, а я кричал:

— Убивает!

Федор язвительно вскрикивал:

— Ясно, и тебя убьют.

— Убью! — где-то далеко отзывался об'ездчик.

Наконец Водовозов выпустил последний патрон и повалился. Елизавета медленно подошла к мужу и ощупала его. Она взяла ружье на руку.

— Эх, дуло-то раскалил, — сказала она, легонько смеясь.

Она пощупала у Федора щеки. Федор достал из кармана гребешок, голос у него дрожал. Он ударил каблуком об'ездчика. Елизавета спокойно сказала:

— Глаз только не вышиби. Бей его в живот.

Затем они свернули в лес. Я забрался в стог сена и задремал.

Вернулся Федор совсем пьяный. Елизавета презрительно молчала. Он мне сказал:

— Завеличалась пакостная баба. Смерти избежала, богу бы молиться надо, а она мне чуть душу не вывихнула разговорами.

— Ты разговорчив, — со злобой сказала Елизавета.

Федор, приседая, быстро пошел вперед. Елизавета осталась возле мужа.

У лавки, сверкая глазами, вертелся Вилька. Из леса выли. Луна уходила за степь.

Внезапно Федор Малых перекрестился и полез целоваться к волку. Он наклонил к нему лицо. Волк прыгнул на него и молча начал его кусать. Я затрясся и зарыдал. Федор Малых протягивал к волку руки, желая его обнять. Это

было очень страшно: это сверканье зубов, луна, пьяное бормотанье, звяканье цепи и пасть, скачущая по телу Федора.

Я закричал, но никто не отзывался. Киргизы заперлись у себя в землянках и юртах.

Федор поскользнулся и упал на меня. Цепь коротка, и волк не смог допрыгнуть. Он молча скрылся под крыльцом.

Федор Малых, залитый кровью, в изорванной одежде, оттолкнулся от меня и пошел к потухшему костру. Он добавил валежника.

— Давай плясать, парень!

Он упал и заснул. Меня пугало его плоское, поперек разорванное ухо, из него густо текла кровь. Я вспомнил, что где-то я читал — зола затягивает раны. Я пригоршнями стал брать золу и посыпал его. Я оттащил в сторону Федора, добавил валежнику в костер, подтянул широкую плаху: вместо постели. Федор лежал, как мне казалось, в мертвом сгибе.

Я проснулся поздно. Уже давно сверкали пилы. Федора Малых возле костра не было.

У крыльца лавки стоял об'ездчик Водовозов. Латунь его лица отдавала широкой синью. Подняв высоко кулак, он шамкал:

— Я ее отпущу! Я ей буду выплачивать все мое жалованье! Сглазила она меня, и теперь я только, после выстрелов, прозрел. Даю ей свободу, она много счастья способна принести, но не мужу. Мужа ей не требуется. И тогда многие скажут: правильно сделал, что отпустил, благодетель ты людской, Петр Водовозов.

— Все равно подаю в суд, — послышался из лавки голос Федора.

— И для казны благодать. Лес вернут не потому, что на моем участке лес лучше, а из-за удивительной бабы.

Малых, весь перевязанный, вышел из лавки. В руке он держал кол.

Лениво подошла Елизавета.

Петр Водовозов разжал кулак и протянул руку.

— Стгоданная моя жизнь...

— Меня больше обглодали, — сказал Федор Малых.

— Но ты же меня обесчестил. Ты меня бил. И ты же меня тянешь к мировому!

— А кто меня волку в зубы толкнул?

Об'ездчик тяжело вздохнул.

— Ничего не помню.

Елизавета рассмеялась.

Федор Малых сказал резко:

— Плати десять рублей и получай мою руку.

— Три!

— Пять!

— Три!

— Давай!

Малых сложил втрое бумажку, сдул невидимую пыль. Елизавета подбочилась. Малых пожал руку об'ездчику.

— Для обезврежения водки?

— Кваску бы,—прошамкал об'ездчик.

— Ишь, чего захотел? Кумыса привезли,—сказала Елизавета.

Высоко держа ковш, наполненный до краев синеватым кумысом, об'ездчик медленно пил, поглядывая на кол.

— Для меня приготовил?

— Вильку убью,—грубой обделки животного.

Елизавета вдруг, зыбко смеясь, сказала:

— Ну, так начинай.

Федор Малых, размахивая колом, подбегал к волку с разных сторон: как бы половчее ударить. Волк злобно скалил зубы.

— Эх вы! И зверя убить не можете Привязанного...—Елизавета подошла и закутила короче цепь.

Все рассмеялись. Они вспомнили, что вчера с испугу Елизавета высыпала весь порох в простоквашу, иначе волка пристрелили бы. «Как ей не жаль Вильку?» — думал я. Она жевала калач и смотрела на волка своими чугунными глазами. Где-то в себе она нашла оправдание этого убийства, оправдание, которого я не понимал и которое обижало меня. Мне хотелось убежать, но тягостное любопытство, такое же, как когда убивали конокрада в Волчихе, удерживало меня.

Волк подпрыгивал, мотал головой. Малых сплевывал перед каждым ударом. Лицо у него скучное, наверное, перед тем, как убить, он долго рассу-

ждал и нашел здесь какую-то выгоду. Он старался удар направить волку в нос. Малых ловко прыгал, ловко целился, но удары попадали волку по ребрам. Наконец Малых изловчился и выбил глаз. Волк завыл, он струсил. Трусость его быстро прошла, он упал на живот и молча грыз цепь. Изредка он лязгал зубами, стараясь поймать кол, но поймать ему не удалось, и тогда он опустил голову. Мне показалось, что он положил голову на землю, чтобы ударить было удобнее. Малых понял это. Он отдохнул, вытер шею, потную и тоненькую, и с большого размаха ударил волка между ушей. Все-таки волк подыхал долго. Из рта его шла кровь, он хрипел и быстро крутил хвостом.

Петр Водовозов выпросил на память волчью шкуру.

— Наше место свято, если поругание снято, — сказал он, неизвестно, к чему.

За чайным столом они говорили о порубщиках, о торговле, смеялись над своими синяками. Федор Малых перерыл свои соображения о пользе воровства. Об'ездчик вспоминал пышный и шумный город. Елизавета опять глядела в окно.

Я удивлялся на этих людей и, признаюсь, несколько восхищался ими, их легко исчезающей злобой, их дешевым лукавством. Елизавета не появлялась в лавке, она охладела к Федору, и Федор не обижался. Елизавета завела кошку, из поселка ей привезли жирную, беременную суку — сеттера. Малых тоже перестал ходить к об'ездчику. Даже глухой осенью, в распутицу, когда невозможно воровать лес, когда об'ездчики разметаны врозь, Елизавета сидела одна в домике.

Зимой торговля шла совсем плохо. Киргизы откочевали в «джетак», к Иртышу. Степь пустынна, дороги нет, непрестанно дули ветры. Федор Малых купил четверть водки, настоял ее на кореньях, пригласил в лавку об'ездчика и его жену. Я уже не ждал стрельбы и убийства. И точно, все трое целовались весь вечер, говорили друг другу ласковые слова, и на другой день мы с Федором переехали в избу об'ездчика.

Избу топили жарко. Меня заставляли пилить и колоть дрова, но помогать мне в пилке никто по лени не хотел. Я ходил в лес, рубил сучья и топил печи. Меня заставляли стряпать. Я стряпал «баурсаки» и блины, я научился делать пельмени, месить квашню.

Федор Малых перешептывался с об'ездчиком, об'ездчик качал отрицательно головой.

— Не годится.

Федор Малых вновь предлагал какую-нибудь необыкновенную кражу.

Однажды заехал богатый киргиз Таесчи. У него были длинные черные глаза, воловья шея. Елизавета вспыхнула и пожелала прокатиться по степи. Но у киргиза верховая лошадь. На другой день он приехал в санках. Пара вороных подхватила и унесла Елизавету. Когда она подбирала под себя полы тулупа, меня удивило ее чужое лицо, сухие губы. Кошка смотрела в окно. Опираясь на полозья, позади санок ластилса сеттер.

Об'ездчик бессильно плакал в избе. Федор Малых стоял с деревянной лопатой возле санок. Он расчищал дорогу от избы к лавке.

— Заказывай, чего тебе из Урлютюпа привезти, — сказала Елизавета.

Федор опустил лопату в мягкий снег.

— Того, чего мне надо, ты не привезешь.

— А чего тебе надо?

— Умения бы скрасть!..

Киргиз свистнул, кони исчезли в снегах.

— Не вернется, — сказал Водовозов, когда мы вошли к нему в избу.

Она не вернулась.

Весной нам велели переезжать в Урлютюп.

Лыкошинский двор тесно забит подводами. С крыш валились со звоном молочко-белые сосульки. Опять передо мной лежал склад, наполненный доверху сладостями.

И опять я не попал в склад. Каждый день меня посылали за пятнадцать километров встречать почту: дороги возле

Урлютюпа испортились, и почта проходила стороной. Я скакал по оврагам, об'езжал рыхлые снега, изредка на меня насакивали мокрые, снежные бури. Иноходец быстро несся обратно. На боку у меня висела почтовая сумка. Я размахивал нагайкой. Мне вспомнились киргизы-охотники, которые нагайкой, на всем скаку, убивают в степи горностая. Шкурка стоит пять рублей. Я бы купил много конфет, рьжее портмоне, лаковый пояс. Но горностан не попадались мне.

Каждый день я отважно соскакивал у почты, привязал чембырь к столбу и вразвалку подходил к сетчатой перегородке. Купец писал из тюрьмы своей жене. Мне хотелось прочесть эти письма, меня волновали эти длинные синие конверты, размашистый почерк. Наверное приятно сидеть богатому убийце в тюрьме.

«Забедокуру, — думал я, скача по степи, — забедокуру, когда вырасту большой. Убью шансонетку, разбогатею, попаду в тюрьму».

На поездку я тратил полдня, остальное время я проводил в «джетаках», окраине поселка, где киргизы блюли скот купца Лыкошина. Мне поручалось наблюдать, как они кормят скот, но я ни за чем не наблюдал. Я лежал в землячке на кошме и время от времени оседлывал коня и выпускал на улицу самых бойких телят. Телята, задрав хвосты, бегали по узким улочкам. Я схватывал «укрючину» — длинную палку с веревочной петлей, — садился на коня и ловил телят.

Приятно скакать по замороженной утоптанной дороге, приятно гикать и размахивать гладкой укрючиной. У пригонов киргизки, поправляя на голове «чувлуки», с уважением смотрят на меня. Дым пахнет молоком и кизяком.

«Вот придут пароходы, — думал я, — придется перекладывать товары, и я без помож'я попаду в склад».

Но опять высокие препятствия встали передо мной.

Едва Иртыш очистился ото льдов, нас послали в глубокую степь «переездными».

(Продолжение следует).

# Трактир

Поэма

## ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

### Посвящение первое (ироническое)

Всем неудачникам — хвала и слава!  
Хвала тому, кто в жажде быть

свободным,

Как дар, хранит свое дневное право—

Три раза есть и трижды быть

голодным.

Он слеп, он натывается на стены,

Он одинок. Он ковыляет робко.

Зато ему пребудут драгоценны:

Пшеничный хлеб и жирная похлебка.

Когда ж, овеяно предсмертной ленью,

Его дыханье вылетит из мира, —

Он сытое найдет успокоенье

В тени обетованного трактира.

### Посвящение второе (романтическое)

Увы, мой друг, мы рано постарели

И счастьем не насытились вполне:

Припомним же попойки и дуэли,

Любовные прогулки при луне.

Сырая ночь окутана туманом...

Что из того? Наш голос не умолк

В тех погребах, где юношам и пьяным

Не отпускают вдохновенья в долг.

Женаты мы. Любовь нас не волнует.

Домашней лирике приходит срок...

Пора! Пора! Уже нам в лица дует

Воспоминаний слабый ветерок,

И у сосновой струганой постели

Мы вспомним вновь в предсмертной

тишине

Веселые попойки и дуэли,

Любовные прогулки при луне.

(Сцена изображает чердак в разрезе. От чердака к низким и рыхлым облакам подымается витая лестница и теряется в небе. Поэт облокотился о стол, опустив голову. На авансцену выходит чтец.)

Чтец:

Для тех, кто бродит по дворам

пустым

С гитарой и ученою собакой,

Чей голос дребезжит у черных

лестниц,

Близ чадных кухонь, у помойных ям,

Для тех неунывающих бродяг,

Чья жизнь, как немощеная дорога,

Лишь лужами и кочками покрыта,

Чье достоянье — посох пилигрима

Или дырявая сума певца, —

Для вас, о, неудачники мои,

Пройдет нравоучительная повесть

О жизни и о гибели певца.

А вы, имеющие теплый угол,

Постель и стеганое одеяло,

Вы, греющие руки над огнем,

Прислушиваясь к нежному ворчанью

Похлебки в разогретом котелке, —

Внемлите этой повести печальной

О жизни и о гибели певца.

Певец:

Окончен день, и труд дневной

окончен...

Башмачник, позабывший вколотить

Последний гвоздь в широкую

подонгу,

Встречает ночь, удобно завалившись

С женою спать. Портной, мясник

и повар

Кончают день в корчме

гостеприимной

И пивом, и сосисками с капустой  
Встречают наступающую ночь...  
Десятый час! Теперь на скользких  
крышах  
Кошачьи начинаются свиданья,  
Час воровской работы и любви,  
Час вдохновения и час разбоя,  
Час, возвещающий о жарком кофе,  
О булках с маслом, о вишневой  
трубке,  
Об ужине и о трядущем сне...  
И только я, бездельник, не узнаю  
Чудесных благ твоих, десятый час...  
И сон идет — и пухом задувает  
Глаза... но только веки опущу —  
И улица плывет передо мною  
В сиянии разубранных витрин...  
Там розовая стынет ветчина,  
Подобная прохладному рассвету,  
И жир, что обволакивает мясо,  
Как облак, проплывающий в заре...  
О, пирожки, обваренные маслом,  
От жара раскаленной духовой  
Коричневым покрытые загаром,  
Вас нежный сахар инеем покрыл,  
И вы лежите маслянистой грудой  
Средь ржавых груш и яблок  
восковых.  
И в темных лавках, среди туш  
висящих,  
Меж ящиков и бочек солонины,  
Я вижу краснощеких мясников,  
Колбасников в передниках зеленых,  
Я вижу, как шатаются весы  
Под тягой гири, как нож блестит  
и сало,  
Свистя, разрезывает на куски...  
И мнится мне, что голод скользкой  
мышью  
По горлу пробирается в желудок,  
Царапается лапками тугими,  
Барахтается, ноет и грызет...  
О, господи, ты дал мне голос  
птицы,  
Ты языка коснулся моего,  
Глаза открыл, чтоб скрытое узреть,  
Дал слух совы и сердце научил  
Лад отбивать слагающейся песни...  
Но, господи, ты подарить забыл  
Мне сытое и сладкое безделье,  
Очаг, где влажные трещат дрова,  
И лампу, чтоб мой вечер осветить...  
И вот глаза я подымаю к небу,  
И руки складываю на груди,

И говорю: «О, боже, может быть,  
В каком-нибудь неведомом квартале  
Еще живет мясник сентиментальный,  
Бормочущий возлюбленной стихи  
В горячее и розовое ухо...  
Я научу его язык словам,  
Как мед, тяжелым, сладким  
и душистым,  
Я дам ему свой взор и слух,  
и голос,  
А сам подмышки фартук подвяжу,  
Нож наточу, лоснящийся от жира,  
И молча стану за дубовой стойкой  
Медлительным и важным  
продавцом...»  
Но ни один из мясников не сменит  
Свой нож и фартук на судьбу певца,  
И жалкой я брожу теперь дорогой.  
И жалкий вечер без огня встречаю —  
Осенний вечер, поздний и сырой...

## Чтец:

Так, что ни вечер, сетует певец  
На господа и промысл небесный...  
И вот — сквозь пенье скрипок  
и фанфар,  
Сквозь ангельское чинное хваленье —  
Господь, сидящий на высоком троне,  
Услышал скорбную мольбу певца  
И так сказал:

## Голос:

Сойди, гонец послушный,  
С небес на землю. Там, в пыли  
и прахе,  
Измученного отыщи певца.  
За руку возьми и приведи  
Его ко мне, в мой рай обетованный;  
Дай хлеб ему небесный преломить  
И омочи его гортань сухую  
Вином из виноградников моих...  
Дай теплоту ему, и тишину,  
И ложе жаркое приуготовь,  
Чтоб он вкусил безделье и отдых.  
Сойди, гонец...

## Чтец:

И уж бежит к земле  
По лестнице, высокой и скрипучей,  
Гонец ширококрылый. И к нему  
Все ближе придвигается земля...  
Уже он смутно различает крыши,  
Верхи деревьев, купола соборов,

Он видит свет из-за прикрытых  
ставен  
И в уличном сияньи фонарей  
Вечерний город, смутен и спокоен.  
По лестнице бежит гонец послушный,  
Распугивая голубей земных,  
Заснувших под застрехами собора.  
И грузный разговор колоколов  
Гонец впивает слухом непривычным...  
Все ниже, ниже, в царство чердаков,  
В мир черных лестниц, средь стропил  
гниющих,  
Бежит гонец, и в паутине пыльной  
Легко мелькают ясная одежда  
И крылья распростертые его...  
О, как близка голодная обитель,  
Где изможденный молится певец!  
Так поспеши ж, гонец

ширококрылый,  
Сильней стучи в незапертую дверь,  
Чтоб он услышал голос избавленья  
От голода и от скорбей земных.  
(Стук в дверь).

Певец:

Кто в этот час ко мне стучит?  
Сосед ли,  
Пришедший за огнем, чтоб раскурить  
Погаснувшую трубку. Иль, быть  
может,  
Товарищ мой, голодный, как и я?  
— Войди, пришел!

Чтец:

И в комнату идет  
Веснушчатый и красный, и румяный,  
Рассыльный из трактира, — и певец  
Глядит на бойкое его лицо,  
На руки красные, как сок  
морковный,  
На ясные, лукавые глаза,  
Сияющие светом неземным.

Певец:

О, посещение странное! Зачем  
Пришел ко мне рассыльный из  
трактира?  
Давно таких гостей я не встречал  
С румянцем жарким и веселым  
взглядом.

Гонец:

Хозяин мой вас приглашает нынче  
Отужинать и выпить у него...

Певец:

Но кто же ваш хозяин, и откуда  
Он знает обо мне?

Гонец:

Хозяин мой  
Все песни ваши помнит наизусть, —  
Хоть и трактирщик он, но все же  
муза

Поэзии ему близка, — и вот  
Он нынче приглашает вас к себе.  
Скорее собирайтесь. Долог путь.  
Остынет ужин прежде, чем дойдем,  
И зачерствеет нежный хлеб  
пшеничный.

Быстрее собирайтесь.

Певец:

Только в плащ  
Закутаюсь и шапку нахлобучу...

Гонец:

Пора итти, хозяин ждать не любит...

Певец:

Сейчас иду! Где мой дорожный  
шарф?

Чтец:

Они идут от чердаков сырых,  
От влажных крыш, от труб,  
покрытых сажей,  
От визга кошек, карканья ворон  
И звона колокольного — все выше  
По лестнице, опасной и крутой.  
Шатаются истертые ступени  
Под шагом их... И ухватился крепко  
За пальцы провожатого певец...  
Все выше, выше, к низким облакам,  
Сырым и рыхлым, сквозь дождливый  
сумрак,

Раскачиваема упорным ветром,  
Крутая лестница ведет гонца.  
И падая, и оступаясь вниз,  
И за руку вожатого хватаясь,  
Певец идет все выше, выше, выше,  
От вёдливого холода дрожа.

Певец:

Опасен путь, и неизвестно мне,  
Куда ведет он.

Г о н е ц:

Не волнуйся, ты  
Сейчас найдешь приют обетованный.

П е в е ц:

Но я боюсь! От сырости ночной  
Скользит нога, и лестница трещит...

Г о н е ц:

Будь стойким. Не гляди через  
перила,  
Держись упорней! Вот моя рука,  
Она крепка и удержать сумеет.

Ч т е ц:

Конец дороге, скользкой и крутой.  
Раздергиваются облака, треща,  
Как занавес из коленкора. Свет  
От фонаря, повисшего над дверью,  
Спящей пылью дунул им в глаза.  
И вывеску огромную певец  
Разглядывает с жадным  
любопытством...

Там кисть широкая намалевала  
Оранжевую сельдь на блюде синем,  
Малиновую колбасу и чашки  
Зеленые с разводом золотым.  
И надпись неуклюжая гласит:  
«Заезжий двор — Спокойствие  
сердец».

О, вечно восхваляемый трактир,  
О, запах пива, пар, плывущий тихо  
Из широко распахнутых дверей!..  
У твоего заветного порога  
Перекрестились все пути земные,  
И вот сюда пришел певец и жадно  
Глядит в незапертую дверь твою...  
Да, лучшего он пожелать не смел:  
Под потолком, где сырость  
разрослась  
Пятном широким, на крюках повисли  
Огромные окорока, и жир  
С них каплет мерно на столы

и стулья.  
У стен, покрытых краскою сырой,  
Большие бочки сбиты обручами,  
И медленно за досками гудит,  
Шипит и бродит хмель пивной.

А там,  
На низких стойках, жареные рыбы  
С куском салата, воткнутым во рты,  
Коричневой залитые подливой,

Распластаны на длинных блюдах.

Там  
Дырявый сыр, пропахший нежной  
гнилью,  
Там сало мраморным лежит пластом,  
Там яблок груды, и загар медовый  
Покрыв их щеки пылью золотой...  
А за столом, довольные, сидят  
На стульях гости. Чайники кругом,  
Как голуби ленивые, порхают,  
И чай, журча, струится в чашки. Вот  
Куда пришел певец изнеможенный.  
И ангел говорит ему:

Г о н е ц:

Иди!  
И за столом усядься, ты обрел  
Столь долгожданное успокоенье.  
Хозяин все тебе дарует!

П е в е ц:

Но...  
Чем расплачусь я?

Г о н е ц:

Это только мзда  
За песни, что слагал ты на земле...

Ч т е ц:

С утра до вечера — еда, и только...  
Певец толстеет. Вместо глаз уже  
Какие-то гляделки. Вместо рук —  
Колбасы. А стихи давным-давно  
Забыл он. Только напевает в нос  
Похабщину какую-то. Недели  
Проходят за неделями. И вот  
Еда ему противной стала. Он  
Мечтает о работе, о веселых  
Земных дорогах, о земной любви,  
О голоде, который обучил  
Его стихам, о чердаке пустом,  
О каплях стеарина на бумаге...  
Он говорит:

П е в е ц:

Ну, хватит, погулял!  
Теперь пора домой. Моя работа  
Заброшена. Пусти меня. Пора!

Ч т е ц:

Но тот, кто пригласил его к себе,  
Не отпускает бедного поэта...



Он лучшее питье ему несет,  
Он лучшие подсовывает блюда:  
Пусть ест! Пусть поправляется!

Зачем  
Певцу земля, где голод и убийства?  
Сиди и ешь! Чего тебе еще?

Певец:

Пусти меня. Не то я перебью  
Посуду в этой комнате постылой.  
Я крепок. Я отелся, и теперь  
Я буду драться, как последний

грузчик.  
Пусти меня на землю. У меня

1919—1920 г

Товарищи остались. Целый мир,  
Деревьями поросший и водой  
Обрызганный, в туманах и сияньях  
Оставлен мной! Пусти меня! Пусти!  
Не то я плюну в бороду твою,  
Проклятый боров! Говорю: пусти!

Чтец:

Тогда раздался голос:

Голос:

Чорт с тобой!  
Довольно! Уходи! Катись на землю!

# Рассказы

БОР. ПИЛЬНЯК

## I. ТОВАРИЩ СОРОКИНА

Газета называется: «Догнать и перегнать», орган парткома и завкома 1-го госавтозавода имени Сталина. 8 марта 1934 года. Заголовок: «Так обо мне узнал и Париж». Напечатано:

«...Отец вернулся с фронта коммунистом. Я в то время работала домашней работницей. Шесть лет я так прожила. Но ведь домашняя работница — это не прежняя кухарка. Понемножку стала я в общественную жизнь втягиваться. Стала в группкоме работать. И вот за хорошую работу выбрали меня в 1930-м году в члены Моссовета. Никогда я не забуду этого дня. Мы все, избранные членами Моссовета, под музыку поднялись на трибуну. А внизу — целое море голов, а в сердце — радость такая, что и не расскажешь. В то время я работала у писателя Пильняка. Хозяйка моя написала ему в Париж, где он в то время был, а он взял да сообщил об этом во французскую газету: вот, мол, у нас какие кухарки, не на словах, а на деле управляют государством».

«... Чем больше втягивалась я в общественную работу, тем больше не удовлетворяла меня моя работа домашней работницы. И вот в 1931-м году с волнением я перешагнула в первый раз порог нашего цеха. Стала работать смазчицей. С первых же дней я начала писать в стенную газету «Ремонт». Вскоре пошла учиться в рабочую тех-

ническую школу на токаря. В 1931-м году я вступила в партию. Сейчас я работаю токарем и редактором нашей стенной газеты «Ремонт». Редакция «ДиП» помогла мне попасть на курсы партактива...»

«... Есть у нас и свои поэты: Пантюхин, Егоров и Егорычев. Складно получается и смешно. Теперь уж мы не собираем у рабкоров по одной заметке, — материала у нас всегда довольно. Работа в газете для меня — большая радость».

«... Наряду с работой в цехе я не бросаю работу и в Моссовете. Меня прикрепили для работы в столовой Метростроя. Задание дали твердое: сделать столовую образцовой и вовлечь не менее 15 секционеров. Свое задание я выполнила. Часто мне товарики по работе говорят: «Совсем ты забегалась, Дуняша». А я в ответ смеюсь: «Нам и работа, и отдых — радость».

«... Прошлым летом я отдохнула так хорошо, что на всю зиму до нового отдыха хватит. Побывала я с нашим заводским оркестром в Алуште. Впервые мне пришлось море поглядеть. Ехали мы с музыкой и с музыкой нас встретили рабочие Алушты. Узнали они, что оркестр завода имени Сталина приехал, и пришли нас встречать со своим оркестром. Уж так-то было хорошо, так радостно, что вот бы так и прыгнула в море...»

Под написанным, около фотографии, подпись:

«Сорокина, 30 лет, токарь, редактор стенгазеты «Ремонт» ремонтно-механического цеха МСО, член партии».

Позвонили. Вошел человек в пальто с поднятым воротником, отрекомендовался сотрудником месткома автозавода имени Сталина, вынул из портфеля бумаги и газеты, попросил прочитать заметки и статьи, подчеркнутые красным карандашом, написанное Сорокиной и о Сорокиной, в частности и эту, только что цитированную. Сказал — спросил:

— Я из контроля, — что вы можете сказать о статьях и о товарище Сорокиной, она у вас работала? — об отце ее и о матери, кто они такие? — правда, что она из бедняцкой семьи? — и вы о ней писали?

— Дуняша, — товарищ Сорокина? — еще из какой бедняцкой семьи! — тамбовская деревенская изба, ветром подбитая и с тряпками вместо стекол, отец — бывший председатель комитета бедноты, испокон безлошадный, голопузые братишки. Всё, что напечатано, — правда. И вообще, Дуняша — замечательный человек, умница, работница. И замечательной честности человек!..

Товарищ из партийного контроля был деловит и сух. О Дуняше надо было говорить взволнованно и за Дуняшу надо было радоваться. Товарищ из партийного контроля слушал взволнованную речь о товарище Сорокиной. Радование за человеческий рост — есть подлинная радость. Пять лет прошли рядом, — образ очень здорового человека, и физически, и духовно, здоровой женщины, со здоровыми мыслями и

здоровыми руками, правильной и умной. На самом деле о ней писалось и во французских, и в американских газетах. Там писалось о том, что Дуняша не образно, но конкретно представляла себе революционные заповеди и, командуя на кухне кастрюлями и ухватами, она диспутировала с «хозяйкой»: «Товарищ Ленин сказал, что каждая кухарка должна уметь управлять государством, — ну, вот я и учусь!..»

В парижских газетах не писалось — не писалось, ну, вот, хотя бы о следующем. Собрались поехать на дни Дуняшиного отпуска в ее деревню, к ее отцу, философу и революционеру, полубольному человеку, раненному в свое время на фронте, по философскому своему умунастроению подававшему заявление об исключении его из партии «по старости и по нездоровью, мешающим работать с полной революционностью». Билеты можно было купить в городской кассе и на станции, можно было купить плацкартные и бесплацкартные билеты. Дуняша сказала, спросила:

— На плацкартные билеты можно сидеть и лежать, а на бесплацкартные только сидеть? — а на сколько плацкартные билеты дороже?

— Да рубля на три, на четыре.

— Ну, — сказала Дуняша, — за три рубля можно ночку и посидеть.

Ехали в бесплацкартном. Дуняша везла восьмилетнему братишке никому ненужное в Москве канотье — в подарок. Об этом не писалось в парижских газетах: никаким французам этого не понять!

Коммунистический привет товарищу Сорокиной! — контролер получил точные сведения — о радости за Дуняшу.

Ямское поле.

6 апр. 934.

## II. ХРИСТИАНСКОЕ РОЖДЕСТВО

В поезде дед вспомнил, что сегодня — двадцать четвертое декабря, сочельник. Старик представил мир, европейские колонии в Азии, Австралию, Европу, Американские материи. В эту ночь почти на всем земном шаре горели около елок рождественские свечи, люди дарили друг другу подарки, нарядившись в праздничное. Старик подумал о христианской культуре, уходящей в века древности, о том, что в эту ночь во всех церквах, соборах и монастырях священники одеты в костюмы, оставшиеся от ассирийцев. Астрономически, по команде солнца, в ту минуту, когда старик думал о рождестве, на великоокеанских островах, в Австралии и на дальневосточном тихоокеанском побережии сочельник был уже отпразднован, была уже полночь, но в Нью-Орлиансе и в Буэнос-Айресе солнце еще светило, подходя к закату, и люди спешили по домам, по семьям, по кланам. В вагоне было буднично, темно и пусто. Старик ехал в тот переулочный город, в котором не было двадцать лет, в котором прошла его молодость и первые годы мужества. Старик вспомнил рождественские морозы этого заштатного города, поездки на тройках, запах ели в доме, запахи парафина и подгоревшей хвои, перемешанные с запахами шуб и нафталина в прихожих, русскую водку и французское шампанское. В этом городе старик оставил помещичье-чиновническую Российскую империю, земский врач. В этом городе двадцать лет тому назад, посланный в Восточную Сибирь и оказавшийся в просторах земного шара, старик оставил сына. Сын так и остался в этом городе. У сына были свои дети. И в поезде, в полутемном одиночестве старик не понял, но ощутил, что он и старик, и — дед. Он ехал повидать не только сына, но и внуков, которых никогда не видел.

Поезд пришел в одиннадцать. Станция была пуста. Извозчиков не оказалось. Встречающих не должно было быть. Старик пошел по знакомым улочкам, заметенным сугробами. Вверху светили звезды. Гробовая лежала тишина,

не выли даже собаки, не светились даже окна. Город спал. Сын жил в том самом доме, где некогда жил старик.

Отца встретил сын. Дети спали. Старик посмотрел спящих внуков. Двенадцатилетняя Маришка спала, подложив руку под голову. Десятилетний Володька разметался в тепле и спал, точно ехал верхом на детской своей кровати. Отец и сын проговорили до рассвета, за российским самоваром. Старика уложили в кабинет. Сквозь сон он услышал, как приоткрылась, скрипнув, дверь. Старик увидел — за дверью появились две головы, затем еще скрипнула дверь, и на порог ступили ребятишки. Дети внимательно и озорно рассматривали деда. Дед поднялся с дивана. Дети улыбнулись.

— Здравствуйте, внуки, — сказал дед.

— Здравствуй, дедушка, — сказала внучка.

Внук звякнул железом, пошел к деду, протянув руку, сказал:

— Мое почтение.

Дед обнял внучат. Дед разглядел, что внучата в шубках, а у внука к башмакам привинчены коньки. Дети целовались с дедом свободно, приветливо и дружно.

— Вы куда же собрались? — спросил дед.

— В школу, — ответила Мариша.

— Разве сегодня учатся? — спросил дед.

— Конечно. А почему? — ответила Мариша.

— Сегодня ведь рождество, двадцать пятое декабря, — сказал дед.

— Ах, да, — сказала Мариша, — я слышала об этих религиозных предрасудках!

Перебил внук, сказал:

— Ты погоди, Маришка. Дедушка, ты из Нью-Йорка приехал, там дома в сто этажей? и на каждом четырех человек по автомобилю? — расскажи!

Вошла мать, шугнула детей.

— Марш отсюда, пострелы! не мешайте дедушке отдыхать, в школу опоздаете!..

Дети ушли. За окнами в хвощах инея

лежали рождественские снега, светило восковое солнце. По всему земному шару в этот день ездили с визитами, менялись визитными карточками и поздравляли друг друга с рождеством христовым, — по всем странам и колониям христианских верований и тех социальных групп, к которым принадлежал дед. Дед не был ни революционером, ни контрреволюционером, — он был интеллигентом, сначала российским, затем — затем... Без малого двадцать лет он колесил по земному шару. Полтора последних десятилетия он всюду слышал о русской революции. Он относился к ней, — так сказать, благожелательно. Он многожды спорил о коммунистической революции, одно одобрял, другое порицал, как вообще интеллигенты. Много раз он хотел представить себе, как революция происходит на практике. Когда он думал об этом в Америке, он представлял себе, что всё положительное американское теперь развивается в СССР. Когда он думал об этом в Шанхае, он представлял, что всё отрицательное китайское теперь уничтожается в СССР. Революции на-ощупь, на глаз, на ощущения, в сущности, он не представлял. Когда он приехал в Союз республик, его поразило, почему российские деревенские избы, заметенные снегом, не похожи на американские фермы, не покрыты черепицей, но всё попрежнему жмутся под соломой. Его поразила российская бедность, черно-бурый цвет российских костюмов. Это были первые впечатления.

И вот в это морозное утро фраза внучки, — «ах, да, я слышала об этих религиозных предрассудках», — фраза внучки, перебитая расспросами внука о Нью-Йорке, — на-ощупь, на слух, на сознание, на все те памяти, которые перебраны были вчера в полутемном вагоне поезда, которые привели в юность этого феодального городка, — фраза внучки дала ощущение революции, — фраза

внучки, отброшенная в третьестепенность расспросом внука о небоскребах. Дед слышал однажды на Гренландии, как трескаются, хрюкают и валяются затем в космическом грохоте в океанские воды обвалы глетчеров. Глетчер христианства, который протекал в это утро по земному шару у множества народов, который жил в подсознании и у старика, оставшийся от детства в этом городе, треснул, хрюкнул и зашумел гренландским обвалом фразы внука.

Мариша пришла раньше Володи, он задержался в школьном клубе, он конструировал самолет. Мариша пришла к деду. Они заговорили.

— Я тебе, дедушка, расскажу про Володьку, — сказала Мариша. — Только, пожалуйста, если он сам не заговорит, не подымай об этом вопроса, ему будет тяжело. Его вчера судили, — Мариша заговорила таинственно. — Он рослый ростом, и при переходе из октябрят в пионеры он скрыл свой возраст, прибавил целый год. Седьмого ноября он давал торжественное обещание. В его группе его выбрали вожатым... И — ты понимаешь, дедушка? — вдруг узналось, что он, пионер, вожатый, коммунист, — соврал!? Ты знаешь, дедушка, как он мучился? — целую неделю не пил и не ел, ночами не спал. Вчера его товарищи судили. Два часа мы его судили. Решили, что он сам придумает себе наказание. Пионером всё-таки оставили. Завтра он должен сказать, какое наказание он берет на себя. В клубе сейчас он вовсе не самолет конструирует, это он просил сказать маме, чтобы ее не беспокоить, он совещается с товарищами... Только, дедушка, не подымай об этом вопроса с Владимиром, если он сам не заговорит, ему очень тяжело.

За окнами жил будничный город.

За окнами лежали рождественские снега.

Ямское поле.

3 апр. 1934.

## III. СОБАЧЬЯ СУДЬБА

Собака разродилась на кухне около мохнатой и древней печи. Это была весна, люди всё время рылись в земле за домом, копали гряды, окапывали деревья, обрезывали сушняк, жгли мусор, и собака — еще недели за две до родов — всячески мешала хозяевам. То она подкапывалась под дровяной сарай, то подрывала корни смородины, то рылась под домом, уготовлявая нору, где она могла бы разродиться. Хозяйка гоняла собаку и зарывала ее норы. Хозяйка махала толстыми локтями, возмущалась, гнала собаку, и собака смотрела на мир очень грустным и добрым взглядом.

К рассвету в день рождения с кухни понеслись писки щенят, из-под печки ползли днем слепые щенята, и обессиленная мать выглядывала добрыми и счастливыми глазами. Хозяйка сказала хозяйну:

— Всегда ты придумываешь какую-нибудь ерунду, по кухне нельзя пройти, — или надо утопить щенят, или выкинь их под дом.

Хозяин положил щенят в лукошко, отнес под дом и прогнал туда мать. Мужчина работал над грядками и около парников, дверь на кухню была открыта. Через час оказалось, что все щенята и мать — вновь на кухне, — осторожнейше в громадной пасти мать перетаскала слепых щенят на место их рождения. Между хозяйкой и собакой происходила упорная война, собака оказалась упорнее хозяйки. Люди были молоды, устраивались жить, любили друг друга, детей у них еще не было. Хозяйка настаивала на том, чтобы муж утопил щенят в реке, — муж говорил, что собака породиста, что он обещал щенят друзьям. Хозяйка уступила хозяйну. Муж хотел угодить жене. Как только щенята прозрели, он решил раздать их.

Приехала сестра и взяла первого щенка.

И через день сестра вернулась со щенком. Она была одинока, сестра, щенок все время пищал, когда она уходила на работу, мешая соседям, — ще-

нок ничего не ел, даже из соска, — щенок был отнят от матери преждевременно. И сестра просила продержат щенка около матери еще несколько дней.

Щенок радостно заковылял к соскам матери. И: у собаки сделались злые и внимательные глаза, она злобно обнюхала щенка, она оскалила клыки, нюхая сына. Она откинула сына от своих сосков. Люди склонились над собакой. Собака зарычала. Хозяйка топнула ногой и закричала на собаку. Глаза собаки стали глазами рабыни. Она подчинилась. Щенок поел. Люди вышли из кухни, и сейчас же из кухни понесся страдающий визг, — собака отшвырнула щенка из одного угла кухни в другой, собака была свирепа. Хозяин, хозяйка, сестра стали увещевать и стыдить собаку. При людях собака была покорна. Хозяин решил, что щенок принес чужие запахи. Он выгнал собаку на двор, он перепутал щенят, потер одного о другого, чтобы их запахи спутались, он растащил щенят по разным комнатам. Собака бросилась разискывать щенят, она подобрала их всех, стащила на свой матрасик в кухне, — она не тронула только отщепенца, хоть и подходила к нему несколько раз. Хозяин опять прогнал собаку на двор, опять перепутывал щенят, переселил матрасик с щенятами из кухни в прихожую. Собака собралась перетаскиваться обратно на кухню, ухватив матрасик с щенятами клыками. Хозяин запретил, собака подчинилась. Женщины дежурили около собаки. Всё пришло в должный порядок, люди успокоились. Так было до вечера. А вечером, часов в девять, когда хозяева, поужинав на крыльце, собирались спать, опять по дому понеслось свирепое рычание суки и вслед за ним отчаянный визг щенка.

У щенка были раздроблены — клыками матери — челюсти, ноги, грудная клетка, глаз вытек, изо рта, из ушей, из пустой глазницы текла кровь, кожа на спине была разорвана и из-под нее торчали сломанные ребрышки.

Молодая хозяйка не любила собаки. Она настаивала, чтобы щенята были

убраны из дому как можно скорее. У молодой хозяйки не было своих детей. Собака-мать растерзала своего щенка. Щенок умер только наутро. Хозяйка просидела над щенком всю ночь. Она достала картонку, она закутала щенка ватой, все раны его она смазала иодом. По ее воле хозяин ездил на велосипеде в город, в аптеку за детским соском и к ветеринарному врачу. Ветеринар сказал, что щенок умрет. Жена кормила щенка молоком с ложечки и из соска. Она боролась со смертью, отодвигая ее. Глаза хозяйки были сухи. Она не спала всей ночи. Большая женщина, она ходила на цыпочках. Ее большие и сильные руки были нежны и ласковы. На обильных щеках ее был сухой румянец, как сухи были ее глаза. Когда щенок умер, хозяйка, эта здоровая, молодая и сильная женщина, по-детски расплакалась. Муж увидел ее слезы. Она смутилась, она

отвернулась от мужа, виновато улыбнулась и закрыла мокрые глаза локтем в засученном рукаве. Она сказала сердито:

— Всегда вот так... ты... Ну, что же, пойдешь выкопай ямку под дальней елочкой, за скамейкой...

Хозяин пошел копать ямку. Роса была очень сильна, солнце светило сбоку, поднимались от земли лиловые туманы. Хозяин видел через окошко: хозяйка склонилась к суке на кухне, стала перед щенятами на колени, перетрогала их всех руками и налила в собачью миску кринку молока. Глаза собаки были — умными, грустными и виноватыми.

Подходя к крыльцу, хозяин нарочно кашлянул, ударил лопатой о крылечко и медленнее, чем следует, стал счищать с сапог землю.

Ямское поле.

2 апр. 934.

## IV. ТОВАРИЦЫ ПО ПРОМЫСЛУ

Хозяин был охотником, — то-есть легким и беззаботным человеком, он громко хохотал, много ел, сапоги его всегда были грязны, он ходил, широко расставляя ноги, и ворот его рубашки всегда был расстегнут. Их было две — дворняжка, без рода, без дома и без любви, Машка, и породистый сеттер, хозяйский любимец, сукин сын Глан. Глан все время собирался с хозяином пойти на охоту, хозяин никак не успевал снять ружья со стены. Хозяин и Глан ели вместе, весело и сытно. И вместе спали, в одной комнате. К Машке хозяин относился безразлично, он забывал ее кормить, она жила на дворе. Она кормилась самостоятельно, по утрам она уходила и в лес, и на соседские задворки, пока хозяин еще спал. В дом она не смела входить, она на дворе дожидалась хозяина, чтобы служить ему. Хозяин и Глан выходили на крыльцо величественно. Машка махала в честь хозяина хвостом. Хозяин и Глан уходили по делам, гулять и в гости, — Машка провожала их до ворот. Отношения Глана и Машки были скверны. Глан презирал Машку, щуплую ее и кудлатую внешность, грустный и ласковый ее взгляд, которым она встречала и провожала хозяина, — он, Глан, появлялся вместе с хозяином на равных правах, подражая хозяину, с задранным хвостом, пружиня мышцами ног, и он смотрел на Машку свысока, гораздо более презрительно, чем сам хозяин. И Машка презирала Глана, дармоеда и франта. Глан не чувствовал в Машке даже пола, у них были частые ссоры. Глан, евший с хозяином, иной раз, заметив кость у Машки, принесенную с соседних задворок, намеревался отобрать кость, — Машка защищалась всеми клыками. Сквозь открытую дверь в комнате или на террасе Машка видела, как Глан питается с хозяином, — собаки косили друг на друга глаза, глаза у обеих были злыми, и обе собаки ворчали, приближаясь друг к другу. Хозяин всегда был на стороне Глана. Сукин сын Глан пропал из дому на целые недели, тощал от бегов и хлыстал в качестве победи-

теля по собачьим свадьбам всей округи. Глан был беспечен, как и хозяин. И Глан пропал однажды. Хозяин обошел все задворки и пустыри, разговаривал с остальными людьми, свистел, ругался. Но хозяин был беспечен, как Глан, и вечером он снял свои сапоги, надел штиблеты и широкополую шляпу, застегнул ворот рубашки и повязал его галстухом. К дому подехала телега, на двери повиснул замок. Так хозяин уезжал каждый год, каждый год в таких случаях Глан уезжал с ним, каждый год Машка провожала хозяина до станции. И на этот раз Машка пошла за телегой. По рельсам отгремел поезд, оставив за собою ночь. Машка одна плелась обратно. В лесу она напала на заячий след, след вывел ее в поле, заяц жевал овес. Машка опетляла заячьи следы, стала под ветер, погнала зайца, догнала и ела его у опушки леса, одна в звездной ночи. К кому спешить необходимости не было. Домой Машка пришла на рассвете и полезла под дом, в старую свою берлогу, где она коротала одинокие зимы, в одиночестве двора и сада, запертого дома, долгих зимних ночей и метелей. Утром, измызганный и отощавший от бегов, пришел Глан, победителем улегся на террасе, блаженно заснул. В заполдни полил дождь, подул ветер, с деревьев полетели листья. Вечером Глан завыл, он царапал дверь, грыз зубами обойку, его вой походил на человеческий плач и был полон ужаса. Он выл всю ночь. На рассвете к нему подошла Машка. Ее глаза были внимательны. Глан глянул на Машку плачущими глазами и с новым упорством загрыз дверную обивку. Машка пошла есть на соседские зады и в лес. Машка вернулась во всегдашний час. Глан лежал около двери, он уже не выл, обессиленный, с его клыков текли густые, неряшливые слюни. Обыкновенно Машка в это время бездельничала. Машка подошла к Глану, прилегла неподалеку. Собаки молчали. Это было очень недолго. Лил дождь, дул ветер и гнал серые тучи. Машка поднялась и ушла со двора, пошла на зады и в лес.



В лесу, на опушке, в земле, был закопан недоеденный заяц. Машка отрыла его, взяла в зубы, понесла. Она принесла зайца на двор, на террасу и бросила его около пасти Глана. Глан испуганно посмотрел на Машку. Машка отошла в сторонку и легла, подобрав хвост. Глан понюхал мясо, испустив еще больше слюны. Машка не зарычала, вильнула хвостом. Глаза Глана стали нищими. Глан стал быстро и благодарно есть. Машка ждала, пока Глан ел. Машка поднялась и подняла уши, она пошла, как ходил хозяин, она велела Глану итти за ней. Она отвела Глана под дом. Там было темно и тепло, и сухо. Машка

Ямское поле.

5 апр. 934.

положила Глана в своей берлоге и вышла к дому, стояла у порога, смотрела на небо. Темнело. Лил дождь. Ночью она пришла в берлогу, легла рядом с Гланом, Глан виновато посторонился ей, она товарищески его обнюхала и сказала — спи. На рассвете, во всегдашний час Машка пошла за пищей. Глан виновато ждал ее на пороге подполья. Лил дождь, дул ветер и гнал серые облака, и срывал с деревьев листья. Весною хозяина встретили два товарища. Глан встретил хозяина безразлично, обшарпанный, он не выселился из-под дома и на рассвете пошел с Машкой охотиться.

# Недра

Роман

ПАВЕЛ НИЗОВОИ

(Окончание<sup>1</sup>)

Часть третья

«МОДУЛЬ КРУПНОСТИ»

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Ровно два года назад, девятого сентября, Аристарх Маркелович Буглай, крупный ученый, геолог, в своем рабочем дневнике записывал:

«Разведочная работа на горе Казачьей.

По произведенным разведочным работам главные рудные скопления на горе Казачьей представляются в виде основных обособленных залежей, расположенных, во-первых, по западному склону горы, общей площадью 1,7 кв. км., и, во-вторых, по восточному склону, общей площадью около 0,8 кв. км.

Западные и восточные залежи разделяются между собою гребнем, состоящим из порфиритов, атачитов и других изверженных пород. Обе они имеют сравнительно пологое падение, согласно с рельефом.

Подстилающими породами для той и другой служат атачит и гранит, а в нижней части — мрамор. Минералогически руды разделяются на...»

Тут он подумал немного и оставил пустое пространство, а дальше написал:

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2 и 3 с.г.

«Рассыпные руды, по данным анализов пятидесяти двух расшурфовок 1929—30 гг., в среднем содержат железа 64,70 процентов и серы 0,1025».

Эти беглые строчки записывал он на самой Казачьей горе, где производил разведку с группой своих сотрудников.

Сидя возле палатки на вершине горы, Буглай, отрываясь от рабочей тетради, прислушивался к методическому стуку буровых станков. Часть скважин проходили алмазным бурением, сантиметр за сантиметром вонзаясь в крепкие породы и в самую руду. Расстояние между скважин колебалось от ста пятидесяти до двухсот метров, или одна скважина приходилась в среднем на тридцать тысяч квадратных метров.

Перед глазами расстилалась величавая ширь степи, уходящая в туманное марево еще по-летнему жаркого дня. На лево — тоже в сером степном тумане — чуть намечался по небу контур далекого горного хребта. Почти под ногами сверкала степная река, уходя в оба конца узкой, извивающейся полоской жести. Кругом была тишина и безлюдье.

Аристарх Маркелович Буглай думал о прошлом и будущем горы. Руда в ней открыта около двухсот лет назад и лежала никому ненужным, почти нетронутым драгоценным кладом.

По этой первобытной пустынной степи пролегла дорога из Азии в Европу. В течение тысячелетий этим путем десятки племен прошли с востока на запад, расплываясь, вымирая, оставляя по себе скудные памятники. Здесь происходили многочисленные битвы азиатских кочевников. Начиная от каменного века, через бронзовый до начала железного, возникали в этих уральских низменностях целые государства с торговыми городами, с великолепными для того времени столицами, привлекая к себе греков с берегов Черного моря. Может быть, великий завоеватель Азии, Тамерлан, один из последних поработителей этого края, любовался с этих самых холмов на свои могучие воинственные орды.

И никому не было дела до недр горы Казачьей, до тех сокровищ, которые под влиянием дождей и степных жестоких ветров обнажились, выходили наружу. Нужно было произойти трем революциям, выдвинувшим к власти пролетариат, чтобы эта мертвая гора ожила, раскрыла свои неисчислимые богатства.

Старый ученый, четверть века исследовавший земные недра и научившийся понимать их миллионолетнюю жизнь, их вечный язык, думал теперь о том, как через короткое время появятся на этой горе и возле нее многие тысячи людей и начнется великий процесс творчества. В его воображении вставали гигантские доменные печи с кипящим металлом, прокатные станы, маршруты с готовыми изделиями. И серая безлюдная степь шумела заводскими поселками, многообразной жизнью большого города.

Это было два года назад на вершине пустынной Казачьей горы, где работало три десятка людей, пришедших издалека прощупывать скрытые богатства.

Потом Аристарх Маркелович ехал пустынной дорогой на низкорослом казачьем коньке, смотря в широкую спину и волосатый затылок извозчика. Вокруг лежала могучая, суровая степь Приуралья.

«Сколько потребуется лет для того, чтобы эти безлюдные пространства освоить, раскинуть на них скотоводческие совхозы, веками лежащий земляной

пласт поднять для зерновых хозяйств, создать молочные, беконные и иные заводы? А главное — привести в культурное состояние вот этого, сидящего впереди него с волосатой грязной шеей древнего человека? Сотни, многие сотни лет — никаких видимых изменений в этой приземистой, каменной фигуре. Такие же были вероятно и при Тамерлане, пятьсот лет назад, и гораздо раньше. И конь все такой же. Время проходит мимо них».

Ученый снял шляпу, открывая голову подушечке с запада ветерку. В горячем бесцветном небе плавал степной орел, меланхолично посвистывали невидимые суслики. Пахло конским потом и нагретым песком дороги.

«В истории народов нет постепенного развития; скачки и стремительный бег чередуются с медленным, улитоподобным движением. Бронзовый век подстегнул человека, как извозчик подстегивает задремавшую ленивую лошадь. В железном веке она побежала уже рысью. А изобретение паровой машины? А электричество? Все это головокружительные скачки после длительного или короткого замедления. Русская революция, подстегнувшая весь мир и в собственной стране взвихрившая все производительные силы, несомненно новый ритм заложила надолго. Великое и ничтожное, передовое и косное — все поднято, все пришло в движение, все будет творить по силе своей и по своему разумению. Степной уральский казак, живущий понятиями и темпами полтысячелетней давности, с постройкой завода понесется теперь к культуре галопом...»

Эти и подобные мысли заполняли голову Буглая, когда он возвращался с разведки к себе в Свердловск.

Потом за окном вагона тянулись леса — пихта, сосна, осина, густые кустарники, — чапыга, — уральская горная тайга, жилище медведей, диких коз, волков, красной богатой дичи.

Под стук вагонных колес мысли плыли спокойно и неторопливо, тем более, что соседи по купе дремали или были заняты своими. Ученый думал о тех таинственных физико-химических про-

цессах, которые безостановочно совершаются в недрах земли и которые когда-то создали металлы, каменный уголь, всевозможные минералы.

«В конце девонского, а может быть, в начале каменноугольного периода, — думал он, — область горы Казачьей была ареною мощных, вероятно подводных, вулканических излияний кислой липаритовой магмы. Затем, в нижнекаменноугольный период, произошло углубление бассейна и образование толщи известняков с характерными нижнекаменноугольными кораллами и брахиоподами...»

Напротив, у окна, откинулось в угол хорошенькое личико девушки с золотисторусыми стрижеными волосами, с чуть вздернутой верхней губой; в отверстии сверкает белый угольничек зубов...

«Сколько ей лет? На кого она похожа? Пожалуй, на Маню. Да, да. Напоминает Маню, племянницу покойной жены, тоже покойную... Гм... Покойной жены... Восемнадцать лет назад она «спокойно»... покончила с собой...»

Аристарх Маркелович выправляет из воротника шею, отводит голову к окну. За окном плывет все та же тайга: сопки, увалы, горные складки, вскинутые кверху гребни со щетиной леса.

«... Известняки в контакте с гранитно-диоритовым массивом превращались в гранатовую породу, заключающую ряд контактовых минералов: пироксена, везувиана, магнитного железняка и других», — ловит Буглай прежнюю научную мысль. Но в следующую минуту она снова скользит по плоскости.

«... Один глоток цианистого кали. Гм... Странные и непонятные эти женщины... Любовь, ненависть, смерть...»

«... Таким образом, рудное месторождение горы Казачьей тесно связано с контактом пород гранодиоритовой магмы с известняками...»

«... С трехлетней дочерью он сюда на Урал. Шестнадцать лет на Урале...»

Девушка открывает глаза и, смущенно улыбаясь, подается к окну.

— Скажите, какая это станция?

Девушка обращается ко всем и ни к кому. Она смотрит в окно, силясь разглядеть надпись на боковой стене

маленького деревянного здания. Талия у нее тонкая, аккуратно перетянута лаковым ремешком, четко выделяющимся на белом платье. Аристарху Маркеловичу видна часть розовой щеки и такого же уха, — повидимому, порозовели от лежания. Он внимательно смотрит на них и отвечает:

— Это раз'езд. Через остановку будет Челябинск.

Девушка мельком взглядывает на него и с улыбкой роняет:

— Мерси!

После чего она снова углубляется на прежнее место к стенке и оттуда, — Аристарх Маркелович хорошо это видит, — изредка бросает на него ошупывающие взгляды. Сначала ему это приятно, но после третьего или четвертого взгляда поднимается беспокойство.

«Чего ей нужно? Может быть, у меня что-нибудь не в порядке?» — Он ошупывает галстук, — не на боку ли? Проводит рукой по жилету, — застегнуты ли, где полагается, пуговицы?

А девушка, перестав им интересоваться, берет газету и, позевывая, принимается читать.

«Нет. Это не Манино лицо. Какое-то надменно неприятное, жесткое. У той было мягче, — внезапно решает он. — Но все-таки она кого-то напоминает. На кого-то она похожа, на очень хорошо знакомого... На кого же?»

Ответа Аристарх Маркелович так и не нашел.

## II

Все это было два года назад, когда старый ученый, геолог Буглай возвращался с разведки к себе в Свердловск.

Вернувшись домой на Тверитинскую улицу, он, сидя за самоваром, спокойно рассказывал своей девятнадцатилетней дочери Любе о поездке. Рассказывал пространно и увлекательно о разведывательской работе, о руде, о безлюдной степи, о будущем гиганте-заводе.

На Казачью гору Буглай после этого ездил дважды. В третий свой приезд он удивился. Не двинулись ли вновь из глубин Азии кочевые народы? Широко раскинулся у подножья горы огромный

лагерь их белых палаток. Людской муравейник внизу кипит, волнуется, что-то делает. Может быть, укрепляет свою стоянку, чтобы сюда бросить свои сокрушающие силы?

Нет. Это Европа приступает к покорению Азии, у подножья горы ставит свой форпост. Идет она во всеоружии науки и техники, покоряет азиатское бескультурье, первобытность, преобразует полудикарскую жизнь. Азия шла с отравленными стрелами, с копьями и ятаганом. Европа идет с перфоратором, с электромашинкой, с трактором...

Исчезли с лица Приуралья древние города знаменитого Булгарского царства: «славный город Брахимов», Биляр-Сувар, Жукотин, и на их месте возникают новые, с высочайшей культурой, изумительнейшей техникой...

То, что раньше Аристарх Маркелович представлял себе мысленно, теперь происходило в действительности и в гораздо большем масштабе. Он приятно почувствовал удовлетворение, благородную гордость: в какой-то мере он тоже является участником этого небывалого строительства.

Сегодня Буглай встал почти на час раньше обыкновенного и, не выходя умываться, долго шагал по кабинету, — спал он на старом широком диване возле письменного стола. Люба из своей комнаты ясно слышала звук его тяжелых шагов и характерное короткое покашливание. Иногда доносилась отрывистая речь, — шаги в этот момент затихали. Это была привычка Аристарха Маркеловича разговаривать с самим собою. Нередко он вслух рассуждал и даже спорил. При этом о себе говорил, как о третьем лице, называя по имени, и во время разговора всегда останавливался, хотя бы это происходило на улице.

Все это обычно и хорошо знакомо Любе. Оно указывало только на возбуждение отца, на усиленную работу его мозга. Поэтому она не торопилась вставать. Лишь когда пробило восемь часов, Люба нехотя спустила ноги, нащупывая на маленьком коврикe лосевые туфли, и, накинув капот, пошла умываться. Спустя полчаса отец с дочерью пили кофе.

Характером Люба напоминала отца, — так же, как он, серьезна и в обычное время не словоохотлива. За столом они говорили мало. Он только спросил:

— Ты дома сегодня будешь или уедешь куда? — дочь последнее время часто ездила к своим институтским подругам, жившим на даче.

— Нет. Я сегодня никуда не собираюсь, — ответила Люба. — А тебе разве я нужна?

Отец подумал немного, припоминая, — эта мысль у него уже плотно заслонилась другими.

— Нет. Я просто так. Просто так спросил. — Наконец он вспомнил: — Да, постой... сегодня к обеду обещал быть Зворыкин.

— К обеду, Зворыкин? — удивилась Люба. — А кто он такой?

— Ну, да. Зворыкин. Я его пригласил. Чему тут удивляться? Он любопытный и дельный. Интересно поговорить с ним.

— Папа, я ничего не имею против прихода этого человека, но ты ни разу не говорил о нем. Мне просто интересно знать, кто он такой.

Отец поскреб двумя пальцами лоб, неопределенно гмыкнул и повернулся к дочери.

— Разве я тебе о нем не говорил? Значит, забыл. А я думал, ты уже знаешь. Это — молодой инженер с механического... Ну, вот я его пригласил к обеду. Видишь, все просто. — Буглай поднялся, поправил стеснявший воротник. — Я тоже сегодня буду дома. Туда не пойду. — «Туда» — значило в облплан, где он повседневно занимался, и Люба это хорошо понимала.

Почти вплоть до обеда Аристарх Маркелович не выходил из кабинета, углубившись в книги и тетради. За дверями кабинета иногда слышались его тяжелые редкие шаги и разговор с самим собою. Он занят был серьезной работой, — подводил итоги недавней разведки вновь открытых ценных металлов.

Но неожиданные обстоятельства совершенно изменили порядок дня. Обе-

дать в обычный час Аристарху Маркеловичу не пришлось, несмотря на то, что ровно к четырем, как было условлено, инженер Зворыкин явился. Кроме Любы, он встретил только помощника Буглая, молодого ученого, самого же хозяина не было. Гости прождали его напрасно более полутора часов.

С Буглаем же в это время случилась непредвиденная и малоприятная история. В четвертом часу он вышел на улицу немного освежиться, так как последние два дня работал усидчиво и на прогулку не выходил.

В отличном настроении от удачного окончания работы и хорошей, ясной погоды он дошел до конца Тверитинской и повернул за угол, чтобы обратно вернуться по улице Декабристов. На половине Луговской его кто-то сзади громко окликнул:

— Простите! Если не ошибаюсь, Аристарх Маркелович?

Буглай недовольно обернулся. Перед ним стоял незнакомый пожилой человек в кожаном пальто.

— Не узнаете?

— Я вас вижу в первый раз.

— Аристарх Маркелович. Неужели я за двенадцать лет так постарел?

— Сергей Веденеич... вы? Ну, разве вас можно узнать? Вы отпустили себе такую бороду... Очень рад вас видеть! — Буглай сердечно, дружески сжал руку старого своего сослуживца и приятеля, бывшего коммерческого директора одного из крупных уральских заводов, Сергея Веденеича Овсянникова.

— Я вас второй день разыскиваю по всем свердловским учреждениям... Между прочим, вы не в партии?

Буглай отрицательно повертел головой.

— Так вот, — продолжал Овсянников, идя с ним в ряд, — разыскиваю везде и нигде не могу найти. А когда напал на ваш след, мне сказали, что вы находитесь в экспедиции — где-то открываете металлы. — Овсянников засмеялся. — Богатеет наш Советский Союз! Новые копи, рудники, прииски, заводы. Через десять лет — Европа, а может быть, даже и Америка будут

у нас на поводу. Будем им диктовать свою волю.

Этот шаржирующий тон несколько покоробил Буглая, но он, не придавая ему значения, тепло спросил?

— Вы где эти годы жили? Что-то о вас не слышно было.

— О-о! Где я жил? Вы думали конечно, что я удрал за границу? Нет! Туда бежала только политическая мразь и те, кто не любит своей родины. Я был и есть патриот, и потому я остался здесь. — Он стал сразу серьезен и продолжал уже деловым, немного пониженным голосом: — За это время я переменил несколько мест, теперь третий год работаю в одном тресте в качестве специалиста. Правление наше находится в Москве, я здесь проездом, — направляюсь на Дальний Восток в отделение.

Буглай вглядывался в это, когда-то знакомое лицо, теперь постаревшее и сильно изменившееся. В нем прежними остались только холодный блеск глаз да в остро выдавшемся подбородке и крутом навесе лба выражение сильной воли. Время их не стерло. Когда-то с этим человеком его связывала прочная дружба. Овсянников был умен и образован. Оба они работали в одном и том же предприятии и почти ежедневно встречались.

— Как поживает Ксения Васильевна? Здорова? — спросил Буглай и живо представил себе красивую, немного полную женщину с пышными золотисторусыми волосами. В тот же момент перед ним сверкнул другой образ, и мысль обрадованно подсказала: «Да, да... это именно она. На нее похожа та девушка, которую он встретил два года назад в поезде».

Овсянников, не спеша, сделав скорбное лицо, ответил:

— Ксении Васильевны, к сожалению, уже нет: в позапрошлом году умерла. Теперь мы с Олей одни. Теперь мы одиноки, — добавил он сокрушенно.

— Оля — это ваша дочь? Сколько ей лет? — спросил с задней мыслью Буглай.

— О-о! Она уже взрослая. Когда мы с вами расстались, тогда ей было всего

около шести лет. Вы ее сейчас увидите. Девушка она у меня славная.

— Благодарю вас, Сергей Веденеч. Я найду к вам как-нибудь в следующий раз, сегодня мне некогда.

— Как в следующий раз? — сделал притворно испуганное лицо Овсянников. — Я же вам сказал, что здесь проездом, через два часа должен уехать. Вы идите ко мне и по дороге мы с вами поговорим о деле. Не попусту же я вас разыскивал.

Овсянников с изысканной внимательностью взял ученого под руку. У того мелькнуло: «Посмотрю — она или не она?» Он не стал сопротивляться, к тому же обед и приглашенный на него гость выпали из памяти.

Овсянников свободно, с присущим ему легким юмором стал рассказывать о мытарствах некоторых из прежних уральских богачей, неудачно «ликвидировавших» свои отношения с родиной. Часть из них до сих пор скрывается в пределах Союза, почти нищенствуя и терпя всякие лишения. Более удачливые бежали, но и те не сразу и не все благополучно устроились на хлебах у Европы. Что же касается их бывшего хозяина, миллионера-заводчика, то он жив и благоденствует и даже питается какими-то мечтами. Последние слова бывший директор подчеркнул тонкой иронией и, взглянув остро и пронизывающе в самые глаза Буглая, тихо спросил:

— Не хотите ли заработать тысяченок десятков?

— Как? Что вы сказали? — слегка отстраняясь и замедляя шаг, спросил пониженным голосом Буглай.

— Десять тысяч валютой, самым честнейшим образом, ничуть не поступаясь интересами своей страны...

Ученый остановился, взглянул на своего спутника гневным, пытающим взглядом; пальцы правой руки на борту пиджака дрожали.

— Скажите, что вы говорили это в шутку. Не серьезно... просто так, — проговорил он взволнованно. — Ну, говорите!.. Говорите же!

Овсянников внезапно самым искренним образом расхохотался.

— Я так и знал! Ха-ха! Великолепно! Честное слово! Вашу руку, дорогой друг! Я так и знал, что вы испугаетесь...

— Я не позволю над собой издеваться... — вырвал от него руку Буглай. — Я не мальчишка! Я понимаю!..

— Ну, вот мы и пришли! — игнорируя гнев собеседника, сказал просто Овсянников. — Теперь вот что я вам отвечу: негодовать я тоже могу, и у меня к тому есть повод. — Он повысил тон. — Значит, вы меня подозреваете? Значит, по вашему мнению, я?.. Вы не понимаете шутки!..

Они стояли у парадной небольшого особняка. Растерявшийся на момент от неожиданного оборота речи, Буглай не уходил. Ему хотелось, вопреки рассудку, верить, что бывший его приятель действительно пошутил.

На звонок Овсянникова вышла старушка. Он ее о чем-то спросил и, повернувшись к ученому, убито сообщил:

— Оля-то, знаете, не дожидаясь меня, уехала на вокзал. Какая жалость, что у меня нет времени с вами поговорить! Вы простите меня, дорогой друг. На обратном пути я остановлюсь у вас на целую неделю, тогда наговоримся. До свиданья! Очень жалею!.. Не сердитесь и верьте моей честности!..

Он захлопнул дверь. Аристарх Маркелович, ощущая в своей голове неприличный беспорядок мысли, — гнев у него уже улегся, — неспеша пошел дальше, не заботясь о том, куда и зачем...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Лесной гигант Механострой так же, как и его старший степной собрат, шел неровными, часто срывающимися шагами.

К тому было много всевозможных больших и малых причин. А главная из них:

«Илья-богатырь», с огромной головой и могучим телом, имел жидкие, неокрепшие ноги. И шел он не укатанной, гладкой дорогой, а продирался нетронутой таежной целиной, разворачивая непролазные чащи, преодолевая болота и топи.

Впереди маячила лишь розовая полоска утренней зари. Он упорно шел на нее...

Если не считать цеха металлических конструкций, работавшего по обслуживанию собственного завода, то во главе был чугуно-меднолитейный, внешне почти готовый. За ним следовал сталелитейный, в котором заканчивалась установка ферм, и механический, где стоялись торцовые колонны. Многоэтажное здание теплоцентрали — сердце будущего завода — также не задерживалось в своем росте. Оно величественно возвышалось хитросплетением массивных лесов. Но кузнечно-прессовый трагически отставал. Для него только еще укладывали бетон.

Две огромных бетономешалки, стоявшие снаружи цеха, день и ночь громыхали, перемешивая массу. Она через минутные перерывы текла зеленовато-серым густым потоком в емкие железные тележки, ловко подставляемые рабочими. Несколько десятков таких тележек-стерлингов, точно в горячке, сносили взад и вперед по дощатому настилу. В глубине длиннейших каналов и квадратных ям со щетиной арматурного железа серые люди в спецовках разравнивали железными граблями серые бугры бетона. Каналы и ямы непрерывно, час от часу мельчали; бетонные стены и площади — вечное основание для вечных железных устоев — день и ночь непрерывно росли.

Люди в работе соревновались. Южная сторона шла против северной, и обе они пять дней назад кинули вызов:

«Предлагаем бетонщикам, работающим в механическом цехе, принять следующие пункты нашего вызова...»

Бетонщики механического, прочитав предъявленную бумагу, заявили:

— Вызов принимаем. Дополняем еще два пункта...

Бригадир тут же старательно вписал эти пункты:

«7. Закрепляем себя на строительстве до полного окончания работ.

8. Обязуемся начать борьбу за повышение культурного и политического уровня среди всех своих членов...»

Началась бешеная гонка.

Инженер-бетонщик, Антип Игнатьич Зворыкин, ведущий работы в обоих цехах, в шесть утра обычно был уже на стройке. В кожаной куртке, в высоких сапогах, молодой, энергичный, он всюду попевал во-время, заглядывал в каждый угол, подмечал малейший недостаток.

— Товарищи! Там в конце недостаточно выравнено. Где бригадир? Послушайте, товарищ Федоров!

Он опускался в бетонируемую канаву на мягкую, податливую массу, брал из рук рабочих грабли.

— Вот здесь надо! Здесь! Почему тут пусто? Почему здесь плохо утрамбовано?

Из одной канавы переходил в другую. Заглядывал в горло бетономешалки, бросал мимоходом какое-либо указание рабочему с тележкой. Когда нужно было, охотно помогал передвигать сходни или выправлять опалубку. Никогда не боялся запачкать руки. В каждом его движении, в разговоре, во всем характере было сугубо рабочее, и бетонщики относились к нему, как к своему собрату, — грубовато-ласково, с полнейшей верой во все, что бы он ни высказал или ни предложил.

Делу своему Зворыкин отдавался со всей молодой энергией. Что такое бетон? Что представляет собою тот странный материал, который из тестообразной массы образует почти несокрушимый монолит, служащий надежнейшим основанием для современных гигантских сооружений?

Инженер Зворыкин это знал великолепно. Еще с института он помнил имя Марка Витрувия, знаменитого римского строителя, который две тысячи лет назад в своей книге «Архитектура» указывал на чудесные свойства пыли, находящейся вблизи вулкана Везувия.

«В соединении с известняками эта пыль дает не только нынешним зданиям прочность, но даже если выстроить на ней морские дамбы, то они делаются под водой еще более прочными» — писал он.

Но спустя тысячу триста лет искусство приготовления бетона было утеряно человечеством, и открыли его вновь



только в семнадцатом столетии. Железобетон же, то-есть бетон, вооруженный железной арматурой, значительно усиливающей его сопротивляемость, от роду имеет всего пятьдесят пять лет.

Цемент — вязущее, активное вещество, и балластные или инертные материалы, в виде гальки, гравия, щебня, и обыкновенная вода, — вот те части, которые при своем соединении в соответствующих пропорциях дают застывающую массу величайшей крепости.

Как будто просто: 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части баласта. Или: 1 ч., 2 ч., 5,5 ч. Или: 1 : 4 : 9. И соответствующее количество воды.

Но эта простая арифметика была только для тех, кто впервые попадал на работу. Для настоящих же рабочих — бетонщиков и тем более, неизмеримо более, для инженера-бетонщика бетонолитные работы являлись труднейшим и сложнейшим строительным искусством. Здесь должны быть учтены не только физические и химические свойства каждого входящего в состав элемента, их взаимоотношения, их воздействия одно на другое, но также и влияние температуры и вся сумма технических условий.

Бетон «жесткий», «пластичный», «литой», «армо-бетон», «консистенция», «модуль крупности» — эти слова, как и то, что было за ними, прекрасно знал каждый десятник. Но инженер — бетонщик Зворыкин, подобно любому специалисту, в эти понятия включал многовековой строительный опыт человечества, его ошибки и достижения.

Поэтому, заглядывая в раскрытую пасть жующей со скрежетом машины, захватывая, как бы мимоходом, в горсть гравия, разглядывая, иногда ощупывая в ячейх опалубки бетонную укладку, он видел не только то, что есть сейчас, но и то, что будет, что должно быть через многие десятки и сотни лет.

А те люди, которые делали этот вечный бетон? Тот коллектив, к которому он, специалист Зворыкин, поставлен для технического руководства, — что этот коллектив представляет собою?

Двадцативосьмилетний инженер Зворыкин, родившийся и выросший в рабочей среде, не в пример многим другим,

более старым руководителям, отлично знал, что представляет собою его рабочий батальон.

Почти то же, что и бетон: шесть-семь долей инертного материала — крестьянства — и одна-две доли связывающего, активного цемента — рабочего. В зависимости от того, насколько хорошо эти части перемешаны, будет зависеть крепость целого, то-есть всего коллектива. Это перемешивание каждый день можно было наблюдать во всех местах стройки. Негодный материал то и дело выкидывался, ежедневно шло просеивание его сквозь сито рабочей общественности, чтобы найти требуемую «модуль крупности», ту условную величину, которая служит залогом наибольшей прочности...

Тени в углах строек все короче. Солнце поднялось уже над лесом и лениво забирается все выше, точно сытая лошадь на гору. В незапыленном, утренне-прохладном воздухе строительные звуки кажутся громче и настойчивее.

Старший бригадир, черноусый самарец Карягин записывает в истрепанную синюю тетрадь количество замесов первой смены, которая только-что окончила работу. Часть рабочих счищает с сапог застывшие ошметки бетонной массы, стряхивает с одежды цементную пыль.

— Ребята постарались, Антип Игнатьевич! Предыдущую смену перекрыли. Ловко, чертячьи дети, работают! Как машина, честное слово!

— Это хорошо. Только смотрите за укладкой, — в горячке могут такое надевать, что нам с вами шею будут мылить.

— Это уж конечно... Взвалили себе на спину мешок с кирпичами, теперь гнись в дугу, да неси. — Он повернулся к работающим бетонщикам: — Валяй, ребята! Дуй до горы, а в гору пешком пойдем! Подметки жалеть нечего!

Инженер, точно вспомнив что, поднимает голову:

— Товарищ Карягин! Там что-то с правой машиной!.. Поставьте кверху человека порасторопней. За машиной надо глядеть в четыре глаза.

— В десять смотрим, Антип Игнатьевич! Машины бережем, как малых ре-

бят. Там уж исправили, работает всюю... Валяй, ребята! Валяй! Ну-ну! дома блины дожидаются!

Засучив рукава, старший бригадир сам принимается за работу.

## II

В два часа на работу вступила вторая смена. Каждый рабочий на минуту задерживался у входа на стройку, чтобы прочесть висящий на столбе фанерный щит по соревнованию. Не только прочесть и вникнуть в его содержание, но почувствовать в коротких меловых строках и сухих цифрах живую кровь и биение человеческого сердца. Бетонщики — народ подвижной, быстро возбуждающийся. Равнодушные, бегло писанные цифры вызывали у них восклицания похвалы, возмущения и насмешек.

Небольшого роста, со шрамом на щеке, бывший партизан, украинец Гудилин, неторопливо прочитав сверху донизу всю доску, сердито плюнул и выругался:

— Храпоидолы! Не могли нормы сдержать! Вот теперь опять и накачивай.

— Это молодняк дрейфит! Кишка тонка!

— А может, и старики? У нас есть такие: лясы точить да в курилке раскуривать.

— Все равно — те ли, другие ли — цена одна: не можешь итти в ряд, на собрании вопрос поставим и за милую душу вышвырнем.

— На двадцать замесов перескочили. Ловко! Наша берет! — У доски, тыча пальцем кверху, стоит ударник-комсомолец Федя Сучков. Он подзадоривает противников по соревнованию звонким насмешливым, голосом: — Здорово вас кроем, дяденьки! А еще ударниками называетесь! Гудилин! Ни в какую не попаде! Хвостом по носу пощекочем. До свиданья, мол!

— Не бахвалься прежде времени! Мы еще вам покажем! — рычит сердито Гудилин, оборачиваясь.

— Что покажете-то?.. Ослабли! Может, к доктору раньше?..

Со смехом, с недовольством и возмущением группа бетонщиков проходит на стройку. За ней идет другая.

— ... А ну-ка, ребятки, гляньте на доску-то!.. А-а-лчхи!.. Бывайте здоровеньки, миленькие!

— ... Да-а! Выходит, как ни ворочай, все одно другого короче!

— ... Ладно-ладно! Мы завтра с вами поговорим!

— ... Завтра — само собой! А сегодня вам клин забили. Попробуйте выдернуть!

— ... Выдернем, да тем же концом и вам загоним!

Успехи предыдущей смены подзадоривают и окрыляют заступающую. За работу она принимается с воодушевлением. Дух победы и первенства передается из одной в другую, достигнутые темпы невидимо усваиваются прибывшими. И в то же время из смены в смену передаются и неудачи, ведущие иногда к срывам.

Но часто бывает и так, что отстающая бригада, собрав все силы и точно обозлившись на себя и на своего противника, начинает развивать невиданную быстроту. — догоняет и перегоняет. И вдруг неожиданно снова оказывается позади.

Бригада комсомольца Сучкова все время шла в хвосте. Ребята в ней были неплохие, работу выполняли добросовестно, не делали прогулов, но результаты оказывались всегда хуже других. Комсомольцы стали основательно продумывать и усваивать приемы отдельных лучших бетонщиков. Это значительно помогло, но все еще было не то, что требовалось.

Тогда бригадир Сучков начал тщательнее изучать, как на своей, так и на других бригадах, организационную сторону работы. И вскоре он раскусил, в чем дело. Оказывалось, имело огромное значение, как поставить на доску тележку, через какие интервалы она должна следовать за другой. Важно было соразмерить ручку лопаты или граблей с ростом и длиной рук рабочего и прочее, и прочее. Когда его бригадой это все было учтено и усвоено, тогда результаты день ото дня стали расти. Не

прошло и недели, как сучковская бригада выдвинулась на первое место и повела за собой другие.

Бригада Федора Сучкова работала в прессовом отделении, делая железо-бетонную площадку для гигантского прессы в шесть тысяч тонн весом. Этот пресс предназначался для самых тяжелых поковок: валов для крупных гидро- и турбогенераторов, цилиндров для котлов высокого давления, шевронных шестерней, прокатных станков и тому подобное. Для приведения его в действие требовался ряд сложных и могучих механизмов.

Следующие площадки предназначались для поковочных прессов в две тысячи и одну тысячу тонн, а также для горизонтально-протяжного прессы и под гидравлический пресс глубокой штамповки. Потом шли прессы в восемьсот тонн, в сорок, двадцать пять, пятнадцать тонн. Подъем, перемещение и обработка болванок будет производиться при помощи мостовых электрических кранов. Под каждым из этих механизмов сооружалось соответствующее железо-бетонное основание, крепостью и тяжестью не уступая граниту.

Первая площадка была залита бетоном более чем на половину. Сучковцы соревновались с гудилинцами, работавшими в этом же цехе, только в молотовом отделении. Молоты (покамест их основания) располагались вдоль помещения в два ряда с проходом между ними посередине. Одна группа молотов ставилась дляковки обыкновенной стали, другая — для специальной. Каждый молот должен обслуживаться одной или двумя отдельными печами. Железо-бетонное основание шло здесь почти сплошной широкой стеной.

— ... Ширина площадки не соответствует размеру гиганта-прессы...

Этот слух просочился неизвестно каким образом сквозь толстые стены кабинета начальника строительства в соседние комнаты. В течение нескольких минут обойдя все помещения, включая швейцарскую и буфетную, при которой жили две управленческие уборщицы, он вылился на улицу и покотился по площадке строительства, по многочислен-

ным цехам, по столовым и баракам общежитий.

Что это: недосмотр от разгильдяйства, технической неграмотности, или что другое?

Рабочие соседних цехов останавливали на улице бетонщиков и арматурщиков из кузнечно-прессового:

— Что у вас там? Вредительство обнаружено?

Те разводили руками:

— Покуда работаем попрежнему. Ничего не заметно.

— Зря болтают.

— Надо ловить этих болтунов и представлять, куда следует. Может, это с целью распространяют.

В заводской газете появилась заметка, туманно сообщающая:

«По строительству ходят нелепые слухи, что на одном из объектов обнаружена грубая ошибка в строительных расчетах, которая сводит на-нет работу нескольких месяцев. Редакция уполномочена категорически заявить, что эти злостные слухи ни на чем не основаны...»

За два дня до того, как появиться этой заметке, инженера Зворыкина вызвал начальник строительства. В кабинете, кроме самого начальника, находился и главный инженер. На столе лежали генеральный и рабочий планы кузнечно-прессового цеха и чертеж расположения в цехе основных механизмов.

Зворыкин, войдя, по обыкновению плотно притворил за собой дверь. Главный инженер, стоявший недалеко от входа, сейчас же повернул за его спиной дверной ключ.

— Антип Игнатьич, в каком положении находятся у вас на сегодняшнее число бетонные работы в прессовом отделении? — спросил начальник, не предлагая, как раньше, садиться. Сам он сидел за столом.

Инженер начал привычно докладывать:

— Основание для стен через два дня будет выведено из земли. Работы с площадками немного отстают. На главной площадке для прессы № 1 к двум часам дня высота бетонной укладки была

один метр семь сантиметров. Темпы работы повышаются. Последние три дня выполнение такое: двенадцатого числа на стенах дано за сутки четыреста пятьдесят шесть замесов, на площадках — четыреста двадцать один. Тринадцатого на стенах — четыреста шестьдесят, на площадках — триста сорок девять. Сегодня бригады сравнялись...

Начальник слушал, не поднимая головы; взгляд его скользил по синему исчерченному листу бумаги, что называлось рабочим планом. Главный инженер, выставив вперед гладко выбритый подбородок, сидел поодаль, возле массивного дубового шкафа, и задумчиво курил, направляя струю дыма вверх.

— Так. Отлично, — терпеливо выслушав, заключил начальник. — А у вас все в порядке? Я хочу сказать — все у вас производится согласно чертежам?

— Конечно. Как же иначе? — с недоумением улыбнулся Зворыкин. — У нас все делается согласно рабочим чертежам.

— Видите, в чем дело, Антип Игнатьич, — вмешался главный инженер. — До последнего времени у нас не было генерального плана расположения агрегатов завода. На днях мы его получили. По детальном изучении оказалось, что рабочие чертежи для установок некоторых механизмов в кузнечно-прессовом цехе не соответствуют генеральному плану.

— Как не соответствуют? — испуганно и побледнев, спросил Зворыкин.

— А так, что производимая вами площадка для большого пресса по размеру недостаточна.

— Значит... — Зворыкин хотел добавить: «вредительство», но начистертельства ядовито и со злобой перебил:

— Значит, пресс не поместится на нее. Значит, то, что мы, вы делаете, никуда не годится. За это взгреют нас по шею... Вот, что это значит!

— Но позвольте! Как же это могло случиться? Кто в этом виноват? Рабочие чертежи снимались с общего плана.

— Вы, конечно, здесь не при чем. Виновников, несомненно, найдут. Дело заключается в другом... — снова мягко

и необыкновенно серьезно заговорил главинженер, вертя между пальцев потухшую папиросу. Лицо его было непроницаемо. Чем он объясняет или кого подозревает виновником этой истории? Чувствовалось только, что у него есть на этот счет веские соображения, которые он вероятно уже высказал начальнику. Для них двоих дело это почти ясно...

Спустя несколько минут Антип Игнатьич выходил из начальнического кабинета. Состояние было самое отвратительное. Конечно он, Зворыкин, здесь не при чем. Никто обвинять его не будет. Главное — как будет теперь с работами? Сроки для них и без того коротки, а тут — переделка почти заново. Сколько это отнимет времени... Как отнесутся к этому не жалеющие сил бетонщики?

Инженер Зворыкин шел из заводоуправления подавленный, никого и ничего не видя.

### III

Придя домой, Зворыкин сейчас же позвонил к Шухаеву, — может быть, удастся узнать, в чем дело? Почему так случилось? Он никак не мог представить, чтобы могла произойти такая грубая ошибка. Если же это сделано с определенным намерением, то кем? Это тоже не вмещалось в его сознании.

Самого Шухаева на квартире не оказалось, к телефону подошла жена.

— ... Анатолий скоро будет. Вы обязательно приезжайте, я вас жду. Слышите? Сейчас же!

В голосе те же капризно-игривые, так хорошо знакомые нотки, но инженер мало обратил на них внимания, его поглощала одна и та же мысль.

Дверь отперла Вера Александровна сама.

— Вы совсем нас забыли. Стыдно, Антип Игнатьевич. Стыдно! — молодая женщина даже топнула каблучком, сделав притворно негодующую гримасу. — Ну, целуйте руку. Еще раз, еще! Это вам в наказание.

На Шухаевой было светлое, легкое платье с кокетливой кружевной отдел-

кой по воротнику и короткими рукавчиками, кончавшимися почти у подмышек. Скромная, но тщательно сделанная прическа подчеркивалась слустившимся с правого виска великолепным, шелковистым локоном. Широко раскрытые глаза смотрели возбужденно и радостно.

Все это заметил Антип Игнатьевич с первого взгляда и мельком подумал: «Платье к ней идет, и она это знает. Над прической вероятно тоже много думала. Всячески старается его пленить. Напрасно». Он деловым, полуофициальным тоном спросил:

— Анатолий Викторович еще не пришел? Я хотел поговорить с ним об одном деле.

— А со мной, значит, вам не интересно говорить? И дел конечно никаких не может быть? Спасибо! — притворно обиделась Вера Александровна. — А я-то воображала, надеялась... Ну, идемте! Вам все-таки придется в ожидании мужа поскутаться со мной.

Зворыкин, идя за хозяйкой, смотря на ее голые руки, на слегка упитанную шею с жировым наростом к спине, безразлично думал: «Еще не стара, интересна, а чувствует себя несчастной». Мимоходом, невольно отметилась, — где-то читал об этом, — что жировой бугор в основании шеи у женщин характеризует повышенную чувственность... Вспомнилось, как однажды Вера Александровна жаловалась ему на свою жизнь: муж не понимает ее. Они чужие друг другу... Годы идут, а она так мало еще видела хорошего...

Сидели на тахте в комнате Веры Александровны. На кругленьком столике стояли две маленькие чашечки и заплетенная бутылочка бенедиктина. В спиртовом кофейнике булькало кофе.

Антипу Игнатьевичу в этой квартире все было отлично знакомо, начиная с самих хозяев, кончая обстановкой, несколько экзотической, — вкус Веры Александровны, — тахты, маленькие столики, цветочные тумбы, пестрые, затейливые вазы и жанровые картины с сентиментальным содержанием. В комнате хозяйки всегда пахло тонкими духами, вызывающими непривычные ассо-

циации. Он иногда здесь подолгу сиживал, всегда испытывая неприятное беспокойство, хотелось поскорей уйти, дышать другим воздухом, но... уходить все-таки медлил.

Кабинет самого Шухаева был пропитан иным — табачным дымом, книжной пылью и слежавшимися газетами. Кроме письменного стола, дивана, стеклянных шведских шкафов, стояли ящики со слесарно-механическим инструментом и деревянными моделями мелких отливок. Думалось здесь о том, о чем красноречиво говорили и кричали развешанные по стенам картограммы постройки. В этом кабинете Зворыкин иногда проводил целые вечера наедине с хозяином, споря, соглашаясь, вместе мечтая и сомневаясь. Между ним и Шухаевым были дружеские отношения.

Вера Александровна сидела на тахте по-детски, уютно поджав под себя ноги. Длинные породистые пальцы ее с розовыми отточенными ногтями перебирали шнур диванной подушки. Молодая женщина вслух мечтала:

— ... В марте там начинает цвести миндаль. Песок в полдень становится уже горячим, а море густо-синее, с золотыми, буйствующими бликами. Радостно кричат чайки и какие-то другие морские птицы, празднично льется солнце, идут отовсюду весенние запахи. А у нас, здесь, в это время — морозы, вьюги... У-у! Страшно! — Плечи Веры Александровны вздрогнули, по лицу пробежала гримаска. — И надоело все. Невероятно надоело!.. Надоело!.. Милый Антип Игнатьевич! Когда же это все кончится? — Она положила ему на руку свою маленькую теплую ладонь.

Зворыкин поднял недоумевающий взгляд. В первый момент он не понял вопроса, настойчиво думая о том, кем допущена такая преступная небрежность.

— Что кончится? О чем вы спрашиваете?

Она хотела сказать «революция», но запнулась, выжала страдальчески наивную улыбку.

— Ну, вот, вся эта наша такая жизнь. Ведь я... мы не живем сейчас. Никакой радости нет. Ничего!..

Антип Игнатьевич хотел легонько высвободить свою руку, но Вера Александровна почти машинально перенесла ее к себе на колено, не прерывая разговора.

— С Анатолием мы совсем стали чужими, — неожиданно свернула она в сторону. — Чуть не каждый день размовки, почти ссоры. Он не понимает меня и не хочет понять, в особенности после смерти мальчика...

Антип Игнатьевич почувствовал, как-то внезапно, с непонятной искрой укора, что сидящая рядом с ним женщина по-своему, по-женски несчастна. Почувствовал и — пожалел ее. Это выразилось только в одном, в легком, почти неощутимом движении ладони на женском колене. Голова женщины доверчиво и нежно поникла на его плечо. В голосе, с нотками сомнения и боязни, зазвучало уже новое, властно заявляющее о себе, идущее из самых глубин.

— ...Так хочется тепла, сердечного уюта... Вот так бы... Ну, да-а! Я хочу любить и чувствовать эту любовь... У меня ее нет... Милый!..

Зворыкин мягко и решительно отстранился.

— Вера Александровна! Простите!.. Анатолий Викторович вероятно нес скоро придет. Мне надо еще в одно место... по делу...

Инженер стоит возле дивана, недоступный, черствый и жалкий, презирающий себя. На диване, сжавшись, закрыв голову руками, сидит женское отвергнутое существо, может быть, мысленно топчет себя в грязь за минутную слабость, за прорвавшееся женское чувство.

— Вы не ругайте меня. Простите!.. Поймите, Вера Александровна!

Женщина молчит. Голова, точно боясь удара, ушла в плечи — в светлом, воздушном платье с кокетливым кружевным воротником. Инженер Зворыкин, стиснув зубы и махнув локтем, повертывает к выходу. В этот момент раздается звук замка в выходной двери, в коридоре слышатся тяжелые, уверенные шаги по направлению к кабинету.

Зворыкин, выждав, когда шаги Шушаева смолкли, поспешно нырнул в пустоту полутемной парадной...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

На площадке в один и тот же день произошли два события: утром на участке жилстроя осела стена пятиэтажного здания, изувечив обрушившимся карнизом двоих плотников, и в полдень в чугунолитейном цехе упала устанавливаемая торцовая колонна. Здесь один рабочий оказался убитым. Внешняя причина в первом случае была близко вырытая траншея для водопровода, во втором — оборвалась цепь крана. Но расследование установило и другое: при установке колонны была допущена грубая техническая ошибка. Дом строил инженер Дородный, установкой колонны ведал тоже он, переброшенный сюда с жилстроя вместо заболевшего инженера Вейса. Таким образом, в обоих случаях ответственность падала на него.

Вслед за этим случилось то, чего никто не мог ожидать: землекопы и часть плотников, вышли на свои участки, устроили митинги.

На жилстрое ораторствовал среди кучки бездельничающих людей, призывая их стать на работу, владимирский парень Сергей Лычкин. Говорил он не совсем складно, но убеждающе и горячо.

— Это, товарищи, никуда не годится! Это к чертовой матери надо! — размахивал Лычкин руками, — за чего ж нас хлебом кормить?

— Ты не пугай нас!

— Нас будут калечить, убивать, а мы не могли подать свой голос? Ты что ж, коммунистом заделался, что ли? Давно ли это?

— Я дело говорю, а вы лодыря хотите вертеть. Срываете задания. Вон поглядите на Мосеевых! Работают. Не бросили...

— Молчи, гнида! — подскочил к нему, суя кулак к носу, коряжистый старик. Глаза его горели по-волчьи... — Шукура продажная ты, а не мужик! Стукну по башке — только дерьмо от тебя останется!

Мордвин Евмен Мосеев, работавший поблизости, оттолкнул ногой обтесанный сутунок и повернул вполборота голо-

ву. Сказал негромко, но внушительно:

— А ты, старичок, не шибко беленись, а то если я тебя стукну, то и дерьмеца от тебя не останется. — Он принялся за другой сутунок. Руки взмахивали редко и сильно. Щепы по метру длиной плавно отделялись от дерева и жилились ровными рядами.

Брат Лаврентий тесал тут же. Он работал, как заведенный механизм, ни на кого не обращая внимания. Они оба еще в бараке заявили на предложение бросить работу: «Это, ять, не дело вы удумали. Мы вам не под стать. Без дела у нас руки немеют». И теперь чуть не на всем участке взмахивали и цокали только их одних увесистые топоры...

В когловане чугунолитейного цеха, где утром работало около сотни человек, сейчас было пусто. В земле торчали лопаты, кирки; уныло стояли порожние тачки. На краю обрыва сидел босоногий мальчишка с соломенными волосами и горланил какую-то песню. Ему нравились непривычное молчание опустевшего котлована и гулкие отзвуки собственных криков. В дальнем углу человек пять лениво тыкали ломом землю, и по тому, как они взмахивали руками, как неуверенно и выискивающе оглядывались по сторонам, можно было заключить, что эти пятеро так же скоро побросают свои орудия и присоединятся к ушедшим.

К земляной выемке подошел Коренев. Внутри у него кипело, но он сдерживался. Сделал несколько спокойных шагов к работавшей кучке.

— Что, товарищи, праздник у вас сегодня или выборы в советы? — крикнул он сверху насмешливо.

Рабочие подняли головы.

— Эге! Праздник!.. Преподобного Симона!

— Кого?

— А Симона, мол, и Кулимона. Из семи кабаков крестный ход без шапок!

— Та-ак! А резон это или нет? Правильно ваши ребята поступили?

— А как же не правильно? Слышал, у нас одного убило. Вон, на самом том месте!

— Чего уж правильней! В самый аккурат!..

Из соседних траншей и выемок стали выползать люди, укрывшиеся в укромных местах от жары. Эти пятеро тоже повтыкали лопы в землю.

— Это хорошо вам рассуждать: для вас все готово. Что потребуете, то и пожалуйте! А нам во! — Худой, длинный парень сунул кверху огромный кукиш.

Показалась черная войлочная борода Андрона. Растолкав столпившихся у края котлована людей, он поднял голову, заговорил язвительно сладким тенорком:

— А как вот нам, товарищ бригадир, быть? Мы деревенщина необтесанная, не понимаем.

— Ну, ребята, расходишь! Чего вы тут? — подал голос Андрон и юркнул в толпу.

Люди толпились в котловане и наверху, подходили со всех сторон из цехов. К землекопам вскоре присоединилась часть опалубщиков и бетонщиков, набобованных из недавно прибывшей партии крестьян. Разбившихся на группы, горячающихся пытались уговаривать прорабы и отдельные рабочие:

— Вы срываете сроки, коверкаете план! На участках у нас и без того отставание, а вы окончательно все опрокидываете!

— Это преступление! Подумайте хорошенько!..

Землекопы вели себя спокойнее. Они меньше вступали в споры и не делали выкриков по адресу администрации. Чувствовалось, что среди них крепкая спайка и руководит ими чья-то единая воля.

— Мы работаем свыше всяких норм! Соревнование устроили! Ударничество, а вы нам нож в спину!... Это вам не старый режим, не пройдет! — негодовал Коренев. — Всякого злобствующего врага, срывающего социалистическую стройку, мы рабочими руками задушим! Без администрации обойдемся, — сами растопчем ползучую гадину!..

— Эй! Бригадир! А скажи, почему сегодня колонна упала? — выкрикнул из толпы чей-то осипший голос и, не дожидаясь ответа, тотчас же разъяснил: — Вредительство тут вот. А раз вред-

тельство, то мы имеем полное право бросить работу.

— Верно-о! Не желаем работать впус- тую!

— Эй! Металлисты! Бетонщики! Че- го ж вы? Нагоняете темпы, старае- тесь из всех сил, а выходит — видали что?..

— Резо-он!.. Не начинать работу прежде, чем не расследуют. Комиссию надо!

— Комиссию! Комиссию!..

Работа в цехе приостановилась. Рабо- чие спускались с лесов, с вершников ферм, вылезали из ям, оставляли меха- низмы, инструменты и присоединялись к общей толпе. Некоторые подходили только затем, чтобы узнать, в чем дело, и тотчас же попадали в общий водо- ворот...

На дне ямы, у безмолвствующего пустого экскаватора, Шухаев столкнулся с техником Дубенецом.

— Вы что тут делаете?

— Да вот, Анатолий Викторыч, чорто- во отродь! Чего им еще нужно, не пони- маю. Говорю: «Немедленно встать на работу!» Не слушают. Только хам- ят.

— Кто хамит? Здесь никого нет. — Шухаев замечает в руке техника ма- шинный ключ. Лицо сразу покрывается красными пятнами. «Так вот зачем он здесь! Так вот почему часто происходит необъяснимая порча машин!.. Неужели он?.. Неужели все это его?..»

— Товарищ Дубенец! Зачем у вас в руках ключ?

Дубенец, точно спохватившись, сует инструмент в карман куртки.

— А просто так вытащил. С озвере- лой толпой ведь разговариваешь. Для защиты. — Техник уже оправился, в бе- лых усах проползает злая усмешка. — Вот хочу подать в ячейку заявление, ре- бята обещают поддержать...

— Я вас спрашиваю, зачем вы дер- жали в руке ключ? Зачем ходили в ма- шину? — Щеки Шухаева уже побагро- вели, глаза горят небывалым блеском. Сжав в бешенстве кулаки и наступая на пятящегося техника, он сдавленно, сквозь зубы выжимает: — Если я сейчас най- ду, что вы... то сию же минуту вас!..

Дубенец делает прыжок в сторону и становится в наглуую позу.

— Может быть, вы, товарищ началь- ник, вспомните город Николаев, ну, и прочее в этом роде? Ха!..

У Шухаева опускаются руки. Лицо бледнеет.

— Вы грозить мне вздумали? Я не боюсь! Этим вы меня не запугаете, а вас, вас я уничтожу! — Но эти слова, выкрикнутые Шухаевым хрипло, уже показывали его бессилие и животный страх.

Техник Дубенец, играя белой бород- кой, похожей на детскую лопаточку, примиренно и как бы сочувствующе до- бавляет:

— Сориться нам, товарищ Шухаев, не следует. Не полагается по штату...

Они некоторое время идут молча. Техник, вскинув пенистую голову, ша- гает легко и молодцевато, — вот-вот запоем армейскую с присвистом; инже- нер смотрит в землю, и шаг его грузен и вихляст. Когда они поднимаются на баластный путь, Дубенец спокойным, деловым голосом предлагает:

— Инженера Дородного вам, Ана- толь Викторович, следует взять на муш- ку: все эти последние наши события от него.

— Ложь! — бесстрастно отвечает Шу- хаев, не поднимая головы.

— А почему вы так уверены в нем?

— Неправда! Он не делал этого и не- может сделать, — точно самого себя убе- ждает Анатолий Викторович.

— Не знаю, это ложь или нет, но она кое-кому может пойти во спасение.

Шухаев поднимает голову; глаза вы- катились из орбит.

— Если вы скажете еще одно слово, я размножу вам череп! — хрипит он с вновь вспыхнувшим гневом.

Дубенец, сделав шаг с насыпи на троп- инку, как ни в чем не бывало, деловито заявляет:

— Ну, я пойду на свой участок, това- рищ начальник. Счастливо вам оста- ваться!

После его ухода помощник главинже- нера опускается на попавшийся на пути выкорчеванный пенек и упирается тяже- лым бычьим взглядом себе под ноги.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## I

Последний автобус шел в город переполненным, грузно покачиваясь на выбоинах шоссе. За стеклом, на мутном ночном небе в стороне от дороги плясали огни поселка — длиннейшие причудливые гирлянды фонарей.

Иногда почти у самой кромки пробежали длинные, приземистые бараки, крестьянские избы, складские помещения. Прыгая, кривляясь и гримасничая, точно озорные мальчишки, они бесцеремонно заглядывали в окна автобуса и быстро скрывались позади, в сумраке ночи.

Потом потянулась густая, темная стена леса, после которого вскоре открылся широкий простор поля.

Инженер Дородный, рассеянно смотря на мелькающие за окном ночные картины, удрученно думал:

«Как же все это глупо и, пожалуй, даже гнусно. Почему все обрушилось только на него одного? Разве он так уж виноват?.. А может быть, это просто расстроенное воображение: никто его ни в чем не обвиняет, смотрят на него так же, как и на других?..»

Он несколько раз улавливал отдельные слова и отрывки фраз некоторых пассажиров, связанные с только-что законченным соображением: «вредительство», «технический персонал», «чуждый элемент». Но ни разу не услышал своего имени. Когда при въезде в город автобус остановился и пассажиры стали выходить, двое рабочих предупредительно дали ему дорогу, и это на Дородного подействовало успокаивающе.

По длинному коридору заснувшей гостиницы Степан Гаврилович шел уже обычным своим неторопливым шагом, только чувствовалась усталость, и под левым глазом учащенно билась жилка.

В отдельный номер инженер Дородный переехал всего две недели назад, до этого около трех месяцев жил в гостиничном общежитии.

Номер был узкий, продымленный. Постель покрыта небрежно. На проси-

женном диване беспорядочно размещались части мужского туалета, на столе лежали остатки завтрака. Все указывало на холостую, одинокую жизнь.

Дородный сел к столу и придвинул консервы, но есть не хотелось, не тянуло и ко сну. Мысли свернулись в бесформенный комок, ни за одну нельзя было ухватиться. Он достал из папки рукопись последней статьи, написанной для многотиражки, перелистал несколько страниц и откинул в сторону. Кисло поморщился. «Теперь не пойдет. Теперь ничего не будут печатать».

Первая статья инженера Дородного «Несколько слов об утилизации строительных отходов» напечатана тогда же, спустя пять дней после разговора с редакцией. Вторая статья была доставлена в том же месяце и редакцией принята, но почему-то и до сих пор не появляется. Лежит в редакции и третья статья, — участь ее, повидимому, такая же. Кому-то они не нравятся или мешают. «Может быть, сам он, Дородный, мешает? Если так, то ничего не поделаешь».

Степан Гаврилович утомленно откидывает голову на спинку стула. Жизнь прошла странным, нелепым образом. До двенадцати лет — деревня, нужда, побои пьяницы-отца. С двенадцати до двадцати семи — годы ученья и голодное проживание на городских задворках. Годы глотанья книжной мудрости и ненасытная, болезненная жажда жить по-настоящему. Но утолить эту жажду не было возможности, нехватало времени. Каждый час заполнялся уроками, лекциями, добыванием средств. А потом... потом вскоре этот гиблый Туруханск. Десять лет вместо жизни — ненависть и тоска...

... Маленький кусочек радости. Кончено инженерно-техническое. В руках долгожданный, заветный лист с гербом и четкой надписью: такой-то окончил там-то и тогда-то... Внизу подписи и печать.

А в маленькой уральской деревеньке ждала старушка-мать... Месяц пронесся радостным весенним смерчем. Пожалуй, это единственное отрадное, что было в его бытии. В конце лета мать умерла.

В начале зимы умерла для него свобода...

Дородный поднимается и начинает медленно, тяжело ходить — от двери к окну. Ходит долго, пока не утомляются ноги. Потом раздевается и откидывает на постели грубошерстное суконное одеяло.

В тот момент, когда он тянется к выключателю, в дверь раздается осторожный стук. Отняв поднятую руку, Дородный прислушивается. Через полминуты — снова такой же осторожный, будто крадущийся стук.

— Кто там?

— Товарищ Дородный! К вам, с письмом из бюро от товарища...

Фамилия была произнесена так тихо, что он не расслышал ее, но соазу догадался. Натянув брюки и накинув пиджак, он приотворил дверь. В номер вошел пожилой незнакомый человек и молча подал письмо.

— Нужен ответ? — спросил Степан Гаврилович.

— Нет.

Человек сейчас же ушел. Инженер подошел к столу и осторожно разрезал конверт. По мере чтения письма лицо его менялось. Сначала оно приняло выражение недоумения, потом удивления и почти испуга. На щеках выступили красные пятна, резко обозначая лиловую сеть тончайших венозных сосудов. Затихший было под левым глазом тик снова пришел в движение.

Прочитав письмо, Степан Гаврилович снял очки, посмотрел в пустоту окна, что-то обдумывая, и снова углубился в чтение. Хотя письмо помещалось всего на одной стороне четвертушки листа и было написано размашистым, скорым почерком, он читал его необыкновенно долго, каждую фразу, каждое слово тщательно продумывал и взвешивал.

Наконец, прочитав в последний — в четвертый или пятый — раз, Дородный аккуратно вложил письмо в тот же конверт и сунул его в лежащий на столе портфель. Только после этого разделся и направился к постели. Но спустя несколько минут, в течение которых он нервно ворочался и по-старчески крях-

тел, Дородный снова повернул выключатель. Письмо опять было извлечено из конверта и после некоторого раздумья спрятано в письменный стол, в нижний правый ящик, под газетные вырезки.

Босые ноги уверенно и твердо прошлепали по клеенчатой дорожке к номерной постели. Свет окончательно погас.

## II

Автобусы между городом и строительством продолжали ходить с прежней регулярностью и попрежнему переполненные. И люди в них ездили такие же, как и раньше: деловито-спокойные, уверенные. Были среди них и знакомые лица инженеров, техников, заводской администрации.

Значит, строительство не приостановлено? Значит, оно не взорвано, не сожжено? Строители не арестованы? Может быть, и самый факт вредительства кем-нибудь измышлен? Почему же газеты об этом ни словом не обмолвились?

И обывательские слухи стали гаснуть. Разговоры на эту тему вскоре прекратились.

На самой же площадке будущего завода, на всех участках, жизнь текла обычным своим порядком. Землекопы в ту же ночь явились в постававший котлован и объявили себя сверхударной группой. Плотники, вчера взволнованно заявившие, что, покамест комиссия не найдет виновников крушения, они не выйдут из барака, теперь работали по-прежнему, не снижая темпов.

Работала и следственная комиссия...

На пятый день после события на квартиру Зворыкина вечером явился незнакомый человек.

— Могу я видеть Антипа Игнатьевича?

— Вам товарища Зворыкина? — переспросила домашняя работница, обслуживающая три инженерских семьи, живших в этой квартире.

Пришедший, пожилой, в зеленой полинявшей шляпе, негромко, с басовитым раскатом повторил:

— Мне нужно Антипа Игнатьевича, инженера-бетонщика с Механического завода. Фамилию его я не знаю.

— Это он самый. Пройдите, пожалуйста, в его комнату, он вышел ненадолго, в магазин.

Пожилой человек скромно сел на стул возле двери и стал терпеливо ожидать. Продав минут десять, он обратился к домашней работнице:

— Может быть, он нескоро придет? У меня очень мало времени, я тороплюсь. — Пришедший, видимо, начинал волноваться.

— Нет, нет, он должен сейчас... Он мне сказал, что через четверть часа. Подождите еще немного.

Минут через пять пожилой человек решительно поднялся и заявил:

— Больше ждать не могу, я и так опоздал. Передайте Антипу Игнатьевичу, что я хотел ему сообщить об одном очень важном деле, касающемся их строительства.

— А как о вас сказать?

Пришедший подумал, помял в руках зеленую шляпу.

— Скажите, звать, мол, его — Семен Семеныч... Вот и все... Насчет, мол, событий на заводе хотел с ним поговорить... Прощайте.

Пожилой человек вышел, чтобы никогда больше сюда не приходиться.

Зворыкин же в это время, возвращаясь домой, случайно столкнулся почти у своей квартиры с Дородным.

— Очень рад, очень рад! — воскликнул обрадованный Степан Гаврилович. — Я давно хотел с вами поговорить. Ну как живете? Как себя чувствуете?

Они миновали зворыкинскую квартиру и повернули в переулок, где было не так шумно. Говорили о самых простых вещах, оба сознательно не касаясь строительства. Только уже после того, когда молодой инженер, посмотрев на часы, сказал, что ему пора домой, Дородный, как бы между прочим, перевел разговор на другое.

— Кстати, Антип Игнатьевич, что представляет собой инженер Вейс? Вы хорошо его знаете? Как будто человек он интересный. — Последние слова До-

родным были сказаны несколько в другом тоне, чтобы смягчить неожиданный вопрос.

— Да как вам сказать... я его мало знаю. Встречался только в управлении да на заседании. По-моему, человек знающий.

— Он давно здесь?

— Раньше меня поступил. Должно быть, около года работает.

— Та-ак, — задумчиво и в то же время как бы незначаше протянул Дородный. — Вы по вечерам работаете, Антип Игнатьевич?

— Нет, серьезно сейчас не работаю. Больше читаю. Выписал несколько новых научных книг — вот и знакомлюсь.

— Это отлично. Это очень хорошо. Ну, а я за последние полгода в руки не брал почти ни одной книги. Прямо позорно. Надо подтянуться, Между прочим, говорят, Шухаев серьезно занимается...

— Да, он много выписывает, прямо из Германии.

— Вы с ним близко знакомы? — Дородный повернул голову к собеседнику и на несколько секунд задержал свой острый взгляд на его спокойном профиле. — Я не могу его понять. Очень замкнутый человек. У него, кажется, большая дружба с Вейсом?

— Ну, я уже дома, — сказал Зворыкин, протягивая руку и не отвечая на вопрос. — Спокойной ночи! Завтра на площадке, вероятно, увидимся.

— До свиданья! — недовольно ответил старый инженер и обиженной, торопливой походкой зашагал на другой тротуар.

На углу переулка, при повороте, Степан Гаврилович столкнулся с незнакомым человеком, шедшим с опущенной головой и взволнованно жестикулирующим.

Так как Дородный тоже был сосредоточен и не обращал внимания на окружающее, то при встрече у них произошло некоторое замешательство. Инженер свернул немного вправо, чтобы дать дорогу незнакомцу, но тот подался тоже в эту сторону. Дородный шатнулся влево — незнакомец опять очутился против него.

— Виноват, — проговорил Степан Гаврилович.

— Извините!.. — наконец поднял тот голову.

Они друг на друга конфузливо взглянули и через секунду разминулись. Каждый пошел в своем направлении, тотчас же забывая взглянувшее на него лицо.

Этот встречный, случайно столкнувшийся с Дородным на углу переуллка, был геолог Аристарх Маркелович Буглай.

Взволнованность ученого вызывалась немаловажным обстоятельством. Всего десять минут назад он видел человека, который, по заявлению другого человека, должен был лежать в земле. Он видел Ксению Васильевну Овсянникову и с ней ее дочь — ту русоволосую девушку, с которой два года назад ехал в одном купе. Он увидел их, когда они входили в парадную большого дома на Малышевской улице. Никакой ошибки не могло быть. Лица той и другой очень хорошо закреплены в его мозгу.

Буглай вслед за ними подошел к воротам дома и спросил стоящего возле них дворника:

— Скажите, здесь живет Ксения Васильевна Овсянникова?

— Такой нет, — ответил дворник.

— А вот эта дама с девушкой, что сейчас прошла, ведь эта же Овсянникова?

— Нет. Это гражданка Швивцева. Она у нас недавно...

Аристарх Маркелович в первые минуты ничего не мог понять.

«Значит, Ксения Васильевна жива. Зачем Овсянникову нужно было морить ее?.. Значит, дочь его не уехала. Все это вымысел. С какой же целью?.. Почему перемена фамилий?.. Значит... Значит...» Мысль его постепено распутывала непонятный для него клубок.

В этот момент он как-раз и столкнулся с инженером Дородным.

### III

Придя домой, Степан Гаврилович спустился на кухню за кипятком и заварил чай, но пить не хотелось. Сделав не-

сколько глотков, взял газету. Мысли плохо укладывались. Прочитанное разлеталось, как пух на сквозняке. Повернув газету, он отбросил ее и пошел к постели. Лежал, вытянувшись и заложив руки за голову. Тело казалось безвольным, чрезмерно утомленным.

«Хорошо бы теперь отдохнуть по-настоящему, месяц или полтора ничего не делать, просто ходить, сидеть. Простору бы. В степь куда-нибудь или к морю».

Инженер заметил в углу карниза над головой сетку пыльной паутины и подумал: «Какое безобразие! Бесхозяйственность. Прислуги в гостинице много, а всюду грязь, паутина, и никто за этим не смотрит...»

«... На юг бы, в Алушту, на пляж. Расстаться под жарким солнцем, а рядом ласково ворчит прибор... Зверев, вероятно, каждый год ездит... Замечательный человек. Умница, делец. Вообще чудесный и крайне нужный человеческий экземпляр... в особенности в наши дни. Наверно и семья есть, по-настоящему хорошая крепкая семья: хозяйка, жена, крепыши, смышленные дети, — сказала отцовская кровь. А у него, Дородного, — ни семьи, ни настоящей квартиры. Странно. До сих пор он не мог устроить себя...»

Вчерашнее чувство одиночества напоздало на Степана Гавриловича холодной, ядовитой волной, сжимало сердце, отравляло кровь, которая, казалось, замедляла свое движение до того, что холодила пальцы.

В таком состоянии он лежал довольно долго, полузакрыв глаза, вытянув безвольно руки. Привел его в себя какой-то неожиданный шум в коридоре, вскоре затихший.

Дородный неторопливо поднялся, лениво спустил ноги с кровати. Потом, повинуясь внезапно мелькнувшей мысли, подошел к столу и достал из нижнего ящика, из-под бумаг, вчерашнее письмо. Мельком пробежав его, он зажег спичку и поднес к письму. По мере того, как письмо обращалось в пепельную, коробящуюся пленку и осыпалось, лицо старого инженера принимало несвойственный ему вид, набегали, чередуясь, тени: сарказма, мальчишеского задора, удо-

влетворения и наконец каменного спокойствия.

Письмо сгорело, он осторожно смахнул пепел на ладонь, ладонь поднес к лицу, дунул на нее и громко, с необычным нервным прихлупываньем рассмеялся.

В дверь раздался резкий стук, Дородный вздрогнул, воровато скользнул взглядом вокруг себя и, не найдя ничего подозрительного, уверенным шагом пошел к двери.

— Не ожидал? А я гулял неподалеку от тебя и зашел, — захотелось проведать. Не выдались мы больше недели, — непринужденно громко говорил стоявший в дверях Зверев.

Изумленный Дородный сейчас же взял себя в руки.

— Очень рад! Очень доволен, Павел Кондратьевич! Конечно, разве мог я ожидать?.. Проходи, проходи к столу, сейчас чаем тебя угошу.

Дородный торопливо придвинул ему стул, засуетился возле стола, смахивая рукой прямо на пол хлебные крошки и щупая холодный чайник.

— Да ты не суетись! Что ты егозишь, словно собака в мешке! — добродушно захохотал сочным голосом Зверев. — Чай я только-чтопил, есть ничего не хочу, выпивки у тебя наверно нет, а если бы таковая нашлась, то я все равно не пью. — Он дружески хлопнул Степана Гавриловича по плечу. — Кончил, батенька мой! Два года не подносил ко рту и не жалею: чувствую себя великолепно. Лег на десять, на пятнадцать помолодел.

— Это отлично! Это совсем замечательно! — деланно хихикнул Дородный. — А я к ней всегда был равнодушен. Никогда по-настоящему не пил.

Гость свободно, как у себя дома, расположился на диване возле письменного столика и вытащил кожаный портсигар. Перекидываясь с хозяином ничего не значащими фразами, он равнодушно просматривал лежащие на столе книги. Зверев обладал особым умением вести разговор. Он легко, не задумываясь, переходил с темы на тему, делая это непринужденно и с большим искусством.

Они говорили о внешней политике, о московских новостях, о колхозном движении. Потом незаметно перешли на строительство. Зверев сразу стал серьезен. Высказав свое соображение по поводу недавних событий и выслушав некоторые замечания Дородного, он вдруг приблизил к нему лицо, взглянул прямо в глаза жалящим, горячим взглядом.

— Может быть, это ты... ты вредительствуешь?..

Жестко-серьезный взгляд его постепенно размягчился и закончился почти добродушной усмешкой.

Инженер дернулся, словно от внезапного укола, сделал попытку вскочить, но так и остался. Лицо его помертвело, и губы запрыгали. Он мог только прошептать:

— Ты, ты, мне...

— Ладно. Верю, — протянув над ним руку, остановил Зверев и поднялся. Сделал несколько шагов по комнате. — Ладно. Верю. Хочу верить, — повторил он задумчиво.

Несколько минут в комнате висело тяжелое молчание. Степан Гаврилович сидел в низком кресле, откинув голову и закрыв глаза. Губы его были прикушены. Рука на коленке дрожала. Зверев сосредоточенно ходил взад и вперед, бессознательно прищелкивая пальцем правой руки. Наконец он круто повернул с половины комнаты и, остановившись перед креслом хозяина, как бы полусутоливо, но в то же время твердо сказал:

— Если что... то я могу тебя выручить. Я старую дружбу ценю. — При последних словах голос его дрогнул. — Если что... то... — Он вытянул из заднего кармана брюк маленький браунинг и положил его перед хозяином комнаты. — Прощай! — И поспешно направился к двери.

Инженер Дородный, не поворачивая головы, глухим голосом кинул уходящему:

— Возьми! Он мне не нужен! Может быть, тебе для другого пригодится.

После этого голова Дородного с седеющими висками опустилась на стол.

Зверев обернулся, несколько секунд постоял и медленно подошел к столу.

— Ладно! Верю! — Сунул револьвер на прежнее место и прикоснулся широкой ладонью к лысеющему затылку старого друга. — Вот что. На-днях получена просьба с «Пятилетки» — там крайне

нужны люди. Мы несколько человек от нас откомандировываем. Думаю, тебе было бы интересно поработать на новом месте. Подумай. — Он уже сердечно хлопал его по плечу. — Ну, я пойду. Ложись!..

Дородный ничего не ответил.

*Конец первой книги*



# Петр Первый

Роман

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Окончание <sup>1</sup>)

2

Двенадцать дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. Никоткуда подступиться к ней было нельзя, — стояла на небольшом островке (на озере Пойп), каменные стены поднимались прямо из воды, от ворот, укрепленных осадистым замком, деревянный мост сажан на сто был разметан самими шведами.

В крепости находились большие запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьмагодились. Борис Петрович велел кликнуть охотников, вышел к ним и сказал так: «В крепости вино и бабы; постараетесь, ребята, — дам вам сутки гулять». Солдаты живо растащили несколько бревенчатых изб в прибрежной слободе, связали плоты, и человек с тысячу охотников, отталкиваясь шестью, поплыли к крепостным стенам. Шведские бомбы рвались посреди плотов.

Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. Шведы злы, ожесточены, — неужто отобьются? Братъ осадой, — ох, как не хотелось бы! — провозишься до глубокой осени. Вдруг увидел: близ крепостных ворот из земли вырвалось большое

пламя, — бревенчатая надстройка на башне покачулась. Рухнула часть стены. Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окно замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился.

По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Ташили детей на руках, узлы и коробья. Женщины с плачем оборачивались к покинутым жилищам, в ужасе косились на русских, присматривавших добычу. Но едва последние беглецы покинули крепость, кованые ворота с грохотом захлопнулись, из узких бойниц вылетели дымки, — первым был убит поручик, приплывший в челне, чтобы поднять на крепости русское знамя. В ответ с берега ударили мортиры. Люди заматались на мосту, роняя в воду узлы и коробья. Огромное пламя подкинуло вверх крыши замка, взрыв потряс озеро, падающими камнями начало бить людей. Крепость и склады охватило пожаром. Выяснилось — прапорщик Вульф и штык-юнкер Готслих в бессильной ярости сбежали в пороховой погреб и подожгли фитиль. Вульф не успел уйти от взрыва. Штык-юнкер, обожженный и окровавленный, появился в проломе стены, свалился к воде, — его подобрал в челн.

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2 и 3 с. г.

Комендант крепости с офицерами, войдя в избу, где важно, спиной к окошку, за накрытым к обеду столом сидел генерал-фельдмаршал Шереметьев, снял шляпу, учтиво поклонился и протянул шпагу. То же сделали и офицеры. Борис Петрович, бросив шпаги на лавку, начал зло кричать на шведов: зачем не сдавались раньше, причинили столько неслыханных обид и смерти людям, коварством взорвали крепость... В избе стояли обросшие щетиной, загорелые, отчаянные кавалерийские полковники, недобро поглядывали. Все же комендант мужественно ответил генерал-фельдмаршалу:

— Между нашими — много женщин и детей, также супер-интендант, почтенный пастор Эрнст Глюк с женой и дочерьми... Прошу их пропустить свободно, не отдавая солдатам... Женщины и дети тебе не составят чести...

— Знать ничего не хочу! — крикнул Борис Петрович... Мягкое, привычное скорее домашнему обиходу бритое лицо его вспотело от гнева. Вжимая живот, вылез из-за стола. — Господина коменданта и господ офицеров взять под караул! — Оправил трехцветную перевязь, воинственно накиннул малинового сукна короткий плащ, сопровождаемый полковниками, вышел к войскам.

Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около трехсот пленных шведов стояло, понурясь, на берегу. Русские солдаты, еще не зная, как прикажут с пленными, только похаживали около ливонских сердитых мужиков, недели две тому назад бежавших в Мариенбург, в осаду, от нашествия, заговаривали с женщинами, сидевшими на узлах, горестно уткнув голову в колени. Заиграла труба. Важно шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами.

Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянули чьи-то глаза, — точно два огонька обожгли сердце... Время военное, суровое, иной раз женские глаза — острее клинка... Борис Петрович кашлянул важно — «Гм!» — и обернулся... За пыльными солдатскими кафтанами — голубая юбка... Насунился, вы-

ставив челюсть, и — увидел эти глаза: темные, блестящие слезами и просьбой, и молодостью... На фельдмаршала из-за солдатских спин, поднявшись на цыпочки, глядела девушка лет семнадцати. Усатый драгун накиннул ей поверх платишка мятый солдатский плащ (августовский день был прохладен), и сейчас старался прикрыть ее плечом от фельдмаршала. Она молча вытягивала шею, измученное страхом свежее лицо ее силилось улыбаться, губы морщились. «Гм» — в третий раз крякнул Борис Петрович, прошел мимо к пленным...

В сумерки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке, вздыхал... В избе при нем был только один Ягужинский, — царапал пером на углу стола...

— Смотри, глаза попортишь, — тихо сказал Борис Петрович.

— Кончаю, господин фельдмаршал...

— Ну, кончаешь, кончай... (И — уже совсем про себя.) Так-то вот оно наше-го брата... Ну-ну... Ах ты, боже мой...

Легонько постукивая всей горстью по столу, глядел в мутное окошечко. На озере в крепости еще полыхало... Ягужинский весело-насмешливо коснулся на господина фельдмаршала: ишь, как его подперло, шея надулась, лицо потерянное.

— Отнесешь указ-то полковнику, — сказал Борис Петрович, — да зайди во второй драгунский полк, что ли... Этого, как его, Оську Дёмина, урядника, разыщи. Там с ним в обозе — бабенка одна... Жалко, пропадет, — замнут драгуны... Ты ее приведи-ка сюда... Постой... Оське, на-ка, передай рубль, — жалую, скажи...

— Все будет исполнено, господин фельдмаршал...

Борис Петрович — один в избе — кряхтел, качал головой... И ведь ничего не поделаешь: без греха, как ты ни старайся, не прожить... В девяносто седьмом году ездил в Неаполь... Привязалась к сердцу черненькая одна... Хоть плачь... И на Везувий лазил, глядел на адский огонь, и на острове Капри лазил на страшные скалы, глядел капища поганских римских богов и прилежно



осматривал католические монастыри, глядел и руками трогал доску, на которой сидел господь бог, умывая ученикам ноги, и часть хлеба тайных вечери, и крест деревянный, — в нем часть пупа христово и часть обрезанья, и один башмак христов, ветхий, — и главу пророка Захарии — отца Иоанна-предтечи, и многое другое вельми предивное и пречудное... Так нет же, все заслонила ему востроглазая Джулька, с бубном плясала, песни пела... Хотел взять ее в Москву, в ногах валялся у девчонки... Ах, боже мой, боже мой...

Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом, — легонько втокнул в избу давешнюю девушку в голубом платье, в опрятных белых чулках, грудь накрест повязана косынкой, в кудрявых темных волосах — соломинки (видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами)... Девушка у порога опустилась на колени, низко нагнула голову, — явила собою покорность и мольбу.

Ягужинский, бодро крикнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку... Ладная, видать, ловкая, шея, руки — нежные, белые... Весьма располагающая... Заговорил с ней по-немецки:

— Зовут как?

Девушка легко, коротко вздохнула:

— Элене-Экатерине...

— Катерина... Хорошо... Отец кто?

— Сирота... Была в услужении у пробста Эрнста Глюка...

— В услужении... Очень хорошо...

Стирать умеешь?

— Стирать умею... Многое умею... За детьми ходить...

— Видишь ты... А у меня исподнего платья простирать некому... Ну, что же, девица?

Катерина чуть слышно всхлинула, не поднимая головы:

— Нет... На позпрошлой неделе вышла замуж...

— А-аа... За кого?

— Королевский кирасир Иоганн Рабе...

Борис Петрович насупился. Спросил неласково про кирасира: где же он, — среди пленных? Может, убит?

— Я видела, — незадолго до сдачи, — Иоганн с двумя солдатами бросился

вплавь через озеро... Больше его не видала...

— Плакать, Катерина, не надо... Молода... Другого наживешь... Есть хочешь?

— Очень, — ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась, — покорно, доверчиво. Борис Петрович подошел к ней, взял за плечи, поднял, поцеловал в тонкие, теплые волосы. И плечи у нее были теплые, нежные...

— Садись к столу. Покормим. Обижать не будем. Вино пьешь?

— Не знаю...

— Значит, пьешь...

Борис Петрович крикнул денщика, строго (чтобы солдат чего не подумал лишнего, боже упаси, не ухмыльнулся) приказал накрывать ужинать. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину: ишь ты, какая голодная! Ест опрятно, ловко, — взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно приоткроет белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели...

— Платьишки твои, чай, все погорели?..

— Все пропало, — беспечно ответила она...

— Ничего, наживем... На неделе поедем в Новгород, там тебе будет лучше... Сегодня — по-походному — на печи будем спать...

Катерина из-под ресниц темно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой...

— Ишь ты, какая... Катерина, баба. — Сил нет, до чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка. Потянувшись через стол, взял ее за кисть руки, тянул, она все прикрывалась, сквозь пальцы чудно блестел ее глаз... — Ну-ну-ну, в крепостные тебя не запишем. Будешь жить в горницах... Мне экономка давно нужна...

## 3

Когда разбитые под Нарвой войска возвращались в Новгород, много солдат убежало — кто на север, в раскольничьи погосты, кто на большие реки — на Дон, за Волгу, на низовье Днепра... Ушел и

Федька Умойся Грязью, угрюмый, все видавший мужик... (Ему бы и так не сносить головы за убийство поручика Мирбаха.) В побег сманил Андрюшку Голикова, — все-таки вместе когда-то тянули лямку на Шексне, долго ели из одного котла. Андрюшке после нарвского ужаса все равно, куда было итти, — только не опять под ружье...

Ночью со стоянки увели полковую клячу, продали ее в монастырь за пятьдесят копеек, деньги разделили, завернули в тряпицы. Пошли стороной от большой дороги от деревни к деревне, где прося милостыню, а где и воруя, — у попа со двора унесли куренка, в Осташкове у бурмистра со двора унесли узду наборную и седелку, продали кабатчику. Два раза удалось сорвать церковную кружку, но одна — пустая, в другой — копеечка на дне.

Зиму перебились на Валдае в занесенных снегами курных избах, с угоревшими от дыма ребятами, с кричащими в зыбках — под вой ночного ветра — младенцами... Часто Андрюшка Голиков просыпался среди ночи, садился, держа себя за голые ступни. Рядом на вонючей соломе в углу жует теленок. Мужик храпит на лавке. На полу под шестком спит баба, поджав коленки. Бормочут во сне угоревшие ребята на печи. Тараканы кусают у младенца кончики пальцев и щеки. Младенец в люльке — уааа, уаааа... Неведомо зачем родился, неведомо зачем грызут его тараканы...

— Чего ты не спишь, Андрей? — спрашивает Федька (он тоже не спит, лежит, думает).

— Федя, уйдем...

— Куда уйдем, дурной, ночью-то, в метель...

— Тёмно, Федя...

— Вонища здесь, дышать трудно. Живут хуже скотов. Вон как храпит мужик-та. Нахрапится, ковшик воды выпьет, и пошел работать, как лошадь, — целый день... Давеча спрашивал, — у них вся деревня на барщине. Молодой помещик ушел с войском, а старый живет здесь, в деревне, за оврагом у него хороший двор. Старик — скряга, драчун. Все начисто берет у му-

жиков, одну лебеду оставит... И мужики у него все — глупые. Кто поумнее, побойчее, — он его сейчас на телегу, везет в Валдай и на базаре мужика этого продает, прямо с возу — сам. Умных всех вывел, ему и спокойнее. Тут и дети глупые рождаются, бессловесные...

Андрюшка сидит, сжимая голые, холодные ступни, раскачивается. Десятерым досыта хватило бы того, что за двадцать четыре года вынес Андрей. Живуч... И даже не хилым телом живуч, а неугасаемым желанием, тревогой. Будто лезет, ободранный, голодный, через бурелом, через сграшные места, — год за годом, версты за верстами, — веря одним желанием, что где-то чудесный край, куда он все-таки придет, продеется сквозь жизнь. Где этот край, какой он?

Вот и сейчас, плохо слушая, что говорит Федька, — рядом на соломе, — Андрей раскрыл глаза в тьму... Не то вспоминается, не то чудится: зеленый бугор, береза, — всеми веточками, всеми листочками дрожит, трепещет от теплого ветра... Ох, радость... И нет ее... Плывет лицо, невиданное никогда, ближе, подплыло вплоть, раскрывает глаза, глядит в Андрюшку, — живет живого... Будь сейчас доска, кисть, краски, — списал бы его... Усмехнулось, проплыло... В голубоватом тумане чудится город... Предивный, пречудесный, ох, какой город! Где же искать город этот, где искать дрожащую листами березу, усмехнувшееся дивное лицо?

— Утрась прямо айда на усадьбу, наврем боярину, сколько он хочет, глядь, и покормят на людской, — хрипит Федька... На богатых дворах он всегда начинал рассказы про нарвскую беду — врал, что было и чего не было, и в особенности до слез доводил слушателей (бывало, и сам помещик зайдет от скуки на людскую и пригорюнится, подперев щеку), до слез доводил рассказом про то, как король Карл, побив неисчислимые тысячи православного воинства, ехал по полю битвы...

«... Лицом светел, в левой ручке — держава, в правой ручке — вострая сабля, сам — в золоте, серебре, конь под ним — сивый, горячий, по брюхо в че-

ловечей крови, коня под уздцы ведут два мужественных генерала... И наезжает король на меня... А я лежу конечно, в груди у меня пуля... Около меня шведы, как мешки накинаны, — убитые. Наехал на меня король, остановился и спрашивает генералов: «Что за человек лежит?» Генералы ему отвечают: «Это лежит храбрый русский солдат, сражался за православную веру, убил один двенадцать наших гренадеров». Король им отвечает: «Мужественная смерть». Генералы ему: «Нет, он живой, у него в груди — пуля». И они меня поднимают, я встаю, беру мушкет и делаю на полный караул, как полагается перед королем. И он говорит: «Молодец». Вынимает из кармана золотой червонец: «На, — говорит, — тебе, храбрый русский солдат, иди спокойно в свое отечество да скажи русским: «С богом не боритесь, с богатым не судитесь, со шведом не деритесь...»

Без осечки после такого рассказа Федьку, а с ним Андрея оставляли на людской ночевать и кормили. Но трудно было пробираться на богатый двор. Люди стали недоверчивы. Год от году все больше народу бегало от войскового набора, от военных и земских повинностей, скрывались в лесах, шалили и в одиночку, и шайками... Были такие городки, где остались одни старики, старухи да малые дети. Про кого ни спроси: этот взят в драгуны, этот на земляных работах, или увезен на Урал, а этот еще недавно держал на базаре лавку, — и почтенный, и богобоязненный, — бросил жену, малых ребят, свистит с кистенем в овраге у большой дороги...

Федька не раз задумывался — не пристать ли к разбойничкам, пошалить? Да и так рассуждая: куда было деваться? Не век бродить меж двор, — надоест... Но Андрей — ни за что... Уперся, — пойдем, пойдем на полдень до края земли... Федька ему: «Ну, придешь, опять же там — люди, даром кормить не станут, придется батрачить у казаков или лезть в кабалу к помещику, ломать спину на чорта... А пошалили бы да погуляли, глядь, и зашили бы каждый в шапку по сто рублей. С такими

деньгами в купцы можно выйти. Тут уже к тебе ни драгун, ни подъячий, ни помещик не привяжется, — сам хозяин...»

Один раз — это было летом — сидели на вечерней заре в поле, от костра из сухого навоза тянул дымок, ветер клонил стебли, хрипел держак в сырой лошине. Андрюшка глядел на догоревшую зарю, ее осталось — тусклая полоска у края земли:

— Федя, вот что я тебе скажу один раз... Живет во мне сила, ну такая сила, — больше человеческой... Слушаю, ветер свистит по стеблям, и — понимаю, так понимаю все, — грудь разрывает... Гляжу, заря вечерняя, сумрак, и — все понимаю, так бы и разлился по небу с этой зарей, такая во мне печаль и радость...

— У нас в деревне был дурачок, гусяний пастух, — сказал Федька, ковыряя стеблем в рассыпающихся углях, — такое же нес, бывало, понять ничего нельзя... Играл хорошо на тростниковых дудках, — всей деревней ходили слушать... Тогда искали людей к покойному к Францу Лефорту в музыканты. Что ж ты думаешь — взяли его...

— Федя, мне под Нарвой рассказывал крепостной человек Бориса Петровича про итальянскую страну... Про тамошних живописцев... Как они живут, как они пишат... Я не успокоюсь, рабом последним отдамся такому живописцу — краски тереть... Федя, я ведь умею... Взять доску деревянную, дубовую, протереть маслицем, покрыть грунтом... В черепочках натрешь красок, иные на масле, а иные на яйце... Берешь кисточки... (Голиков говорил совсем тихо, не заглушал посвистывания ветра.) Федя, день просветел и померк, а у меня на доске день горит вечно... Стоит ли дерево, береза, сосна, — что в нем? А взглянь на мое дерево на моей доске, все поймешь, заплачешь...

— Где ж эта страна-то?

— Не знаю, Федя... Спросим, скажут...

— Что ж, мне все равно — куда идти...

Весною семьсот второго года в Архангельск прибыли на корабле десят шляюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалованье (по семнадцати рублей двадцать копеек в месяц, на государевых кормах). Половину мастеров отправили под Тулу, на Ивановское озеро, — строить (как было задумано в прошлом году) тридцать один каменный шляюз между Доном и Окой через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний-Волочек — строить шляюз между Тверицей и Мстою.

Вышневолоцким шляюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером. Ивановскими шляюзами — Ладожское озеро, все Поволжье с Москва-рекой — с Черным морем.

Петр был в Архангельске, где укрепляли устье Двины и строили фрегаты для беломорского флота. Здешние промышленники рассказали ему, что издавна известен путь из Белого моря в Ладогу, — через Выг в Онего-озеро. Путь трудный, много перевозок и порогов, но, если прокопать протоки и поставить шляузы до Онего-озера, — все беломорское приморье повезет товары прямым сплавом в Ладогу.

Туда — в Ладожское озеро — упирались все три великих пути от трех морей, — Волга, Дон и Свирь. От четвертого — Балтийского моря — Ладогу отделял небольшой проток Нева, оберегаемый двумя крепостями — Нотебургом и Ниеншанцем. Голландский инженер Исаак Абрагам говорил Петру, указывая на карту: «Прокопав шляюзные каналы, вы оживите мертвые моря и сотни ваших рек, воды всей страны устремятся в великий поток Невы и понесут ваши корабли в открытый океан».

Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени семьсот второго года. Апраксин — сын адмирала — все лето раззорял Ингрию, дошел до Ижоры и на берегу быстрой речки, вьющейся по приморской унылой равнине, разбил шведского генерала Кронгиорта, отбросил его на Дудергофские холмы, откуда тот в конфузии ушел за

Неву, в крепостцу Ниеншанц, что на Охте.

Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Назии. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с пятью батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбацкой деревни Нюхча. Отсюда он послал в Сороку, в раскольничий погост, что при устье Выга, капитана Алексея Бровкина. (Летом Иван Артемич добился, разменял сына на пленного шведского подполковника, — сам ездил в Нарву, еще дал в придачу триста ефимков.) Алексей должен был проплыть в карбасе по всему Выгу и посмотреть, пригодна ли река для шлязования.

Из Нюхчи войска пошли через Пулозеро и погост Возмосальму на Повенец, — просеками, гатями и мостами. Дорогу эту в три месяца построил сержант Щепотев, согнав крестьян и монастырских служек из Кеми, из Сумского посада, из раскольничьих погостов и скитов. Войска волокли на катках две оснащенные яхты. Шли болотами, где гнил лес и звенели комары, мхом, как шубой, покрыты были огромные камни. Увидели дивное Выг-озеро со множеством лесистых островов, их ощетиленные горбы, подобно чудовищам, выходили из затлитых солнцем вод. В бледном небе — ни облака, озеро и берега — пустынные, будто все живое попряталось в чащобы.

В десяти верстах от военной дороги в Выгорецкой Даниловой обители день и ночь шли службы, как на страстную седмицу. Мужчины и женщины в смертной холщевой одежде молились коленопреклоненные, неугасаемо жгли свечи. Все четверо ворот — наглухо заперты, в воротных сторожках и около моленных заготовлена солома и смола. В эти дни из затвора вышел старец Нектарий. После сожжения паствы и побега он, будучи не при деле, поселился в обители. Но Андрей Денисов его не жаловал и к народу не допускал. Нектарий со зла сел в яму молчальником, сидел молча два года. Когда к

яме, прикрытой жердями и дерном, кто-либо подходил, старец кидал в него калом. Сегодня он самовольно явился народу, — узкая борода отросла до колен, мантия изъедена червями, в дырья сквозили желтые ребра.

Вздев высохшие руки, он закричал:

— Андрюшка Денисов за пирог с грибами Христа продал... Что смотришь... Сам антихрист к нам пожаловал, с двумя кораблями на полозьях... Набьют вас туда, как свиней, — увезут в ад кромешный... Спасайтесь... Не слушайте Андрюшку Денисова... Глядите, как он морду надул в окошке... Ему царь Петр пирог с начинкой прислал...

Андрей Денисов, видя, что оборачивается худо и, пожалуй, найдутся такие, кто и на самом деле захочет гореть, начал попрекать старца и кричал на него из окна кельи:

— Должно быть, в яме ты с ума спятился, Нектарий, тебе только людей жечь — весь бы мир сжег... Царь нас не трогает, пусть его идет мимо с богом, мы сами по себе... А что меня пирогами попрекаешь, — пирогов за век ты больше моего сожрал. Мы знаем, кто тебе по ночам в яму-то курятину таскает, всех курей перевел в обители, — костей полна яма...

Тогда кое-кто кинулся к яме, и — верно — в углу закопаны куриные кости. Началось смущение. Андрей Денисов тайно вышел из обители и на хорошей лошади поехал за реку, к войску, — нашел его по зареву костров, по ржанию коней, по пению медных труб на вечерней заре.

Петр принял Андрея Денисова в полотняном шатре, — сидел с офицерами у походного стола, все курили трубки, отгоняя дымом комаров. Увидев свежего мужчину в подряснике и скуфье, Петр усмехнулся:

— Здравствуй, Андрей Денисов, что скажешь хорошего? Все ли еще вы двумя перстами от меня оберегаетесь?

Денисов, как ему было указано, сел к столу, не морщась, но лишь у самого носа отмахиваясь от табачного дыма, сказал, — честно, светло глядя в глаза:

— Милостивый государь, Петр Алексеевич... Начинали мы дело на диком

месте, сходилась сюда темный народ, всякие люди. Иных лаской в повинование приводили, а иных и страхом. Пужали тобой, — прости, было... В большом начинании не без промашки. Было всякое, и такое, что и вспоминать не стоит...

— А теперь что делается? — спросил Петр.

— Теперь, милостивый государь, хозяйство наше стоит прочно. Пашни общей расчищено свыше пятисот десятин, да лугов столько же. Коровье стадо — сто двадцать голов. Рыбные ловли и котильни, кожевни и валяльни. Свое рудное дело. Рудознаты и кузнецы у нас такие, что и в Туле нет...

Петр Алексеевич, уже без усмешки, переспрашивал, — в каких местах, какие руды? Узнав, что железо — по берегам Онего-озера и даже близ Повенца есть место, где из пуда руды выплавляют полпуда железа, — заморгал, задымил трубочку:

— Так чего же вы, беспоповцы, от меня хотите?

Денисов, подумав, ответил:

— Тебе, милостивый государь, для войны нужно железо... Укажи, — поставим, где удобнее, плавильные печи и кузницы. Наше железо — лучше тульского и обойдется дешевле... Акинфий Демидов на Урале считает по полтинничку...

— Врешь, по тридцати пяти копеечек...

— Что ж, и мы по тридцати пяти посчитаем. Да ведь Урал далеко, а мы — близко... Тут и медь есть. Строевые, мачтовые леса под Повенцом, на Медвежьих горах, — по сорока аршин мачты, звенит дерево-то... Будет Неватюя — плоты станем гнать в Голландию. Одного боимся, — полов с подъячими... Не надо нам их... Прости меня, говорю, как умею... Оставь нас жить своим уставом... Страх-то какой!.. В обители третий день все работу побросали, обрядились в саваны, поют псалмы... Скотина — не поена, не коярмлена — ревет в хлевах... Пошлешь к нам попа с крыжом, с причастием, — все разбегутся — куда глаза глядят... Разве удержишь... Народ все — пыганный,

ломаный... Уйдут опять в глушь, и дело замрет...

— Чудно, — сказал Петр. — А много у вас народа в обители?

— Пять тысяч работников мужска и женска пола, да престарелые на покое, да младенцы...

— И все до одного вольные?

— От неволи ушли...

— Ну, что ж мне с вами делать? Ладно, снимайте саваны... Молитесь двумя перстами, хоть одним, — платите двойной оклад со всего хозяйства...

— Согласны, со всей радостью...

— В Повенец пошлете мастеров — лодочников добрых. Мне нужны карбасы и йолы, судов пятьсот...

— Со всей радостью...

— Ну, выпей мое здоровье, Андрей Денисов. — Петр налил из жестяного штофа водки полную чарку, поднес с наклоном головы. Денисов побледнел. Светлые глаза метнулись. Но — достойно встал. Широко, медленно, — прижимая два перста, — перекрестился. Принял стопу. (Петр пронзительно глядел на него.) Выпил до капли. Снял скуфью, вытер ею красные губы.

— Спасибо за милость.

— Закуси дымом. — Петр протянул ему трубку — обмусленным чубуком вперед. Теперь у Денисова в глазах мелькнула уюмешка, — не дрогнув, взял было трубку. Петр отстранил ее.

— А места... (Сказал, будто ничего и не было). А места, где найдете руду и земли кругом, сколько потребуется, обмеряйте и ставьте столб. О сем пишите в Москву — Виниусу. Я ему скажу, чтобы с промыслов и плавильных печей пошлины не брать лет десять... (Денисов поднял брови.) Маловато? Пятнадцать лет не будем брать пошлины. О цене на железо договоримся. Начинайте работать — не мешкая. Понадобятся люди, или еще какая нужда, — пиши Виниусу... Денег не просите... Выпей-ка еще стопку, овятой человек...

В конце сентября в непогожие дни три войска, соединясь на берегах Нави, двинулись к Нотебургу. Древняя крепость стояла на острове посреди Невы у самого выхода ее из Ладоги. Су-

дам можно было попадать в реку по обоим рукавам мимо крепости не иначе, как саженьх в десяти от бастионов под жерлами пушек.

Войска вышли на мыс перед Нотебургом. Сквозь низко летящие дождевые облака виднелись каменные башни с флюгарками на конусных кровлях. Стены были так высоки и крепки, — русские солдаты, рывшие на мысу апроши и редуты для батарей, только вздыхали. Не даром при новгородцах, построивших эту крепость, звалась она Орешек, — легко не раскусишь. Шведы, казалось, долго раздумывали. На стенах не было видно ни души. Хмурыми облаками заволакивались свинцовые кровли. Но вот на круглой башне замка на мачту поползло королевское знамя со львом, — захлестало по ветру. Медным ревом ударила тяжелая пушка, ядро, шипя, упало в грязь на мысу перед апрошами. Шведы приняли бой.

Правый берег Невы, по ту сторону крепости, был сильно укреплен, со стороны озера попасть туда было трудно из-за болот. Заранее, еще до прихода всего войска к Нотебургу, по левому берегу прорубили просеку от озера через мыс к Неве. Теперь несколько тысяч солдат вытаскивали на канатах ладьи из Ладожского озера, волокли их по просеке и спускали в Неву — ниже крепости. Человек по пятидесяти, хватаясь за концы, тянули, другие поддерживали с бортов, чтобы судно ползло на жилах по бревнам. «Еще раз! Еще раз! Берись дружней!» — кричал Петр. Кафтан он бросил, рубашка промокла, на длинной шее, перетянутой скрученным галстуком, вздулись жилы, ноги сбил в щиколотках, попадая между бревен... Хватался за концы, выкатывал глаза: «Разом! Навались!» Люди не ели со вчерашнего дня, в кровь ободрали ладони. Но чёртушка, не отступая, кричал, ругался, дрался, тянул... К ночи пятьдесят тяжелых лодок, — с помостами для стрелков на носу и корме, — удалось переволоочь и спустить в Неву. Люди не хотели и есть, — засыпали где кто повалился, на мокром мху, на кочках.

Барабаны затрещали еще до зари. Прапорщики трясли людей, ставили на ноги. Было приказано, — зарядить мушкеты, два патрона (оберегая от дождя) положить за пазуху, по две пули положить за щеку. Солдаты, прикрывая замки полами кафтанов, влезали на помосты качающихся лодок. Била волна. В темноте плыли на веслах через быструю реку на правый берег. Там шумел лес. Солдаты спрыгивали в камыши. Шопотом ругались офицеры, собирая роты.

Ждали. Начала проступать ветряная заря, — малиновые полосы сквозь летучий туман. По свинцовой реке подошел веселый бот. Из него выскочили Петр, Меншиков и Кенигсек. (Саксонский посланник попросился в поход добровольцем и состоял при царе.) «Готовься!» — протяжно закричали голоса. Петр, цепляясь за кусты, взобрался на обрывистый берег. Ветер поднимал полы его короткого кафтана. Он зашагал смутно различной длинной тенью, — солдаты торопливо шли за ним. По левую его руку — Меншиков с пистолетами, по правую — Кенигсек. Они вдруг остановились. Первый ряд солдат, продолжая идти, обогнал их. Петр приказал: «Мушкет на караул... Вводи курки... Стрельба плутонгами...» По рядам резко защелкали кремни... Второй ряд прошел вперед, минуя Петра. «Глядеть пред себя! — диким голосом закричал Петр. — Первая плутонга — палить!» Ружейными вспышками осветились мотающиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями — низкая насыпь шведского шанца. Оттуда тоже стреляли, но неуверенно. «Второй плутонг... Палить!» Второй ряд так же, как и первый, выстрелив, упал на колени... «Третий... Третий! — кричал срывающийся голос. — Багинет пред себя... Бегом...»

Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды, крича всё громче и злее, тысячной горячей толпой, уставя штывы, хлынули на земляное укрепление. Изю рва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убежала в сторону леса.

Шанцы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассвело — через реку переправили мортиры. И в тот же день начали кидать ядра в Нотебург с обоих берегов реки.

В крепости, выдержавшей две недели жестокой бомбардировки, начался большой пожар и взрывы артиллерийских погребов, отчего обвалилась восточная часть стены. Тогда увидели лодочку с белым флагом на корме, — она торопливо плыла к мысу, к шанцам. Русские батареи замолчали. От мортир, обливаемых водой, валил пар. Из лодки вылез высокий бледный офицер, — голова его была обвязана окровавленным платком. Неуверенно оглядывался. Через шанец к нему перепрыгнул Алексей Бровкин, дерзко глядя, спросил: «С чем хорошим пожаловал?» Офицер быстро заговорил по-шведски, — указывал на огромный дым, валивший из крепости в безветренное небо. «Говори по-русски, — сдается, или нет?» — сердито перебил Алексей. На помощь к нему подошел Кенигсек, — нарядный, улыбающийся, — вежливо снял шляпу, поклонился офицеру и, переспросив, перевел. Что-де жена коменданта и другие офицерские жены просят дозволить им выйти из крепости, где невозможно быть от великого огня и дыма. Алексею взял у офицера письмо о сем к Борису Петровичу Шереметьеву. Повертел. Вдруг исказился злобой, бросил письмо под ноги офицеру, в грязь:

— Не стану докладывать фельдмаршалу... Это — что ж такое? Баб выпустить из крепости!.. А нам еще две недели на штурмах людей губить... Сдавайтесь на аккорд сейчас же, — и весь разговор...

Кенигсек был вежливее: поднял письмо, отер о кафтан, вернул офицеру, объяснив, что просьба — напрасна. Офицер, пожимая плечами, негодуя, сел в лодку, и — только отплыл — рывкнули все сорок две мортиры батарея Гошки, Гинтера и Петра Алексеевича.

Всю ночь пылал пожар. На башнях расплывались свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. Заревом освещалась ре-

ка, оба стана русских и ниже по течению — сотня лодок у берега наготове, — с охотниками, тесно стоящими на помостах, со штурмовыми лестницами, положенными поперек бортов. После полуночи канонада замолкла, — слышался только шум бушующего огня. Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка. Надрывающе забили барабаны. Ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры — Михайла Голицын, Карпов и Александр Меншиков. (Вчера Алексашка со слезами говорил Петру: «Мин херц, Шереметьев в фельдмаршала маханул... Надо мной люди смеются: генерал-майор, губернатор псковский! А на деле денщик был, денщиком и остался... Пусти в дело за военным чином!..»)

Петр с фельдмаршалом и полковниками был на мысу на батарее. Глядели в подзорные трубы. Ладьи быстро подходили с восточной стороны, там, где обвалилась стена, — навстречу им неслась каленые ядра. Первая лодка врезалась в берег, охотники горохом скатились с помостов, потащили лестницы, полезли. Но лестницы нехватало до верху даже в проломе. Люди взбирались на спины друг другу, карабкались по выступам. Сверху валились камни, лился расплавленный свинец. Раненые срывались с трехсаженной высоты. Несколькo лодок, подожженные ядрами, ярко пылая, уплывали по течению.

Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя, совал трубу подмышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане (несколько уже оторвал).. Лицо — землистое, губы черные, глаза ввалились... «Ну, что же это, что такое!» — глухо повторял, дергал шеей, оборачивался к Шереметьеву. (Борис Петрович только вздыхал неторопливо, — видал дела и пострашнее за эти два года.) «Опять пожалели снарядов... Бери голыми руками! Нельзя же так!..» Борис Петрович отвечал, закрывая глаза: «Бог милостив, возьмем и так...» Петр, расставя ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу.

Много раненых и убитых валялось под стенами. Солнце было уже высоко,

задернуто пленками. К облакам поднимался дым из крепостных башен, но пожар, видимо, слабел. Новый отряд охотников, подходя в лодках с западной стороны, кинулся на лестницы. У всех в зубах — горящие фитили, — выхватывали из мешков гранаты, скусывали, поджигали, швыряли. Кое-кому удалось засесть в проломе, но оттуда — не высунуть головы. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку, то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой...

Казалось, все надежды, судьба всех тяжелых начинаний — в упорстве этих маленьких человечков, суетливо двигающихся на лестницах, передыхающих под выступами стен, стреляющих, — хоронясь за кучи камней от шведской картечи... Помочь — ничем нельзя. Батареи принуждены бездействовать. Были бы в запасе лодки, — перевести еще тысячи две солдат на подмогу. Но свободных лодок не было, и не было лестниц, нехватало гранат...

— Батюшка, отошел бы ты в шатер, откушал бы, — отдохни... Что сердце зря горячить, — говорил с бабьим вздохом Борис Петрович.

Петр, не опуская трубы, нетерпеливо оскалится. Там, на стене, — появился высокий седобородый старик в железных латах, в старинной каске. Указывая вниз, на русских, широко разевал рот, — должно быть, кричал. Шведы тесно обступили его, тоже кричали, видимо, о чем-то спорили. Он оттолкнул одного, другого ударил пистолетом, — тяжело полез вниз по уступам камней — в пролом. За ним туда скатилось человек с полсотни. В проломе сбились в яростную кучу шведы и русские. Человеческие тела, как кули, летели вниз... Петр закричал длинным стоном.

— Этот старик — комендант — Ерик Шлипенбах, старший брат генералу Шлипенбаху, которого я бил, — сказал Борис Петрович.

Шведы быстро овладели проломом, зацелкали оттуда из мушкетов. Сбежали по лестницам вниз, кидались с одними шпагами на русских. Высокий ста-



рик в латах, стоя в проломе, топал ногой, взмахивал руками, как петух крыльями... («Швед осерчает — ему и смерть не страшна» — сказал Борис Петрович.) Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Какой-то человек, с обвязанным тряпкою лицом, метался перед носами лодок, отгоняя от них солдат, чтобы не садились, — дрыгал, доался. Навалившись на нос лодки, отпихнул ее, порожнюю, от берсга. Ирыгнул к другой — отпихнул... («Мишка Голицын, — сказал Борис Петрович, — тоже — горяч».) Рукопашный бой был у самых лодок...

Двенадцать больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения к крепости. Это был последний резерв, отряд Меншикова. Алексашка, без кафтана, — в шелковой розовой рубахе, — без шляпы, со шлягой и пистолетом первым выскочил на берег... («Хвастун, хвастун» — пробормотал Петр). Шведы, увидя свежего противника, побежали к стенам, но только часть успела взобраться наверх, остальных покололи. И снова со стен полетели камни, бревна, бухнула пушка картечью. Снова русские полезли на лестницы. Петр следил в трубу за розовой рубашкой. Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу... Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлипенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах, — старика едва уберегли свои, утащили наверх... Шведы ослабели под этим новым натиском.) («Вот — чорт!» — крикнул Петр, затопал ботфортом). Розовая алексашкина рубаха уже металась на самом верху, между зубцами стены...

Было плохо видно в подзорную трубу. Огромное раскаленное зарево северного заката разливалось за крепостью.

— Петр Алексеевич, а ведь никак белый флаг выкинули, — сказал Борис Петрович. — Уже пора бы, — тринадцать часов бьемся...

Ночью на берегу Невы горели большие костры. В лагере никто не спал. Кипели медные котлы с варевом, на колышках жарились целиком бараны. У распиленных пополам бочек стояли

усатые ефрейторы, — оделяли водкой каждого зволю, — сколько душа жаждет.

Охотники, еще не остывшие от тринадцатичасового боя, все почти перевязанные окровавленным тряпьем, сидя на пнях, на еловых ветвях у костров, рассказывали плачевные случаи о схватках, о ранах, о смерти товарищей. Кружком позади рассказчиков стояли, разинув рты, солдаты — не бывшие в бою. Слушая, оглядывались на смутно чернеющие на реке обгорелые башни. Там, под стенами опустевшей крепости, лежали кучи мертвых тел. Погибло смертью свыше пятисот охотников, да на телегах в обозе и в палатках стонало около тысячи раненых. Солдаты со вздохом повторяли: «Вот он тебе — Орешек, — разгрызли».

За ручьем на пригорке из освещенного царского шатра доносились крики и роговая музыка. Стрельбы при зазданных чашах не было, — за день настрелялись. Время от времени из шатра вылезали пьяные офицеры за нуждой. Один — полковник, — подойдя к берегу ручья, долго пялился на солдатские костры по ту сторону, — гаркнул пьяно:

— Молодцы, ребята, постарались...

Кое-кто из солдат поднял голову, проворчал: «Чего орешь, иди — пей дальше, Еруслаи-воин». Из шатра, также за нуждой, вышел Петр. Пошатываясь, справлялся. Огни лагеря плыли перед глазами: редко пьянел, а сегодня разобрало. Вслед вышли Меншиков и Кенигсек.

— Мин херц, тебе, может, свечу принести, чего долго-то? — пьяным голосом спросил Алексашка. Кенигсек засмеялся: «Ах, ах», — как курица, начал приплясывать, задирая сзади полы кафтана. Петр ему:

— Кенигсек...

— Я здесь, ваше величество...

— Ты чего хвастал за столом...

— Я не хвастал, ваше величество.

— Врешь... Я все слышал... Ты что плел Шереметьеву? «Мне эта вещичка дороже спасения души...»? Какая у тебя вещичка?

— Шереметьев хвастал одной рабыней, ваше величество, — лифляндкой. А я не помню, чтобы я...

Кенигсек молчал, будто сразу отрезвел. Петр, оскаленный усмешкой, — сверху вниз — журавлем — глядел ему в испуганное лицо...

— Ах, ваше величество... Должно быть, я про табакерку поминал... Французской работы, — она у меня в обиходе... Я принесу...

Он шаткой рысцой пошел к ручью, — в страхе расстегивал на груди пуговички камзола... «Боже, боже, как он узнал? Спрятать, бросить немедленно...» Пальцы путались в кружевах, добрался до медальона — на шелковом шнуре, силился оборвать, — шнур больно врезался в шею... (Петр торчал на холме, — глядел вслед.) Кенигсек успокоительно закивал ему, — что, дескать, сейчас принесу... Через глубокий ручей, шумящий между гранитными валунами, было переброшено — с берега на берег — бревно. Кенигсек пошел по нему. Башмаки, измазанные в глине, скользили. Он все дергал за шнур. Оступился, отчаянно взмахнул руками, полетел навзничь в ручей.

— Вот, дурень пьяный, — сказал Петр.

Подождали. Алексашка нахмурился, озабоченно спустился с холма:

— Петр Алексеевич, бжеда, кажись... Придется людей позвать...

Кенигсека не сразу и нашли, хотя в ручье всего было аршина два глубины. Видимо, падая — он ударился затылком о камень и сразу пошел на дно. Солдаты притащили его к шатру, положили у костра. Петр принялся сгибать ему туловище, разводить руки, — дул в рот... Нелепо кончил жизнь посланник Кенигсек... Расстегивая на нем платье, Петр обнаружил на груди на теле золотой медальон — величиной с детскую ладонь. Обыскал карманы, вытащил пачку писем. Сейчас же пошел с Алексашкой в шатер.

— Господа офицеры, — громко сказал Меншиков, — кончай пировать, государь желает ко сну...

Гости торопливо покинули палатку (кое-кого пришлось волоочь подмышки—

шпорами по земле). Здесь же, среди недоеденных блюд и догорающих свечей, Петр разложил мокрые письма. Ногтями отодрал крышечку на медальоне, — это был портрет Анны Монс, дивной работы: Анхен, как живая, улыбалась невинными голубыми глазами, ровными зубками. Под стеклом вокруг портрета обвивалась прядка русых волос, так много целованных Петром Алексеевичем. На крышечке, внутри, иголкой было нацарапано по-немецки: «Любовь и верность».

Отколутив также и стекло, пощупав прядку волос, Петр бросил медальон в лужу вина на скатерти. Стал читать письма. Все они были от нее же к Кенигсеку, — глупые, слащавые, — размякшей бабы...

— Так, — сказал Петр. Облокотился, глядел на свечу. — Ну, скажи, пожажалуйста... (Усмехаясь, качал головой.) Променяла... Не понимаю... Агала. Алексашка, — агала-то как... Всю жизнь, с первого раза, что ли?.. Не понимаю... «Любовь и верность»...

— Падаль, мин херц, стерва, кабатчица... Я давно хотел сказать...

— Молчи, молчи, этого ты не смейшь... Пошел вон.

Набил трубочку. Опять облокотился, дымя. Глядел на валяющийся в грязной луже портретец: «К тебе через забор лазил... сколько раз имя твое повторял... доверяясь, засыпал на горячем твоём плече... Дура и дура... Кур тебе пасти... Ладно... Кончено...» Петр махнул рукой, встал, бросил трубку. Повалившись на скрипящую койку, прикрылся бараньим тулупом.

## 5

Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург — ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях. Посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры. Петр вернулся в Москву.

У Мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостиня сотня с хоругвями встретили Петра. На сто сажень Мясницкая устлана красным сукном. Купцы кидали вверх шапки,

кричали по-иностранному: «Виват!» Петр ехал, стоя, в марсовой золоченой колеснице, за ним волочили по земле шведские знамена, шли пленные, опустив головы. На высокой колымаге везли деревянного льва, на нем верхом сидел князь-папа, Никита Зотов, в жестяной митре, в кумачевой мантии, — держал меч и штоф с водкой.

Две недели пировала Москва, как и полагалось по сему случаю. Не мало почтенных людей занемогло и померло от тех пиров. На Красной площади поили и кормили пирогами посадских. Пошел слух, что царь велел выдавать вяземские печатные пряники, но бояре-де обманули народ, — за этими пряниками приезжали из далеких деревень. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты, по стенам крутились огненные колеса. Допировались и дошутились, на самый Покров, до большого пожара. Пыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе, ветер был сильный, головни несло за Москва-реку. Волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму, в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла, кроме Житного двора и Кокоскиных хором, — весь старый дворец (едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем), все приказы, монастыри, склады военных снарядов, на Иване Великом попадали колокола, самый большой, в восемь тысяч пудов, — раскололся.

После, на пепелищах, люди говорили: «Поцарствуй, поцарствуй, еще не то увидишь...»

По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья: Алексей, — недавно возведенный в подполковники; Яков — воронежский штурман, — мрачный, с грубым голосом, пропахший насквозь трубочным табаком; Артамоша с женой Натальей, — он состоял при Шафирове переводчиком в Посольском приказе, Наталья в третий раз была брюхата, стала красивая, ленивая, раздалась вширь — Иван Артемич не мог на-

глядеться на сноху; был и Роман Борисович с дочерьми. Антониду этой осенью удалось спихнуть замуж за поручика Белкина, — худородного, но на виду у царя (был сейчас в Ингрии). Софья еще томилась в девках.

Роман Борисович одряхлел за эти года, — главное, оттого, что приходилось много пить. Не успеешь проспаться после пира, а уж на кухне с утра сидит солдат с приказом быть сегодня там-то... Роман Борисович захватывал с собой усы из мочалы (сам их придумал) и деревянный меч. Ехал на царскую службу.

Таких застольных бояр было шестеро, все великих родов, взятые в потеху кто за глупость, кто по злому наговору. Над ними стоял князь Шаховской, человек пьяный и нежелатель добра всякому, — сухонький старичок, наушник. Служба не особенно тяжелая: обыкновенно, после пятой перемены блюд, когда уже изрядно выпито, Петр Алексеевич, положив руки на стол и вытянув шею, озираясь, громко говорил: «Вижу — зело одолевает нас Ивашко Хмельницкий, не было бы конфузии». Тогда Роман Борисович вылезал из-за стола, привязывал мочальные усы и садился на низенькую деревянную лошадь на колясках. Ему подносили кубок вина, — должен, подняв меч, бодро выпить кубок, после чего произнести: «Умираем, но не сдаемся». Карлики, дураки, шуты, горбуны с вьизгом, наскочив, волокли Романа Борисовича на лошади кругом стола. Вот и вся служба, — если Петру Алексеевичу не приходило на ум какой-либо новой забавы.

Иван Артемич находился сегодня в приятном расположении: семья в сборе, дела — лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкиных. Нехватало только любвицы — Александры. Про нее-то и рассказывал Гаврила, степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу.

Александра жила сейчас в Гааге (с посольством Андрея Артамоновича Матвеева), но стояли они с мужем не на посольском подворье, а особо снимали дом. Держала кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачтовую... («Ах, ах», — удивлялся Иван Артемич, хотя

на лошадей и на яхту, тайно от Петра Алексеевича, посылал Саньке не малые деньги). Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго, — Александре немецкий королевский двор не понравился: король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый кусок на счету...

— В Гааге у нее дом полон гостей, — рассказывал Гаврила, — знатных конечно мало, больше всякие обстоятельства люди: авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, умеющие отводить глаза... Она с ними катается на парусах по каналу, — сидит на палубе, на стульчике, играет на арфе...

— Научилась? — всплескивал ладонями Иван Артемич, оглядывал домашних...

— Выходит гулять на улицу — все ей кланяются, и она вот так только головой — в ответ... Василия не всегда выпускает к гостям, да он тому и рад, — стал совсем тихий, задумчивый, постоянно с книжкой, читает даже по латыни, ездит на корабельные верфи, по кунскамерам и на биржу, — присматривается...

Перед самым отъездом Гаврилы Санька говорила, что и в Гааге ей все-таки надоело: у голландцев только разговоров — торговля да деньги, с женщинами настоящего рафина нет, в танцах наступают на ноги... Хочется ей в Париж...

— Непременно ей с французским королем минует танцевать! Ах, девчонка! — ахал Иван Артемич, у самого глаза щурились от удовольствия. — А когда она домой-то собирается? Ты вот что скажи...

— Временами, — надоедят ей авантюристы, — говорит мне: «Гашка, знаешь, крыжовнику хочу, нашего, с огорода... На качелях бы я покачалась в саду над Москвой рекой...»

— Свое-то, значит, ничем не вытравить...

Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александрю. В середине обеда приехали Петр и Меншиков. (Петр часто теперь заворачивал сюда.) Кивнул домашним, ска-

зал затрепетавшему Роману Борисовичу: «Сиди, — сегодня без службы». Остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы.

— Гиблое место, — сказал он внятно. — За границей города стоят по тысяче лет, а этот — не помню, когда он и не горел... Москва!

Невеселый сел к столу, некоторое время молча, много ел. Подозвал Гаврилу, начал строго расспрашивать — чему тот научился в Голландии, какие книги прочел, велел принести бумагу, перо, — чертить корабельные части, паруса, планы морских фортеций. Один раз заспорил, но Гаврила твердо настоял на своем. Петр похлопал его по голове: «Отцовские деньги зря не проедал, вижу». (Иван Артемич при сем потянул носом счастливые слезы.) Закурив, Петр опять подошел к окошку:

— Артемич, — сказал, — надо новый город ставить...

— Поставят, Петр Алексеевич, через год опять обростут...

— Не здесь...

— А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее, — Москва. (Задрав голову, — низенький, коротенький, — торопливо мигал). — Я уж, Петр Алексеевич, взялся за эти дела... Пять тысяч мужичков подготовлено — валить лес... Избы мы по Шексне, по Шелони, на месте будем рубить, пригоним их на плотках, — бери, ставь: рубликов по пяти изба с воротами и с калиточкой... Чего милее! Александр Данилыч идет ко мне интересаном...

— Не здесь, — повторил Петр, глядя в окошко. — На Ладого надо ставить город, на Неве... Туда гони лесорубов...

Коротенькие руки Ивана Артемича так сами и просились — за спину — вертеть пальцами... — Можно... — сказал тонким голосом...

...  
...  
...  
— Мин херц, опять приходила ко мне старая Монсиха... Плачет, просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали

к обеду, — осторожно проговорил Меншиков... Ехали от Бровкина, под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь, — алексашкиных слов будто и не слышал...

После Шлиссельбурга он только один раз, в Москве уже, помянул про Анну Монс: велел Алексашке поехать к ней, взять у нее нашейный, осыпанный алмазами, свой портрет, — прочих драгоценностей, равно и денег не отнимать и оставить ее жить, где жила; захочет — пусть уезжает в деревню, но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не показывалась.

С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И сейчас (в карете) ни одна жилка на лице не дрогнула. Анна Ивановна писала ему, — без ответа... Она засылала мать к Меншикову с подарками, моля позволить — упасть к ногам его царского величества, которого одного любила всю жизнь... А медальон Кенигсеком у нее-де был украден. (Про письма, найденные на нем, она не знала.)

Меншиков видел, что мин херц весьма нуждается в женской ласке. Царские денщики (все у Меншикова на жаловании) доносили, что Петр Алексеевич плохо спит по ночам, охает, стучит в стену коленками. Ему нужна была не просто баба, — добрая подруга. Сейчас Алексашка запустил про Анну Монс только для проверки. Петр — никак. С'ехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу, — Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой. Петр, — ему — холодно:

— Удивляюсь, как я тебя, все-таки, терплю, — не знаю...

— А что я? Да — ей-ей...

— Во всяком деле тебе непременно надо украсть... И сейчас крутишься, — вижу...

Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорил со смешком:

— С Борисом Петровичем у меня вышла ссора... Он тебе еще будет жаловаться... Он все хвастал экономкой... Купил-де ее за рубль у драгуна... А не

уступлю, говорит, и за десять тысяч... Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь... На все руки девка... Ну, я и под'ехал... Подпили мы с ним: покажи... Жметса, — она, говорит, не знаю, куда ушла... Я и пристань... Старику — тесно, повертелся-повертелся, позвал. Так она мне понравилась сразу, — не то, чтобы какая-нибудь писаная красавица... Приятна, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые... Я говорю: надо бы по старинному обычаю гостю чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется. Наливает кубок и — с поклоном. Я выпил, ее — в губы. Поцеловал ее в губы, мин херц, — обожгло, ни о чем думать не могу, кровь кипит... «Борис Петрович, — говорю, — уступи девку... Дворец отдам, последнюю рубашку сниму... Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал... А ты ее только растрвожишь без толку... А к тому же, — говорю, — тебе и прех: — жена, дети... Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет...» Припер старика.. Сопит... «Александр Данилыч, отнимаешь ты у меня последнюю радость...» Махнул рукой, заплакал... Ей-ей, — прямо — смех... Ушел, заперся один в спальней... Я с этой экономкой живо переговорил, послал за каретой, погрузил ее вместе с узлами и — к себе на подворье... А на другой день — в Москву. Она недельку поплакала, но — притворно, я так думаю... Сейчас, как птичка у меня во дворце...

Петр, — не понять, — слушал, или нет... Под конец рассказа — кашлянул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял, — Петр Алексеевич слушал внимательно...

## 6

Бровкин, Свешников, гостинодворец Затрапезный, государевы гости Дубровский, Щеголин, Евреинов ставили на Яузе и Москва-реке суконные, полотняные, шелковые заводские дворы, бумажные заведения, канатные сучильни. Ко многим заводам приписаны были в вечную крепость деревеньки из Поместного приказа (куда отходили вотчины по-

битых на войне или разжалованных помещиков).

Купечество просыпалось от дрёмы. Собираясь на большом крыльце быстро отстроенной после пожара Бурмистерской палаты, только и говорили о ново-завоеванной Ингрии, где надо бы этим летом сесть крепко на морском берегу. Из подпольев выкапывали дедовские горшки с червонцами и ефимками. Искали иностранных мастеров. Рассылали приказчиков по базарам и кабакам — кабаить рабочих людей.

Иван Артемич за эту зиму широко развернул дела. Через Меншикова добился брат из тюрем Ромодановского колодников под крепкие записи, сажал их, кого на цепи, а кого и так, на свои суконные и полотняные заводы, шумевшие водяными колесами по Яузе. За семьсот рублей выкупил, состоявшего за Разбойным приказом, знаменитого кузнечных дел мастера Жемова (на тройке привез его из Воронежа), и тот сейчас ставил на новом лесопильном заводе Ивана Артемича, в Сокольниках, невиданную огненную машину, работающую от котла с паром.

Рабочих рук нехватало нигде. Из приписных деревенек много народа бежало от новой неволи на дикие окранны. Тяжко работать в деревне на барщине, иной лошади — легче, чем мужику. Но еще безнадежней казалась неволя на этих заводах, — хуже тюрьмы и для колодника и для вольнонаемного. Кругом — высокий тын, у ворот — сторожа, злее собак, в темных клетях, согнувшись за стучащими станами, и песни не запоешь: ожжет тростью по плечам иностранец-мастер, припрозит ямой. В деревне мужик хоть зимой-то выпится на печке. Здесь и зиму, и лето, день и ночь махай челноком. Жалованье, одежда — давно пропиты, — вперед. Кабала. Но страшнее всего ходили темные слухи про уральские заводы и рудники Акинфия Демидова. Из приписанных к нему уездов люди от одного страха бежали без памяти.

Приказчики-вербовщики Акинфия Демидова ходили по базарам и кабакам, широко угощали всякого, сладкоречиво расписывали легкую жизнь на

Урале. Там-де земли — непочатый край, — поработай с годик, денежки в шапку зашил, иди с богом, мы не держим... Хочешь — старайся, ищи золота, — у нас золота, как навоза, под ногами.

Напоив подходящего человека, такой приказчик, — уговором, или обманом, — при свидетеле-кабатчике подсовывал кабальную запись: поставь, мила голова, крест чернилом вот туточко. И — пропал человек. Сажали его в телегу, если буйный — накладывали цепь, везли за тысячу верст, за Волгу, за ковыльные киргизские степи, за высокие лесные горы — на Невьянский завод, в рудники. А уж оттуда мало кто возвращался. Там людей приковывали к наковальням, к литейным печам. Строптивых пересекали лозами. Бежать некуда, — конные казаки с арканами оберегали все дороги и лесные тропы. А тех, кто пытался бунтовать, бросали в глубокие рудники, топили в прудах.

После рождества начался новый набор в войско. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно.

## 7

— Что же ты Катерину-то не показываешь?

— Робеет, мин херц... Так полюбила меня, привязалась, — глаз ни на кого не поднимает... Прямо хоть женись на ней...

— Чего же не женишься?

— Ну, как, все-таки...

Меншиков присел на вошенном полу у камина, отворачивая лицо, мешал горящие поленья. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей. Снегом кидало в стекла высокого окна. Колебались огоньки двух восковых свечей на столе. Петр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только-что вернулся из Тулы — с заводов, и, не заезжая в Преображенское, — прямо к Меншикову, в баню. Парился часа три. В алексашкинском надушенном белье, в шелковом его

кафтани, — без шейного платка — с открытой грудью, — сел ужинать (велел, чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг), расспрашивал про разные пустяшные дела, посмеивался. И вдруг спросил про Катерину (с того разговора в карете о ней помянул в первый раз).

— Жениться, Петр Алексеевич, с моим худым рóдишком да на пленной... не знаю... (Копал кочергой, сыпал искрами.) Свагатают мне Арсеньеву Авдотью. Род древний, из Золотой орды... Все-таки — покроет пироги-то мои. Постоянно у меня во дворце иностранцы, — спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титул? Наши-то — толстозадые, великородные — им и рады нашептывать: он-де с улицы взят...

— Правильно — сказал Петр. Вытерся салфеткой. Глаза у него блестели.

— Мне бы хоть графа какого получить, титул. — Алексашка бросил кочергу. Загородил огонь медной сеткой, вернулся к столу. — Метель, ужас. Тебе, мин херц, думать нечего ехать домой.

— Я и не собираюсь.

Меншиков взялся за рюмку, — задрожала в руке. Сидел, не поднимая глаз.

— Этот разговор не я начал, а ты его начал, — сказал Петр. — Поди, ее позови...

Алексашка побледнел. Сильным движением поднялся. Вышел. Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только выла метель на больших чердаках. Петр слушал, поднимая брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги, — быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, стал в открытой двери, кусал губы: «Сейчас — идет». У Петра поджались уши, — услышал: в тишине дома, казалось, весело, беспечно летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках.

— Входи, не бойся, — Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась, — из темноты коридора на свет свечей. Будто спрашивая, взглянула на Алексашку (была ему по плечо, черноволосая, с подвижными бровями), тем же легким шагом, без ро-

бости, подошла к Петру, присела низко, взяла, как вещь, его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала. Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Заложила руки под белый передничек, — остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие ее сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза, ясно, весело.

— Садись, Катерина.

Она ответила по-русски — ломано, но таким приятным голосом, — ему сразу стало тепло от камина, уютно от завывания ветра, разжались уши, бросил мотать ногой. Она ответила:

— Сяду, спасибо. — Сейчас же присела на кончик стула, все еще держа руки на животе под передником.

— Вино пьешь?

— Пью, спасибо.

— Живешь неплохо в неволе-то?

— Неплохо, спасибо...

Алексашка хмуро подошел, налил всем троем вина:

— Что заладила одно: спасибо да спасибо. Расскажи чего-нибудь.

— Как я буду говорить, — они не простой человек.

Она выпростала руки из-под передничка, взяла рюмку, быстротлазо улыбнулась Петру:

— Они сами знают, какой начать разговор...

Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. Начал спрашивать Катерину — откуда она, где жила, как попала в плен? Отвечая, она глубже уселась на стуле, положила голые локти на скатерть, блестели ее темные глаза, как шелк, блестели ее черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую прудь. И казалось — так же легко, как только-что здесь, по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни...

Алексашка все доливал в рюмки. Подложил еще поленьев в камин. Пополуночному выла вьюга. Петр потянулся, сморщив короткий нос, поглядел на Катерину:

— Ну, что же, спать, что ли. Я пойду... Катюша, возьми свечу, посвети мне...

Угрюмый мужик, Федька Умойся Грязью, со свежим пунцовым клеймом на лбу, раздвинув на высоких козлах босые ноги, скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалды, бил с оттяжкой по торцу сваи... Мужик был здоров. Другие, — кто опустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно, — глядели, как свая с каждым ударом уходит в топкий берег.

Вбивали первую сваю для набережного укрепления маленького острова Янни саари, по-фински — Заячий остров. Три недели тому назад русские войска взяли на аккорд, — верстах в двух выше по Неве — земляную крепость Ниеншанц. Шведы, оставив невские берега, ушли за Сестру-реку. Шведский флот, из боязни мелей, темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. Два небольшие корабля отважились войти в устье Невы — до острова Хирви саари, — в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева, но их облепили галеры и взяли на абордаж.

Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. (Петр писал Рюмодановскому: «... в людях зело нужда есть, вели по всем городам, приказам и ратушам собрать воров, — слать их сюда».) Тысячи рабочих людей, пришедших за тысячи верст, перевозились на плотках и челнах на правый берег Невы, на остров Койбу саари, где

на берегу стояли шалаши и землянки, дымили костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед Кайбу саари, — на Неве, — на болотистом острове Янни саари, в сбережение дорого добытого устья всех торговых дорог Русской земли, начали строить крепость в шесть бастионов («...строить их шести начальникам: первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, второй — Меншиков, третий — князь Трубецкой, четвертый — князь-папа Зотов...») После закладки, — на большом шумстве в землянке у Петра, — при заздравных стаканах и пушечной пальбе, крепость придумано было назвать Питер бурж.

Открытое море отсюда было — подать рукой. Ветер покрывал его веселой зыбью. На западе, за парусами шведских кораблей, стояли высокие морские облака, — будто дымы другого мира. Смотрели на эти не русские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари, лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Нехватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналась чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору. Петр писал князю-кесарю, прося слать еще людей: «зело здесь болеют, а многие и померли». Шли и шли обозы, рабочие, колодники...

Федька Умойся Грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи...

22 апреля 1934 г.

Детское Село.

*Конец второй книги*



# Записки современника

И. ЛЕЖНЕВ

(Окончание <sup>1</sup>)

Третья часть

## ПРЕВРАЩЕНИЯ

### 17. Классовое лицо интеллигенции

Революция низвергла царя, взорвала цитадель капитализма, нанесла сокрушительные удары церкви, вдребезги разбила большое множество, казалось, нерушимых традиций. Запоздала только на кладбище, упрямо цепляется только за жизнь столетняя старушка — интеллигентская традиция, — да дьявольски живуч оказался предрассудок о внеклассовости интеллигенции. Разумеется, теперь уж не то: нет былой статности, нет той уверенной поступи. Не пощадила революция старую красавицу, — изрядно-таки помяла бока, набок свернула «римско-греческий» профиль, растрепала великолепную прическу, чудо куаферного искусства. А краски слиняли столько же от времени, сколько от суровых ветров и непогоды. И все-таки скрипит старая традиция, живет кое-как, появляется кой-где, опираясь на древнюю клюку.

Откуда эти упорство и живучесть? «Буржуа» давно у нас стало бранным словом. И кому же охота носить на себе ярлык «буржуа», особенно в наше время, когда в преддверии бесклассового общества с остатками буржуазии ведется война на истребление. А с другой стороны, интеллигенция — слишком разношерстная группа, ее социальное

место не так наглядно, ее классовое лицо не так однозначно.

Кому не памятен еще с прошлых времен слезница интеллигентов — меньшевиков, эсеров и прочих «народолюбцев» — о том, что мы-де тоже пролетарии, не владеющие средствами производства, не эксплуатирующие чужого труда: нашим источником пропитания является труд, но только умственный, зачислять нас в разряд буржуа нельзя: это было бы чистейшей воды махаевщиной, и т. д., и т. п.

Так ли это? Что интеллигент — труженик, верно; но не всякий труженик — пролетарий. Крестьянин, ремесленник, кустарь, составляющие основную массу мелкой буржуазии, тоже труженики.

Критикуя бухаринское определение класса, Ленин писал: «Классы представляют из себя прежде всего «группы лиц» (неточно сказано), различающихся положением в общественном строе производства и различающихся так, что одна группа может присваивать себе труд другой группы».

Чтоб дать определение классовой принадлежности интеллигенции, надо учесть также и роль, какую играл интеллигент в процессе производства в самом широком смысле (в частности — идеолог как мелкобуржуазный товаропроизводитель «духовных ценностей»), его место в общественной организации труда и во всей экономической жизни страны и

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2 и 3 с. г.

вытекающие отсюда возможности перехода в высший класс, многообразие переплетений и значительную общность интересов с этим высшим классом, материальный уровень жизни, социальное происхождение, воспитание, степень восприимчивости к идеологии и культуре имущих классов и т. д.

Нельзя забывать и того, что интеллигенция как один из отрядов мелкой буржуазии, именно вследствие промежуточного своего классового положения, имеет не одну только возможность подниматься вверх, но подчас и горестную необходимость скатываться вниз, переходить в неимущее состояние, деклассированное и полупролетарское.

Передвижка по этой скале возможностей вверх и вниз зависит в общем от трех моментов: 1) от уровня знаний интеллигента, степени его квалифицированности, 2) от рыночного спроса и предложения умственного труда, то-есть непосредственно от хозяйственной конъюнктуры, 3) от емкости рынка, то-есть от степени развития производства в стране, от политического ее состояния, от ее культуры. Только учитывая эти признаки во всей их совокупности и исторической конкретности, можно представить себе картину классовых тяготений такой промежуточной и разнородной группы, как интеллигенция.

«Чтобы действительно знать предмет, — говорил Ленин, — надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвления. Это — во-первых. Во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении... В-третьих, вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В-четвертых, диалектическая логика учит, что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», как любил говорить вслед за Гегелем покойный Плеханов».

Перейдем на почву фактов. В капиталистических условиях вообще и в российских условиях времен царизма в частности высшее образование могли получить только дети дворянства и буржуазии. Максимум Горькие были редчайшим исключением. Люди малого достатка по необходимости довольствовались и малым образованием. Народные учителя, земские и городские фельдшера, конторщики, мелкие служащие были и по социальному своему происхождению, и по характеру своей деятельности, и по политическим симпатиям ближе всего к «народу». Работники этих профессий составляли левое полупролетарское крыло интеллигенции. Невысокая квалификация сильным образом урезывала для них возможность перехода в высший класс.

Иначе обстояло дело с интеллигентами высшего образования и «высшего полета», — с теми, кто почитал себя «солью земли». Этот слой интеллигенции в начале века составляли выходцы из дворянства и буржуазии и, крупной и мелкой. Материальный уровень жизни квалифицированных работников умственного труда, в которых ощущалась нехватка в стране, резко превышал уровень трудовых масс и совпадал с буржуазным. Особенно улучшилось материальное положение этих слоев интеллигенции в последнее десятилетие перед Октябрьской революцией, в годы конъюнктурного подъема. Роль, которую играли эти люди в производстве, торговле, банковском деле, печати, в общественных организациях буржуазии — в биржевых комитетах, муниципалитетах, а в годы войны — в Земгоре, военно-промышленных комитетах и т. д., — была ролью надсмотрщиков над рабочими и доверенных лиц капитала. В нашей бедной знаниями стране перед высококвалифицированными работниками умственного труда открывались широкие перспективы для карьеры, для прямого перехода в буржуазию: премиальные, танъемы, участие в акционерном капитале и т. д., не говоря уже о накоплении денег, позволявшем открыть собственное

дело: подрядную контору, инженерно-строительное бюро, медицинские клиники, юридические консультации и проч.; еще более легким был доступ к домовладению, к собственному торговому предприятию.

Если квалифицированные работники умственного труда в своей массе не участвовали в эксплуатации труда прямо, то они в большой мере были проводниками эксплуатации, исполнителями воли пославшего их капитала, возможными кандидатами в эксплуататоры. В кандидатском звании, правда, многим и многим приходилось оставаться целые десятилетия, раньше чем «сподобиться», но в принципе это мало меняет дело: потенция большей или меньшей степени всегда оставалась налицо.

Сложите все вместе — и происхождение, и перспективы, и фактическое положение в производственном процессе и в обществе, и тысячи деловых нитей, переплетавших и связывавших предоктябрьскую интеллигенцию «высшего полета» с буржуазией, и вы получите картину действительных материальных отношений. Могли ли они оставаться «нейтральным» моментом при формировании идей и иллюзий? Стало быть, интеллигенту было что скрывать от других и от самого себя. Классовое лицо было достаточно отчетливо обозначено, и оно нуждалось в маске внеклассовости.

Позиция внеклассовости интеллигенции была ошибочна в том отношении, что социально-разнородная категория изымалась вообще из сферы классового деления и ставилась над классами. Но правильным было то, что, несмотря на всю пестроту социальной группы, в ней признавалась некоторая общность. И действительно, общий признак был налицо, хоть то был не признак внеклассовости.

При соревновании в беге одни участники оказываются впереди, другие отстают, одни придут первыми к финишу, другие — с опозданием, третьи вообще не придут. Но все участники находятся в движении, и все устремлены к одному и тому же финишу. Это

и есть общее между участниками соревнования. Об интеллигенции того времени можно сказать, что она находилась в становлении и устремлялась к буржуазному финишу. Одни уже были пайщиками предприятий, имели собственные технико-строительные бюро, клиники, консультации, дома и проч.; другие всего этого еще не имели — по молодости ли лет, по неспособности, из-за отсутствия специальности и знаний, сноровки и связей или по другой причине. Но все более или менее устремлялись в эту сторону. Отсюда общность буржуазного классового сознания. Различия в степени классовой выраженности обуславливались различием квалификации, карьеры, материального достатка и не в последнем счете различием возраста.

Младшие, не получившие еще высшего образования, не имевшие еще «солидного» положения, были только становящимися буржуа, в то время как старшие были уже ставшими буржуа. Отсюда — относительная левизна, радикализм и демократизм младших, их ранние социалистические увлечения и традиционная дань подполью, и — оформившийся буржуазный консерватизм старших.

Невольно вспоминается один из чеховских персонажей — смешная и трогательная фигура помощника бухгалтера, всю свою жизнь мечтавшего стать бухгалтером. Но вот случилось счастье — помер бухгалтер, и помощник именинником идет на похороны своего бывшего начальника в надежде на долгожданное назначение, но... бухгалтером назначают другое лицо, и злосчастный герой остается в вечных помощниках.

Бывали и среди интеллигенции вечные студенты и вечные неудачники, скатывавшиеся в деклассированную богему. Но уж одно стремление и одна возможность (реальная или хотя бы только «в мечтах») выскочить «в люди», то-есть в буржуа, в достаточной мере определяла их классовое сознание. А дозировка, степень классового тяготения к буржуазии при прочих равных условиях (при равном «кандидатском стаже», способностях, удаче и т. п.) в сильнейшей

мере зависела от хозяйственной конъюнктуры и политической обстановки в разные периоды.

Вот то общее, что в действительности роднило разнородные группы интеллигенции и что ложно понималось и прикрывалось маской «внеклассовости».

Рост промышленности и хозяйственный подъем в годы реакции значительно увеличили емкость внутреннего рынка, расширили и умножили пункты приложения умственного труда, повысили спрос. В этих условиях низвержение интеллигента в деклассированную богему и в полупролетарское состояние становилось сравнительно редким случаем, а возможности подъема вверх по классовой лестнице, возможности перехода в буржуа, можно сказать, «расцвели полным цветом». На смену былому полупролетарскому скитальчеству (особенно молодежи), безработности, неуверенности в завтрашнем дне и т. д. пришли «солидная» буржуазная оседлость, занятость на интеллигентском поприще, хороший достаток, всяческое обрастание. А с другой стороны, реакция все больше выветривала и обесцвечивала былую революционность интеллигентской молодежи, доводя окраску политических настроений до благополучно розового цвета уравнилельно-кадетского либерализма.

Из двух возможных линий классового развития мелкобуржуазной интеллигенции вверх, в сторону буржуазии, и вниз, в сторону союза с пролетариатом, первая возможность упрочилась отчасти объективно, но главным образом субъективно, а вторая возможность была совсем забыта, почти вытравлена из памяти.

Совокупность всех этих обстоятельств, бегло очерченный нами круг условий и определяли классовое и политическое лицо дооктябрьской интеллигенции.



Подчеркнутое Лениным требование диалектики изучать предмет со всех сторон, во всех его связях и «опосредствованиях», побуждает остановиться еще на одной стороне вопроса, и именно на той, в которой ярче всего сказывается спе-

цифика интеллигентского труда и вместе с тем яснее всего раскрывается классовая сущность интеллигенции в рамках капиталистического общества. Я имею здесь в виду так называемую «гуманитарную» интеллигенцию, главным образом ее творческое крыло, занятое формировкой идеологии и игравшее поэтому идейно-руководящую роль во всем нашем образованном обществе.

Об этом подлинном «мозговом тресте» буржуазии мы имеем исключительно ценное высказывание Маркса и Энгельса в их ранней работе — «Немецкой идеологии», лишь недавно впервые опубликованной и не получившей еще, на мой взгляд, достаточного освещения в нашей теоретической марксистско-ленинской литературе.

Раньше всего дается самая общая характеристика продукции «мозгового треста»:

«Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями, то-есть класс, являющийся господствующей материальной силой общества, является в то же время господствующей духовной силой... Господствующие мысли представляют не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, представляют выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения, то-есть отношения, которые и делают один какой-нибудь класс господствующим, то-есть представляют мысли его господства... Эти господствующие понятия будут иметь тем более общую форму, чем более вынужден господствующий класс представлять свои интересы как интересы всех членов общества. Господствующий класс имеет сам, вообще говоря, представление, что эти его понятия господствуют, и отличает их от господствующих представлений прежних эпох тем, что представляет их в качестве вечных истин».

Далее разоблачается классовая сущность самих производителей этих мыслей:

«Разделение труда... обнаруживается и в господствующем классе в виде разделения на духовный и материальный труд, так что одна часть этого класса

выступает внутри его в качестве мыслителей его (активные, творчески (konseptiven) идеологи класса, для которых главным средством пропитания является выработка иллюзий этого класса о самом себе), в то время как другая часть его относится к этим иллюзиям пассивно и рецептивно, ибо в действительности они являются активными членами этого класса и имеют мало времени для составления себе иллюзий и мыслей о самих себе. Это расщепление класса может доходить даже до известного противопоставления друг другу и вражды обеих указываемых частей, но вражда эта исчезает сама собой при всякой практической коллизии, угрожающей существованию класса; в эти же моменты пропадает и иллюзия, будто господствующие мысли не являются мыслями господствующего класса и составляют силу, отличную от силы этого класса». («Архив Маркса и Энгельса», кн. 1, 1924 г., стр. 230—231).

Тут наотрез отвергается претензия отечественных наших «идеологов» причислять себя к пролетариату лишь на том основании, что их источником пропитания является труд, но только умственный, и их надоедливые слезницы по сему поводу.

Маркс этим слезам не верит. С обычной для него «грубой» прямоотой он относит идеологов к классу буржуазии. Они для него не пролетарии, «но только другого цеха»; они для него — буржуа, но только другого рода оружия в недрах системы эксплуатации труда.

Ни источники дохода, ни их размер не являются для Маркса критерием классовой принадлежности. Главный классовообразующий момент — это имущественное отношение к орудиям производства. Дальнейший определяющий момент — идейное отношение к данной системе производства.

Пусть идеолог господствующего класса будет даже трижды неимущим и субъективно настроен сколь угодно «народолюбиво», он целиком принадлежит к буржуазии, если проповедуемые им

идеи об'ективно служат на пользу господствующему классу и системе эксплуатации труда. Вот основной критерий для распознавания классовой принадлежности работников умственного труда. Это нисколько не меняет и не противоречит тому положению, что классовая принадлежность человека в ообщении определяется его имущественным отношением к орудиям производства. Специфика умственного труда состоит между прочим и в том, что можно, непосредственно и не владея орудиями производства и как будто не эксплуатируя чужого труда, в действительности подерживать (и именно продукцией своего умственного труда) самый строй частного владения и эксплуатации. Активная идейная поддержка этого строя несет отнюдь не меньше, чем непосредственное материальное участие в нем в господствующей роли. Миллионер-заводчик и едва только наполовину респектабельный идеолог буржуазии делают в действительности одно и то же дело, но только с разных сторон и разными средствами. В этом и заключается разделение труда в пределах господствующего класса.

Превращать разделение труда в пределах одного и того же класса в разделение на обособленные и, тем более, противостоящие друг другу классы лишь на том основании, что одна группа этого класса непосредственно владеет орудиями производства, а другая, не владея ими, «только» идейно или организационно (инженер-администратор капиталистического предприятия) поддерживает самую систему этого владения, не имеет ни малейшего смысла. Впрочем даже со стороны непосредственного владения дела интеллигенции не обходят уж так невинно, как она зачастую, «прибедняясь», изображает это. В капиталистически развитых странах люди интеллигентских профессий в довольно изрядной своей части являются владельцами подсобных предприятий и акционерами, а другая, несравненно большая часть этой интеллигенции, не доросшая по возрасту или карьере до полных чинов, представляет собой, во всяком случае, буржуа в по-

тенции. Эти сегодня еще только действительные или воображаемые кандидаты в буржуа ретиво устремляются в свое «полюценное» будущее. Здесь действует сила имущественного притяжения, отнюдь не меньшая, чем сила физического притяжения в магнитном поле. (Более подробный анализ этого тезиса и относящиеся сюда статистические данные я привожу в другом, готовящемся к печати томе «Записок современника».) Наши отечественные, российские «внеклассовые» и «надклассовые» интеллигенты дооктябрьского периода не составляли исключения из общего правила.

Приведенное определение Маркса наносит сокрушительный удар по распределительной теории классов Каутского, Кунова и *tutti quanti*. Социал-реформистам всех разновидностей и оттенков именно затем и понадобились их каучуковые теории классов, чтоб уберечь местечко в классе пролетариата для партийной и профсоюзной бюрократии, рекрутируемой в десятках и сотнях тысяч из рядов буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции. Маркс беспощаден к идеологам «сотрудничества» классов. Он их хватает за шиворот и отбрасывает в лагерь буржуазии. Идейное отношение к системе капиталистического производства является для него критерием классовой принадлежности, параллельным с другим критерием классовой принадлежности: имущественным отношением к средствам производства. Тут — различие в пределах одной сущности, различие, обусловленное только разделением труда в составе господствующего класса.

Чтобы не было кривотолков, чтобы иллюзорные формы различия не вводили в заблуждение относительно действительной сущности, Маркс поясняет: «Это расщепление класса может доходить даже до... вражды» и т. д. «Но вражда эта исчезает при всякой практической коллизии» и т. д. Вот где «коварный» пробный камень Маркса. «Вы во вражде с буржуазией? — как бы иронически спрашивает он. — Хорошо. Но тогда посмотрим, как вы себя поведете в момент серьезной опасности для буржуазии

и — еще более того — в момент смертельной для нее опасности».

Да ведь это пророческие слова, написанные творцом I Интернационала о II Интернационале! Молодой Маркс вел страстную и упорную борьбу с интеллигентским оппортунизмом. Именно в системе Гегеля он обнаружил философские корни всякого оппортунистического «опосредствования», примиренчества, замазывания «особенного» и фетишизации «всеобщего». Маркс слишком хорошо знал своих бывших соратников, младо-гегелианцев, знал, так сказать, со школьной скамьи. «Ich kann meine Pappenheimer», как говорят немцы. Зная прекрасно эту публику и чем она дышит, Маркс предостерегает от доверия к ней, ставит ей на пути пробный камень.

Сменявшиеся одна за другой после 1905—6 гг. исторические полосы — годы реакции, затем империалистская война, Февральская революция, Октябрьская революция, гражданская война, военный коммунизм, начальный период нэпа, первая пятилетка, индустриализация и коллективизация, вторая пятилетка, переход к бесклассовому обществу, непрерывная череда головокружительных переходов и крутых поворотов — усеяли весь российский путь последней четверти века целыми горами пробных камней. Продолавшая весь этот путь от начала до конца отечественная интеллигенция старшего поколения на собственном примере не раз и не два подтвердила правильность марксовой оценки.

Дугая и в большой мере наигранная «вражда» к буржуазии и к мещанству со стороны мелкобуржуазных наших «идеологов» неизменно исчезала «при всякой практической коллизии». А так как этих коллизий — благодарение эпохе! — было хоть отбавляй, то история повторялась многократно, при спотыкании о каждый очередной пробный камень, — «кажинный раз на эфтом самом месте», и выработался уже «условный рефлекс»: чуть что — хвататься за фалды буржуазии.

В различной обстановке это происходило, разумеется, по-разному, в порядке

приспособления к возникающим новым условиям, но при всех внешних переменах и видимых превращениях основная тенденция остается все та же.

Всякое начало трудно, и об этой начальной стадии примирения «бунгарей» от мелкобуржуазной интеллигентской молодежи с буржуазией в годы реакции я и хочу сейчас рассказать, с тем, чтобы сразу же после этого, опуская пока полтора десятилетия, перенестись мыслью к первым годам нэпа и показать в радикально иной обстановке тот же идейный процесс на том же человеческом материале.

### 18. Поза как позиция

После характеристики «властителей дум» реакционной эпохи и классового лица интеллигенции вернемся к нашему герою — партийной и околопартийной интеллигентской молодежи, покинутой нами (в конце 1-й части книги) на распутьи уклонов — в преддверии реакционной эпохи, принесшей с собою крутую ломку вкусов, симпатий и понятий. «Властители дум» этой эпохи непосредственно определяли идейный и политический кругозор старшего поколения буржуазной интеллигенции. Воздействие тех же идей на младшее поколение шло более сложным, опосредствованным путем, пробегало дополнительные, переходные фазы.

Как «самоопределялись» в годы реакции старшие интеллигенты, мы видели, можно сказать, во всей красе.

Труднее было «самоопределиться» младшему поколению — тем, кто был связан первыми и лучшими годами своей сознательной жизни с революционным подпольем. Тут было большее «сопротивление материала». Тут уже нельзя было просто надеть прозодежду поверх... Многое надо было забыть, многому переучиваться и еще большему научиться впервые. Согласование старых идей с новыми безмерно осложнялось разительностью их контраста. Совесть юноши редко примиряется с открытым ренегатством. Необходим ряд постепенных и — самое главное — бессознательных переходов. Непроизволь-

ное забывание прошлого, безотчетная классовая тяга, иллюзии и еще раз иллюзии, — вот спутники «переоценки».

Пр. делать эволюцию в «нужную» сторону помог давнишний уклон: отрыв социалистических идей от практики рабочего движения. Можно грубо наметить такую последовательность метаморфоз: сперва отрыв произошел в одном только воззрении, — интеллигентская молодежь еще участвовала в подпольной работе, но не понимала необходимой связи будней рабочего движения с далеким социалистическим идеалом. Затем подошла реакция, забастовочная волна снизилась и измельчала; связь мелкой забастовочной зыби с великим социалистическим идеалом стала казаться еще сомнительнее. К этому времени молодежь уже отрывалась от рабочего движения на деле. Пошла полоса возврата в буржуазный отчий дом и обзаведения собственным домом. Эта на первый взгляд невинная перемена места жительства (возвращение из университетских городов на родину, переезды с одной улицы на другую) была в действительности коренной переменой в социальном положении. Из временно деклассированного состояния интеллигентская молодежь отчасти возвращалась, отчасти впервые всерьез входила в колею мелкобуржуазного бггтия. Новые обязанности «кормильца» заставили заняться единственно доступным и сколько-нибудь надежно обеспечивающим промыслом: мелким кустарным товаропроизводством «культурных ценностей». Вчерашние революционные профессионалы и полупролетарии становились сегодня ремесленниками интеллектуального труда, мелкими буржуа по социальному своему положению. А с другой стороны, новая неблагодарная работа и новая семейная обстановка брали человека целиком: лишали его времени, сужали круг его интересов. Самый риск участия в революционном подполье начал казаться «непозволительной роскошью» из-за... семьи. Будто в семье дело, а не в мелкобуржуазном бггтии, определявшем и сознание, и поведение. Будто демобилизовало людей новое семейное, а не новое социальное положение.

ние. Вовсе забыли о том, что в рабочей среде семейная ячейка отнюдь не вытесняла партийной, что семейные пролетарии дрались в классовых боях несколько не хуже холостых рабочих. Иначе выглядело дело в интеллигентской среде после первых же предвестий реакции: здесь недавняя практика рабочего движения сразу и прочно сменилась практикой мещанского благополучия. Из этой новой «практики» социализма нельзя было «вывести» уже и объективно. Давнишний уклон должен был деформироваться в соответствии с новой обстановкой, и он действительно деформировался в том направлении, что вообще перестали связывать идеологию с какой бы то ни было своей практикой.

Идеология становилась самодовлеющей ценностью, висячим садом, своего рода «вещью в себе», никакими нитями не связанной с чувственным и тем более классовым опытом отдельного человека. Социализм приобретал значение абсолюта, который имел, с одной стороны, силу непреложной «математической» истины, а с другой — силу нравственной догмы.

Мы видели уже (в главе «Повесть об уклоне»), какое значение придавала наша молодежь «трагизмам» смерти, любви, бесконечности знания. Сейчас, как и раньше, «трагизмы» эти разрешались в безвоздушном пространстве, вне класса и эпохи. При этом раньше «держали в уме» социализм, как «держат в уме» при сложении переходящую к высшему ряду цифру. А потом, чем дальше, тем все больше оговорка «но только при социализме» стала опускаться, постепенно забываться, как забывалось многое, многое другое из прошлого. Это было тем легче, что сама идея социализма мыслилась в отрыве от практики рабочего движения.

Дальше дело уже шло, как «по маслу». Если идеал человека не связан с его личной классовой практикой, то в самом методе построения идеологии исчезает всякая принципиальная разница между старшим поколением и младшим, между оформившейся уже буржу-

азной интеллигенцией и ее ближайшей «сменой», вчера еще связанной с революционным подпольем.

Символ ьры молодых «социал-демократов» складывался из двух неравных частей: из социализма и демократизма. По мере того, как социализм стал забываться, демократизм раздувался все больше, становясь сперва преобладающим, а потом и единственным догматом политических оценок. И хотя молодые были на словах «левее» старших, они совпадали в основном: в политическом демократизме, в признании главенства «свободы». Солидарное «свободолюбие» младших и старших исходило в действительности из одной и той же классовой заинтересованности, хотя это вовсе не осознавалось ни теми, ни другими. Для так называемой гуманитарной интеллигенции, то-есть для кустарных товаропроизводителей слова и печати, свобода слова и печати была (как бы это ни звучало для интеллигентского уха «чуждолично») свободой торговли своим специфическим товаром. Надо же когда-нибудь людям освободиться от плена иллюзий, обнажить прикрытую ими пружину и открыто признать правду. Да, для писателя, журналиста, юриста, преподавателя, лектора и так далее свобода слова, печати, собраний была равнозначна свободе торговли. А для других категорий ремесленников умственного труда, как и для всей буржуазии в целом (стало быть, в том числе и для ее идеологов, для гуманитарной интеллигенции), демократический режим означал расширение емкости внутреннего рынка, благодаря раскрепощению народного хозяйства от феодальных пут, культурному подъему страны и росту ее потребностей, особенно в деревне.

Меньше всего говорилось об этой вещественной основе «невещественных отношений». Больше всего разглагольствовали, истекая «красивыми» фразами и «благородным» гневом, о свободе как о самоцели, о высших общечеловеческих идеалах и еще раз об идеалах.

Молодые теперь рассуждали примерно так: «Ведь и у нас идеал безмерно оторван от практики. Мы—социалисты,



а они — эстеты, модернисты, нищанцы, так что ж из того? Между нами и ими различие во взглядах и ни в чем ином. Сводить разницу в убеждениях к разнице нашей классовой природы или классовой практики недобросовестно; это — демагогия самого дурного пошиба, дешевая увертка, уклонение от спора по существу. Какое право имеем мы презрительно ругать их буржуями, а себя величать чистокровными пролетариями? Какие же мы пролетарии! Для объективного решения спора нужна именно нейтральность, какую только может иметь подлинная внеклассовая интеллигенция!»

И считалась лучшей украшающей человека добродетелью эта самая «подлинность». Стремилась «угасить» всякий классовый зов, достигнуть полной отрешенности мысли от каких-либо воздействий среды и материальных отношений. «Да разве можно к идеалам примешивать что-либо изменное!» — восклицал такой «подлинный» интеллигент с шестнадцатилетней серьезностью нередко и тогда, когда имел уже от роду полные двадцать пять. Мелкобуржуазная ограниченность в этом пункте возводилась в ранг принципиальной чистоты. И, ах, как берегли эту воображаемую «чистоту», как сердились, если ее кто-либо брал под сомнение.

«Значит я — шкурник?!» — и пошло, и пошло.

Какая сплошная глупость! Будто все дело в «я», в личной добросовестности и принципиальности или в логической последовательности. Будто буржуазная психология и идеология требуют обязательно не добросовестности и не последовательности.

Был еще такой «умный» оборот:

— Мы об идеях говорим, а вы мне в карман смотрите!

Не угодно ли — такой «аргумент». Но он действовал. Казалось стыдным «низводить» спор к таким «в самом деле пустякам».

Иные «максималисты» считали ниже своего «подлинного» интеллигентского достоинства проявлять интерес к деньгам и в практической жизни. Считать деньги... *Fi donc*, как это можно! Что

это, как не барская замашка, претенциозная и неуместно глупая в обиходе мелкого буржуа.

Мне впоследствии рассказывал Ашешов, как он подписал с Сытиным годовой договор на сотрудничество в «Русском слове» и получил в кассе единовременно крупную сумму. Ашешов сгреб ассигнации, не пересчитывая, и сунул их в бумажник. Присутствовавший при этом Сытин взбеленился:

— Ах ты, сукин сын! Выкладывай деньги обратно, пересчитай до последнего целковенького. Деньги счет любят. Ишь ты, какой барон сыскался!..

Другой случай со мною самим, в более ранние годы. Однажды меня пригласил репетитором в очень богатый интеллигентский дом. Переговоры пришлось вести с дамой-патронессой в бриллиантовых серьгах и с жемчужным ожерельем над пышным бюстом, — с типичной провинциальной «львицей». Поговорили обо всех подробностях занятий; затем дама спросила меня об условиях оплаты. Такие «щекотливые» темы мне были всегда неприятны, и, чтоб отделаться поскорее, я смущенно пробормотал, не глядя в лицо своей работодателям, что предоставляю решить этот вопрос ей самой:

— Между интеллигентными людьми не будет ведь недоразумений из-за денежных счетов!

Когда в конце месяца мне выплатили совсем жалкие гроши, друзья надо мною подтрунивали:

— Эх, ты!.. «между интеллигентными людьми...»

Уже после того, как я отошел от партийной работы, я еще долгое время по инерции продолжал считать себя марксистом. Но думал, что связывать общественно-политические взгляды отдельно человека с его экономическим положением в обществе — значит ополщать марксизм. То, что верно в истории применительно к большим числам и к большим классам, казалось мне необязательным применительно к отдельному, порознь взятому, человеку и случаю. В действительности это была эклектическая помесь марксизма с народничеством, как и с самого начала мое мар-

ксистское «орабочение» носило на себе черты «хождения в народ».

Ошибочно было бы этот подход, столь характерный для целой социальной группы, изображать как одну лишь невинную чужаковатость людей «не от мира сего», обуреваемых высшими идейными чувствами, житейски не приспособленных, безруких. В действительности дело отнюдь не выглядит так «красиво». «Незаинтересованность» мелкобуржуазного интеллигента есть нечто большее, чем красивая поза; это — позиция активной самообороны. Не других защитить, а себя оборонить от упрека в мелкобуржуазности идеологии хочет здесь интеллигент, хочет даже в том случае, если не отдает себе отчета в истинном источнике своих побуждений. «Я не хочу смотреть к нему в кошелек» означает: «не смотрите, пожалуйста, ко мне в кошелек»; «давайте условимся вообще игнорировать материальные отношения там, где дело касается идеологии»; «будем раз навсегда считать, что, мы — нейтральная, внеклассовая группа и идеалы наши — внеклассовые». Что это иное, как не маневр (пусть бессознательный) для сокрытия своей конкретной классово-заинтересованности под маской надклассовости и «незаинтересованности».

Было еще и другое.

Вчерашние подпольщики, сегодня вернувшиеся в лоно своего класса, продолжали считать себя социалистами. Так можно ли сблизать социалистичность одной группы интеллигенции с нищезанемством другой? Но присмотритесь к этому «социализму». Юношам, оторванным и в воззрении, и на деле от практики рабочего движения, ничего иного не оставалось, кроме как тянуть идеал клещами из самих себя. Обособленное «я» было одновременно и носителем идеала, и воплотителем его, — по необходимости единственным «действующим лицом». И все сводилось к воспитанию в себе качеств члена будущего бесклассового общества.

Прообразом человека будущего идеального строя служил... «истинный» интеллигент, тот, кто и в капиталистических условиях стоит «выше» всякого классово-

вого интереса, кто устремлен к высшему духовному развитию, которое станет общим достоянием при социализме, как только исчезнет гнет материальных забот. До социализма — далеко; он светит красной звездой сквозь тьму грядущих веков; он осуществится, когда капитализм созреет и перезреет. Так пусть себе исподволь зреет, а мы тем временем будем воспитывать достойных социализма людей, лучший отбор человеческого материала, способного и сейчас отрешиться от классовых предрассудков.

«Внеклассовая» интеллигенция — как авангард социализма, как образец передовиков бесклассового общества. Трудно придумать худшую и более оскорбительную гримасу. Говорили о социализме и сумасшедшие показывали ему язык.

А вся эта идея социалистического «самовоспитания»! Могло ли быть что-нибудь утопичней и попросту глупее этого! Чем дальше, тем больше срашиваться с капиталистическим обществом, на деле оторваться от рабочего класса и становиться пособием эксплуатации, или хотя бы пока оставаться только потенциальным пособием (сегодня — студент-технолог, через десяток лет — директор завода и пайщик), а в фантазии считать себя при этом членом бесклассового общества. Притупить свое сознание в отношении действительности и заострить его в отношении мечты. Бессознательно впитывать в себя и отражать все реальные воздействия мелкобуржуазной жизни, а сознательность приберегать только для фантомов. Ибо тот «социализм», какой воображали себе наши юнцы, «социализм», достигаемый на путях самосовершенствования индивидуальностей, которые потом чудом сольются в «гармоническое общество», и есть фантом.

Не программой действий, а умственной игрой был тот «социализм». В лучшем случае утопией, но в большинстве — обманной маской. Утопией потому, что, не меняя капиталистической и даже царистской действительности, хотели в недрах старого классового общества воспитать нового бесклассового человека; маской — потому, что сами рядились

во «внеклассовость» для покрытия своего мелкобуржуазного естества и бытия.

Эту псевдосоциалистическую утопию барчуков и барышень в годы реакции не следует конечно смешивать с утопическим социализмом — необходимым предшественником научного социализма. Старые утописты-социалисты в незрелых теориях отражали незрелое в их пору состояние капиталистического производства. Выскочить из своей эпохи те великие умы не могли, и наивно бы-лобы предъявлять к ним такие требо-вания.

Иное дело буржуазно-интеллигент-ская молодежь 1907—1917 гг. Здесь утопизм не был обусловлен объективно-исторически. Марксистская система была уже достаточно развита и популяри-зована. Молодые люди, имевшие много досуга для романтических приключений и провинциального «рыцарства», не дава-ли себе труда изучить Маркса и Энгель-са по первоисточникам и довольствова-лись скользкой публицистикой легаль-ного марксизма, модными открытиями Луначарского и Богданова, Юшкевича и Абрамовича. Много разглагольствуя о славных традициях и заветах россий-ской интеллигенции, относились ирони-чески к долгу «учительства» и воспита-ние нового человека для бесклассового общества сводили к индивидуалистиче-скому самовоспитанию.

Так разве здесь не повторяется на своеобразный лад та же модная уайль-довщина, воля к Вымыслу, бегство от действительности в иные фантастиче-ские миры, вглубь веков, если не про-шедших, то будущих! И разве это не ницшеанство чистой воды заниматься самосовершенствованием личности и подготовкой для будущего избранной касты, своего рода духовной аристокра-тии! Ницшеанцы хотели путем самосо-вершенствования достигнуть эгоистич-ного сверхчеловека, а тут хотели тем же путем достигнуть альтруистичного че-ловека бесклассового общества. Ярлы-чок другой, но сущность та же.

Наши молодые храбрые и сверхбла-городные рыцари считали ниже своего достоинства сводить спор в «тривиаль-ную» плоскость классовых оценок; они

устремлялись обязательно к «существу» вопроса. А «по существу», при отсут-ствии каких-либо иных существенных различий между спорившими сторонами, спор сводился к различию нравствен-ных оценок, причем нравственный идеал неизменно покоился в плоскости вне-классовой и общечеловеческой. Вопрос шел только о том, чей идеал «выше»: социалистический или ницшеанский, да-каким способом человечество «спасется», вернее — способом ли социалистического равенства или ницшеанского неравен-ства.

Споры между старшим и младшим по-колениями уже утратили былую страст-ность. То были резонерские разговоры, уснащенные с обеих сторон всякими «красивостями». Давно ли младшие об-давали старших огнем презрения! Те-перь все изменилось. У старших появил-ся снисходительный тон. Они вводили молодых в свет, «приобцали» с легким оттенком укоризны и—заодно — увеще-вания.

Вот прехарактерный образец такого разговора старшего интеллигента на все ту же тему о нравственности да о том, чей же идеал в последнем счете «выше». Я заимствую несколько корот-ких отрывков из модной тогда книги Льва Шестова «Добро в учении гр. Тол-стого и Ф. Ницше», вышедшей в свет в 1907 г.

«Гр. Толстой даже марксистов на-звал «безнравственными». Марксистов, которые из-за идеи, из-за того, что они считают «добром», бросают все и луч-шие годы проводят за чтением «Капи-тала», сведением статистических таблиц и другими подобными занятиями, не-обещающими им, как известно, ничего хорошего. Можно опровергать их, жа-леть, все, что хотите; но очевидно, что-только и з-за «нравственност-и» у них весь сыр-бор заго-релся, хотя они и противопоставляют себя «суб'ективистам». Маркс и стати-стика — только новая форма. А сущ-ность старая: положить душу за идею, отречься, принести себя в жертву чему-нибудь, отказаться от своей воли ради торжества «высшего» принципа. Какой еще нужно нравственности?..»

И в другом месте: «Как странно нам теперь встретить в книге гр. Толстого рассуждения, так близко напоминающие нам нашу отдаленную юность, когда мы вслед за своим учителем, Писаревым, полагали, что прежде всего нужно и важно разрешить вопрос о том, какое искусство полезно обществу, а потом лишь позволить себе признавать тех или иных поэтов и художников...» Заканчивается книга словами: «Ницше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать бога».

Шестову нужен идеал «выше сострадания, выше добра» (читай: Толстого, Писарева, Маркса), высокий, до самого подножия боженьки на небе, а выше, как известно, уж ничего не бывает. Главное, чтоб выше. «Выше дерева стоячего, ниже облака ходячего», — чем не былинный богатырь господин Лев Шестов!

Не все из молодых с этим соглашались. Не все достигали таких «высот» и далеко не сразу. Но в целом дело шло к примирению, к «консолидации живых сил»...

При общности социального происхождения обоих поколений интеллигенции, при временном, преимущественно возрастном, различии в буржуазной карьере, при общности буржуазной культуры идеологические расхождения были только внешними и формальными. Чем дальше оставался за спиной 1905 год, чем больше молодые отходили от своих былых юношеских революционных увлечений, становились старше годами и выше подымались по общественной лестнице, тем все более сужался угол расхождения между младшими и старшими. Становящиеся буржуа превращались в ставших — ко взаимному удовольствию обоих поколений.

Здесь нет у меня ни места, ни возможности проследить все дальнейшие этапы мелкобуржуазного «забывания» социалистической идеи младшими. Да это и не так существенно: основное показано.

В частности о себе должен сказать, что на время я оставался далек от модных идейных веяний эпохи реакции.

Временно избежать этого искуса мне удалось лишь потому, что я был во власти другого искуса: собственной своей навязчивой идеи о радикальном пересмотре самих основ мышления. Это до поры, до времени усиливало сопротивление каким бы то ни было «готовым схемам» и в частности идейным внушениям реакционной эпохи. Но так как критерия оценки я «еще» не имел (до осуществления фантастического плана «генерального пересмотра»), то приходилось пробавляться эклектикой: модным течениям времени я противопоставлял марксизм (как понимал его тогда), а «критический зуб» против марксизма оттачивал на том самом «граните» современных идей, которые как будто начисто и очень горячо отвергал.

Мое внутреннее сопротивление идеям реакционной эпохи приводило к некоторому замедлению процесса моей «европеизации», то-есть переделки в последовательного и законченного буржуа. Чтобы закончить цикл превращений, который мои сверстники и родичи по классу и образованию проходили в ускоренном порядке тут же на месте, мне пришлось съездить еще за границу и там на основе стабильного буржуазного быта и на основе модных течений идеалистической философии, кружным путем, притти к тем самым «заветным берегам» буржуазного мирознания, у которых, не утруждая своей мысли, паслись стадами сотни и тысячи других буржуазных интеллигентов.

Я был как бы «отсталым», мое развитие шло более трудным и медленным путем, и в этом собственно заключается все индивидуальное отклонение моего развития. Тут намечаются две временно расходящиеся линии. О кружном пути, пройденном мною в университетские годы в Германии, расскажу во втором томе «Записок». Обе линии вместе, каждая в своем аспекте, обрисуют в целом идейный путь «внеклассовой» интеллигенции меж двух революций.

На этом месте пока обрываю (до второго тома) подробное развертывание сюжета — в хронологической последовательности.

В заключительных главах попытаюсь обрисовать, хотя бы в самых беглых чертах, важнейшие этапы идейных превращений моего поколения интеллигенции и моих собственных — с тем, чтоб в дальнейшем остановиться на всем этом много подробнее. В частности в ближайшей главе попытаюсь показать ту же описанную в книге интеллигенцию в первые годы нэпа и то же умонастроение реакционных лет, повторившееся в основных своих мотивах «на высшей ступени» в годы с 1921 по 1927.

Для перехода надо упомянуть только о шовинистическом угаре в годы мировой войны. Беснованием патриотизма была охвачена интеллигенция уже без различия возраста и даже партийной принадлежности. В начале войны Родзянко во главе думской делегации обратился к Николаю с памятной речью: «Дерзай, государь!», а Плеханов, прочно занявший место русского Шейдемана, печатал статьи с теоретическим «марксистским» обоснованием тезиса об «обороне родины» в сытинском «Русском слове» наряду с проповедями бывшего попа Петрова и ура-патриотическими военными обзорами некоего Михайловского.

## 19. Те же и то же

«Слова Минервы лишь с наступлением сумерек начинает свой полет».

Гегель. — «Феноменология духа».

Есть птицы и звери, которые бодрствуют только ночью, есть цветы, которые разворачивают свои лепестки только в потемках, и есть идеи, которые оживают только в черноте реакции. Пока на небе светит солнце, эти птицы, звери, цветы и идеи спят или цепенеют в забыты, или прозябают в ожидании сумерек. Но ночные звери мудрее реакционных идей и потому не продирают глаза, когда среди бела дня на небо набегают туча. Звери инстинктом чувствуют, что за мимолетным облаком, как за воздушным покрывалом, стоит могучее солнце, раскаленное красным жаром, и ночные звери терпеливо ждут своего

часа. Носители реакционных идей глупы в своем нетерпении, забегают вперед, орут свои ночные песни еще в самый полдень, если только на минуту заволочло небо тучами. Как они торопятся и в торопливости своей выставляют себя на посмешище перед всем честным народом!

Так было накануне Октябрьской революции, передавшей всю власть советам. «Известия советов», находившиеся в руках меньшевиков и эсеров, за две недели до революции, в номере от 10 октября, напечатали статью «Кризис советской организации», в которой читаем:

«Когда пало самодержавие, мы построили советы, как временные бараки, в которых могла найти приют вся демократия. Теперь вместо барачков строятся постоянные каменные здания нового строя. Естественно, что люди постепенно уходят из барачков в более удобные помещения, по мере того, как они отстраиваются этаж за этажом».

Меньшевистские люди ушли из «барачков» отнюдь не постепенно. Уже через две недели они летели кубарем, ощущая в мягких местах неприятное жжение от совсем не вежливого пинка пролетарской ноги.

В другой статье, напечатанной одновременно в «Известиях советов» и в «Голосе солдата», тезис о бараках был развернут, — ликвидация советов имела в виду ликвидацию революции:

«Революция, — читаем мы, — состоит из двух актов: разрушения старого и создания нового строя. Первый акт тянулся слишком долго. Его надо провести как можно скорее, ибо один великий революционер говорил: «Поспешим закончить революцию, — кто делает революцию слишком долго, тот не пользуется ее плодами».

Если бы меньшевики, как оно и подобает ведь марксистам, интересовались тем, что говорил великий революционер Маркс, то они нашли бы в его обращении к «Союзу коммунистов» в 1850 г. диаметрально противоположное указание и заодно уж достождную оценку своей ликвидаторской торопливости:

«В то время как демократические мелкие буржуа хотят наиболее быстро закончить революцию (курсив мой. — И. Л.), наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоеует государственной власти, пока ассоциации пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разовьются настолько, что конкуренция между пролетариями этих стран прекратится, и пока, по крайней мере, решающие производительные силы не будут сконцентрированы в руках пролетариев».

Меньшевики пели отходную революции накануне ее октябрьского рождения, тянули ночную песнь навстречу восходящему солнцу. Чем не Иванушка-дурачок? Удивительно ли, что после Октября он захопал в ладоши: быть большевикам у власти две недели, никак не больше... И вот уже миновала шестнадцатая годовщина Октябрьской революции, для Советов строится великолепнейший дворец, а на берлинском бивуаке сидят поседелые Дан да Абрамович, попрежнему жуют мочалу о незрелых предпосылках и попрежнему мыслят революцию по образу двухактной пьесы, где в первом акте разрушают, а во втором созидают. Это заимствовано вовсе не у великого революционера, а у великих тупиц, австрийских генералов из «Войны и мира»: «Die erste Kolonne marschirt, die zweite Kolonne marschirt...» Меньшевики и по сей день не понимают, что революция, разрушая капиталистический мир, тем самым создает социалистический, а создавая социалистический, тем самым разрушает капиталистический; что нельзя строить колхозное хозяйство, не разрушая тут же по пути кулацкое; что диктатура пролетариата от начала до самого конца несла и несет с собой одновременно и разрушение, и созидание, — разрушение старого, созидание нового, — начала с того, что разбила старый аппарат буржуазного государства, его бюрократию

и войско, на месте которых построила советский аппарат и Красную армию, а кончит разрушение только тогда, когда не останется ни следа и ни воспоминания от капиталистической эксплуатации и окончательно закрепится бесклассовое общество. Меньшевики не хотят примириться с тем, что строительство Магнитостроя и разрушение меньшевистского гнезда (процесс «Союзного бюро») есть неразрывное единство.

К меньшевикам и социал-фашизму в целом мы вернемся еще не раз. Здесь только — о глупой слепоте реакции, о ночных песнях среди бела дня.

Какое началось ликование, какой пошел дикий ночной шабаш, когда годы военного коммунизма сменились нэпом, а великий стратег революции, Ленин, объявил о маневре отступления для наступления: отойти назад, чтоб получить разбег для нового гигантского прыжка вперед.

Просвещенные невежды, не видящие дальше своего носа, захихикали в кулак: «Хи-хи, ха-ха! Ох, животики надорвать! Тут термидор стоит на дворе, а нам рассказывают детские сказки о хитроумном маневре. Нас не проведешь, мы читали историю Французской революции, мы знаем, как это делается». И буржуазная интеллигенция объявила революцию законченной и на разные лады запела ночную песнь реакции.

Как только зашевелилась толкучка и открыл свою лавочку частник, и из подполья извлекли старое барахло царских времен, и отравили воздух нафталиновой вонью, и вылез из норы спекулянт с валютой, «рыжиками», блестящими стекляшками и побрякушками, так сразу же буржуазная интеллигенция вздохнула свободной грудью и затараторила о свободе. Тут подтвердились с наглядностью, поистине изумительной, слова Маркса о том, что буржуазия мыслит свободу по образу свободной торговли.

Вместе с торгашом ожил буржуазный интеллигент. Этого «случайного совпадения» в «истории общественной мысли» никуда не уберешь. «Критически мыслящие личности» сразу же перешли к отправлению своей функции. На улич-

ной бирже собрались спекулянты, а в петроградском «Доме литераторов» — бывшие сотрудники «Биржевки», — какой досадный параллелизм! Одни делали «нэп», другие мыслили о нем. На улице — бытие, а в «Доме» — сознание. Сменилась экономическая политика, и часть белогвардейцев сменила вехи. Открылась новая лавочка частника, и вслед за ней открылась в частном издании «Новая Россия». Или все это было не так, и я сейчас искажаю действительность, утрирую ее?

В первых же строках передовой статьи первого номера петроградской «Новой России» я писал, захлебываясь от восторга: «После четырех лет гробового молчания ныне выходит в свет первый беспартийный публицистический орган». Это было в марте 1922 г. И никто из нас, основателей и авторов журнала, не хотел ставить в связь его выход с выходом в свет свободного торговца после вынужденного четырехлетнего анабиоза. Торговца этого мы все видели, но родства не признавали.

А в первом номере московской «России» в августе того же 1922 г. был напечатан очерк В. Г. Тана-Богораза «Чрево Москвы», — нет, не очерк, а стихи в прозе, патетическая исповедь, самый символ веры:

«Как феникс из-под пепла, — писал Тан, — вышла из земли и воскресла в полгода московская торговля...

Три дня ежу с Сухаревки на Смоленский и с «Зацепы» на «Трубу» и не могу насытить свои голодные глаза обилием пищи, снова взлелеянной, всхоленной и вынесенной на торжище для человеческой потребности...

Рыба, рыба. Целые севрюги, осетры. Сухие снетки и лещи. Резаные головы наложены грудою.

Свинина, баранина, жирная говядина. На десятичных весах горою навалены телячьи туши, еще целые, в шубах.

А вот и ободранная туша, белая от сала. Пухлые, гладкие почки, как женские груди. Сальная рубашка, обтянутая, как трико.

Милый теленок... Не знаю, кто вырастил тебя. Но знаю и чувствую, что в тебе воскресла и выросла мистика

жизни, мистика плоти, цветущей и тучной. Жизнь чередуется волнами. Три года войны, четыре — революции, хаос разрушения, кровавые духовные цветы. И вот возродилась цветущая плоть, от духа родилась плоть.

Откормленный телец — это символ урожая, и больше того, это — символ и залог раскормленного сытного младенца. Смешно сказать, но я чувствую, будто из этой груды мяса восходит какая-то буйная сила, стихийная и пьяная, и заражает меня. И хочется петь и смеяться или протянуть руки и благословить дары земные: «Пошли, боже, урожай на всякую живую скотину, двуногую и четвероногую».

Свежие овощи. Картошка и репа, и лук. Тропические фрукты — кабачки, помидоры. Пospели уже владимирские вишни и крыжовник. Ешь, об'едайся, душа, до самой дизентерии».

Так пел и смеялся и благословлял старческой рукой Тан. Припадок мистического восторга, вплоть до самой дизентерии. Любовь к свободной торговле на грани свободной любви — с женскими грудями и обтянутым трико. И исповедное откровение: «От духа родилась плоть».

Своего классового родства с нэпманом мы все же не хотели видеть. А когда коммунистическая печать подчеркивала нашу родословную, то это только бесило, и я в сердцах опрызался:

«Здесь дело идет не о нэпе и не о государственном капитализме, как себе упрощенно представляют иные люди, левее здравого рассудка. Эти разговоры пора оставить. Интеллигенции не нужен нэп. Он ей ничего не дает ни материально, ни, тем более, духовно. Как жили в нищете раньше, так живем и теперь. Нам не нужны порожденные нэпом продукты «культуры» вроде тотализаторов и бегов, кафе «Без стеснения» и кабаре «Не рыдай», «Журнала для женщин» и «Веселой простакваши».

Не мы изобрели нэп, и нечего нам колоть им глаза.

Вопрос об идейном и культурном самоопределении — вопрос, гораздо более глубокий и сложный, чем эта квадрат-

ная шкатулка с воображаемыми дарами».

Я был во власти все того же старого интеллигентского предрассудка, будто сознание независимо от бытия, отрешено от него и автономно управляется собственными имманентными законами, будто культура — самодовлеющая ценность и как «вещь в себе» стоит вне чувственного и тем более классового опыта. Тешил себя тем, что тановский гимн базару передвинул в рубрику «Странички быта»: мол, это — зарисовка с натуры, художественный репортаж, который ничего общего не имеет, да и не может иметь, с идеологией. Фотография быта своим чередом, а идеи — особая статья. Что здесь дана больше фотография души, чем базара, что это отпечаток с самого интимного классового подсознания, — такая мысль не приходила в голову.

Такова уж была сила иллюзии интеллигентской «внеклассовости». Казалось: «Как истинный интеллигент, я погасил в себе всякую классовую заинтересованность, я глух и нем к классовому зову, я презираю и третирую мешанский быт, в котором поневоле существую и по которому ходят мои ноги. Господствует, владеет мною, важно и для меня, и для других мое единственно живое духовное бытие, а не мертвая оболочка быта, — голова, а не случайные ботинки, в которые зашнурованы мои ноги». И нелегко было освободиться от этой иллюзии. Что «внеклассовое» — только псевдоним буржуазного, его украшающая и обманная маска, я понял много позже. Пришлось сперва пройти долгий путь мучительных и горьких разочарований, пока я — на собственном опыте и ошибках, на опыте и ошибках своего поколения в стремительном потоке чередующихся эпох — не осознал во всей конкретности эту, казалось, несложную истину.

С нэпом воспринял весь род буржуазно-интеллигентский. Свобода торговли принесла с собой свободу буржуазных разглагольствований. Как Тан не мог насытить свои голодные глаза видом телячьих туш, породивших безудержные телячьи восторги, так многие

другие не могли наговориться в досталь. Но от «новых» и «свежих» слов отдавало старой реакционной тухлостью. В действительности то было повторением пройденного, только на «высшей ступени».

Изумительна точность, с какой мелкобуржуазная интеллигенция повторила мотивы прежней реакционной эпохи, после первой революции 1905 г. Будто вместе с прочим старьем, извлеченным при нэпе из запыленных и пронафталиненных потайных углов, извлекли шарманку; за год бездействия шарманка заржавела и осипла.

И над новой толкучкой со старыми вещами зазвучали новые звуки старых мелодий.

Прислушайтесь к последовательности мотивов: ликвидаторство, отказ от «долга» перед народом и от «служения» народу, «переоценка ценностей», ницшеанская воля к жизни, панегирики новой касте зверино-сильных людей (на сей раз только без титула «сверхчеловека», что дела нисколько не меняет); у почтенных профессоров — припадок религиозной истерии; в художественной литературе — оскар-уайльдовская воля к Вымыслу, андреевские «стихи» и «ненследимая тьма», подновленный арцыбашевский эротизм; в поэзии — есенинщина, имажинизм как отпрыск модернизма; в театре — подновленный мейерхольдовский символизм, то-есть эклектическая помесь символизма, футуризма, модного техницизма и нарочито грубого примитива; бесконечные диспуты о революции в искусстве, но только без революционного класса — пролетариата. (Лишь много позже, под оплодотворяющим влиянием пролетарской революции и в результате преодоления эклектики, театру Мейерхольда удалось найти свою линию.)

«Новое» интеллигентское движение шло под флагом «приятия революции». Ложь! То было приятие воображаемой «нэповской эволюции», а не Октябрьской революции. Говорили о признании советской власти. Опять-таки ложь! То было лишь признание «постольку — поскольку»! Признавали советскую систему, поскольку надеялись, что у нее вы-



рвано революционное, пролетарское жало, и отвергали, поскольку это жало наглядно оставалось хотя бы в лице ГПУ. Если говорили о признании «в общем и целом», то лишь потому, что надеялись на окончательное отступление революции и не верили в предсказание Ленина, а самый ленинский маневр понимали как маневр утешения, улаживания разбитого пролетариата.

Столь на шумевшая «смена вех» была только сменой тактики, а сами реакционные «вехи» идеологии оставались в полной силе: те же барские нелюбовь и презрение к революционной массе, тот же мистический страх перед «грядущим хамом» и «бунтом», та же приверженность к капиталистическому правопорядку, к патристическому национализму и великодержавности, к буржуазно-идеалистической философии, нравственности, праву, к православной церкви. Не идеологию свою сменили разбитые и одумавшиеся после побоев белогвардейцы, соратники Колчака и Деникина, а волчий зуб заменили лисьим хвостом. Ту же капиталистическую контрреволюцию и «белую мечту» надеялись протащить иным, контрабандным путем; верили во «всесилие «эволюции».

Другая интеллигентская мода — литературное попутничество. В публицистике «подвизалась» «Новая Россия», в художественной литературе — «Серапионовы братья» и с дюжину других писателей-одиночек. Но только (пора же это увидеть!) р-р-революционность попутнической литературы была сплошным блефом. В революции восхваляли и обволакивали газом героической легенды как-раз то, что было менее всего революционно. В огненной плавке выделяли шлак и молились на него. Партизанщина, скифство, стихия, бунт — по преемственной линии от древней Руси, а от большевизма — только кожаные куртки, тут же слащавый интеллигентский лиризм, много, много сменовеховской националистической болтовни, а поверх всего — эротизм и мать-перемать... Герои — крестьянин и интеллигент; настоящего пролетария попутчики не знали, да и не хотели знать. Организирующее начало, пролетарское руко-

водство, коммунистическая идея, то-есть то, что только и возвышает движение масс до подлинного сознания и силы и превращает его в революцию, было чуждо «попутничеству», казалось ему ненужным «догматическим» привеском, угашающим живую душу народного востания.

\*\*\*

Послушаем поочередно повторные напевы осипшей реакционной шарманки. «Вехи» повторились в форме «Смены вех» (см. выше гл. 10. «Вехи позора»). Былое ликвидаторство возродилось в виде новоявленно-го «термидорианства».

Тот же самый Потресов, который в 1910 г. призывал к ликвидации нелегальной партийной организации на том основании, что-де «партии вообще нет» и «нельзя ликвидировать то, что не поддается ликвидации, чего на самом деле уже нет как организующего целого», в 1917 г., накануне Октябрьской революции и перехода всей власти к советам, призывал к ликвидации советов на том основании, что они уже сослужили свою службу и более не нужны (см. выше о «бараках»). В дни нэпа большие и малые Потресовы из старого меньшевистского «лона» стали призывать к «демократической» переделке диктатуры пролетариата, то-есть к ликвидации революции путем эволюции.

Ликвидируем революционную партийную организацию, ликвидируем советы, ликвидируем диктатуру пролетариата — все эти лозунги не только служили интересам буржуазии на разных этапах, но, по существу, были у нее заимствованы и лишь разбавлены нарочито на розовой водичке — для обмана рабочих. Там, где буржуазия открыто говорила «долго!» и пускала в ход «царские штыки и тюрьмы» Корнилова, интервентов, там меньшевики услужали на деле и приговаривали предательской скороговоркой: «ликвидируем, ликвидируем, ликвидируем».

Ликвидаторская проповедь меньшевиков в первые годы нэпа об эволюционном «перерождении» революции изнутри, об удушении диктатуры пролетариата в

сладких об'ятях мелкобуржуазного демократизма исходит из тех же предпосылок, что и сменовехизм: неверие в посильность для пролетариата победы над буржуазией и в возможность преодоления буржуазного строя — и из той же тактики «обволакивания» и взрывания изнутри. Большевистское ликвидаторство и на сей раз было лишь жалкой тенью буржуазного («термидорианского») символа веры: «Долой коммунизм, да здравствует нэпман и кулак».

Оставляя в стороне бледные меньшевистские копии, обратимся к первоисточнику, к откровенно реставраторскому вождю «термидорианства» — Устрялову.

«Бесконечно поучительны, — писал он в 1921 г., — последние выступления вождя русской революции, великого утописта и одновременно великого оппортуниста Ленина.

Он не строит иллюзий. Немедленный коммунизм не удался...

Наладить хозяйство в «государственном плане», превратить страну в единую фабрику с централизованным аппаратом производства и распределения оказалось невозможным...

Дело в самой системе, доктринерской и утопичной при данных условиях... Только в изживании, преодолении коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства...

«Мир с мировой буржуазией», «концессии иностранным капиталистам», отказ от позиции «немедленного» коммунизма внутри страны, — вот нынешние лозунги Ленина. Невольно напрашивается лапидарное обозначение этих лозунгов: мы имеем в них экономический Брест большевизма...

Термидор был поворотным пунктом Французской революции. Он обозначил собой начало понижения революционной кривой. Путь термидора есть путь эволюции умов и сердец... Революция эволюционизирует...

В современной России как будто уже чувствуется веяние этой новой фазы. Революция уже не та...

Ныне есть признаки кризиса революционной истории. Начинается «спуск на тормозах» от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служению ей, — революционные вожди сами признаются в этом. Тяжелая операция, но дай ей бог успеха!» (Курсив везде Устрялова. — *И. Л.*)

Эта мысль проходит красной нитью через весь сборник «Смена веков». То же настроение — революция кончилась! — было преобладающим в ту пору среди всей буржуазной интеллигенции.

Аналогию с Французской революцией проводит и Таи. В первом номере петроградской «Новой России» он так бытописует «эволюцию умов и сердец»:

«В Москве говорят о нравах времен Директории, но, пожалуй, московские нравы дадут сто очков вперед и самой Директории... Перед московским размахом, перед этой разухабистой спекуляцией бледнеют парижская улица и рынок со всеми дочерьми мадам Анго и вольными народными поэтами из старой оперетки...

Вы бы заглянули на святках в любое учебное заведение и вуза и втуза, и не то, что увидели бы, а, пожалуй, и самого затащило бы в круг, как будто тарантелла. Так же точно плясала и Французская революция, та, что на месте Бастилии поставила доску с девизом: «Здесь пляшут» и публичные казни перемежала топотом карманьолы, буйной и неумолимой.

Пусть же они лучше пляшут, взявшись за руки, вместо того, чтобы резаться и драться, как резались и дрались в эти последние годы.

Dansons la carmagnole, la carmagnole...»

Даже маленький Любош из кадетской подворотни, выступивший в петроградском «Доме литераторов» с критикой большевизма «не справа, а слева» (!), видит «вырождение» революции, хоть и «осуждает» его:

«Ленин пытается изобразить нынешнее отступление как тактический маневр. Но мы имеем все основания считать положение гораздо серьезней...»

Мы уже имели купцов, которые создавали художественный театр, книгоизда-

тельства и другие культурные дела. Теперь мы вступаем в период первоначального накопления, то-есть отброшены историей далеко назад. На нас надвигается черный чумазый, прошедший жестокою школу прежних лет. Мародер нас уже хватает за горло. Та новая промышленность, которую этот мародер начал насаждать, будет жестокой и жадной...

За идеалы большевизма (?) мы будем бороться на два фронта: практически с чумазым и идеологически с большевизмом...

Когда у человека была мечта, мы могли за ним идти, хотя мы были лишены свободы и были нарушены крупные ценности, которые нам священны. За что мы будем теперь страдать? Мы должны не предать той мечты, которая была нам дорога раньше, чем появился самый большевизм».

Я выделил это выступление, так как оно характерно еще в одном отношении. Это — образец «левацкого» загиба в самом буржуазном лагере, но и там «левая» фраза есть только иное словесное проявление той же правой сущности. Любош как будто любит большевизм и ненавидит нэпмана, но тут же подчеркивает, что большевизм лишил его драгоценных свобод и священных культурных ценностей. Обрел Любош свободу (хотя бы свободу для глупого и контрреволюционного выступления) с приходом нэпмана и свободной торговли. «Когда у человека была мечта, мы могли за ним идти...» А саботаж где? Или его так-таки совсем и не было, притом именно в период военного коммунизма? И заключительный вывод — бороться с «горячо любимым» большевизмом.

Увы, кадетский Любош оказался далеко не единственным «леваком» и «певцом своей печали». Через несколько лет за С. Любошем последовал Л. Троцкий, разразившийся «левой» истерикой по поводу пагубы термидора.

Так гениальный исторический маневр Ленина вызвал реакционный вой о термидоре, длившийся годами и справа, и «слева»...



Вторым мотивом, столь хорошо знакомым по первому реакционному туру после революции 1905 г., был отказ от интеллигентского самопожертвования и «служения народу». Завет былого «служения народу» сильнее всего отягощал совесть старого народовольца Тана. Поэтому он особенно торопится сбросить с себя обузу:

«Интеллигенция, — пишет он, — снова нашла свое место под солнцем... Она отчеканит и оформит новую этику и новую идеологию российской революции».

И как предпосылку этой этики я ощущаю прежде всего великое чувство свободы от нравственного долга перед народом, того самого строгого, честного, святого долга, под знаком которого мы жили всю эту минувшую эпоху, от Добролюбова и, пожалуй, до Плеханова. Тяжко и трудно быть постоянным должником, к тому же неоплатным, платить по мелочам, враздробь, хотя бы и собственными нервами и кровью, и видеть в результате, как все нарастают к капиталу простые и сложные проценты.

Но теперь наконец все долги заплачены. Революция их уплатила сполна и волей и неволей, — голодом и нервами, и кровью, уплатила и живыми головами. А если еще уцелели какие долгишки, так с нового года объявлена девальвация не только финансовых, но также и духовных ценностей».

О новой этике, которая должна сменить устаревшее «служение народу», Тан говорит весьма расплывчато. Выданный им от имени интеллигенции вексель («отчеканит, оформит») так и остался неоплаченным. Этого нового вексельного долга не оплатил ни лично Тан, ни «Новая Россия» в целом, несмотря на четырехлетнее существование журнала.

О той же необходимости отказа от самоотречения говорит Ключников в «Смене вех», но тут же дает ответ на вопрос о новом лице интеллигенции, — пусть ответ более реакционный, но зато и более отчетливый:

«Вхождение в нее (в русскую революцию.—И. Л.) требует тяжких жертв и героического самоотречения. Но русский интеллигент только и живет, что жертвами и самоотречением...

Пока существует такая русская интеллигенция, какова она сейчас, революция в России не может быть изжита...

Передельвая все, великая русская революция впервые оказывается способной открыть пути для яркого и могучего русского либерализма, как после нее же впервые становится возможным прогрессивный и устойчивый русский консерватизм...

Будущая русская интеллигенция, вышедшая из торнила великой революции, наверное будет такою, какой ее отчасти видели, отчасти хотели видеть авторы «Вех»... Интеллигенция уже не захочет больше искусственно заменять народ, или принудительно навязывать ему свои воззрения, и потому станет скромней...

В ней просто сосредоточится богоискательство русского народа... И наверное это богоискательство будет чисто русским... Русская интеллигенция уловит начала мистического в государстве, проникнется «мистикой государства». Тогда из внесударственной и антисударственной она сделается государственной, и через ее посредство государство — Русское государство — наконец-то станет тем, чем оно должно быть, — «путем божьим на земле».

Вот это ясно! С божьей помощью поскорей изжить русскую революцию — с тем, чтобы поскорей перейти к устойчивому русскому консерватизму (конечно «прогрессивному»).



Третий мотив — «переоценка ценностей» — уже достаточно отчетливо звучит в приведенных только что словах Тана и Ключникова. Первый говорит о «девальвации духовных ценностей», второй — о необходимости переделки самой интеллигенции, то-есть, по его понятию, чуть ли не вершины мироздания.

Переход буржуазной интеллигенции от открытого белогвардейства и злост-

ного саботажа к так называемому «приятю» революции был многими и многими оценен как передвижка влево. Такая оценка была верна однако только на ограниченный период времен, и то условно.

Что нэп дал возможность буржуазной интеллигенции несколько примириться с советской системой — бесспорно. По сравнению с саботажем «приятие» революции было сдвигом в положительную сторону, и партия в свое время и на определенный период признала сменевехизм относительно полезным, как показатель начавшегося сдвига в настроениях и внутрirosсийской, и эмигрантской буржуазной интеллигенции. Сырая и неоформленная еще идеология внутрirosсийского сменевехизма заключала в себе возможность идейного обоснования действительного перехода честных спецов на советскую сторону, притом обоснования в понятиях, привычных и близких уму и сердцу этих кругов. Идейная эволюция, раз начавшись, могла успешно развиваться в интересах советского строительства. Сменевехизм однако с самого же начала, в соответствии со своей классовой природой, заключал в себе и противоположные возможности, — отсюда двойственная формула: друго-враги.

Я уже говорил о том, что «смена вех» была сменой тактики, а отнюдь не идеологии. Это относится не только к небольшой эмигрантской белогвардейской группке, подкрасившейся в розовый цвет, но и к широким кругам внутрirosсийской буржуазной интеллигенции, заменившей саботаж службой в соваппарате, мальыми нэповскими делами и превеликим разглагольствованием о «революционном возрождении России». При измененной тактике идеология в основном оставалась прежней. А «переоценка ценностей» имела ведь в виду именно основные вопросы идеологии.

Как же ставилась проблема «великого пересмотра» и к чему она приводила практически?

В передовой статье первого номера петроградской «Новой России» я писал:

«Уцелевшие в революции живые силы прошлого сочетались с достойными

здоровыми и новыми живыми силами, выдвинутыми из народных низин... Для этой жизненно формирующейся новой общественности журнал будет формировать новую идеологию.

Да, новую. Ибо старая сгорела в огне революции, испепелилась, рассыпалась прахом... Все были у власти, и все обанкротились, ибо все донные действовавшие общественные силы были повинны в грехе догматизма, оторванности от народа, от подлинной жизненной действительности. Надо подвергнуть решительному пересмотру все старые понятия, все идейные и этические предпосылки нашего интеллигентского мирозерцания, начиная от непротивленства злу и кончая маккиавелизмом и террором недавних дней».

Замысел был «грандиозный»: построить идеологию, которая была бы выше, жизненной, органичней всех донные действовавших умозрений — и буржуазных, и социалистических. Нравственной опорой новых «исканий» должен был служить все тот же исконный якобы нейтралитет «внеклассовой» интеллигенции.

В том же № 1 «Новой России» проф. С. А. Адрианов «обосновывал» этот нейтралитет так:

«Ведь не за банкира же и помещика, не за мясника и домовладельца заступался, в самом деле, рядовой русский интеллигент, идя на саботаж советской власти».

Чтоб отрешиться от всякой осуждаемой ныне догматики, и своей и чужой, надо было для «переоценки ценностей» выдвинуть новый и нелюбимый критерий, который, с одной стороны, был бы свободен от всякого «догматизма» (то-есть был попросту беспринципен), а с другой — в большой мере обладал бы свойствами нейтральности в отношении борьбы социалистических и капиталистических элементов культуры и хозяйства. Такими свойствами обладал, как казалось буржуазной интеллигенции, лозунг производительных сил.

Освободимся, мол, от гипноза старых идеологий и старых этических оценок. Не будем заглядывать ни в какие пар-

тийные программы. Невзирая на классы, будем считать добром все то, что способствует развитию производительных сил страны, а злом — все то, что тормозит естественное развитие вздоравливающего и наливающегося силами народнохозяйственного организма. Возгласим примат производительных сил и, освободившись от всяких иных страстей и устарелых предрассудков будем этим аршином мерить добро и зло.

Нового тут было однако очень мало. Это были все те же усвоенные в ранние годы, а теперь повторно воспроизведенные навыки оценок. Это была все та же ницшеанская закваска первого реакционного тура, сказавшаяся сейчас, в новых условиях, по-новому.

«Я имел счастье, — писал Ницше, — после целых тысячелетий ошибок и заблуждений снова найти путь, ведущий к «да» и к «нет». Я учу «нет» по поводу всего, что делает слабым, что истощает. Я учу «да» по поводу всего, что делает сильным, что накапливает силу, что оправдывает ощущение силы. До настоящего времени никто не учил ни тому, ни другому; до настоящего времени учили добродетели, самоотвержению, состраданию, — даже отрицанию жизни. Все это ценности истощенного!»

В свете этой «новой» морали капиталистические тенденции сами по себе не считались злом, а социалистические, как таковые, — добром. Интеллигентский «нейтралитет» состоял в том, что и тем, и другим тенденциям говорилось «да», поскольку они непосредственно для данного момента способствовали развитию производительных сил и повышали тонус жизни в стране, и «нет», поскольку они, с точки зрения мелкого буржуа, этот тонус понижали.

В действительности однако, несмотря на кажущееся беспристрастие, в этой морали было заключено яркое, хоть и не всегда осознанное, классовое пристрастие.

Не бывает развития производительных сил «вообще», — всякое развитие этих сил соответствует определенной общественно-экономической форме, неразрывно и органически связано с определенной системой производственных от-

ношений. В действительности исключено, невозможно развивать производительные силы, не развивая вместе с тем присущий им строй производственных отношений, которые суть не что иное, как отношения людей друг к другу и классов друг к другу. Развивать производительные силы в эпоху революции можно только либо в интересах пролетариата, либо в интересах буржуазии. Третьего не дано.

При исторически сложившихся буржуазных формах хозяйства процесс производства, предоставленный инерции и самотеку, естественным ходом своим становится процессом воспроизводства старых буржуазных отношений самого этого производства, а всякое даже малейшее революционное продвижение наперекор и вразрез с буржуазной экономической рутинной сопряжено с величайшей и напряженнейшей борьбой. Курс на социалистическое строительство и против старой хозяйственной рутины означает в наших условиях каждодневную борьбу, и нельзя участвовать в строительстве, не участвуя в этой борьбе. Нельзя ставить и на Антона, и на Онуфрия и благодушно дожидаться, куда вывезет кривая, лишь бы «здравствовали производительные силы». И совсем уж несуразно расценивать каждое организованное воздействие на экономическую стихию в сторону поворота к социализму как «догматизм».

Ратование за рост производительных сил при напуском безразличии к производственным отношениям, в пределах которых единственно возможен этот рост, представляет собой типичнейшее лицемерие мелкого буржуа. Он поощряет самотек и делает при этом вид, будто вовсе не догадывается, в какую сторону, к каким берегам может привести такой самотек. Поза нейтральности в классовой драке раскрывается здесь как позиция трусливого прислужника буржуазии, который и верит в конечную победу своего бывшего хозяина, и желает в действительности этой победы, и рад ей помочь, чем может, но только так, чтоб уберечься от тумачков и с той, и с другой стороны.

Совершенно прав был поэтому товарищ Молотов, когда заявил, что «необходимой предпосылкой перехода в ряды действительно сознательных участников строительства социализма» является «рассеяние иллюзий о преимуществах буржуазного строя».

На карту поставлено слишком многое. Дело идет обо всем характере революции и о судьбе поколений, с нею связанных. Дело идет об историческом испытании самой идеи социализма перед мировым пролетариатом. «Нейтралитет» в борьбе двух систем, невнимание и безразличие к классовому содержанию растущих производительных сил есть сознательная или бессознательная помощь классовому врагу и вредительство в отношении пролетарского государства. Вот куда неизбежно приводят типичные для буржуазного интеллигента формальное мышление, идея «национального самосознания» и иллюзия «внеклассовости».

Втягивание буржуазной интеллигенции, воспитанной в духе буржуазной культуры и на демократических иллюзиях, в социалистическое строительство на основе диктатуры пролетариата не могло произойти сразу и внезапно. Оно проходило и не могло не проходить ряд этапов. Идейная эволюция протекала однако не в безвоздушном пространстве. Одновременно проходила ряд этапов и самая борьба за социалистические формы хозяйства. Значительная часть буржуазной интеллигенции в своей «переоценке ценностей» эволюционизировала вправо, а формы хозяйственной и культурной жизни в стране по мере окончания отступления и перехода в наступление революционизировали и передвигались влево. В результате «раствор ножниц» между буржуазно-интеллигентской идеологией и социалистической действительностью становился все большим. Если в восстановительный период голый лозунг роста производительных сил мог еще служить предпосылкой для сотрудничества старой интеллигенции с советской властью и имел в свое время и в своей обстановке некоторое прогрессивное значение, то с переходом в реконструктивный период тот же лозунг

под влиянием обострения классовой борьбы стал реакционным и вредительским.

Рассуждая диалектически, надо признать, что реакционные возможности были заложены в интеллигентском умонастроении с первых же дней нэпа. Сама постановка проблемы «переоценки ценностей» была, в сущности, унаследована от первого реакционного тура, пройденного этими людьми после первой революции, — в годы, когда закладывались основы и формировалось реакционное мировоззрение нашей мелкобуржуазной интеллигенции старшего поколения. Кто в молодости не в меру отведал реакционного хлеба, тот невольно отпрыгивает тем же и в зрелые годы...

Была тут сходственность с прошлым и более глубокого порядка, — классового. Еще раз подтвердилось, что мелкий буржуа верен самому себе. Единая в обоих случаях классовая сущность и была той основой, на которой произошло двойное прорастание реакции — яровое и озимое.

Обстановка нэпа активизировала мелкобуржуазную интеллигенцию, а искание собственных новых путей побуждало к политической самостоятельности.

В этой линии надо упомянуть о состоявшихся в 1922 г. легальных общественных съездах врачей, агрономов, кооператоров, — о съездах, на которых делались недвусмысленные политические заявления и выдвигались «демократические» требования. В лето того же 1922 г. я писал в статье «Эмансипация советов»:

«Интеллигенция должна перестать играть унижительную роль служебной силы и подневольного наймита государства... По найму — Россию не возродить! И собственными коммунистическими силами ее тоже не возродить... В предстоящем России хозяйственно-культурном возрождении интеллигенция, как образованный слой, как носитель знаний и технических навыков страны, имеет право на самостоятельную роль в государственных делах.

Каковы в данный момент условия выборов в советы и сопровождающая их

правовая обстановка, мы знаем. Но мы знаем и иное... меняется в основе хозяйственно-бытовой уклад, преобразуется содержание работы местных советов, освежается их личный состав, снимается опека партии, — неизбежно должна, значит, измениться сопутствующая правовая обстановка...

Административно-государственная машина за эти бурные годы изнасилась физически и нуждается в чувствительном ремонте... «Переброска» является лишь паллиативом... Необходимо освежение аппарата... людьми зрелого опыта и крепкой культуры... из резервуаров по-новому возрождающейся общественности...

Речь идет не о саморасторжении в большевизме, а о самоопределении в революции, о превращении вчерашних объектов государственного строительства в субъекты строительства...

Интеллигенция должна использовать открывающуюся возможность, итти к новым очагам общественной энергии и воли, итти в советы и профсоюзы, но итти со своим лицом, со своей творчески-строительной программой, не как третий элемент на государственном иждивении, а как самодовлеющая, прошедшая школу революции, многое воспринявшая от нее, многое преодолевшая культурно-общественная сила...»

Эта декларация 1922 г. поучительна во многих отношениях. В ней слышны отзвуки пресловутого милюковского лозунга кронштадтских дней: «За советы, но без коммунистов», и вместе с тем первые предвестия рамзинской проповеди: управлять государством должны интеллигенты и в частности инженеры. В декларации раскрывается настоящий смысл сменовехизма и его правильное место в истории развития мелкобуржуазной интеллигентской «общественной мысли». Это место — между кадетской партией и «промпартией», между саботажем и вредительством.

Истоки рамзинской идеологии восходят к «Эмансипации советов», а эта последняя — к кругу идей интеллигентского либерализма времен булыгинской

думы. Та же реакционность, то же служение буржуазии вместо «служения народу», то же кастовое самомнение.

Статьей «Эмансипация советов» были поставлены все точки над «и»: большевики притомились, пора отослать многих из них на покой, будем орудовать сами в местных советах и ЦИК, как действовали раньше в городских думах и земствах, как заседали в булыгинской думе, а там подойдут и реформы. Управлять страной должны мелкобуржуазные «могучие натуры», «свежей и буйной силы», исполненные «волей к жизни» и «волей к власти», как учил Ницше.

Но именно потому, что здесь был развернут весь, с позволения сказать, «политический спектр» сменовехизма, — наиболее реакционное крыло сменовехизма, — авторы пражского сборника «Смена вех», вчерашние «герои белого движения», вернувшиеся в Союз из эмигрантского далека, были особенно шокированы моим выступлением. Они находили его тактически преждевременным и излишне откровенным. Оно соответствовало их затаенным политическим целям, но шло вразрез с их тактикой. К тем же «заветным берегам» они хотели притти «медленным шагом, робким зигзагом», с той эволюционной постепенностью, в духе которой происходило в свое время приспособление кадетизма к царскому режиму. Припрятывая камень за пазухой, они пока выезжали на тактике «обволакивания»... сладчайшими улыбочками и комплиментами советской власти или (Устрялов) на тактике временного непротивленства и «аскезы». И вдруг человек, не считаясь ни с какими велениями такта, с грубоватой прямоотой бултыхнул сменовеховскую правду. Какой шокинг и какая... неосторожность!

Иначе выглядело дело с нашего угла. Суб'ективно мы все, основное ядро журнала, были горячими сторонниками сотрудничества с советской властью, искренне симпатизировали революции и компартии; хозяйственно - культурное возрождение страны было нашей лучшей мечтой. Не тая никаких задних умыслов, не имея в своем прошлом ни-

каких белогвардейских грехов, проделав трудный путь военного коммунизма на революционных постах и в Красной армии, стремясь только быть пропагандистами, как нам казалось, советской правды в интеллигентских кругах, не смотря на клевету вчерашних саботажников, будто мы «продались большевикам», — мы не видели необходимости играть в прятки, в фальшивое «обволакивание», а, напротив того, считали себя в праве и даже обязанными прямо высказывать то, что думали. Казалось: сотрудничество будет наиболее полным, если мы станем все общественниками и не за страх и зарплату, а за совесть понесем свои знания и культуру, опыт и энергию в важнейшие центры общественности — в советы и профсоюзы. Но тут же рядом было желание найти свое самостоятельное политическое лицо и сохранить его. Были одновременно две тенденции, и одна противоречила другой. Неосознанно для нас в самой нашей проповеди хозяйственно-культурного строительства были заложены элементы, послужившие впоследствии некоторым кругам идеологической опорой для вредительства, а в идее примирения с советской властью на началах полной взаимности и равенства было заключено в зародыше противопоставление себя этой власти.

Диалектика классовой борьбы со временем обострила это внутреннее противоречие. Возможность крена вправо стала реальностью, а устремление в сторону сотрудничества с советской властью ходом классовой борьбы было значительно ослаблено. Постепенно для классово непримиримых слоев буржуазной интеллигенции лозунг строительства обернулся лозунгом вредительства; идея примирения с советской властью выродилась в идею свержения этой власти; революционные настроения сменились контрреволюционными.

И хотя вредительство охватило ничтожно малую горстку людей, было бы ошибкой закрывать глаза на то, что истоки кондратьевщины и сухановщины восходят к кругу идей 1922 г. («переоценка ценностей», голый лозунг производительных сил, кастовое самомнение,



культ «самости» и проч.), а эти последние — к кругу реакционных идей 1907 — 1917 гг.

Такова истинная «генеалогия морали» старшего поколения буржуазной интеллигенции — от Струве до Рамзина.



Четвертым старым мотивом, повторявшимся в первые годы нэпа, была пресловутая «воля к жизни» и как ее непосредственное продолжение — идеализация нового человека — зверино-сильного и агрессивного.

Многое из старого стало при нэпе оживать и поспешно утверждать себя в жизни, в том числе кадетские «живые общественные силы». Началось с комитета помощи голодающим, в состав которого вошли Прокопович, Кускова, Кишкин, — отсюда меткое слово «Прокукиш». «Прокукиш» в виде образца ж и в ы х сил, — какая ирония судьбы!

Вышел литературный сборник под выразительным названием «Утренники». Мол, от Октября до самого нэпа была одна лишь темная ночь, и только сейчас начинается день. Благоую весть о взошедшем солнышке возгласил... Изгоев, ренегат марксизма, один из семи авторов контрреволюционных «Вех», член кадетского ЦК. Давно ли ЦО кадетской партии «Речь» призывала Корнилова, расположившегося лагерем под Питером, притти поскорей, навести «порядок», утопить в крови пролетарское революционное движение, и вот сейчас Изгоев, при свете взошедшего нэповского солнца, ведет непротивленские нэповские речи:

«Скажу совершенно определенно: убийство Володарского, Урицкого, покушение на Ленина так же противно моему нравственному чувству, как убийство Александра II, Боголепова, Герценштейна, Иоллоса».

Комментарии излишни. «А поутру она вновь улыбалась»... «Кто «она»? Буржуазия конечно. Она рада утру, но ждет полудня, когда совсем кончился бы красный террор, когда с печатного слова буржуазии были бы окончательно

сняты «большевистские путы». Тогда можно было бы сказать не только «совершенно определенно», но и совершенно откровенно, как сделал это например Пильский на банкете в Одессе при белых: «Возглашаю тост за с в я щ е н н у ю буржуазию!»

В Москве и Петрограде при большевиках, хотя бы в нэповскую пору, такие речи были бы преждевременны. Но уже подвизалось четыреста с лишним частных издательств, и буржуазные перья строчили, строчили. Рядом с «Утренниками» — «Возрождение», «Экономист», «Новая Россия», сборники, альманахи, книги оригинальные и переводные. Настроение всей этой буржуазной пишущей братии с особенной живостью выразил Тан — чем более стареющий, тем более импульсивный — в статье «Надо жить».

«Четыре года назад, помню, я написал в одной из последних газет тогда умиравшего строя: «Словно пишу на последней бумаге последними чернилами последнюю статью. Чувствую себя, как римлянин IV века, как умирающий Амврозий перед наступившими варварами».

Всю эту газетчину старого периода заперли на ключик и приклепнули сверху красной тяжелой печатью.

И вот теперь... я снова берусь за перо и начинаю статью, уже не последнюю, а первую статью нового периода... Искренне надеюсь, что это лишь первая ласточка. За ней прилетит и другая, и третья, не только мимо моего, но мимо чужого окошка, и начнется весна.

Весна, выставляется первая рама...

... Жизнь раздвинулась, и пути ее стали шире...

... Воля к возрождению и творчеству крепнет на наших глазах, и свободная энергия только ждет сигнала истории, чтоб превратиться в трудовую энергию».

Что говорить — не нэп, а Ренессанс! То самое заповеданное Ницше самочувствие Ренессанса, которое обуревало буржуазную интеллигенцию и после первой революции.

Им были заражены при нэпе не одни только литераторы. Это сказалося в

идеализации нового человека, которая шла, правда, от литературы, но находила такой восторженный отклик у широкой нэповской публики, что тут уж не могло быть сомнений: именно таким хотелось видеть мещанство своего героя.

Поневоле я должен дать опять большую цитату из своих старых писаний. В феврале 1923 г. я так описывал «героя наших дней»:

«Где-то в сероатой стали глаз, в скулах, подбородке, в затаенной морщинке возле рта зажат волевой резец... Суровое, обветренное, замкнутое лицо. Тугая кожа, дубленая многосильными экстрактами. Крепкий запах мороза, ветра, снега. Запах ядерных зимних утр.

Никогда в России не видел столько форменных фуражек техников, инженеров, агрономов. На любой станции во время остановки поезда в зале второго класса угол длинного стола — в плену у сажанных людей, в форменных фуражках, в сапогах, в бобриковых полусапках и кожухах. Они крепко сидят на своих стульях, нагнувшись над столами, как бы штурмуя стол и не выпуская из десятиминутного цепкого владения. Крепкие челюсти перемалывают мясную дорожную дрянь. Луженые глотки ополаскиваются пивом.

Эти люди раз'езжают, строят, торгуют, преодолевают пространства, завоевывают асбест, глину, кирпичи, железо; как рыба в воде, плавают в залутанном переплете совнархозов, трестов, синдикатов, комхозов, губторгов; подписывают договоры, транспортируют грузы, наделяют своей избыточной энергией застывшие паровозы, снегоочистители, вагоны; проталкивают, смазывают; шумно обедают с нужным человеком в «Ампирах», в кафе «Бар» (кафе для бар), взлетают по лестницам на пятые и шестые этажи; бодрой рысью, через три ступеньки, катятся вниз; щелкают на счетах, кредитуются в банках, заседают на собраниях, экспертируют и экспортируют; переметываются в медвежьей глушь, заполняют ее на несколько дней шумом, встряхивают сонную, киселеобразную провинцию, приводят в движение «многоуважаемые шкафы», тю-

фяки, перины, сперматоизируют дебелую Русь, ложатся спать поздно, встают рано,—

— чтобы опять завертеть колесо винтовых лестниц, костяшек счетов, машинок, договоров, асбестов, кирпичей, поверстных столбов, пространств.

В 40-х годах прошлого века хотел вывести этот тип Тургенев. Задача была не по сезону, и вышел ходульный, набитый паклей и соломой Соломин. России понадобилось перегореть и переплавиться в тигле революции, чтобы родить этого нового героя наших дней, этого демобилизованного техника — строителя — красного купца» (журнал «Россия», № 6).

Характеристику нэповского делегата, очень близкую к приведенной выше, дает в том же номере журнала Мариэтта Шагинян в очерке «В стране коньяка и хлопка», глава 2 — «Что есть нэпман?»:

«Первое и главное, — пишет М. Шагинян, — чем отличается «нэпман» от дореволюционного купца, это то, что он н о в ы й ч е л о в е к. Достоинство огромное во всяком деле, от коммерческого и до (да простит мне Овидий!), до *ars amandi*. Новый человек несет с собою новую зарядку, он неизбежно освежает. Без традиций, без прошлого, без гипноза трафарета, словом, без всякого хвоста (а хвост поднимает пыль) он прокладывает себе дорогу...

И этот «новый человек», «приказчик», «отчасти производитель», завязывает теперь повсюду узелки разрозненной и разорванной русской промышленности, воссоединяя коммерческую ткань России, сближая ее дифференцировавшиеся уголки.

Он — по необходимости — зачинатель... Нэпманы... магнетизируют собою огромные русские пространства, избывая их с курьерской скоростью... Они пульсируют на наших ярмарках, придавая им жилой вид... Они колонизируют ее (Россию. — И. Л.), разглядывают как огромную непечатую чашу природных богатств, выбирают дело, приступают к нему с пафосом пионеров...

Фигура коренная, крепко сложенная, мышцы богатырские, сочный язык...

Тов. Я. едет в Туруханский край с товарами для остяков и хунгузов, с пороком и дробью, с охотничьими ружьями для зверя... Он стреляет, выслеживает зверя, коротает в юрте у остяков долгую полярную ночь, понимая их тягучие сказки; он умеет обменять сукно на мех, умеет наладить обмен, поставить на работу, произвести работу. Это — настоящий колонист... Вы забываете все и чуть не проситесь к нему в спутники, — такой живой и могучей прелестью дышит на вас природа, преломляемая через здорового и сильного человека...

— Джек Лондон! — восклицает неврастенический горожанин, примостившийся по соседству...

Колонисты создают у нас не только свежую психологию и зачатки нового производства: они создадут и новую форму деятельного патриотизма».

Свою столь восторженную характеристику нэпмана М. Шагинян начинает с упоминания о Ницше. Оно здесь более чем уместно:

«Еще Ницше обратил внимание на то, что привычный смысл слов, для нас выражающих нравственное качество (добрый, хороший, чистый), был материальным и не имел к этике никакого отношения... Нет большей путаницы и курьёза, нежели подход к «нэпману» с моральной точки зрения».

К этому надо однако прибавить, что филологический экскурс понадобился Ницше именно затем, чтобы назвать «добрыми» людей знатных, могучих, агрессивных, и что самый культ звериной силы и «опасного здоровья» привит старой интеллигенции вовсе не Джеком Лондоном, а опасно больным, слабым и подавленным Ницше.

Если в приведенных двух отрывках нэпман не изображен сверхчеловеком, то уж во всяком случае сверхбольшим человеком, — саженым богатырем, начинателем. Именно таким большим и возвеличенным хотело видеть своего героя низкорослое и мелкобуржуазное мещанство. Стоит только вспомнить о том поистине головокружительном успехе, каким пользовался в ту пору переводной роман Бурроуза «Тарзан».

Молодой английский лорд со своей красавицей-женой во время далекого путешествия по морям-океанам высажены взбунтовавшейся командой в необитаемой стране, где-то на пустынном берегу Западной Африки. Жена лорда здесь умирает, едва успев выкормить новорожденного младенца. Самого лорда вскоре убивают населяющие эту местность свирепые обезьяны — громадные, злобные, ужасные звери. Одна из обезьяньих самок вырастила годовалого лорда среди обезьян. Ребенок чудом выучился английскому языку и стал подписываться «Тарзан от обезьян». Тарзан, воспитанный среди жестокой звериной борьбы, где разгрызают врагу горло и кормятся его сырым мясом, силен, могуч, воинственен. Тарзан становится царьком обезьян, зарезав своего предшественника. Он проявляет чудеса храбрости, спасает от гибели прелестную девушку, счастливо любит ее, находит клад, отрекается от места в палате лордов и проч., и проч.

Книга эта, выпущенная в свет издательством... «Московский рабочий» (!), выдержала ряд повторных изданий, издавалась и переиздавалась с продолжениями, зачитывалась до дыр, стала «гвоздем сезона». Такой успех глупого и антихудожественного авантюрного романа не мог быть случайностью. «Тарзан» попал в нерв нэповского времени. Нэпман увидел в романе в преображенной форме и собственную свою судьбу, и идеального своего героя. В прошлом нэпман был если не лордом, то, по меньшей мере, господином жизни, хозяином, состоятельным буржуа. Но произошел бунт матросов на корабле (уж не на «Авроре» ли?), и вчерашний лорд оказался на пустынном берегу необозначенной на карте земли — «Совдепии», в «пещере» (по Замятину). Трудна была ему, изнеженному и расслабленному, первобытная жизнь. Тяжко и опасно было общество «мужичья», «хамья», «собачьих депутатов», — это почище свирепых африканских горилл. Но лордесса родила нового человека — Тарзана. На новой земле он получил звериное обезьянье воспитание и среди зверей сам вырос зверем. Не хуже лю-

бой свирепой гориллы он перегрызает врагу горло, мощными загребушими лапами хватает свою добычу, рвет ее живьем на части, лакомится свежинкой. Врожденный аристократизм лорда сочетался с буйной силой и свежестью первобытного варвара, и явился новый тип, который храбрый и благородней лорда, а заодно сильнее леопарда. Только теперь он по-настоящему в силах открыт и колонизировать новые земли и управлять кастой звероподобных рабов. Это ли не чудо: Сидор Петрович Тюфяков, даже без объявления в «Известиях», переименован в Сидора Петровича Тарзанова, который имеет на рынке ларек, а посему чувствует себя, как обезьяний царек.

Не Тарзанов, а почти сверхчеловек; «хищный зверь, роскошное, алчно ищущее добычи и победы светловолосое животное», как определил Ницше. Подновленный герой старого мещанина, возвышающая его маска. Отброшенная карликом удлиненная тень. Сандвич на саженных ходулях — для пущей рекламы.

Ходули остались те же, но в самом карлике действительно кое-что изменилось. Он уже не станет вместе с андреевским купцом Ипатовым тринадцать лет стенать и выть по поводу частично банкротства. Он уже не так страшится «грядущего хама». Не восприняв от революции ее идеи, он заимствовал от партизанщины ее худшие стороны. Хапуга-мешочник, рвач и авантюрист, он в культурном отношении стоит много ниже дореволюционного буржуа и имеет перед ним только одно преимущество, — битого. А устремление приукрасить свое действительное хамство героической маской осталось прежнее.



В этой связи упомяну еще о художественной литературе нэповских времен, главным образом попутнической.

Революционных слов в этой литературе было более чем достаточно, но присмотришься хорошенько, и видишь: «революционность» та — чисто уайльдовская.

«Свобода! — восклицал Оскар Уайльд. — Я не люблю твоих детей, мрачные глаза которых не видят ничего, кроме своего собственного неизящного горя, а умы ничего не знают и не хотят знать, — но бушевание твоих демократий, твоё царство террора и великие анархии, как море, отражают мои наиболее дикие страсти. Свобода! Только поэтому твои нестройные вопли приятны моей осторожной душе. Иначе я не пошевелился бы, даже если бы все короли окровавленными бичами или предательской канонадой отняли у народов их неприкосновенные права. И однако, богу известно, я кое в чем сочувствую этим страстотерпцам, погибающим на баррикадах».

«Дикие страсти»... осторожной души, с богом в придачу... Сочувствие кой в чем...

Не кажется ли читателю, что в этих скупых строках дан цельный портрет многих наших писателей, воспрянувших с нэпом и принесящих «благую весть»: приедем революцию. Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Константин Федин и другие помельче, — как расписывали они все стр-р-рашные «стихии» революции: Гвиу — Гау — Бум! Потом еще волки... Завывают... Ужаси! В пильняковской «Третьей столице» заграничные башмаки вступили в нечистоты, и автор готэз пальцы облизывать: вот это стихия — что надо! И еще лакомый кусок — партизанщина! А о боге сколько говорили! Преобязательно за водкой, как оно и водится в Расеюшке. Мать — бог — нечистоты — водка — стихия, — чем плох букет. Вот за эти-то «стихии» и принимали революцию осторожной душой, да еще сочувствовали кое в чем «по маленькой».

Стихии переключались с «дикими страстями» в художественной фантазии, давали пищу творчеству. А что малую душу мелкобуржуазного питомца тянет ко всему гигантскому, что бездейственную натуру ослепляет вулканическая действительность, что политическому безволию сопутствует воля к вымыслу, — это ведь так естественно. Осторожные в реальной жизни «созерцатели» стано-

вятся тем необузданной в фантазии. Тут нет противоречия.

Из этого же самого теста был сделан Леонид Андреев. Недаром он заявил после революции репортеру, что если бы был на двадцать лет моложе, то пошел бы в красногвардейцы.

Нет, не пошел бы! Как не пошел на фронт во время империалистской войны, несмотря на патриотизм и истерические свои призывы: «К тебе, солдат!» Но навстречу теме красногвардейца (но только в годы нэпа) мог бы пойти, как это действительно и сделали продолжатели Андреева — попутчики, бывшие на двадцать лет моложе его.

Андреев вместе со всей городской мелкой буржуазией и впереди ее страшился подлинно массовой революции, — пока она не разразилась в огне и буре. Во время грозного штурма обыватель отсиживался в своей каюте, в дыму «буржуйки», наедине с голодным пайком, а когда начался нэповский штиль, он вылез на палубу, приступил к торговлишке, развернул лоток и затараторил о «пережитом». Теперь он стал храбр, никакие стихии ему ничем. Он уже не страшится вместе с Андреевым «неноследимой тьмы» и «безумий», — напротив того, смакует их. Обувшись в желтые заграничные ботинки, он бесстрашно и даже с особенной охотой идет навстречу «стихиям» — ветру, метели, тьме, волкам. А если он по профессии писатель, то бойко торгует картинками былых ужасов, — ходкий товар! Но слеп тот, кто за всем этим не видит андреевщины, а продолжателей и эпигонов Андреева расценивает как «новое» явление в литературе.

В годы реакции Андреев писал о страшных «стихиях» одинокого интеллигентского «безумства», а в годы нэпа попутчики писали о страшных «стихиях» безликих масс, воюющих, пьянствующих и ищущих бога. Привносимые писательским мироощущением (мелкобуржуазным и индивидуалистическим) взвинченная истеричность и гиперболичность остались в неприкосновенности, изменился только объект, материал, «товар», да былой невоздержанный перепуг сме-

нился столь же визгливо невоздержанным восторгом.

Не этим ли объясняется успех формальной школы в писательской среде в годы нэпа? Ибо формализм исходит из предпосылки, что материал, на котором строится художественное произведение, есть нечто безразличное, нейтральное, так или иначе поставляемое жизнью. Подлинно важна напечатлеваемая материалу форма, а она то меняется по своим собственным, имманентным ей законам, вне какой-либо зависимости от изменений общественно-исторических. Такие взгляды могли привиться в те годы только в кругу «цеховых» писателей, которые, принимая революцию как тему, как очередную подающую жизнью порцию материала, внутренне остались все при том же андреевском наследстве, не пересмотрели в своем прошлом ничего и ни от чего не отступили.



Не могу здесь останавливаться подробнее ни на литературном попутничестве, ни на первых годах нэпа вообще. В своем месте мы дойдем — в порядке хронологической последовательности — и до этого периода. Мы увидим тогда и его специфические черты, отличные от прошлого и «неповторимые». Задачей настоящей главы было — дать только беглую характеристику и именно с точкой зрения повторности реакционных мотивов, утвердившихся в интеллигентском сознании в годы с 1907 по 1917. Умонастроения зрелых лет были возведены к их первоначальным истокам, и мы получили наглядную иллюстрацию того, как эпоха и класс формируют идеологию людей.

«Рожденные в года глухие», возвращенные в буржуазном достатке, воспитанные старой школой, идейно сложившиеся в реакционную пору после первой революции, а к 1917 г. законченные буржуа и по положению в обществе, и по воззрениям, «идеологи» нэпа остались верны своим истокам. Ни революции и ни войны, никакие мировые потрясения и никакие идеологические «искания» не в силах были перестроить этот тип хоть

сколько-нибудь радикально. Классовые пристрастия, выгнанные в дверь, возвращались через окно. Не поразительно ли, что при такой подчиненности и чуть ли не обреченности велениям класса и эпохи именно эти люди — упорнее, чем кто-либо иной, — придерживались иллюзий вневременности и внеклассовости сознания, решали общечеловеческие вопросы, мыслили масштабами веков и материков, связывали современные судьбы страны с историческим прошлым, обобщали и еще раз обобщали, а связать свое собственное настоящее со своим собственным прошлым не умели и даже не догадывались, что это надо уметь. Были самым воплощением классовой идеи, носили ее как тавро на сознании — *made in Kapitalland* — и бесперечь только и делали, что отрицали класс.

Еще достойна изумления бесплодность буржуазной мысли после Октябрьской революции: все торжественно приглашенные «новые» слова оказались на сверку старым гнилем — перелицованным, заплатанным, подновленным. «Блеск» так называемых «новых идей» был блеском поношенного платья, поношенного и вытуженного заново. Бесплодность, беспомощность, промежуточность, эклектичность и лень буржуазной мысли, — не являются ли они лишь дополнительным и вторичным показателем старческой дряхлости умирающей буржуазии!

## 20. Победа пролетариата — победа диамата

Прошло еще двенадцать лет: с первого года нэпа до второго года второй пятилетки — отрезок революционной эпохи, который по пройденному пути с лихвой перекрывает нормальный человеческий век. Мужественно поставленный Лечиным в самом начале нэпа вопрос о борьбе классов и о борьбе хозяйственных систем в нашей стране — «кто кого?» — решен окончательно и бесповоротно в пользу пролетариата.

Ход событий в истекшие годы подтвердил еще более разительную и решающую для всей судьбы старого мира

победу пролетариата, — победу социализма над капитализмом в великом состязании двух хозяйственных систем на всей земной планете.

Рамки этой главы и весь замысел первого тома «Записок», посвященного «истокам», не позволяют мне здесь остановиться подробно ни на общей характеристике итогов первой пятилетки, превратившей СССР в великую индустриальную страну и в страну самого крупного сельского хозяйства, ни тем более на конкретных данных и цифровом анализе сравнительных показателей хозяйственного тонуса у нас и у них, в стране строящегося молодого социализма и в странах одряхлевшего и загнивающего капитализма.

Не имея возможности здесь и сейчас подробно остановиться на этих вопросах, должен с чувством внутреннего удовлетворения отметить, что, несмотря на многие мои ошибки в годы нэпа, я был одним из первых, кто с чужбины приретенствовал пятилетку и уже в июле 1929 г., в самом преддверии мирового кризиса, поставил вопрос о соотношении сил и перспектив «у них» и «у нас» и решил его в пользу СССР. Позже, к четырнадцатой годовщине Октябрьской революции, я выступил со статьей «Обогнали Германию, Англию, Францию», в которой, на основании анализа цифровых данных Берлинского конъюнктурного института о мировой промышленной продукции и долевом участии отдельных стран, впервые доказал, что, в результате гигантских темпов нашего роста при деградации всех капиталистических стран, СССР по валовой промышленной продукции вышел на первое место в Европе и уступает в мире одним только Соединенным Штатам<sup>1)</sup>.

Сейчас — и именно в плане этой книги — я хотел бы в комплексе вопросов, связанных с победой пролетариата, осветить другую сторону: методологическую.

Каков был метод оценок и прогнозов Ленина, когда он в 1921 г. предложил партии и рабочему классу тактику от-

<sup>1)</sup> См. «Известия ЦИК СССР» от 7 ноября 1931 г.

ступления для наступления? И каков метод критики ленинского пути у всей широкой «оппозиции», начиная с Устрялова и кончая Троцким?

Первое и важнейшее различие заключалось в том, что метод ленинских оценок был и остался действительно-революционным, а его противники в своих оценках придерживались методов «объективистских» и фаталистических.

«Когда мы ввели нэп в 1921 г., — сказал тов. Сталин в своей речи о правом уклоне на пленуме ЦК партии в апреле 1929 г. — мы направляли тогда его острие против военного коммунизма, против такого режима и порядков, которые исключают какую бы то ни было свободу торговли. Мы считали и считаем, что нэп означает известную свободу торговли. Эту сторону дела т. Бухарин запомнил... Но т. Бухарин ошибается, полагая, что эта сторона дела исчерпывает нэп... Нэп есть свобода торговли в известных пределах, в известных рамках, при обеспечении регулирующей роли государства и его роли на рынке. В этом именно и состоит вторая сторона нэпа... Уничтожьте одну из этих сторон, и у вас не будет нэпа». («Вопросы ленинизма», 9-е изд., стр. 405.)

Напоминание тов. Сталина крайне важно. Оно восстанавливает правильную историческую перспективу. Оно подчеркивает, какое огромное значение придавали Ленин и вся партия регулирующей роли государства. Нэп не знаменовал собой безоговорочного отступления. Дело шло об отступлении на позиции государственного капитализма, о переходе, по выражению Ленина, от «штурма» к «осаде».

Вся «оппозиция» видела одну только свободу торговли и не видела или недооценивала регулирующей руки государства в хозяйственной жизни страны. Но свобода торговли означает власть рыночной стихии и возврат к капиталистическим отношениям, а регулирование со стороны советского государства — активное, организующее руководство пролетариата и его партии. Стало быть, поставленный Лениным исторический

вопрос «кто кого?» равносильен вопросу: мелкобуржуазная стихия или пролетарская организация, самотек или руководство партии, капиталистическая реставрация или социалистическая революция?

Оппозиция верила, что сильнее рыночной стихии, что сильнее кошки — зверя нет; она верила в «объективную» силу капиталистических отношений и в фатальный исход борьбы. Ленин и партия верили в творческие силы пролетариата, в прогрессивность социалистических форм хозяйства, знали, какое огромное значение имеют организация, регулирование, руководство, какая огромная сила (в том числе хозяйственная) таится в государственной власти пролетариата.

«... Если Барт полагает, — писал Энгельс, — что мы отрицаем всякое обратное влияние политических и т. д. отражений экономического движения на самое движение, то он просто сражается с ветряными мельницами. Ему следует заглянуть лишь в «18 бр юмера» Маркса, где только почти и идет речь о той особой роли, которую играют политические битвы и события, конечно в рамках их всеобщей зависимости от экономических условий... К чему же мы тогда бьемся за политическую диктатуру пролетариата, если политическая власть бессильна? Сила (то-есть государственная власть) — это есть точно так же экономическое могущество». (Письмо к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г.)

Начиная с самых ранних выступлений и в течение всей своей жизни Ленин ведет неустанную, последовательную и энергичную борьбу со всеми разновидностями оппортунизма, особенно с теориями «стихийности» и самотека, и во главу угла ставит политическую активность, прямо говорит о первенстве политики, политическую борьбу считает высшей формой классовой борьбы, развивает дальше, применительно к новым, конкретным условиям, идеи Маркса и Энгельса, о гегемонии пролетариата, создает учение о партии как о решающем факторе революции.

Эта революционная активность пронизывает все тридцать томов сочинений Ленина, его письма, дневниковые записи, тетради и даже самые коротенькие записки, писавшиеся товарищам во время заседаний, — богатейшее наследство, собранное в «Сборниках». Вот несколько строк, поразительных по свежести:

«Помнится, Наполеон писал: «On s'engage et puis on voit». В вольном русском переводе это значит: «Сначала надо вязаться в серьезный бой, а там уже будет видно». Вот и мы вязались сначала в октябре 1917 г. в серьезный бой, а там уже увидели такие детали развития (с точки зрения мировой истории, это несомненно детали), как брестский мир или нэп и т. п. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу».

Таков и Сталин; таковы были и основоположники марксизма.

В самом деле, какую мысль хотел выразить Маркс в своем знаменитом эссе о Фейербахе: «Философы лишь различным образом об'ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»? Так ли это надо понять, что удел философов — об'яснять мир, а задача практиков — изменять его, что устанавливается как бы разделение труда между философами и практиками, но только предпочтение отдается второй «специальности», что практика не нуждается в теории? Нет конечно! Маркс говорит о революционной действенной теории, которая на место дела логики поставила бы логику дела и считала само дело высшим критерием истины. Жизненные противоречия не могут быть разрешены путем силлогизма; они требуют действия. Революционное действие убедительней силлогизма, оно — само тело и сама суть революционной диалектики. Действие — мысль — вот что ставит Маркс на место отрешенной мысли. Недаром первый и главный упрек, который посылает Ленин Сухановым всех стран, состоит в том, что «решающего в марксизме они совершенно не поняли: именно его революционной диалектики».



Противники ленинизма неизменно ссылались и ссылаются на «об'ективные причины»: меньшевики — на отсутствие об'ективных экономических предпосылок для социализма, правые оппортунисты — на об'ективную невозможность преодолеть рыночную стихию, на об'ективную непосильность темпов пятилетки, «левые» оппортунисты — на об'ективную невозможность построения социализма в одной стране. Оппортунист наших дней на заводе или в совхозе, в городе и деревне, который жалуется на «нереальность» контрольных цифр, на «непосильность» темпов, на «об'ективные причины» невыполнения плана, и меньшевик, который плачется на отсутствие предпосылок для социализма, — одного поля ягоды. Они — не шутите! — «об'ективисты».

Обширна и разношерстна галерея «об'ективистов», длинны их «доводы», разнообразны силлогизмы. Послушать их, так большевики — «тупые» люди, которые никаких резонов не принимают, прут против рожна и в ослеплении своего «суб'ективизма» и «волюнтаризма» (по Каутскому) несутся прямехонько навстречу... об'ективной пропасти.

Все это конечно превеликий вздор. Суб'ективный и об'ективный факторы не отделены друг от друга китайской стеной, а японские империалисты показали нам на деле, что и китайская стена — понятие относительное. Суб'ективный фактор, когда он воплощен в монолитной воле миллионов, — тоже об'ективная предпосылка; революционное созревание пролетариата — тоже созревание производительных сил. А с другой стороны, об'ективный фактор, если люди им гипнотизированы, переходит в суб'ективный, но только реакционный по своей сущности.

«Нынешняя «коммунистическая» Россия, — писал Устрялов в полемике со мною в 1923 г., — об'ективно является наименее социалистическим государством в современной «буржуазной» Европе».

Если таково «об'ективное» положение, то уж ясно: против рожна не погрешь.



А посему Устрялов поучает советскую власть:

«Отступление, раз оно уже началось, должно быть планомерным и энергичным, а не колеблющимся, неуверенным и отстающим от жизни». Со спекулянтами Устрялов рекомендует вести борьбу «не газетными атаками и административными налетами, а реформами, обеспечивающими действительное развитие производительных сил. И тогда за ними должна притти и созидательная буржуазия, — выдвинутая и закаленная революцией, — и в первую голову, конечно, тот «крепкий мужичок», без которого немыслимо никакое оздоровление нашего сельского хозяйства, то-есть основы экономического благополучия России».

Несомненно из тех же «объективистских» соображений исходил и Бухарин, когда заявлял:

«Наша политика по отношению к деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались, а отчасти и уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства».

Строки эти привели Устрялова в иступленный восторг, и он выступил с откровенно-издевательской статьей — «Обогащайтесь!», которая имела в виде эпиграфа слова: «Ныне отпускаеши» (свящ. писание).

Вот из нее небольшой, но поучительный отрывок:

«Наконец-то!

Настоящее слово сказано, лозунг дан. Это куда лучше еще, чем «лицом к деревне». Конкретнее, прямее, понятнее. Почти по-ленински.

— Крестьяне, обогащайтесь! Не бойтесь, что вас прижмут...

... В плане быта скоро, того и гляди, услышишь бодрые, полнокровные голоса из деревни:

— Да, я кулак, я советский кулак и горжусь этим!..» —

и т. д. в том же духе.

Классовый враг распоясался, и из-под маски «объективиста» глянул контрреволюционный... субъект.

Субъективный и объективный факторы надо брать в их диалектической соотне-

сенности друг с другом. «Nichts ist innen, nichts ist aussen, denn was innen das ist aussen» — говорил Гете; то-есть: «ничто не внутри и ничто не снаружи, ибо то, что внутри, то вместе с тем и снаружи». Делая упор на субъективную сторону, нельзя в действительности выскочить из объективной обстановки, а делая упор на объективную сторону, невозможно заглушить субъективные страсти.

Гольй субъективизм слеп, а гольй объективизм безрук.

Ленинский метод был революционно-диалектическим, а стало быть, субъективно-объективным в противоположность голому объективизму оппортунистов. В этом — его жизненность и плодотворность. Ленин пристальнейше изучал условия — действительно во всем их охвате и взаимосвязанности отдельных моментов. При этом не довольствовался поверхностной и обманной внешностью явлений, а марксистски исследовал скрытую за ними классовую сущность и несомую ими историческую тенденцию. Как революционер и диалектик он был обращен лицом не к прошлому, а к будущему, не к отложившемуся уже и застывшему, а к становящемуся и формирующемуся в процессе революции. Именно поэтому в диалектически расширенный круг условий он включал субъективный фактор, как потенциально объективный, как становящийся объективным в процессе действия. Как ученик и продолжатель Гегеля и Маркса, он видел во всей конкретности и богатстве определений самый переход от внутреннего к внешнему, от субъективного к объективному, от формы к содержанию.

«Конкретная целостность формы, — писал Гегель, — есть непосредственное самоперенесение внутреннего во внешнее и внешнего во внутреннее. Это самодвижение формы есть деятельность... Развитая действительность, как совпадающая в едином смена внутреннего и внешнего, смена их противоположных движений, объединенных в одно движение, есть необходимость». («Энциклопедия», т. I, § 147.)

Деятельность и необходимость в гегелевском смысле были, можно сказать, «стихий» Ленина, но только как материалист он не верил в «самодвижение» мысли; диалектические переходы, смена противоположных движений, скачки могли, по Ленину, совершаться лишь путем революционной активности масс. Вот почему он не только включал субъективный фактор в полный круг условий, но ставил впереди других условий как непосредственный революционный двигатель вперед. И вот почему с таким презрением говорил о рабской подражательности прошлому и о педантстве «объективистов».

Если товарищу, изучающему диалектику, трудно одолеть и усвоить раздел «Действительность» в гегелевской «Логике», абстрактное изложение процесса необходимости и превращения возможности в действительность, отвлеченное описание взаимосвязанности условий, предмета и деятельности, то я могу посоветовать пользоваться как ключом Лениным, и именно теми его страницами, где описываются условия взятия власти («Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Советы постороннего») и условия построения социализма в одной стране (брошюра «О кооперации»). И еще надо пользоваться для этой цели ленинскими докладами, где дается оценка положения в наиболее ответственные моменты революции и суммарная характеристика целых исторических периодов.

Ленин твердо знал гегелевский тезис о том, что «когда все условия имеются налицо, предмет необходимо должен стать действительным»; он знал также, как происходит накопление полного круга условий, как случайное втягивается в повелительную орбиту необходимого и ассимилируется в ней, как важно в круге условий найти силовой центр (или звено), который приводит в ассимилирующее коловращение весь круг (вытягивает всю цепь).

Оппортунистический «объективизм» состоит в том, чтобы сложа руки дожидаться, пока самотек жизни накопит полный круг условий и эволюционным путем приведет к новой действительности. Революционер Ленин не согласен сидеть

у моря и ждать погоды; в эволюционные «свершения» он вообще не верит. Он знает (на основании анализа несравненно более глубокого и подлинно диалектического), что основная линия исторической тенденции идет в сторону новой социалистической действительности. Это предопределяет основное направление, генеральную линию революционной активности: ввязаться в серьезный бой. Дальнейшее определится реальным соотношением сил на каждом этапе, и опять-таки определится не пассивно, а активно — путем использования каждый раз для движения вперед своеобразия положения, специфики обстановки, путем выбора новых и новых силовых центров, атакуемых с большевистской неукротимостью.

«От революции демократической, — писал Ленин еще в 1905 г. — мы сейчас же начнем переходить, и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полупути».

Так это было в 1905 г., так это оставалось и дальше, вплоть до сегодняшнего дня, до второй пятилетки.

Теории Маркса и Ленина о перерастании демократической революции в социалистическую, империалистической войны — в гражданскую, нэпа — в социализм, диктатуры рабочего класса — в бесклассовое общество насквозь диалектичны. Перерастание охватывает в единстве два взаимно противоположных момента и состоит в скачкообразном революционном переходе от старой действительности к новой, передовой. Все дело в том, чтобы совершить этот переход форсированными темпами. И Ленин является великим мастером форсирования, гениальным изобретателем конкретных путей перехода. Как же тут обойтись без тщательного изучения объективной обстановки во всем ее своеобразии? Как найти основное звено, не исследовав всех звеньев цепи, не прощупав и не испытав силу сопротивления каждого из них в отдельности?

Лозунги Ленина всегда просты, однозначны, ударны: «мир во что бы то ни стало», «вся власть Советам», «передышка», «смычка» и т. д. Такими они и должны быть, такими они остались и после смерти Ленина, когда руководство партией сосредоточено в руках ленинского ЦК во главе с т. Сталиным: «пятилетка в четыре года», «ликвидация кулака как класса на основе сплошной коллективизации», «колхозник — опора советской власти», «труд — дело чести», «соусоревнование и ударничество», «ни одной пяди земли не отдадим», «пятилетка построения бесклассового общества», «социалистическая собственность», «зажиточный колхозник» и т. д. Лозунги должны быть просты, однозначны и ударны, чтобы стать узловыми пунктами собирания массовой революционной энергии и центрами приложения этой энергии. Но за простотой лозунга скрыта сложность и глубина анализа, за лозунгом, обращенным к «субъективности» революционной страсти и мобилиующим эту страсть, скрыт учет реальных возможностей и всей совокупности объективных условий. Здесь не плоская простота примитивной мысли и формальной логики. Здесь действенная простота революционной субъективности, которая содержит в себе в «снятом» виде сложный и углубленный диалектический анализ объективных условий и реальных возможностей.

В большевистском стиле слов и дел нет квази-сложного интеллигентского «растекания по древу», либерального многомудрствования, исполненного сомнений, шатаний и демобилизующего нытья; нет и пустопорожного «левого» фразерства и истерического вспышкопукательства, и нет в нем также тупой и безнадежной активности издыхающего, но цепляющегося за жизнь капитализма, нет того типа активности, который воплощен в ландскнехтах капитализма — в солдатчине, полицейшине, фашизме.

Восходящий класс свежей, цельней и мудрей умирающих классов, — может ли это быть иначе! Его логика есть логика движения вперед и революционно-го действия, то-есть материалистическая диалектика Маркса и Ленина. Его си-

ла — в могучей простоте «субъективной» страсти молодого класса, завоевывающего арену истории по объективным причинам, строящего свою технику и стратегию на объективном и научном анализе меняющейся обстановки во всей ее конкретности и своеобразии.



Еще о методе оценок и нахождении нужного звена в цепи.

Прощупать звенья цепи, испытав силу сопротивления каждого из них в отдельности, невозможно одним только аппаратом мышления, даже диалектического мышления, не говоря уж о плоскостном, формальном. Гарантировано безупречными и свободными от ошибок могут быть умозаключения только относительно мертвых физических тел, поддающихся измерению целиком, во всех своих инертных частях. Но чем сложнее предмет, богаче качественными определениями, чем менее в нем установленных прежним опытом типовых черт, чем он новей, своеобразней, «индивидуальней», а процессы изменения в нем быстрее и стремительней, — тем труднее он поддается «взвешиванию», тем «приблизительнее» может быть его оценка.

Это однако не значит, что мы здесь вступаем в область иррационального, в царство мистики. Отнюдь! Основные тенденции изменения предмета мы устанавливаем при помощи диалектики и материалистической науки, а конкретное взвешивание и измерение сил в каждом отдельном случае познается в действии и борьбе.

Физическое тело мы можем измерить тем, что положим его на одну чашу весов, нагрузив вторую чашу гирями. Вес определится «борьбой» мертвых чаш. В отношении богатых качественными определениями «тел» и сил, в частности в сфере социальной жизни, сохраняется в действительности все тот же принцип измерения, но только он здесь, соответственно природе предмета, претерпевает некоторые изменения. Далеко не все элементы поддаются статистическому учету. Во многих и многих случаях вес и мера могут быть установлены только «на ве-

сах» настоящей борьбы противоположных сил.

Как, например, при выработке народнохозяйственного плана установить наперед с точностью и гарантией возрастающую степень сознательности рабочих масс, их энтузиазма, творческого порыва, социалистического отношения к труду и к общественной собственности, как измерить изменения в самом качестве культуры и т. д., то-есть все то, что в огромной мере предопределяет и производительность труда, и общий объем достижений, а с другой стороны, как установить наперед степень классового сопротивления кулака, «эффективность» саботажа и вредительства, отрицательные следствия культурной отсталости крестьянских кадров, впервые вовлекаемых в производство, их технической неграмотности и т. д., то-есть все то, что в большой мере тормозит темпы нашего роста?

Вот стоит импортный станок — чудо красоты. Его можно измерить, взвесить, оценить — он стоит столько-то тысяч. Но к станку подошел молодой и неопытный рабочий, вчерашний крестьянин, и с таким азартом просверливал дыру в детали, что просверлил и самый станок. Этот ценностный элемент (ущерб) не поддается учету наперед, как не поддается учету наперед изобретение другого рабочего тут же рядом, — изобретение, давшее экономию на десятки тысяч золотых рублей. Какой цифрой определить результаты соцсоревнования и ударничества и т. д.?

Многое и часто весьма важное познается только в результате опыта. И ворчит интеллигент-обыватель, инженер и не-инженер, по поводу всякого непопадания: «раньше делают, а потом думают!» И кажется ему, будто этими словами он сразил плановую систему в самое сердце.

Не подозревает обыватель, подвластный канонам формальной логики, что такое революционная диалектика. Не подозревает он, что делание часто есть единственно возможная форма взвешивания, что действие есть обязательный ингредиент мышления, непрменная его составная

часть, что действие и мышление протекают в едином и слитном процессе. Мышление есть функция действия, рождено потребностями действия, но и само действие во многих отношениях является орудием мышления, его функций. Тут — диалектическая взаимосвязанность.

Часто повторяют у нас диалектические слова: «проверка практикой», «критерий практики», но за хорошими этими словами сплошь и рядом остается в неприкосновенности старозаветная метафизика. Именно: полагают (чаще всего бессознательно), будто в действительности мышление само по себе и вполне самостоятельно способно разрешить даже наиболее сложные вопросы; но не надо, мол, слишком увлекаться; поэтому нужно-де впоследствии проверять результаты на практике. Такая иллюзия возможна только потому, что люди не отдают себе отчета ни в самом источнике этого требования проверки практикой, ни в действительном соотношении между теорией и практикой, ни в назначении практики в процессе мышления.

Мышление есть процесс «взвешивания», но не всякий предмет и не все его элементы поддаются теоретическому взвешиванию наперед. Практика в большой мере есть тоже процесс взвешивания, но уже не в отвлеченных категориях, а в конкретных. Для выполнения все той же работы взвешивания теорию приходится довооружать практикой, а практику — теорией. Революционная диалектика требует «спаренной езды» теории с практикой, мышления с действием. Тут нет того, чтобы сперва думать, а потом действовать, или сперва действовать, а потом думать. Мышление-действие работает единым натиском.

Опыт прошлого, наличие ряда показателей в тех направлениях и по тем элементам, которые по самой своей природе поддаются статистическому учету, диалектическая оценка предмета во всех связях и «опосредствованиях», общая тенденция развития, понятая на основе марксистско-ленинского учения, позволяют правительству (Госплану) и ЦК партии выработать ориентировочную наметку народнохозяйственного плана. Но

план есть мышление, а мышление — процесс, неотрывный от процесса действия. Тут нет ничего догматически застывшего. В процессе действия, а стало быть, взвешивания борьбой, гибкий план, увеличивается, уменьшается, выравнивается, уточняется в соответствии с требованиями и возможностями жизни.

Укоры оппортунистов в заведомом преувеличении плановых заданий, в чрезмерности темпов и т. д. должны быть с презрением отмечены. Что революционная власть есть революционная, и черепаший темп ей не по нутру — само собою разумеется. Прицел берется на высшую точку — в полном соответствии с ленинским заветом: «максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах». Мы стремимся к оптимальному пределу — да как же иначе! Мы стремимся к возможно большему ускорению темпов столько же по причинам внутренним, сколько и международным.

«Нельзя снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочим классом всего мира. Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим!» (Сталин).

Тут и овежая сила молодого класса, тут и революционная воля. Но не безоглядный «волютаризм», в котором упрекает большевиков «объективист» Каутский.

Возможны ли ошибки на этом пути? Не только возможны, но и обязательны. Это сотни раз повторял Ленин. «Советская власть — не талисман» — говорил Ленин. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — говорит народная мудрость. А дело делается у нас огромное, неслыханное в истории человечества.

Мышление действием есть взвешивание. Как же избежать при взвешивании качания чашек весов. Те «зигзаги» в политике, о которых шушукается обыватель и «преосвященный» оппортунист, —

ведь это и есть раскачивание весов при взвешивании. Не сразу насыплется нужная мера: даже у самого опытного приказчика истории будет сперва недочет или перевес. И колеблются чаши при взвешивании, и нельзя отходить от весов.

ЦК не ограничивается тем, чтоб отдать приказ; отдав приказ, не замыкается в своем величии в ожидании исполнения. ЦК неотрывно держит руку на пульсе народного хозяйства, политической и культурной жизни страны, отмечает, исправляет, поощряет, сдерживает, выравнивает, регулирует. Работает ЦК и работает страна в едином натиске мышления-действия. Так, на локомотиве истории «спаренной ездой» мы несемся навстречу социализму, навстречу лучшей мечте пролетариев всего мира.



Другое и важнейшее отличие метода Ленина и Сталина от методов «оппозиции», то-есть оппортунистов всех мастей, вплоть до прямых контрреволюционеров, состоит в том, что большевистский метод есть опять-таки подлинно диалектический в противоположность антидиалектическим мудрствованиям «оппозиции».

Когда Троцкий и его оруженосцы выступали против теории построения социализма в одной стране, они обвиняли тов. Сталина и ЦК партии в национальной ограниченности, в непонимании мирового хозяйства как единого целого, в изолированном, то-есть, по существу, метафизическом понимании народного хозяйства одной страны в системе всего мирового хозяйства. Они козыряли конечно и своим «интернационализмом», и своей последовательностью «диалектиков».

Здесь повторилось, только в иной форме и на другой ступени, то же самое, что с укорами правых оппортунистов в «субъективизме» и «волютаризме» ЦК партии. Там выдавался голый «объективизм» за марксистскую ортодоксию; здесь — метафизическое и формальное мышление за диалектическое.

Не кто иной как Ленин учил, что надо изучать предмет во всех связях и во всех «опосредствованиях», а не изолированно от остального мира. Но что это значит — изучать предмет во всех связях? Мыслить его как безразличную часть целого? Как одно из многих? Мыслить у р а в н и т е л ь н о? Нет, этому Ленин не учил. Это и есть как раз метафизика, к тому же вдвойне вредная, так как она прикидывается диалектикой. Что проку, в самом деле, в том, что вы с усердием дятлов долбите о связях, если вы наперед мыслите эти связи механистически, если вы наперед считаете отдельные части единого комплекса в равной мере подчиненными этому комплексу в целом. Тогда целое привлекается только для видимости, ибо можно с таким же успехом обойтись без этой абстракции. Тогда добросовестней было бы говорить об изолированном рассмотрении предмета, откровенно метафизическом.

Но признать это «левые» мудрецы не согласны и с большой головы валят на здоровую.

А здоровая и подлинно революционная, диалектическая голова понимает, что изучение предмета во всех связях обязывает определить специфику предмета (в данном случае СССР), вытекающую столько же из собственных его ресурсов, возможностей, истории развития, как и из той особой роли, какую этот предмет играет и призван играть именно в связи с историческим процессом в целом. Надо исследовать данную историческую стадию развития (империализм — канун социалистической революции) и определить ведущую сторону (в пределах СССР — гегемония рабочего класса, в международном плане — СССР как ударная бригада мировой революции); надо найти основное звено, которое хотя только и остается единственным звеном в длинной цепи связи, но является точкой приложения революционной энергии, вытаскивающей всю цепь. Надо проделать большую аналитическую работу, как ее проделали Ленин и Сталин, — тогда, и только тогда, можно говорить об изучении предмета во всех связях и на основании это-

го изучения объективной обстановки формулировать теории и лозунги.

Бесспорно одной из крупнейших теоретических заслуг тов. Сталина является его анализ ленинизма. Стоит только привести несколько коротеньких отрывков из Сталина, чтоб обнаружить в нем последовательного ученика Ленина, унаследовавшего самую «душу» ленинского учения:

«Раньше к анализу предпосылок пролетарской революции подходили обычно с точки зрения экономического состояния той или иной отдельной страны... Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь нужно говорить о наличии объективных условий революции во всей системе мирового империалистского хозяйства, как единого целого, причем наличие в составе этой системы некоторых стран, недостаточно развитых в промышленном отношении, не может служить непреодолимым препятствием к революции, если система в целом или, вернее, так как система в целом уже созрела к революции...»

«Раньше считали победу революции в одной стране невозможной... Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развития катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира — все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах...»

«В 1917 г. цепь империалистского фронта оказалась слабее в России, чем в других странах. Там она и прорвалась, дав выход пролетарской революции... Упрочив свою власть и поведя за собой крестьянство, пролетариат победившей страны может и должен построить социалистическое общество... Значит ли это, что он может силами лишь одной страны закрепить окончательно социализм и вполне гарантировать страну от интервенции, а значит,

и от реставрации? Нет, не значит. Для этого необходима победа революции по крайней мере в нескольких странах... Поэтому революция победившей страны должна рассматривать себя не как самое довлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах». (Курсив мой. — И. Л.).

Вот это и есть образец подлинно революционного и диалектического мышления предмета во всех связях. СССР мыслится не изолированно от всей мировой системы, а в теснейшей связи с этой системой, но не догматически, а конкретно, не как инертное слагаемое, а как революционно активное звено всей цепи. Вывод — действенный и однозначный: построение социализма в СССР, но за этой однозначностью скрыто мышление всего мира.

А троцкисты выставляют напоказ псевдо-диалектическую многосмысленность мышления взаимно-связанной системы мирового хозяйства, между тем как в действительности весь подход к вопросу — формальный и метафизический. Здесь скрыт в дурном смысле, то-есть замаскированным остается, действительный и единственно вытекающий из всей концепции вывод: не теряйте, мол, куме, силу — опускайтесь на дно. Какой бы «левой» фразой ни прикрывался этот вывод, — дух упадка, депрессии, обреченности шибает от него со всей силой.

Отставная тезис Троцкого о невыполнимости задачи построения социализма в одной стране, Зиновьев сильно упирал в интернационализм, противопоставляя его, повидимому, «национальной ограниченности»... ЦК. Но, надо по совести признать, этот... «крайне левый» интернационализм так же метафизичен по своей природе и так же бесплоден для международного пролетарского братства, как и «интернационализм» заведомо контрреволюционных господ.

Так, в 1923 г. в полемике со мною заявил себя «интернационалистом» не кто иной как... бард «национал-большевизма» Устрялов:

«Нельзя игнорировать, — писал он, — мощного интернационализаторского про-

цесса, переживаемого человечеством. Это уже давно стало общим местом, что международные связи с каждым десятилетием становятся все теснее, взаимозависимость государств — все неразрывнее... Между интернационализмом и нацией логически нет непримиримого противоречия, и Лежнев совсем напрасно приписывает нам игнорирование этой святой истины... Интернационал есть категория техническая по преимуществу. Нация есть по преимуществу категория духа, «культуры». Интернационал — алгебраическая формула, нации — ее реальное содержание, постигаемое раскрытием конкретного смысла алгебраических знаков».

Тут интернационализм сведен к... алгебраическому знаку. А к чему приводит «интернационализм» троцкистов? К угашению борьбы за интернациональный идеал рабочего класса, за построение социализма в СССР. Это уже не алгебраический знак, а реальное содержание, но только отрицательное, против интернационализма, против революционной диалектики, против интересов рабочего класса.

Совсем чужды были диалектике методы оценок «сменовеховцев» из белой эмиграции и отечественных «примиренцев». Нельзя тут, собственно, даже говорить о методе, ибо то были скользкие, поверхностные и пустые аналогии, мешанина эклектизма, безответственная софистика.

Либо сравнивались заведомо несоизмеримые вещи: Французская буржуазная революция конца позапрошлого века с нашей пролетарской революцией, и за хвост вытаскивался с торжеством термидор, которому должен был соответствовать нэп (вот уж истинно похоже, как гвоздь на панихиду); либо эклектически хватался по куску от социализма и от капитализма, и эту приторную, тошнотворную мешански-обывательскую похоть, которую и врагу не пожелаешь выпить натошак, напыщенно величали «великим синтезом», «третьей Россией» и прочим вздором. К изготовлению этого рецепта в первые годы нэпа я сам приложил свою «новороссийскую» руку.

Ни правый, ни «левый» оппортунизм, ни буржуазно-интеллигентское мудрствование «Смены вех» и «Новой России» не могли ничего изменить в могучем потоке революции. Временное отступление заменилось развернутым наступлением по широкому фронту. Пятилетний план был составлен и проведен от начала до конца в соответствии с ленинскими принципами.

Идея о том, что в нашей стране есть все необходимое для построения социалистического общества, и идея сплошной коллективизации сельского хозяйства в основном выражены в брошюре «О кооперации». А путь индустриализации, источники накопления необходимых для этого средств внутри страны, даже новая форма промышленной смычки с крестьянством намечены в следующих немногих строках одной из последних статей Ленина «Лучше меньше да лучше».

«Если мы сохраним за рабочим классом руководство над крестьянством, то мы получим возможность ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, для развития электрификации, гидроторфа, для достройки Волховстроя и проч.».

«В этом, и только в этом, будет наша надежда. Только тогда мы в состоянии будем пересест, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищавшей, с лошади экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну, на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, — электрификации, Волховстроя и т. д.» (Курсив мой. — И. Л.)

И все же, как ни важны эти принципиальные наметки и отчасти конкретные указания, обстановка в революционной стране и в окружающих ее капиталистических странах, охваченных послевоенным кризисом, резко менялась и меняется с годами. Всех частности меняющейся ситуации, всех перипетий

Ленин не мог предвидеть, как не могли всего предвидеть Маркс и Энгельс. Но «марксизм не мертвая догма... а живое руководство к действию». То же надо сказать и о ленинизме.

После смерти Ленина руководство партией осталось в руках ленинского ЦК во главе с тов. Сталиным. И если пролетариат одержал величайшие в истории человечества победы, воплощенные в итогах первой пятилетки и первых двух лет второй пятилетки, то в этом «повинны» в равной мере и беззаветный героизм революционных рабочих, и мудрое руководство ЦК. Победа рабочего класса есть победа генеральной линии, ударно простой и сложной в своей простоте, как прост боевой удар по цели искусного стратега. Победа пролетариата есть победа диамата.

## 21. Революция умов и сердец

Чахнет буржуазное идеетворчество, умирает буржуазия как класс, но живо еще поколение людей, рожденных в буржуазном и мелкобуржуазном состоянии, и оно играет немаловажную роль на нынешней сцене классовой борьбы и социалистического строительства. Оправдываются слова Маркса: «Мелкая буржуазия явится составной частью всех грядущих революций», и слова Ленина: «Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены в борьбе».

Подсечена в корне и разрушена революцией буржуазная система хозяйства, но оставшиеся от прошлого охвостья буржуазных верований, воззрений, понятий и навыков далеко еще не искоренены из памяти современника. Они не только пассивно покоятся в кладовых памяти, но и активно воздействуют на жизнь. Порожденные в последнем счете старой экономикой, они обратно влияют на экономику уже новую. По истине мертвый хватает живого.

Сколько еще у нас (наряду с соцревнованием и ударничеством) бюрократизма, косности, лениности, халатности, старой расейской беззаботности, прохладцы и обломовщины, небрежного отношения к народному добру и пря-



мого расточительства. Много и много еще надо будет потрудиться, раньше чем удастся убрать весь этот навоз прошлого. Сильнее всего моральное наследие прошлого бьет по производительности труда — этому важнейшему рычагу народного хозяйства. А едоцкая психология! А рвачество и делячество! И худшее из худших — культурная отсталость людей, техническая неграмотность, убогая старокрестьянская ограниченность, остатки религиозности, упрямство и невежество, и тьма, и грязь, и сифилис, и непробудное пьянство, — сколько еще всего этого осталось в разных медвежьих углах нашей огромной страны.

Немало надо поработать над собой и пролетариату. Трижды правы были молодые Маркс и Энгельс, когда писали в «Немецкой идеологии»: «С верга ющий и й класс может только в революции очиститься от всей грязи старого общества и стать способным создать новое общество».

Если отвлечься от проклятого наследия прошлого в его целом и из материальной его культуры выделить одно только бездорожье, а из его «духовной» культуры — одни только старые предрассудки и предубеждения, то это уже само по себе — гиря на ногах, которая замедляет темпы нашего продвижения вперед по меньшей мере на треть против возможностей, какие потенциально заключены в социалистическом типе хозяйства.

Даже такой, казалось бы, невинный грех, как однобокое понимание экономических процессов и искаженная оценка хозяйственных перспектив с точки зрения своего маленького облюбованного болотца, — даже этот вид неграмотности и профессиональной узости наносит нам весьма крупный ущерб. Самая возможность такого вредоносного искажения перспективы обусловлена богатейшим многообразием народного хозяйства, его сложной дифференцированностью, количественной и качественной отдаленностью отдельных его участков друг от друга, необходимостью разделения труда, неизбежной ограниченностью индивидуального опыта. При недостаточном

культурном уровне хозяйственников, в частности экономической культуры, и при зачаточном лишь социалистическом воспитании возможность извращения хозяйственной перспективы переходит в действительность. До тех пор, пока каждый работник на своем дробном участке не научится определять правильное место своего участка во всей системе социалистического хозяйства и подчинять интересы частного интересам целого, пока не изжит столь распространенный еще у нас фаворитизм по отношению к своему краю и району, к своей отрасли хозяйства, одностороннее пристрастное отношение к своему участку работы и не достигнуто подлинно социалистическое отношение к хозяйству в целом, — до тех пор мы будем платить своим сегодняшним материальным добром за умственные грехи и недочеты, унаследованные от буржуазного прошлого.

Если бы в интересах наибольшей успешности культурной революции и наибольшей эффективности нашей работы была создана особая комиссия, которая занялась бы конкретным цифровым подсчетом (хотя бы грубо оценочно) всего того, что теряет социалистическое народное хозяйство даже не в год или месяц, а каждый день в результате наследия прошлого, то мы, привычные к большим числам, все же изумились бы огромности потерь. Мы увидели бы отдельно «по статьям»: растрачивается, растаскивается, проворовывается и т. д. столько-то, машин, металла, материала из-за технической неграмотности ломается и портится столько-то; по-старинке неумелая постановка внутриводского транспорта и расстановка рабочей силы обходится во столько-то; отсутствие на производстве правильной первичной документации и учета себестоимости — столько-то; некультурная медлительность и ротозейство почты и телеграфа, бюрократическая волокита канцелярий — столько-то; некультурность участпиков производства понижает производительность труда на столько-то. Количество и качество продукции при прочих равных условиях, но при подлинно социа-

листическом отношении к труду и к народному добру могли бы дать такие-то показатели, но в результате буржуазного наследия, следов ее культуры и тем более докапиталистической некультурности мы имеем лишь такие-то показатели.

Ежедневная потеря во столько-то миллионов рублей, рабочих часов и процентов составляет дань, какую социалистическое хозяйство выплачивает буржуазному и царскому прошлому. (А капиталисты еще сетуют на нас, будто мы не выплачиваем царских долгов!)

Вооруженный этими цифрами пропагандист сумел бы на месте совсем поиному, не по-кустарному, повести борьбу против прогулов, несоциалистического отношения к труду, врачества и т. д. А с другой стороны, все воочию увидели бы, какие поистине неисчерпаемые возможности несет с собой социалистический тип хозяйства.

Ведь если СССР по промышленной продукции обогнал все европейские страны, то гигантские темпы нашего роста (при деградации всех капиталистических стран) представляют собой лишь дробную часть наших действительных возможностей, которые во всей яркости и силе еще не проявляются сполна только из-за проклятого наследия буржуазного прошлого. Ведь если социалистическое хозяйство, платя непомерную и непосильную дань этому прошлому и несмотря на все связанные с этим потери, все же выходит на первое место среди наиболее передовых стран, то какова же чудесная сила и производительность этого нового строя. Есть ли в мире те жертвы, перед которыми можно было бы остановиться, и та цена, которая была бы слишком высока, чтобы получить в руки чудесный рычаг, которым действительно можно повернуть мир!

Что для осуществления этой цели пролетарскому государству наряду с другими мерами приходится прибегать и к мерам принуждения — бесспорно. Но кого же это страшит, кроме буржуазии и ее агентов! Для всякого диалектически мыслящего человека ясно, что именно сейчас, при переходе к бесклассовому обществу, как и в любом узловом

пункте, где совершается качественный скачок в новое агрегатное состояние, температура (в данном случае — температура политической борьбы) должна достигнуть точки кипения, и что нам поэтому нужно быть во всеоружии и пролетарской диктатуры более, чем в какое-либо иное время.

Слова Энгельса об экономическом могуществе государственной власти особенно относятся к нашей власти, которая уже и ныне сосредоточила в своих руках почти все богатства страны и поэтому, а также по самой своей природе как социалистическая власть, располагает экономической мощью и возможностями регулирования хозяйства, как ни одна другая государственная власть в мире. А преимущества политического воздействия на экономику у нас, в стране строящегося социализма, перед политическим воздействием на хозяйство в странах капитала показаны с полной наглядностью. У них дело идет о сверхпротекционизме в отношении отечественного монопольного капитала, что ведет только к углублению кризиса, к массовой безработице и голоду, ко всем видам и формам ограбления рабочего класса в пользу промышленников и аграриев; у нас дело идет о социалистическом планировании, что уже привело к небывалому в истории гигантскому росту хозяйства и полной ликвидации безработицы.

Используя всю свою экономическую мощь и моральный авторитет, советская власть и пролетарская общественность под руководством компартии сумеют, притом в недалеком будущем, совершить переход к бесклассовому обществу и тем самым претворить в жизнь лучшую мечту человечества.



Культурная революция, неотделимая от революции экономической, означает слом идейных и нравственных воззрений старого капиталистического общества, разрушение и искоренение живучих остатков буржуазного прошлого в человеческой психике и одновременно воспри-

тание нового человека для бесклассового социалистического общества. Перевоспитательной работы такого огромного массового охвата и такой радикальной новизны не знала история.

Устрялов определял термидор как «путь эволюции умов и сердец». Но то — комплимент по адресу делателей и участников реставрации. Какая же это эволюция — спускаться с вершин, хотя бы «на тормозах», к старому гнилому болоту. Правильным словом была бы тут «контрреволюция», а отнюдь не «эволюция». Напротив того, путь к вершинам бесклассового общества, путь преодоления старых верований, понятий и навыков, путь воспитания нового социалистического человека может быть по справедливости назван путем революции умов и сердец.

Двухединой работой разрушения старого и построения нового, построения новых машин и новых людей руководит в нашей стране только компартия, и никто иной. Пойдите в любое гос- и хозяйственное учреждение, поезжайте на фабрики и заводы, в совхозы и колхозы или даже просто загляните в общежития, бараки и казармы, — всюду, где собрано много людей, и присмотритесь к их жизни и работе. Если все подтянуто: подтянуты тела физкультурой, подтянуты мозги учебой, подтянута дисциплина и темпы работы, а вся жизнь коллектива пульсирует упруго, ударно, революционно, то можно, закрыв глаза, сказать: здесь действует крепкая, сплоченная, инициативная парторганизация. И наоборот — если всё распушено: и тела, и умы, и нравы, и трудовая дисциплина, если всюду разгильдяйство и плесень расейского старья — хищничество, косность, обломовщина, пьяная лавочка, то можно, опять-таки, с закрытыми глазами сказать: здесь парторганизация никудышная, а руководство гнилое, — надо спешно менять его. Стоит в таком месте появиться свежим и дельным партийцам, как сонные люди будут растормошены, стоячее болото расшевелится, закипит живая строительная и воспитательная работа, и через какие-нибудь полгода-год не узнать прежней местности и прежних людей. Кто, подобно мне,

оторвется от СССР на четыре года и вернется на родину после путешествий по капиталистическим заграницам, тот находит по возвращении совершенно новую страну.

О своих впечатлениях в СССР — позже, в дальнейших томах «Записок». Сейчас только одно — первое, что бросилось в глаза в Москве и захлестнуло сердце горячей волной. По какой улице ни пойдешь в вечерний час, встретит тебя ярко освещенное окно. Сквозь него — комната в красных плакатах, переполненная людьми — молодыми и старыми, мужчинами и женщинами. И все учатся! Так в Москве, так во всей стране, куда ни поедешь. Вся страна учится, очно и заочно, даже самые медвежьи углы. Одних официальных студентов свыше полутора тысяч. На каждую тысячу жителей — университетский выдвигенец. Остальные учатся и переучиваются на всевозможных краткосрочных курсах, в кружках, на собраниях, в партии и профсоюзах, на производстве и на социалистических полях, в Красной армии и на лагерных сборах, по книгам и по радио, на своем рабочем месте, на дому, в парках культуры и отдыха. Молодые учатся потому, что (как слышал я на одном собрании) «без политграмоты ты сейчас — полчеловека и совсем не человек»; старые переучиваются потому, что неохота быть заживо погребенным, — и старому человеку надо жить и работать по-новому.

Деревенские девушки, в былое время основной кадр «господской прислуги», пошли в слесаря и токаря, в электротехники и трактористы, носят стриженные волосы и комсомольскую гимнастерку с ремнем через плечо, — заговорит о политике — берегись, интеллигент, как бы в лужу не посадила и не прилещнула сверху по лысине. Пионерия, комсомолия, младшие возрасты партактива, курсанты и красноармейцы — все поколение до 25 и даже до 30 лет выращено и воспитано революцией. Самым «старым» из них в октябре 1917 г. минуло лишь 10—15 лет. «По улице мостовой» (тесны старые тротуары) ходят молодые стайки шарней и девушек не с пья-

ными песнями, а с песями новыми, да с горячими спорами о блюмингах и вальцовках. На заиндевелых окнах трамвая вычерчивают не похабные слова и не любовные сердца, пронзенные стрелами, а алгебраические формулы и квадратные уравнения. В первом же трамвае, в какой-то сел, слышал разговор деревенской бабы в валенках, ныне кондукторши, с моим соседом: «Гражданин, ваш билет уже аннулирован». Услышал и прямо подскочил на месте: «Ах ты, чорт возьми!» Какой-то пожилой дяденька хотел проехать без билета, и двое молодых парней заставили его взять билет, но не по-озорному, как бывало, чтоб «накрыть на гривенник», а по-новому, воспитательно: «Что ж ты, отец, государство обворовывать вздумал». Вот они, добровольные охранители социалистической собственности — в буднях, в мелочах быта. В первом же трамвае открылся мне краешек новой социалистической морали.

Красных институтов в центре Москвы почти столько же, сколько пивнушек в Берлине, — на каждом перекрестке. Общее впечатление от охватившего страну поветрия учебы — огромная мансарда на шестую часть света, студенческая пора человечества с той же студенческой лихорадочной тягой к знанию и превеликим презрением к рваным подошвам («А сапоги-то, того — каши, кажись, просят»), но только вместо маменькиных сынков — рабоче-крестьянский молодец, а вместо «Gaudeamus» — «Интернационал»: «Это есть наш последний и решительный бой!» И роль профессуры и старостата во всеизвестной пролетарской студенческой мансарде играет компартия, учитель и организатор советской общественности.



Многое в нашей культурной революции как будто напоминает интеллигентские «традиции» и «заветы», о которых столь усердно писалось и говорилось в свое время. Вновь встречаешься со старыми боевыми лозунгами: учительство, культурное ускорение, воспитание нового человеческого типа для бесклассового

общества. При некотором внешнем сходстве — какой разительный контраст!

В прошлом веке функцию «учительства» действительно несла в скромных по необходимости пределах передовая революционно-настроенная разночинная интеллигенция, шефствовавшая, можно сказать, над студенческой мансардой: «сейте разумное, доброе, вечное...» А начиная с 1907—08 гг. мелкобуржуазная интеллигенция только на словах (и то лишь в парадных случаях) приписывала себе роль «передового отряда» — уже безо всякой скромности и даже без настоящей веры в собственные свои слова. В действительности интеллигенция, в соответствии с духом времени, относилась иронически к долгу «учительства», а с серьезной миной носила только шлейф обеих своих барынь — буржуазии и реакции. Когда в августе 1917 г. на «государственном совещании» в Москве Брешко-Брешковская, опередившая в карьере «сенатора» Соколова и состоявшая на должности «бабушки революции», говорила о том, что вот бы сейчас книжечки для народа распространять (а книжечки — известно какие — о защите родины), то это было, пожалуй, последнее поминовение «долга учительства» — уже прямо и явно для контрреволюционных целей.

Теперь функция учительства, культурного ускорения и организации масс перешла бесспорно к компартии, которая единственная и по праву унаследовала все возвышенное и ценное, чем могла в далеком прошлом гордиться российская революционная интеллигенция, возглавленная Чернышевским и Герценом.

Теперь дело идет уже не о былом крохоборстве, не о том, чтобы пичкать народ книжечками или пробуждать «земскую общественность». Поголовный ликбез, политграмота, партучеба, коммунистическое воспитание масс — в миллионном исчислении, радикальная переделка всего человеческого материала. Культурное ускорение в темпах пятилеток. Политическая организация сплошная — в ногу со сплошной коллективизацией. Перегной прошлого пашут не

сохой и не плугом, а трактором и комбайном. «Сейте разумное...» Но даже неразумный рис, и тот сеют с самолета. Забыты и «сивки», и «бурки» и «нивки», и «несжатые полоски». Шире дорогу, — мы вступили в полосу социализма!

Кто из старых интеллигентов искренне хочет быть продолжателем лучших традиций прошлого, тот должен раз навсегда усвоить себе, что наследование по прямой интеллигентской линии уже давно оборвалось, что все права наследования перешли к пролетариату и его партии, которые приумножили наследство тысячекратно.

Современнику—интеллигенту старшего поколения надо, наконец, увидеть это в настоящем свете и подвергнуть критическому пересмотру весь пройденный им идейный путь. Тогда его прошлое в целом представится ему, несмотря на большое множество извергнутых в разное время ультракрасных слов, как путь отрицания действительного социализма. И первая задача сведется к тому, чтобы былое отрицание подвергнуть отрицанию же, памятуя при этом слова Энгельса:

«Для каждой категории предметов, как и представлений и понятий, существует... своеобразный способ подвергнуться отрицанию так, чтобы отсюда получилось развитие».

Только так возможно, в согласии со своей совестью и с пользой для дела, пробиться к утверждению.

Проверяя пройденный путь, этап за этапом, начиная с давно прошедшего прошлого, которое ведет к революционному подполью ранних юношеских лет, интеллигент убедится, что его отрицание социализма было сперва деформированием социалистической идеи. Идея эта была оторвана от практики рабочего движения, от конкретности классовой борьбы, превращена в отвлеченную нравственную категорию, отнесена за грань времен. Так, выхолостив из социализма всякое живое содержание, превратив его в пустой фантом, можно было в принципе признавать возвышенность социалистической идеи, а в действительности быть выразителем общеполитических ин-

тересов или попросту служить буржуазии.

Старая российская интеллигенция, как и вся мелкая буржуазия, уже давно поставлена революцией перед выбором: к какому из двух больших борющихся классов примкнуть. Тем «индивидуумам», которые делают выбор в пользу буржуазии и капитализма, охвостье социалистической идеи нужны разве только как прикрытие, как маска. А тем честным интеллигентным труженикам, которые сделали или делают с запозданием сейчас свой выбор в пользу пролетариата и социализма, тем следует отказаться от мелкобуржуазных уродливых вывихов социалистической идеи.

Если отход от практики рабочего движения и от конкретности классовой борьбы шел в сторону отвлеченной общечеловеческой нравственности, то надо сейчас хорошенько понять и крепко запомнить слова Энгельса:

«Нравственность истинно человеческая, стоящая вне классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, станет возможной лишь на той ступени развития общества, когда не только будет устранена противоположность классов, но изгладится и всякое воспоминание о ней в практической жизни».

Осуществление высшего человеческого идеала нравственности возможно только на путях социализма, а социализм возможен только на путях классовой борьбы пролетариата. Если человек искренне и всерьез устремлен к этой нравственности и считает ее единственно стоящим делом на земле, то пора бросить набившие оскомину пустые разговоры о добре и зле по Толстому и Достоевскому, Канту и Ницше. Разговоры эти служат лишь обманной ширмой для самого худшего вида безнравственности, какую знала человеческая история, — для капиталистической эксплуатации и империалистских войн. Надо включиться целиком и без остатка, без интеллигентских колебаний и трусливой оглядки, в практику рабочего движения, в международное пролетарское содружество, в строительство социализма. От утопии воспитания «нового человека» в рамках капиталистического общества — к живой

реальности культурной революции, от утопии «внеклассовости» — к реальности строящегося бесклассового общества!

Но люди прошлого не так-то легко расстаются с прошлыми утопиями и иллюзиями. Мой старый друг пишет в письме: «У меня мелькает образ революции, как Сатурна, только навыворот. Сатурн пожирал своих детей, а революция своих отцов, если не пожирает, то, пожалуй, хуже: выбрасывает на помойку».

Какой, с позволения сказать, вздор! Кто же отцы революции? Может быть, Гершензон, один из авторов сборника «Вехи»?

А если не Гершензон, то, может быть, Ключников, автор сборника «Смена вех»? Но вот подлинные его слова:

«Русская революция страшна... Вопрос только в том: совершится ли приятие нами революции раньше, чем в борьбе с нею волны анархии временно захлестнут Россию, или же для приятия революции нам суждено пройти через период новых ужасов? Неужели суждено?..»

Кто же еще эти отцы? Меньшевики и эсеры? Те самые, которые торопились ликвидировать революцию и поскорее разобрать «бараки» советов? Или модернисты и «сверхчеловеки» всех типов и видов, ницшеанды, обожатели уайлдовщины, андреевщины, санинцы, пресловутые «Огарки»? Кто еще?

Тщетно искать вещь там, где она не положена. Кто ищет ныне живых отцов революции и всерьез хочет их найти, пусть адресуется в Общество старых большевиков. Тогда он кстати узнает, что не на помойку выброшены отцы революции, а, как оно и подобает, окружены почетом и пользуются наивысшим авторитетом, как испытанная совесть революционной партии.

А что касается старой интеллигенции и ее роли, то в действительности дело с нею обстоит так: лучшие идейные элементы старой интеллигенции усвоены советской общественностью. Наиболее последовательные и молодые душой пошли в партию. Техническая интеллигенция — спецы всех видов — в подавляющем большинстве своем добросовестно рабо-

тают над социалистическим строительством. Те отщепенцы и вредители, которые и на 17-м году революции остались при старых предубеждениях — они явно стоят по ту сторону баррикады; их не консолидируешь, и никаким уговариванием не проймешь. Удельный вес всего старшего поколения интеллигенции значительно снизился и идет дальше на убыль из года в год. На смену приходит новый, молодой актив, более крепкого социального корня — пролетарского, с более богатыми творческими потенциями поднимающегося класса, с более здоровой психологией, с более крепкой волей, с суровой жизненной закалкой физического труда и революционных боев. И если сейчас этот молодой актив уступает еще старшему поколению в опыте и знаниях, то знания — дело «наживное», и они с каждым годом будут прибывать.

### От буржуазной беспартийности к пролетарской партийности

(Вместо послесловия к I тому «Записок современника» — «Истоки» и предисловия к подготовляемой к печати теоретической работе автора: «Молодой Маркс о Гегеле. — Книга об интеллигенции и оппортунизме»)

Каждая книга имеет свою историю. О книге «Молодой Маркс...» можно сказать, что она несет на себе не только печать своей собственной истории, но подводит итоговую черту длительному и противоречивому идейному развитию ее автора.

В годы нэпа, с 1922 по 1926, я редактировал «сменовеховский» журнал «Новая Россия» и обрел на том сомнительную «славу «идеолога российской интеллигенции». Следующие затем четыре года (после закрытия журнала) я прожил в Германии. Здесь предо мной развернулось обширное поле для плодотворных сравнений капиталистического мира с Советским Союзом. Работа в области мирового хозяйства дала возможность изучить на практике экономическую основу буржуазного общества и тем самым свести пестрое многообразие явлений к их подлинной сущности. Жизненный опыт и труд, учёба и размышле-

ния привели меня обратно в Союз в 1930 г.

По приезде в Москву я стал нащупывать «оптимальный предел» своих возможностей участия в бурном процессе строительства новой жизни. Предоставленный самому себе и своему литературному ремеслу, я задумал книгу об идейном пути интеллигента, проделавшего эволюцию от буржуазной беспартийности к пролетарской партийности. Менее всего тут имелась в виду автобиография в узком смысле слова. Нет человека вне общества, класса, исторической эпохи. Робинзон был выдуман Даниелем Дефоз, и то автору пришлось дать ему в партнеры Пятницу и воспроизвести классовую расстановку на необитаемом острове — между двумя оторванными от мира людьми. «Сущность человека, — писал Маркс, — не есть абстракт, присущий отдельному индивидууму. В своей действительности он есть совокупность общественных отношений» (Тезисы о Фейербахе). Обрисовать идейно-политическую эволюцию странствующего интеллигента на протяжении четверти века — и какого бурного века! — значит рассказать обо многом весьма характерном, типичном, поучительном, имеющем высокую общественную значимость в нашей революционной истории.

Так моей темой стали: эпоха от первой революции 1905 г. до второй пятилетки, революционное подполье и буржуазная интеллигенция, СССР и Германия, пятилетка и кризис. Новую и большую свою работу я озаглавил «Записки современника». К настоящему моменту закончена первая ее часть: «Истоки».

Уже самое начало работы показало, что мне трудно удержаться в рамках одного лишь описания, что наряду с описанием необходим последовательный, марксистски выдержанный анализ. В общем это потребовало более углубленного изучения диалектики гегелевской и марксовой, а в частности выяснения ряда таких вопросов, как разделение труда в капиталистическом обществе, социальное место интеллигенции, характерные особенности умственного труда, оторванного от практики, особенности бур-

жуазно-интеллигентского мировоззрения, обусловленного классовым положением в обществе, спецификой умственного труда, укоренившимися традициями и т. д. и т. п. По ходу работы над книгой, делая зачастую перерывы, я занялся марксистской самоучебой. Прделанный мною опыт трех революций на родине, наблюдения в капиталистических странах в разные периоды, философское образование, многолетняя практическая работа в качестве публициста и экономиста помогли мне усвоить предмет в сравнительно короткие сроки.

Моя запоздалая марксистская самоучеба по первоначальному замыслу должна была иметь прикладное значение: дело шло о теоретическом довооружении в пределах, какие требовались для моих «Записок современника». Но Маркс оказался слишком заразителен. Раз занявшись им, трудно сказать самому себе: довольно. Вступив сперва только одной ногой в область марксистской теории, я настолько был захвачен величием этой единственно правильной революционной теории, что ушел в нее с головой. Ответы на интересовавшие меня вопросы оказались столь обширны и разносторонни, а возбудитель для дальнейшей работы мысли настолько силен, что результаты моего исследования значительно переросли рамки первой книги. Явилась потребность в другой, отдельной книге, которую я озаглавил: «Молодой Маркс о Гегеле».

Так возникла настоящая книга, как «побочный продукт» работы над «Записками современника». Хочется верить, что этот отпочковавшийся от другого ствола стебель имеет самостоятельную ценность.

\*\*\*

Пристальное изучение диалектики имело тот результат, что передо мной открылся новый мир — в точном и буквальном смысле слова.

Чтоб передать свое самочувствие, я должен напомнить об излюбленном Гегелем сравнении юноши и зрелого человека: «Одно и то же нравственное изречение в устах юноши, хотя бы он пони-

мал его совершенно правильно, лишено того значения и объема, которое оно имеет в духе испытанного жизнью мужа, выражающего в нем всю силу присущего ему содержания» («Наука логики»). Тот же пример Гегель дважды приводит в «Малой логике». Философская мысль, усвоенная юношей, абстрактна и туманна, еще бедна конкретным содержанием. А расширив свой круг знаний в области отдельных наук, умножив свой жизненный опыт и вернувшись после этого к той же философской мысли, человек видит все действительное богатство определений, скрытое за отвлеченной логикой категорий. Абсолютную идею, которая у Гегеля является заключительным этапом и вместе с тем конечным выводом логического движения, он сравнивает со смыслом всей жизни. «Когда человек проследит свою жизнь, ее последний этап может казаться очень ограниченным, но этот конец совмещает в себе весь *decursus vitae*».

В самом деле, каким схематичным, упрощенным был тот Маркс, которого знали мы, мальчики революционного подполья 1904—1909 гг. Каким сумрачно абстрактным выглядел Гегель в наши студенческие годы! Беззубыми ртами жевали Гегеля перед нами немецкие профессора. Из отверстий над седыми, благообразными, аккуратно расчесанными бородами лилась такая мертвящая тоска, что удавиться впору. Вместо живого Гегеля, острого диалектика, нетерпимого идеалиста — нам подавали мертвечину. Голизна надгробных плит, вздымающихся к небу ступенями категорий...

После революционного подполья, тюрем и этапов, после странствий по зарубежным университетам — два десятилетия войны и революций. Жизнь бурно неслась и кое-как поспешала за ней, ковыляя на ухабах, «собственноручная» идеология, — без Маркса и без диалектики. А когда под мощным внушением ленинских дел и книг, под влиянием долгого и поучительного опыта «у нас» и «у них» состоялся наконец возврат к диалектике и марксизму, я нашел другого Маркса, целиком для меня нового,

несколько не похожего на того Маркса, который запечатлелся в сознании в юношеские годы — в наивной и схематической форме, — да к тому же впоследствии извращенного и опошленного дополнительными наслоениями буржуазной критики.

В частности извращение выражалось в том, что Марксу противопоставлялся Ленин, подобно тому, как большевизм еще и по сей день в заведомо контрреволюционных целях противопоставляется коммунизму, советы — компартии, колхозы — социалистическому земледелию. Марксизм изображался отжившей уже свои сроки концепцией XIX века, ревизионизм, воплощенный в социал-демократии, — ортодоксально правоверным продолжением учения Маркса, а Ленин — великим реформатором марксизма, Лютером XX века. Эту реакционную сказку никто не разоблачал с большей прямоотой и наглядностью, как сам Ленин — всеми своими писаниями.

Правильное соотношение между Лениным и Марксом, роль Ленина как продолжателя учения Маркса в условиях империализма и революционных переворотов в обществе и науке обрисовал Сталин с той поразительной четкостью и простотой, какие вообще свойственны нашему вождю. Популяризуя сталинскую мысль, Исполком Коминтерна в своем воззвании по поводу 50-летия со дня смерти Маркса, нашел слова и факты, которые близки уму и сердцу каждого пролетария. Кто может еще и поныне верить, будто Маркс принадлежит не большевикам, а социал-предателям, открытым позором и презрением?

Ленин и Сталин направляли в сторону Маркса и Энгельса, особенно подчеркивали значение диалектики, дали сотни и тысячи жизненных примеров ее применения. А итог моего собственного двадцатилетнего опыта в годы войны и революции наглядно подтверждал правильность диалектического принципа.

В научных работах основоположников марксизма открылся мне новый смысл. Давнопрошедшие схемы юношеских лет насытились до краев конкретным содержанием. Марксистские формы стали для меня содержательными формами, верно



отражающими жизненный процесс, — «стали» такими, каковы они есть в действительности. «Учение Маркса все-таки, потому что оно верно» (Ленин).

Если эту открывшуюся мне новизну Маркса выразить несколькими словами, то можно сказать, что то была новизна живой и конкретной диалектики.

Именно недооценка и недопонимание диалектичности Маркса в годы моего раннего подполья утвердили меня затем в предрассудке, будто марксово учение на деле односторонне, застыло в «догме», не охватывающей всего богатого многообразия жизненного процесса, — коротко сказать: статично. (Замечу в скобках, что предрассудок этот укрепился не в последнем счете по вине тогдашних моих марксистских воспитателей, бывших хотя и большевиками, но в вопросах философии ослепленным непревзойденным, казалось, авторитетом Плеханова). Это привело к тому, что поиски нехватавшего мне ингредиента диалектики велись на стороне, в буржуазной идеалистической философии, в «глубинах» модного в годы реакции психологизма, интуитивизма и проч. Для заполнения пробела были призваны «чужеземные» (то-есть чуждые и враждебные пролетариату) варяги, — ранее всего Бергсон со своей иррациональной и мистической «длительностью» (*durée*). Потом проделывались, как водится, беспомощные эклектические попытки «сочетать», «обновить», «восполнить» Маркса модными философами, — так долго и так нескладно, пока под влиянием реакционной эпохи и буржуазных классовых тяготений Маркс выветривался чем дальше, тем все решительней, и его целиком заступил один из оттенков буржуазной идеологии.

И вот опять — после, казалось, нескончаемых и томительных блужданий и слепого тыкания по чужим заборам — живой и неукротимый Маркс, подлинный гигант революционной мысли и дела, найденный столько же в книгах, сколько в великих событиях нашей эпохи и в собственном своем опыте и сознании человека этой эпохи.



Маркс был особенно нов для меня новизной впервые опубликованных в последние годы научных работ и по сей день не получивших еще достаточного освещения в нашей теоретической марксистско-ленинской литературе. Сюда относятся: ранняя работа самого Маркса «Критика философии права Гегеля», его же подготовительные работы для «Святого семейства», совместная работа Маркса и Энгельса «Немецкая идеология», фрагменты Энгельса к большой задуманной им работе «Диалектика природы», философские тетради Ленина, вошедшие в IX и XII томы «Ленинских сборников», и целая серия писем, черновики, беглых записей и конспектов основоположников марксизма-ленинизма.

Весь этот обширный материал совершенно недостаточен количественно для выявления того исключительного богатства мыслей, которое он таит в себе. Гениальные авторы прожили слишком короткую жизнь, чтоб успеть осуществить все свои литературные замыслы. В этом нетрудно убедиться, если вспомнить, что Маркс, не закончивший основного своего труда («Капитал»), собирался написать логику; что Энгельс, усердно работавший в области естествознания и проделавший огромную подготовительную работу для задуманной им «Диалектики природы», оставил незаконченные фрагменты; что Ленин, задумавший, повидимому, большой философский труд (как об этом можно судить по его тетрадям), был лишен простой физической возможности осуществить свой план.

Для всего перечисленного литературного наследства Маркса, Энгельса и Ленина характерны конспективность и фрагментарность. А это значит, что мы здесь имеем дело со сгустками мыслей, с исключительно насыщенным и концентрированным теоретическим материалом, который, будучи полностью развернут, образовал бы целую библиотеку.

Второй характерной чертой всего этого сравнительно недавно опубликованного материала является то, что он с раз-

ных сторон освещает одну и ту же тему — диалектику — и что он, в частности, исключительно большое внимание уделяет гегелевской диалектике.

Вся совокупность нового материала служит к дальнейшему углублению и конкретизации революционной сущности материалистической диалектики, к дальнейшей и уничтожающей критике всякого оппортунизма и любого вида примиренческого истолкования противоречия. Каждая страница и абзац и даже дополнительное или вводное замечание в скобках таит в себе огромную взрывчатую силу большевистской энергии, прямоты, четкости, революционной нетерпимости к виллянию, экивоку, междуличности.

Косвенно это подтверждается уж одной трусливой и вредительской тактикой хранителей марксова архива в Германии (немецкая социал-демократия) и до недавнего времени у нас (Рязанов и иже с ним). Меншевицкие архивариусы десятилетия держали под спудом неугодного им Маркса и в оправдание своей теоретической недобросовестности строили домыслы: «Ах, Маркс был в дурном настроении, когда писал эти строки» или: «Это писал еще зеленый, незрелый Маркс» или: «Тут Маркс противоречит самому себе» и т. д. Между тем Маркс в утаиваемых меньшевистскими архивариусами писаниях «противоречил» только их собственной оппортунистической и предательской практике, слишком открыто бил в лицо благодетелей «хорошего тона» с их гуттаперчевыми душами и прилизанным филистерским «благонравием».



Мое субъективное ощущение новизны Маркса и объективная новизна недавно опубликованных впервые работ молодого Маркса сливаются для меня воедино в том отношении, что именно в этих новых работах молодого Маркса я нашел свежие ответы на мучившие меня вопросы о социальных корнях идеологии и особенно — о природе и происхождении оппортунизма.

Повторно изучая Гегеля в свете марксовой критики, я с превеликой для себя

неожиданностью обнаружил в нем черты, наиболее характерные для всякого буржуазно-интеллигентского мышления. И хотя существует бесспорно значительная дистанция между идеализмом абсолютным и субъективным, диалектическим и метафизическим, между гипертрофированным гегелевским логизмом и модным нынче, столь же гипертрофированным психологизмом, общим для них остается идеалистическое мировоззрение, различные оттенки которого они представляют.

Идеализм полагает так: раньше всего есть некое непосредственно данное «я» (или «самосознание» или центральная система С — безразлично). Этому «я» с глазу на глаз противостоит «не я», или космос, но так, что «не я» существует только через «я». В последнем счете мир награждается качествами центрального «я». При этом принципиальная разница не так велика, — считать ли «я» демиургом явления, т. е., всей совокупной природы (Кант), будет ли оно, как самосознание, только носителем абсолютной идеи, инобытием которой является мир (Гегель), будет ли оно соединительной ниткой для бус ощущений, которые единственно и представляют собой объект (Мах), будет ли оно носителем качественно неповторимого психического движения во времени, длительности, образующей творческую субстанцию мира (Бергсон), и т. д. Можно сказать, что для всех разновидностей идеалистической школы в целом характерно «мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил» (Авенариус), но только в том смысле, что уж действительно нет «меньшей меры сил», чем мельчайшая «душа» мелкобуржуазного производителя мыслей.

В седую старину люди создавали себе идолов, чтоб поклоняться им, христианство обожествило человека, а философия нового времени стала обожествлять отдельные стороны человеческого существа: у Канта — апперцепция, у Гегеля — сила суждения, у Шопенгауера — воля, у Маха — ощущения, у Бергсона — психический порыв, у Фрейда — эротический порыв и т. д.

Это мышление мира по образу и подобию обособленного частного человека,

или, точнее, по образу и подобию отдельных сторон человека, обособившихся в самостоятельные сущности, особенно типично для современного идолопоклонства буржуазии, называемого идеалистической философией. Противоречие между общественным производством и частным присвоением отразилось в философии в виде обособления частного человека, вырванного из живой ткани общественных связей. А противоречия, порожденные разделением труда и в частности отделением умственного труда от физического, противоречие между народнохозяйственным целым и обособленными, специализировавшимися, самостоятельными сферами хозяйства привело к расщеплению человека на отдельные его стороны и к распространительному пониманию законов целого в духе ограниченных законов, имеющих в действительности силу (и то временно и условно) в пределах частного.

В то же время интерпретация законов целого в духе законов частного представляется собой отражение (в «идеализованной» форме) действительной потребности буржуазии представлять свой классовый интерес в виде общего интереса, а мысли и нравственность господствующего класса данной эпохи — в виде незыблемых истин, пригодных для всех времен и состояний. (Наиболее наглядный пример — «категорический императив» Канта, где мерилом добра является как будто общее благо, но мерило этого мерила — все-таки благо отдельного человека.)

Капиталистическое кромсание живого общества на отдельные индивидуумы и на отдельные стороны этих индивидуумов не могло не привести, во-первых, к эгоцентризму и, во-вторых, к профессиональному партикуляризму. Оба эти качества целиком отразились в идеалистической философии.

Сила суждения, воля, ощущения и т. д., — все это — часть от части, выбранная наугад одна из сторон оторванного от общества человека. И когда в духе этой мельчайшей части от части интерпретируется все мироздание, а партикулярные законы выдаются за ми-

ровые законы, то здесь явна печать индивидуалистической замкнутости и профессиональной ограниченности, и ничего иного, кроме курьезной фантастики, переворачивающей все вверх ногами, и получиться не может.

Разделение труда на труд физический и умственный в капиталистическом обществе приводит к отрыву теории от практики. Этого же надо понимать в том упрощенном смысле, будто люди умственного труда стоят вообще вне всякой практики. Верно однако, что их практика в капиталистических условиях неизбежно ограничена жесткими пределами профессии, узкой специальности. А когда этой малой толике одностороннего и весьма своеобразного опыта придается универсальное значение, и ничтожная пригоршня однотонных фактов обобщается и раздувается до вселенских охватов, то тут уж дословно пальцем попадаешь в небо.

Дальнейшей особенностью профессионально-ограниченного и замкнутого в себе умственного труда является то, что он внушает предрассудок, будто опыт подчинен мысли и будто мысль командует над вещами. В наиболее свежей и наивной форме это отразилось в учении о государстве Платона: живая мысль господствует над всем тупым и инертным, поэтому носители мысли, философы, должны господствовать в государстве. Что этот предрассудок крайне живуч, свидетельствует хотя бы тот факт, что вредительская группа Рамзина («промпартия») до недавнего времени всерьез считала, будто во главе индустриального государства должны стоять инженеры.

Гегель со своим логическим максимализмом был бесспорно наиболее ярким выразителем идеи о примате мышления над бытием. Ему, в частности, казалось, что повторяемость опытных явлений соответствует одной лишь возможности. Что касается необходимости, то она может быть напечатлена только мыслью. Постоянная повторяемость опытного явления еще не закономерна; закономерность достигается только в меру соответствия опыта понятию. Все закономерное — понятиемерно. По-

нятие есть единственный закон и мерило всего сущего.

Но Гегель был одновременно диалектиком. Все, что совершается «на небе и на земле», совершается в результате движения противоположностей. Тут опять-таки реальные противоположности и противоречия принимаются не в своей объективной действительности, а единственно в своем отражении в голове, в сфере мышления. Действительно наблюдаемое в мире противоречие, как и все опытное, низводится до одной лишь возможности, а момент необходимости приписывается идее. Реальные противоположности сперва подменяются абстрактными противоположностями. Затем противоположности в пределах одного плана смешиваются с взаимоисключающими моментами в совершенно чуждых друг другу планах. Раз отброшен критерий практики, и каждая область не изучена во всей совокупности присущих ей действительных связей, то такое смешение даже неизбежно. Когда не знаешь толком партитуры данной оперы, то невольно везаешься с напевами «не из той оперы». А когда сюда приходит классовый интерес, пусть и неосознанный, то эта «невольность» становится сугубой. И стоит только идеологу, движимому осознанным или неосознанным классовым интересом, примирить, согласовать или смягчить противоречия в голове, — как они почитаются «снятыми» и в действительности.

Если законы природы и общества интерпретировать в духе законов отвлеченной сферы философского мышления, если природу и общество рассматривать, как одно лишь отображенное инобытие идеи, то вовсе не представляет особенного труда «гармонизировать» и «улаживать» действительные противоречия путем сведения их к головным противоположностям. А в отношении этих последних противоположностей (всего навсего только умственных) можно при некоторой гибкости мысли повернуть дело как угодно. Какой богатый арсенал средств: аналогия, аллегория, подстановка, передержка, нагнетание густого тумана и подсовывание в полумгле.

Так Гегель с высот диалектики скатывается в болото софистики. Так на смену принципиальности приходят приспособленчество и извилистый оппортунизм.

\*\*\*

Было бы ошибочно думать, будто Гегель в этом отношении представляет собой исключение в лагере идеалистической философии, а не общее правило, будто оппортунизм Гегеля обусловлен одним только возвеличением абстрактной логики, а не имеет под собой более глубоких корней, общих для всех ответвлений идеализма и для всякого буржуазно-интеллигентского мышления.

Вещи познаются в движении и в сравнении. Попробуйте сравнить гегелевский логизм с противоположным ему (во многом) психологизмом, охватившим наподобие поветрия современную буржуазную философию, и вы убедитесь, что под разными личинами тут спрятано одно и то же классовое лицо. Не надо только личин смешивать с лицом, многообразную пестроту явлений — с действительной сущностью, вторичные и производные признаки — с признаками первичными и конститутивными.

Недавно еще модный эмпириокритицизм, столь сильно пленивший воображение Богданова, Луначарского и многих других партийных интеллигентов, исходил, как известно, не из логических категорий, а из психических состояний. Некоторое размышление однако покажет каждому внимательному читателю Маха, Авенариуса и наших отечественных эмпириокритиков (см., например, «Эстетику» Луначарского в «Очерках реалистического мировоззрения»), что логическую раздвоенность и внутреннюю противоположность понятия (по Гегелю) здесь заменяет психическая «жизнеразность». Имеется некое зеркально-спокойное равновесие душевного состояния человека, из которого его выводят психические раздражения. Так возникает жизнеразность с преобладанием то одной, то другой эмоциональной окраски. И все дело только в пере-

ходе из одного состояния равновесия в другое, в «снятии» коллизий — во славу душевной гармонии. Вы имеете перед собой находящуюся в равновесии, как бы натянутую между жизнью и смертью струну и небольшую бахромку волнообразных отклонений от нее, вибраций души. Но существенны не отклонения, а сама струна, не изменчивое движение, а пребывающее равновесие.

Мы видим: действительных противоречий в мире как будто и нету вовсе; представление о них только привносится, «интроецируется» человеком в соответствии с игрой психических отклонений «центральной системы». Но мы очень хорошо знаем эту идеалистическую манеру переносить человеческие состояния (мысли, ощущения, чувства — безразлично) на внешний мир, между тем как в действительности тут внешний мир втягивается в комнатную уютность мелкобуржуазного человека.

И стоит только окопнать улицу, стоит только свой внутренний покой вообразить мировой стихией, как все острые углы начинают сами собой отпилироваться, клыки борьбы подпиливаются, противоречия сглаживаются, и в обуютенном таким образом мире водворяется тишь да гладь да божья благодать.

\*\*\*

Что же является общим для Гегеля и Маха, для Фихте и Макса Адлера, для Канта и теоретиков «организованного капитализма», для Джемса и Устрялова, Струве и Уайльда, Бергсона и Гершензона и т. д. без конца? Им всем обще присущее классу буржуазии одно и то же «взятие жизни». Исходным пунктом, началом начал и вместе с тем «пупом земли» является индивид со своей пресловутой «самостью» (на деле — частнособственнической). В таком виде современный цивилизованный человек оказывается вырванным из истории, из общества, из класса и представляет собой совершенно выхолощенную абстракцию человека. Это вымышленное подобие человека продолжают кастрировать дальше. В строгом

соответствии со своей собственной профессиональной ограниченностью даже абстрактному человеку закрывают все ходы и выходы, его гонят в одну щель, в нем уродливо выпячивают какую-нибудь одну сторону центрального «я». Вот эта-то всесторонне обособленная сфера напоявал «нейтрализованного» человека изучается со всяческой изощренностью, но только вне живой связи с историей, обществом и классом, вне многообразных переплетений действительной материальной и производственной практики. Законы этой облюбленной и по-своему изученной сферы выдаются затем за законы мироздания. Свойственное душевному самочувствию буржуа равновесие рассматривается как равновесие самого мира, а привычный для буржуа в его торговом, житейском и политическом обиходе компромисс рассматривается как господствующая в мире стихия.

Только один пример:

Проф. Н. А. Гредескул, когда он еще был кадетом, усердно работал над одним научным трудом и делился тогда со мной своими мыслями. Замысел труда сводился к тому, чтобы соответственным подбором фактов показать и доказать, что в органическом мире наряду с борьбой за существование господствует взаимопомощь, гармоническое примирение и согласование. Притом компромисс в мире так силен, что сама борьба за существование является только «частным случаем» того же компромисса. Какая забавная попытка «окадетить» мир! Судьба этой книги мне неизвестна — так же, как и судьба ее автора. Помню только одну встречу в годы революции. Н. А., размахивая своими короткими ручками, говорил мне увлеченно, что читает «Капитал» и: «какой там ворочается огромный ум». К чести Н. А. надо сказать, что он — один из крайне немногих старых интеллигентов, которые, невзирая на седины, занялся изучением Маркса в стране, где, по словам Реннера, «управляют от имени К. Маркса, и поэтому все знают, что Карл Маркс жив».

Описанная выше идеалистическая манера интерпретировать мир в соответ-

ствии со своей буржуазной «самостью», настаивая при этом однако на своей «внеклассовости», и есть самая общая для буржуазных идеологов всех наций и времен черта. Общими им всем являются характерные для частной собственности эгоцентризм мышления, игнорирование действительных связей и в частности непонимание и недооценка общественных связей, отрыв от практики, профессиональная замкнутость и ограниченность, распространительное понимание законов обособленной сферы хозяйства, науки, мышления и, как результат всего этого, — слепота к действительной сущности, скрытой за явлениями, и склонность, «род недуга», к оппортунизму.



Исходя из таких куцых предпосылок, трижды ограниченная («самостью», узостью опыта и профессиональным уродством), без исторических перспектив, без осознания общественных связей, с шорами на глазах, с самодовольным оппортунистическим уютцем в «душе», буржуазная идеология осмеливается еще говорить об «узости» марксизма, об его «ограниченности», «догматизме» и проч.! Вот уж подлинно — с больной головы на здоровую.

Маркс знал настоящую цену жрецам буржуазной идеологии и самой этой идеологии. Решающее значение имело то, что в лице Гегеля идеалистическая философия достигла своей высшей вершины, — той предельной крайности, которая диалектически влечет за собой переход в иное, — в свою противоположность. Этой противоположностью и явилось учение Маркса, диалектический и исторический материализм.

Со страстью молодости, помноженной на страсть революционного борца, с теоретической глубиной великого ученого Маркс сперва сам, а затем совместно со своим другом Энгельсом, подверг уничтожающей критике идеалистическую философию своего времени и самые ее основы. Но именно потому, что в гегелевской философии был под-

веден итог всему прошлому развитию идеализма и именно потому, что Маркс вскрыл истинную сущность идеализма, а не одни только его случайные, временные и местные проявления, он тем самым нанес смертельный удар всякой буржуазной идеологии, в всяком оппортунизму.

Если учесть необозримое множество предрассудков, которыми оплетено обыденное буржуазное сознание, неотвратимую и поистине обреченную плененность буржуазной мысли формами товарного хозяйства и механизмом капитала, то надо будет признать, что борьба со всем этим «наследием» требовала великого мужества, а разоблачение всех сетей и их разрыв — гениальной зоркости и гигантской силы.

Путь молодого Маркса, как передового интеллигента, от демократической беспартийности к революционной пролетарской коммунистической партийности был и остается непревзойденным образцом для интеллигентов всех времен. Надо проследить этот путь, продумать его до конца, понять его применение в новой обстановке и идти им. Да, и идти, — потому что это единственно верный, единственно достойный путь.



Книга «Молодой Маркс о Гегеле» есть, таким образом, целиком основанная на марксовской критике Гегеля книга об интеллигенции и оппортунизме. Она имеет своей задачей проследить марксову критику самих предпосылок буржуазной идеологии, выявить ограниченность буржуазно-интеллигентского мировоззрения, обусловленную классовую сущность буржуазных производителей идей, спецификой умственного труда в условиях капитализма, всем механизмом капитала; показать, в частности, что оппортунизм является неотъемлемым пороком буржуазной интеллигенции, а просачивание оппортунизма в ряды компартии — результатом чуждых пролетариату классовых влияний.

# Люди и факты

1. МАКС ЗИНГЕР — Герои Советского Союза. 2. МИХ. РОССОВСКИЙ — Уборочная.  
3. И. СКЛЯРОВ — Жемчужина

## 1. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

### Макс Зингер

I

**К**арское море было завалено льдами. Полярное небо голубело, яркое солнце сверкало, отражаясь в ледяном панцире моря миллионами золотых брызг. Ледокол «Ленин» торил ледяную тропу колонне судов, продвигавшихся вслед за ним к устьям великих сибирских рек — Оби и Енисея. Ледокол «Красин» прокладывал дорогу во льдах колонне судов, шедших из Архангельска Северным морским путем к берегам Якутии, к устью Лены. Транспортное судно «Челюскин» искало в Карском море пути на восток.

Легендарный рейс ледокола «Сибиряков» повторялся «Челюскиным» для проверки проходимости Северного морского пути в одну навигацию. В случае ледяной тревоги «Красин» должен был оказать помощь «Челюскину», довести его до острова Врангеля и оттуда — к Берингову проливу.

Во льдах близ архипелага Норденшельда, в преддверии пролива Вилькицкого, «Красин», борясь за новый путь грузовым судам к устью Лены, потерял винт и часть гребного вала левой бортовой машины. Самолет «СССР Н-2», имея на борту летчиков Алексева и Молокова, разыскал свободный во льдах путь архангельским судам к проливу Вилькицкого, к мысу Челюскин. Но «Красин», потеряв свою былую силу, не по-

шел с кораблями к устью Лены, в море Лаптевых, не сопровождал героического «Челюскина» к Берингову морю.

«Челюскин» вступал в единоборство с грозными чукотскими льдами. На борту корабля был начальник экспедиции, энгузиаст Севера и его освоитель, профессор Шмидт, помор-зверобой капитан Воронин, старый полярный зимовщик, радист Кренкель, летчик далекого Севера — Бабушкин. На борту «Челюскина» шли сибиряковцы — участники первого сквозного похода из Архангельска в Берингов пролив в одну навигацию. «Челюскин» вез смену зимовщикам острова Врангеля.

Девятнадцатого сентября 1933 года «Челюскин» пробился в героическом одиночестве, без проводки ледокола, к Колючинской губе. Весь огромный путь из Баренцова моря, от Мурманска к подступам в Тихий океан «Челюскин» совершил в сорок дней. Это было первой победой челюскинцев.

Колючинская ледовая застава остановила продвижение на восток парохода «Челюскин». Но челюскинцы не сдавались Полярному морю без боя, они не тушили котлов, не зажигали камельков, не становились на зимовку. Их настойчивости и организованности не смогла противостоять даже Колючинская губа: она выпустила челюскинцев из своих владений, огражденных высокими ледяными стенами. Пятого октября зашеве-

лились льды вокруг «Челюскина», — корабль продолжал путь. Каждую милю приходилось брать с боя.

В то время как на Магнитке взрывали горы для добычи руды, а в Хибиногорск сотрясались от взрывов скалы, отдающие стране плодородный камень апатит, — пароход «Челюскин» взрывал мощные арктические льды.

Норвежец-зверобой Волл тридцать один год прожил на мысе Сердце-Камень. Он ежедневно наблюдал Чукотское море, следил за движением его льдов, его ветров и течений. Он записывал в дневник свои наблюдения — и ни разу, ни один год не походил на другой в дневнике норвежца Волла. Чукотское море было непостоянно, оно не имело законов или, быть может, имело закон, который еще не известен человеку.

В ледовом дрейфе, окованный снова льдами, пароход «Челюскин» петлил в Полярном море, словно песец по тундре, скрываясь от своего смертельного врага.

Ветры и течения вынесли льды вместе с закованным в них «Челюскиным» к Берингову проливу. Третьего ноября «Челюскин» видел уже мыс Дежнев — крайнюю северо-восточную оконечность Евразийского материка. Путь из моря Баренца до моря Беринга был пройден в одну навигацию. До чистой воды оставалось всего лишь несколько миль. Если бы северные ветры продолжили свою работу еще лишь на один день, то вынесенные на простор Берингова моря чукотские льды разломались бы на волнах и зыби, и «Челюскин», разбив оковы, вырвался бы на свободу в Великий океан.

Но этого не случилось. Штормы и быстрые течения, вместе с ветрами, понесли и лед, и «Челюскина» снова на север.

У выхода в Берингово море выручал подзащитные ему суда ледорез «Литке». Этот флагманский корабль был изранен двухлетней работой во льдах, его команда была истомлена истекшей полярной зимовкой в Чаунокой губе. «Литке» имел сильную течь. Были моменты, когда командование корабля уже

решало выбрасываться на берег, чтобы не загубить тонувший корабль и спасти его героический экипаж.

И все же «Литке», руководимый капитанами Бочekom и Николаевым, вышел на помощь своему ледовому соратнику — «Челюскину», но не пробился к нему через толщу льдов. «Челюскин» был оставлен один в ледовом дрейфе. Теперь уже никто не мог оказать ему помощи — «Красин» был далек и изранен, обессилел и тихоокеанский ледорез «Литке».

Совершая петли, кружась на одном месте, «Челюскин» медленно продвигался на север, потом, изменив направление, повернул на северо-запад, вошел в пролив между материком и островом Врангеля. Пароход то спускался на юг, то снова поднимался на север, куда влекло его ледяное поле. В этом ледяном поле он стоял, как монумент отважным советским морякам, котские не сдавались перед трудностями в Арктике. Еще работали машины корабля, еще дымила широкая труба, и каждые четыре часа грустно вызванивали склянки. Раз в неделю выходила стенгазета, и художник Решетников, весельчак и балагур, тешил экипаж меткими карикатурами.

Полярный океан бушевал. Ветры гнали льды вперед, друг на друга, и в тесноте сурового моря они торопились, давили тонкие борты корабля. На случай опасности ледового сжатия на палубе «Челюскина» были сложены палатки, продовольствие и горючее.

Дни проходили в непрестанной работе, и досуг моряков был отдан учебе. На «Челюскине» открылся пловучий полярный университет. Иностранные языки, высшая математика, политэкономия, семинары, лекции, доклады, подготовка в полярном вузе к новым боям с Арктикой, — так отвечал экипаж корабля полярной стихии. Челюскинцы, будучи в плену, оттачивали свои знания, чтобы лучше побеждать. Войну с Арктикой решено было продолжать до полной победы, до освоения великого Северного морского пути.

Много раз льды наступали на корабль, гонимые штормами. «Челюскин» не сдавался, он продолжал величествен-



но стоять среди льдов Чукотского моря. Когда льды шли в атаку на пароход, пытаюсь сломать ему ребра, люди выносили на лед палатки. По утрам моряки вели заготовку пресного льда для питьевой воды. Чтобы сэкономить топливо, весь состав экспедиции перевели в нижнее помещение корабля. Это сохранило «Челюскину» двести пятьдесят тонн угля, это сберегало кровь и силу корабля, которая должна была двинуть его весной в новый бой со льдами.

Ученые, сотрудники экспедиции, изучали зимнее море, его соленые воды, его животный мир, дрейф льдов, скорость намерзания льда. Плотники, шедшие на «Челюскине» к острову Врангеля, чтобы выстроить там новые дома для зимовщиков, также не теряли даром времени. Они ликвидировали свою неграмотность на зимующем пароходе.

Тринадцатого февраля в пятнадцать часов тридцать минут «Челюскин», сжатый льдом, затонул в 144 милях на северо-запад от Уэллена.

Накануне ночью началась сильная подвижка льдов. Они лезли приступом на корабль, они стягивали к нему свои силы издалека, от самых чукотских берегов. Оттуда ветер их гнал на «Челюскин». Сильным напором вдруг разорвало левый борт «Челюскина» — от носового трюма до машинного отделения, — и лопнули охлажденные ворвавшаяся студеной водой моря трубы паропровода.

«Через два часа все было кончено» — так радировал Шмидт с аварийной станции из городка на льдине, названного лагерем Шмидта.

Последними с корабля уходили Шмидт, Воронин и завхоз-комсомолец Могилевич. Покатившимися, смытыми валом, бочками било с ног Могилевича. Его придавило бревном и увлекло в воду вместе с кораблем. Все остальные сошли на лед невредимыми.

«Челюскин» два часа жил с разорванным льдами бортом. Студеная вода скакала, прорвавшись в недра корабля, затопливая его помещения, наполняя их своим тяжелым грузом.

Перед самым погружением корабля был отдан приказ рубить канаты, кре-

пящие верхний палубный груз. И когда скрылся под водой «Челюскин», стали всплывать бочки с горючим и маслом, бревна, которые направлялись на остров Врангеля. И плотники, которым предстояло строить, собирать эти разборные дома на острове Врангеля, застучали топорами здесь, на многолетнем льду, в лагере Шмидта.

Люди спали в палатках, залезши в спальные мешки-жукули из оленьих шкур. Рядом с палатками стояли спасательные шлюпки, которые были сняты с корабля, и неподалеку на льду распластался маленький самолет Бабушкина «Ш-2». Его успели столкнуть сюда с палубы погружающегося корабля.

Вскоре над льдами взвилась сигнальная вышка. Она должна была служить опознавательным знаком для самолетов, которые рискнули бы пробиваться сквозь пургу, в штормовые зимние погоды к лагерю Шмидта. Вырос, как в сказке, дом на пятьдесят человек. В него поместили женщин и детей. Это были дети врангелевских зимовщиков. Младшая родилась в Карском море. Ей дали имя Карина — в честь моря.

И когда в лагере Шмидта стояла лютая зима, московская весна уже растопила снега. Я видел мальчиков, игравших в «Челюскина» недалеко от памятника Тимирязева. «Челюскиным» они называли сделанную из листка школьной тетрадки лодочку, которая дольше всех сопротивлялась водяному потоку ручья, ту лодочку, которая не погибала, а гордо продвигалась вперед. «Челюскин» становился символом непобедимости. Дети верно почувствовали смысл похода «Челюскина», они разгадали его задачу. Они поняли, что «Челюскин» — это посланец Советской страны к ледяной границе мира. Они уяснили, что, даже погрузившись на морское дно, пароход навсегда оставял в памяти человечества восторг и изумление перед отрядом рабочей страны, сражавшимся, как один человек, с полярной стихией.

Лагерь Шмидта представлял собой гранитную глыбу, которую не могло разбить Полярное море, как оно ни стучало в нее многометровыми льдами.

В советском лагере была та трудовая дисциплина, то сознание величия и важности совершаемого экипажем дела, которое заставляло говорить о себе с уважением даже наших врагов.

Замечательный начальник руководил замечательным коллективом.

Аккумуляторы аварийной радиостанции разряжались с каждым днем. Сберегая последние силы радиостанции, Кренкель не передавал на материк частных радиogramм пленников льдины. Если бы потухла последняя искра мутно-свинцовых аккумуляторов, связь лагеря Шмидта с внешним миром была бы прекращена.

Ночью люди залезали поглубже в меховые спальные мешки. Просыпались по утрам оттого, что коченело тело, ломило от холода спины и от дыхания внутри мешка нарастали на ворсинках меха сосульки. Каждое утро приходилось выворачивать мешки наизнанку и выбивать намерзший лед. Сильными шквалами часто срывало палатки с места, и люди крепили их надежной ко льду. Бензиновые горелки, сделанные механиками «Челюскина», давали скудный свет и тепло. По ночам горелки гасились, и в палатках становилось темно и холодно. Даже в мешке, укрывшись с головой, было слышно, как ночью шумно торосились льды в Полярном море, лопались и скрежетали, давя друг друга, идя приступом на лагерь Шмидта. К этим шумам тревожно прислушивались челюскинцы. Усталость от непосильной работы по подготовке ледяных аэродромов одолевала людей и смыкала их веки.

Челюскинцы ходили в свободные часы по вечерам друг к другу в гости. Днем палатки были пусты. Все люди были заняты работой. Скалывали пешнями лед, ровняли площадки для приема самолетов. Но первой подвижкой льдов снова разрушало героическую работу людей, и они снова принимались ровнять новообразовавшиеся торосы.

Ежедневная борьба с природой Арктики, с торосами ледяных полей показывала непреклонную волю к победе старых, испытанных моряков и закаля-

ла характер молодых полярников, впервые пошедших в бой со стихией.

Исследователь Памира, первооткрыватель западных берегов Северной Земли, главный редактор Большой советской энциклопедии, профессор-математик, коммунист Отто Юльевич Шмидт сам работал на всех авралах, подавая личный пример мужества и революционной настойчивости челюскинцам.

История Арктики знает много случаев гибели пароходов в ледяных тисках океана. Предоставленные самим себе, люди разбредались в разные стороны по льдам, разбивались на группы и часто погибали поодиночке. Ночью, когда никто не видел, они, голодные, крали у товарищей их скудные запасы продовольствия. Животный страх смерти толкал их к воровству. Были случаи, когда за воровство начальник экспедиции расстреливал своего экспедиционера. История знает случаи полярного людоедства.

Здесь, в Советской Арктике, побеждал не одиночка, не жалкая группа, но мощный коллектив. Только хорошо организованным коллективом можно было так быстро и надежно расчищать торосы, готовить посадочные площадки для самолетов.

Запах дыма и человеческого жилья привлек к лагерю внимание хозяина льдов — белого медведя. Медведица с медвежонком подошли близко к лагерю Шмидта. Звери были голодны. Море было закрыто сплошным льдом, нигде не чернелись разводья, нигде не показывала нерпа своей круглой, бархатно-черной головы. Обложенное льдами море заставляло зверей голодать. Звери сорвали и съели несколько флажков, которыми была отмечена посадочная площадка для самолетов. Борт-механик самолета Бабушкина, несший дежурство на аэродроме, первым заметил зверей. Меткими выстрелами он уложил их на месте. Это было радостным событием на льдине, где люди вот уже второй месяц не видели свежей пищи. Звериная кровь и мясо давали зарядку челюскинцам против жестокой болезни Севера — цыганги.

«Лагерь челюскинцев, Полярное море, начальнику экспедиции Шмидту.

Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к оказанию вам помощи. Уверены в благополучном исходе вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы.

СТАЛИН                    КУЙБЫШЕВ  
МОЛОТОВ                ОРДЖОНИКИДЗЕ  
ВОРОШИЛОВ            КАГАНОВИЧ».

«Никакие трудности нас не сломят и не остановят нашей работы по окончательному освоению Северного морского пути, начатой по инициативе т. Сталина и поставленной как большая срочная задача. В лагере челюскинцев не ослабла энергия. Мы знаем, что наше спасение организовано с истинно большевистской энергией и размахом, мы спокойны за свою судьбу».

Так отвечали челюскинцы Сталину, правительству, красной Москве, всему Советскому Союзу. Они говорили о непреклонной воле к победе, они были спокойны за свою судьбу.

День Красной армии лагерь Шмидта праздновал вместе со всей страной. Радист Кренкель передавал по радио в Москву Сталину и Ворошилову боевой челюскинский привет. На большой сигнальной вышке развевалось огромное полотнище красного флага Советов. Его было видно далеко, за много километров.

Когда, отяжеленный обледенением, воздушный корабль «Италия» разбился и на льдине в море осталось несколько человек во главе с командором Нобиле, советское правительство, отдавая дань героизму пионеров, выслало на помощь им свои ледоколы «Красин» и «Мальгин» и лучших летчиков Союза — Чухновского и Бабушкина. Теперь в Полярном море на льду был сто один человек. Сотня бойцов социалистического государства, перedelывающего лицо планеты. Спасти челюскинцев было делом чести, делом славы, делом добле-

сти и героизма всей Советской страны. Рабочее правительство образовало комиссию для организации помощи челюскинцам.

Во главе комиссии стал заместитель председателя СНК СССР товарищ Куйбышев; в комиссию входили наркомвод Янсон, заместитель наркомвоенмора Каменев, начальник Главвоздухфлота Уншлихт и заместитель начальника Главного управления Северного морского пути Иоффе.

Ни одна страна не выставляла никогда на помощь своим ученым, своим исследователям такую мощную силу, которую двинула в Арктику зимой Республика Советов. Ледокол «Красин», пароходы-северники, самолеты, собачьи упряжки и даже дирижабли пошли на север, к лагерю Шмидта.

## II

Ляпидевский, зимовавший с самолетом на Уэллене, готовил машину к вылету на помощь челюскинцам. Ляпидевский унаследовал от своего учителя Леваневского выдержку и смелость.

Молодой летчик несколько раз пытался пробиться к лагерю Шмидта. Самолет Ляпидевского поднимался в воздух. Но снежная стена пурги не пропускала летчиков к льдине, о которой думал весь мир. По утрам, раскрывая газеты, весь мир разыскивал столбцы о челюскинцах и читал о том, как живет лагерь на льдине, как готовится ему помощь с материка.

Но вот Ляпидевский прорвался к лагерю Шмидта. На самолете «АНТ-4» он поднялся с площадки авиобазы в Уэллене, имея на борту летчика-наблюдателя Петрова и борт-механика Рутковского. Достигнув мыса Сердце-Камень, Ляпидевский взял курс прямо на лагерь Шмидта.

Мороз жег лицо. В очках нельзя было лететь, — они запотевали. Ляпидевский натянул на лицо меховую маску из пыжика — шкуры молодого оленя. Эту маску ему сшили женщины в Уэллене.

Летчик Петров первым увидел лагерь Шмидта и стал махать рукой, показы-

вая требуемое для самолета направление. Там, вдали, все летчики вскоре различили дым. Это был дым очага первого барака в лагере Шмидта. Вон показались движущиеся черные точки людей. Они бежали к аэродрому.

Ляпидевский дал над лагерем согласно воздушному этикету несколько приветственных кругов. Посадочная площадка оказалась слишком мала для самолета. Летчик-наблюдатель Петров показывал знаками об опасности посадки. Но других самолетов на берегу не было. Отлет Ляпидевского убил бы бодрость зимовщиков лагеря Шмидта. Так рассуждал Ляпидевский. И вот он разворачивает машину против ветра, сбавляет газ, вытирает ручку глубины. Снежное поле мчится навстречу снижающемуся самолету. Толчок. Машина приземлилась и скачет по неровному ледяному аэродрому прямо на торосы. Остановится ли машина или беспомощно ляжет на изуродованный фюзеляж, похоронив героических летчиков? Машина вздрагивает и останавливается. К летчикам бегут челюскинцы, оглашая криками море. По торосистым льдам, переплывая на шлюпках через полынью, к ледяному аэродрому добралась первая группа челюскинцев: женщины и дети. Их тепло укутывают и усаживают в самолет. Двенадцать челюскинцев поднимаются в воздух.

Ляпидевский торопился с вылетом обратно в Уэллен, чтобы успеть засветло сесть на уэлленском аэродроме с живым грузом.

Пятого марта челюскинцев стало меньше на льдине. Восемьдесят девять человек составляли теперь население городка на пловучей льдине Полуночно-го океана.

Женщины и дети во время улетели со льдины. Ночью, после отлета Ляпидевского, в лагере вновь появились широкие трещины, лед словно ожил, стал двигаться, тороситься, разломал надвое деревянный барак, в котором жила половина челюскинцев и до отлета — женщины и дети. Льдом сломало кухню. Бревна растаскало на большое состояние. И снова, как муравьи у разрушенного муравейника, закопошились че-

люскинцы, собирая бревна, украденные морем, и снова начиналась стройка. Мороз доходил до сорока градусов.

### III

Пилот Леваневский пробился сквозь пургу Полярного моря. Под самолетом лежала многорукавная дельта Лены. Целый час воздушный корабль «СССР Н-8» шел в снежном потоке. Бухта Тикси была уже позади. Леваневский заканчивал величайший транссибирский перелет. Оставалось пролететь последние пять тысяч километров над всей Леной к истокам Ангары. Оказав помощь американскому летчику Маттерну, Леваневский пролетел на «СССР Н-8» уже тридцать тысяч километров.

Берега Лены становились возвышенней с каждым часом полета на юг. Самолет шел вблизи отвесной каменной стены ленского высокого берега. Вдруг перед безымянным мысом машина перестала слушаться своего командира. Самолет задрожал, казалось, что машину тянут сразу две силы в разные стороны, что вот-вот разорвется и рухнет камнем в Лену самолет.

Леваневский шел на полном газу. Ни вата в ушах, ни шлем не могли защитить людей в самолете от адского шума двух мощных моторов, работавших с полной силой. Неведомое воздушное течение прижимало самолет к каменной стене ленского утлого берега, а Леваневский отжимал машину от берега, в сторону реки. Такой же самолет шлепнуло воздушным потоком о воду пролива Маточкин Шар у Новой Земли и вычеркнуло из жизни трех летчиков — Порцеля, Дальфонса и Ручьева.

Леваневский вырвал машину из вихревого потока, и она снова спокойно поплыла над пенившейся внизу Леной.

Я увидел Леваневского впервые в бухте Тикси, в избе зимовщиков усть-ленской полярной радиостанции. Мне бросились в глаза широкие плечи летчика. Выйдя навстречу ко мне, он будто поднял их. Глаза его смотрели как-то пронизывающе. Эту пронзительность глаз воспитали туманы и снегопады, в которых приходилось водить машины по

воздушным дорогам над льдами, морями и сибирской тайгой. Он заговорил, будто мы были с ним знакомы много лет. Мне показалось, что в разговоре он допускает нарочитую грубоватость, и только позднее я понял, что это происходит у него от излишней застенчивости. Этот летчик, покоритель воздушной стихии, как-то стеснялся на земле.

Якутская общественность торжественно отметила прилёт Леваневского в Якутск. Председатель ЯЦИК т. Емельянов долго упрасивал Леваневского рассказать якутским рабочим о своем замечательном перелете из Севастополя к Аляске и оттуда в Якутск.

Леваневский тихо сказал мне:

— Ты про нас пишешь, ты и выступи! Я не умею говорить да еще при таком большом народе.

— Ты обидишь якутов, если не выступишь, — сказал я Леваневскому.

И это решило в пользу его выступления. Он встал. Это был другой Леваневский. Без всякого волнения, он спокойно переждал, когда стихнет гром овации, катившийся по широкому залу. Он оказался замечательным рассказчиком. Его увлекательную речь часто прерывали аплодисментами, смехом, возгласами одобрения. Зал слушал своего героя с каким-то священным напряжением.

Леваневский не поехал отдыхать на юг после длительной работы в Арктике. Он едва свиделся с семьей, — и улетел в Донбасс. Леваневский принял предложение ЦС Осоавиахима УССР сделать агитоблет Донбасса и рассказать донецким ударникам об ударниках Арктики и проделанной ими работе на далеком Севере.

Леваневский воспитал на Украине не один десяток отличных воздушников. Ляпидевский — первый вестник с материка в лагере Шмидта — это один из многочисленных и мужественных учеников Леваневского с начала и до конца лётного обучения.

Радио сообщает жестокую новость о гибели «Челюскина». И это — сигнал для Леваневского. Он дает молнию в Москву. Он заявляет о невременном же-

лании лететь на помощь челюскинцам. Семья не видала Леваневского полгода во время транссибирского перелета. Около месяца после этого летчик бродил в дымном поднебесьи Донбасса и теперь снова улетал на Север. Семья расставалась с отцом на неопределенное время. Сынишка и дочь пилота долго упрасивали отца не лететь. В углу, утирая слезы, укладывала в чемодан шерстяное белье жена Леваневского.

Коварная погода Севера задерживала продвижение самолетов на помощь челюскинцам. Летчики, рвавшиеся со всех концов Советского Союза в лагерь Шмидта, были вынуждены сидеть по селениям Камчатки и Анадырского округа, пережидая погоду. Некоторые машины пропадали без вести, и читатель с волнением разыскивал в газетах сведения о пропавших самолетах.

Чтобы обеспечить спасение челюскинцев, Правительственная комиссия направила через Америку Ушакова с летчиками Леваневским и Слепневым в лагерь Шмидта. Советский ас — Слепнев — разыскал в 1930 году американских летчиков Эйельсона, погибших на Чукотской земле. Леваневский оказал помощь разбившемуся под Анадырем американскому летчику Маттерну.

Звено Ушакова на двух машинах — Леваневского и Слепнева — достигло крайнего северного городка Аляски — Нома. И вот Ванкарем дает вдруг летнюю погоду. Леваневский с Ушаковым летят в Ванкарем. У Колючинской губы стеной встает туман, он к самой земле прижимает самолет. Но в Ванкареме ясная погода. «Надо пробиться сквозь стену тумана» — решает Леваневский. Но слепящей поволоке тумана нет предела. Под машиной стоят настороже высокие скалы — кекуры. Леваневский забирает высоту. Альтиметр показывает уже две с половиной тысячи метров. И нет конца сплошной пелене тумана. Машина перестает вдруг слушаться своего командира. Леваневский с трудом заставлял ее повиноваться. Леваневский не дает машине перейти в штопор, ввинтиться в землю со страшной силой. Он крепко держит машину в руках, выбирая оконца в пурге и тумане.

не. Плоскости самолета обледенели, приняли на себя смертельный ледяной груз, который тянет машину к земле, к чукотским скалам, к гибели. В машине, кроме Леваневского, — Ушаков и американский борт-механик. В окнах тумана уже виднеется закрытая снегом земля.

Машина выведена из строя. Она беспомощно лежит на своем фюзеляже. Недалеко от нее валяется согнутое шасси и раскиданы по снегу поломанные лыжи. Погнут пропеллер. Лицо Леваневского в крови. Ушаков и американец выбегают из машины к пилоту. Все живы. Но вышла из строя машина, воздушный конь сломал свои быстрые ноги. Крылья самолета обросли бородой сосулек, оперились льдом, отяжелели и не вынесли людей к лагерю Шмидта.

Одиноко на снегу Восточно-Сибирской тундры лежит самолет Леваневского. Здесь, на Чукотке, совсем неподалеку, разбились самолеты Ляпидевского и Красинского. Красинский шел на своей машине в пионерский рейс по всей северной воздушной границе Советов, прокладывая новый путь. Жестоким штормом в проклятом Колючине разбило его самолет. Ляпидевскому здесь же, под Колючиным, изменила предательская видимость. И вот лежат на тундре героические машины, которые смело шли в единоборство с полярной стихией.

Мужественный пилот с исключительным самообладанием посадил машину, он подломал шасси, но сохранил жизни доверившихся ему людей. Он доставил к полярному берегу невредимым Ушакова — опытного полярника, освоителя острова Врангеля и Земли Северной.

«Побежденным себя не считаю» — писал друзьям в Москву пилот Леваневский.

И верно, нет той силы, которая бы смогла победить крылатых людей Советской земли.

#### IV

От Уэллена до Ванкарема сорок пять ездовых часов на собаках по берегу Восточно-Сибирского моря. Тринадцать

чукотских яранг раскинулись по берегу Ванкарема с южной стороны мыса. Ванкарем происходит от слова «ванкат», что по-чукотски значит клык.

И отсюда в Полярное море вонзали свои клыки советские летчики. Сюда стягивалась летная сила из Хабаровска, с Олюторского мыса, с Уэллена, с Анадыря.

Звено Каманина летело в пурге к Ванкарему, звено Гальшева стремилось сюда из Хабаровска, сюда направлялся Ляпидевский и пытался пробиться в спящей пурге Леваневский.

В звене Гальшева летели Доронин и Водопьянов. Доронин и Гальшев летали по Якутской линии. Они оттуда пришли на помощь челяскинцам до Анадыря. И здесь пурга приостановила их замечательный полет. Машины стояли близ северного городка, занесенные глубокими снегами. Перед каждой попыткой вылететь летчики откапывали свои самолеты из-под снега. И каждый раз, когда самолеты были очищены от снега и разогреты их моторы, снова над Анадырем повисал туман, и ветер, срывая снежную осыпь с тундры, застилал пургой горизонт.

Водопьянов возил матрицы газеты «Правда» в Харьков и Ленинград. Летчика не останавливали непогоды, он летал и днем, и ночью, он стремился к тому, чтобы выполнить задание во что бы то ни стало. Газета «Правда» — орган партии — должна была издаваться одновременно в нескольких крупных городах Союза. И он блестяще делал свое дело, бесстрашный летчик Водопьянов. Он летал над сибирской тайгой, он опустился на острове Сахалине.

Не в первый раз шел Гальшев на Чукотку. В 1929 году он летал сюда вместе со Слепневым на розыски пропавшего без вести американского летчика Эйельсона.

Гальшева и Доронина я встретил зимою в Якутске. Город был весь в тумане. Не видно было домов. На улицах люди сталкивались друг с другом. По уграм мороз доходил до шестидесяти градусов. Из-за нелетной погоды начальник аэропорта не выпускал самолеты в Иркутск.

Доронин вставал с рассветом, заглядывал в окно воздушной станции. Над городом безнадежно повисал туман. Ближайшая станция давала шлетную погоду. Но лишь только выдавалось ясное утро, Доронин не сидел на воздушной станции, он рвался из нее, как застоявшийся конь из своего денника. Он часто подписывал акты начальникам аэродромов в том, что вылетает в шлетную погоду под свою ответственность, несмотря на запрещение полета.

— Здесь другой погоды не бывает, — говорил Доронин. После каждого часа полета замерзало масло в маслопроводе, и каждый час вынужденно садилась машина. Борт-механик разжигал примус и грел на нем застывшее масло. Кипящее масло выливали в масляный бак и так летели дальше, до следующей вынужденной посадки. Летчики Якутской линии не придавали этому значения. Это был обычный зимний полет над Леной и якутской тайгой.

Доронин летал над Колымским хребтом, он садился в верховьях Колымы, в Среднекане, где никогда не опускались самолеты. Это был первый полет с Лены на дикую Колыму. Не прошло и года, как самолет этого смелого воздушника бороздил хмурое небо над Верхоянским хребтом. Доронин садился на высокогорных озерах великого сибирского хребта. Ринувшись на помощь чююскинцам, крылатый коммунист Доронин одолел, вместе с Водопьяновым, и анадырские высоты, неся высоко знамена советской авиации. Мужество советских летчиков превысило Анадырский хребт.

Два самолета из звена Каманина провались к Ванкарему.

Каманин и Молоков опустили близ чукотского селения. Тот самый Молоков, который летал с Алексеевым на «СССР Н-2», указывая ленскому каравану судов свободный во льдах путь к мысу Чююскин. Тот самый Молоков, который кружил над караваном судов, стоявших, словно в раздумьи, возле своего раненого флагмана-ледокола «Красина» в Карском море.

В Ванкареме собиралась летная сила. Летчики выжидали только погоды, что-

бы подняться на воздух, опуститься в лагере Шмидта и вырвать из ледового плена героических чююскинцев.

«Красин» шествовал к лагерю Шмидта по Атлантическому океану. Выходил из Петропавловска-на-Камчатке пароход «Сталинград», имея на борту начальника экспедиции стратонавта Бирнбаума. Под начальством Бирнбаума шли на «Сталинграде» к бухте Провидения дирижабли «СССР В-2» и «СССР В-4». Пробивался на север пароход «Смоленск». На собачьих нартах прибывало из Уэллена в Ванкарем горючее и масло для самолетов.

## V

«Постараться спасти участников экспедиции с помощью аэропланов было бы рискованным экспериментом; посылка крепкого ледокола была надежным решением вопроса. Аэропланы можно было использовать, чтобы доставлять людям провиант, одежду и всякое оборудование. И только при особо благоприятных условиях можно было бы снять людей со льдов, но и это вызвало сомнения».

Так писал известный норвежский полярный летчик и исследователь Хьяльмар-Риссер Ларсен — ближайший сподвижник Роальда Амундсена. Ларсен летал с Амундсеном к Северному полюсу. Ларсен пилотировал самолет «Дорнье-Валь», который сделал вынужденную посадку под 88° северной широты на пловучие льды. Ларсен летел вместе с Нобиле и Амундсеном на дирижабле «Норге» в 1926 году из Кингсбея на Свальбарде в Теллер на Аляске. Ларсен знает Арктику, знает полярные льды. И этот первоклассный европейский летчик не верил в силу самолета.

Ларсен забыл о людях, которые вели эти самолеты. Быть может, он не видал никогда людей Советского Союза, не знал об их выдержке и безумной отваге, не знал о том, что задание партии и правительства в Советской стране выполняются то что бы то ни стало.

Он ошибся, Риссер Ларсен, знаменитый норвежский полярный исследователь. Только советские летчики спасли

челюскинцев, вырвали их из осажденного торосами лагеря.

Аэродром в лагере Шмидта был мал и неровен. Скоростная машина Слепнева, пробежав по аэродрому, выкатилась на торосы, имея большую посадочную скорость. Подломали машины на лагерном аэродроме Молоков и Доронин. Но летчики не оставили ни одной машины во льдах, они отремонтировали их и улетели, унося из лагеря спасенные жизни. Летчик Бабушкин, вместе с бортмехаником Балавиным, поднялся на своей израненной штурманом и посадками маленькой машине, покругил приветственно над лагерем Шмидта и полетел к Ванкарему. Бабушкин доставил к Ванкарему машину, добавив к числу спасенных еще две жизни.

Стая самолетов, слетевшаяся к Ванкарему, совершала полеты на льдину и обратно с утра и до самой темноты, пользуясь хорошей видимостью. Это была полярная воздушная джигитовка. Молоков летал и в плохую погоду к льдине Шмидта. Два с половиной часа пропал самолет Молокова в воздухе. Он пытался в тумане найти ледяной лагерь.

Там, на льдине, больным лежал начальник Шмидт. Он скрывал свою болезнь, он не сообщал о себе на материк, он не хотел как начальник экспедиции покинуть своих соратников. Температура больного доходила до тридцати девяти градусов. Дыхание было затруднено. Но радиogramмы Шмидта говорили всему миру о том, что в лагере все благополучно, настроение бодрое. Да, в лагере было бодрое настроение. Вокруг мужественного начальника крепко держался героический коллектив. В лагере Шмидта, как и на корабле, была железная дисциплина, люди не разбрелись в одиночку по льдам в поисках материка, не погибали на льдинах беспомощные, голодные, от стужи, от истощения.

Аэродромы, на которые садились самолеты, ломались при сжатии льдов. Машинам угрожала гибель. Люди, обесиленные двухмесячным пребыванием на льду, все же находили в себе силы для того, чтобы на километры оттащить

самолеты по льдам на сохранившиеся от сжатия ледяные поля. Люди рубили торосы, они выкорчевали эти пни ледяного моря, которое угрожало им до последнего дня. Машины были маломестны. Молоков ухитрился вывезти двух челюскинцев в грузовых парашютах под крыльями самолета. В течение четырех дней бой за челюскинцев был блестяще разыгран.

## VI

Имена Каманина, Молокова, Слепнева, Ляпидевского, Леваневского, Водопьянова, Доронина знает теперь весь Союз, весь мир. Но это лишь авангард достойных сынов нашей великой родины.

На помощь челюскинцам спешили из Владивостока еще несколько пароходов с самолетами и дирижаблями. Старые полярники — Красинский и доктор Старокадомский, ученый гидрограф, полярный исследователь Евгений, полярный волк, капитан Сиднев, и многие другие — шли на помощь соратникам по ледовому фронту Советской земли.

Доктор Старокадомский двенадцатый раз бороздил воды Тихого океана. Близ Северной Земли лежит небольшой остров, носящий имя его первооткрывателя — доктора Старокадомского. В честь Евгенова исследователь Вилькицкий назвал один из североземельских мысов. Красинский первый совершил облет всей Лены и воздушного северного пути от мыса Дежнева до города Булуна на Лене. Имя Евгенова связано с первой проводкой колонны грузовых судов к устью Кольмы. Кольмская эскадра продвигалась к намеченной цели, беря мыс за мысом, идя сквозь ледяной строй, чтобы не оставить край без грузов, которыми были наполнены трюмы пароходов.

И корабли пришли к Кольме. Евгений привел речные и морские суда без урона к таежной реке, спавшей в веках.

Восклидая свое «каккумэ!», чукчи с удивлением смотрели на советский ледокол, который продвигался с карава-



ном судов во льдах восточно-сибирского моря. Чукчи называли «Литке» шаманом-пароходом. Даже в самый тяжелый год советские пароходы пришли к чукотским берегам, снабдив прибрежное население всем необходимым.

У мыса Медвежьего, близ устья Колымы, «Литке», встретился с «Сибиряковым», которым руководил профессор Шмидт. Это была историческая встреча советских кораблей-пионеров. Они пришли сюда, на край света, с разных концов великого Союза. Приветственные сигналы моряков трепетали на кораблях под хмурым, нависшим низко небом Севера.

Евгенов открывал, вместе с Вилькицим, Северную Землю с востока, профессор Шмидт открывал ее с западной стороны. Евгенов прокладывал морской путь караванам судов к полярным портам Сибири. Шмидт устанавливал сквозной морской путь от Баренцова моря в Тихий океан.

В этой борьбе за освоение Северного морского пути погиб в Чукотском море пароход «Челюскин».

Лучшие летчики, лучшие моряки, ходившие в полярные воды, двинулись на Север, — выручать героических товарищей.

Колымский поход надорвал здоровье Евгенова. От последних параллелей, от ледяных просторов Арктики Евгенов перенесся к южным широтам Кавказа, где лечил свое сердце. Но, узнав о беде, не выдержал старый моряк и ученый Евгенов. Несмотря на шестнадцать полярных походов, которые были уже за его плечами, Евгенов снова пошел в Чукотское море. На ледоколе «Красин» он отправился из Ленинграда на помощь челюскинцам.

Он поступил, как советский моряк и советский ученый.

Так же решил и старый полярник Красинский. Он только вернулся из полярного рейса и, едва свидевшись с семьей, снова ушел к последним параллелям, — выручать братьев фронтовиков-полярников. Так решили доктор Старокадомский и капитан Сиднев, только вернувшиеся с Чаунской зимовки.

## VII

Уэллен, Ванкарем, Сердце-Камень, — кто знал эти крайние точки жизни на Чукотской земле, на северо-востоке Советского Союза? Их знали немногие полярники. Теперь их знает весь мир! Они приблизились к нам на тысячи километров, они стали нам ближе. Яранги, спальные мешки, собачьи упряжки, — эти слова узнал весь мир после гибели «Челюскина». Кто думал о том, что зимой по неизведанной воздушной трассе, без подготовленных аэродромов, можно совершать перелеты из одного конца неохватной страны в другой. И эти полеты совершали наши летчики.

Летчику Каманину всего двадцать шесть лет. В дни Октября ему едва минуло десять. Сын сапожника и ткачихи, он, как и его другие товарищи, в детстве видел нужду и безысходность. В Советской республике он стал командиром летного звена. Он был активным комсомольцем и на земле, и в воздухе. Он возглавил звено самолетов, которое, несмотря на снегопады и штормовую погоду, вылетело из Олюторки на север — спасти челюскинцев. В пути пурга раз'единила товарищей. Они не видели друг друга. Но у них было одно стремление — скорее пробиться сквозь снежную стену к лагерю Шмидта.

Флагманским самолетом шла машина Каманина. Демидов и Бастанжиев отбились в пурге от звена и сделали вынужденные посадки близ Анадыря. А Каманин, Молоков и Пивенштейн продолжали лететь с прежней настойчивостью и верой в успех.

Одновременно в воздухе находились машины Гальшева, Доронина и Водопьянова, Слепнева и Леваневского. Одни летели из Хабаровска, другие — из Фербенкса (на Аляске). И все они стремились к Чукотской земле, к финишу в Чукотском море.

Молодой отважный летчик, коммунист Каманин вел свое звено с мыса Олюторского. Перед звеном стеной встал туман, преградив дорогу в Ванкарем. Каманин свернул к заливу Providenia. Летчикам нехватало горячего.

Один из летчиков звена Каманина отдал командиру звена свой бензин, осушив баки своего самолета. Это был Пивенштейн, которого не знал никто, а теперь знают все. Отдавая горючее, летчик отдавал свою кровь, свою летную силу. Без горючего Пивенштейн не мог продолжать полета. Но летчик сохранил честь звена, к которому принадлежал. Каманин и Молоков на бензине Пивенштейна долетели до Ванкарема.

Молоков сделал на своем самолете восемь рейсов в лагерь Шмидта. Он летал в день столько раз, сколько позволяло светлое время. Он вывез в Ванкарем тридцать девять челюскинцев.

Тринадцатое апреля было последним днем существования полярного городка — лагеря Шмидта. На льдине, еще недавно шумевшей сотней жизнью, оставалось всего лишь шесть человек. Это были последние могикане «Челюскина». Его командир — герой легендарных походов «Седова» и «Сибирикова» — Воронин, боцман корабля Загорский, заместитель Шмидта Бобров, радисты Кренкель и Иванов и моторист Погосов. В лагере Шмидта они зажигали последний дымовой сигнал.

Звонко лаяли собаки, доставленные сюда Ушаковым и Слепневым для переброски больных челюскинцев и ценных грузов к аэродрому.

Тринадцатого апреля три самолета — Молокова, Каманина и Водопьянова — забрали последних граждан ледяного города Шмидта и верных людям собак и перенесли их бережно под своими крыльями в Ванкарем, на твердую землю, которая не дрейфует, не ломается и не торосится.

Два месяца просуществовал город, который не имел улиц, но был окружен аэродромами, город без почты, но с радиостанцией, город мужественных граждан Советского Союза.

Сказания об этом городе перешагнут через грядущие века и расскажут нашим потомкам о героических людях первой социалистической Республики Советов. Их биографии похожи одна на другую. Детство — в нужде и бедности. Юные годы — в гражданской войне. Они отдавали себя целиком, без остат-

ка, своей рабочей стране. Они прокладывали тропу во льдах советским пароходам. Они перелетали через неведомые человеку хребты. Они пробивались сквозь слепящую пургу на помощь своим согражданам. Их портреты, выставленные на площадях и улицах, их смелые лица, запечатленные на газетных столбах, знает теперь весь мир.

Челюскинцы горячо благодарили по радио Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным и правительство за исключительную быстроту и широкий размах помощи спасения. Это спасение было возможно только при правительстве диктатуры пролетариата, под руководством коммунистической партии.

Льды не сломили мужества Шмидта и его челюскинцев. Народ сложит о них песни. Их будут петь столетиями после нас.

Город на льдине прекратил свое существование. Но память о нем сохранится навсегда.

Тысячелетия назад океан поглотил легендарную Атлантиду — неведомую страну в Атлантическом океане. Согласно преданиям это было могущественное государство.

Нет города Шмидта, но предания о нем умчат в тысячелетия машина времени. Они расскажут о неслыханном мужестве начальника отряда, о его спяном коллективе, о воле к победе патриотов социалистического отечества.

## VIII

Радио Севера принимает телеграмму из Москвы:

«Ванкарем, Уэллен.

Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину.

Восхищены вашей героической работой по спасению челюскинцев. Гордимся вашей победой над силами стихии. Рады, что вы оправдали лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой родины.

Входим с ходатайством в Центральный исполнительный комитет СССР:

1) об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением ге-

ройского подвига, — звания «Героя Советского Союза»,

2) о присвоении летчикам Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронинову, непосредственно участвовавшим в спасении челюскинцев, звания «Героев Советского Союза»,

3) о награждении орденом Ленина поименованных летчиков и обслуживающих их борт-механиков и о выдаче им единовременной денежной награды в размере годового жалования.

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ,  
К. ВОРОШИЛОВ, В. КУЙБЫШЕВ,  
А. ЖДАНОВ».

«Банкарем, Уэллен.

Шмидту, Боброву, Воронину, Кренкелю, всем челюскинцам.

Приветствуем и горячо поздравляем доблестных челюскинцев, мужественно и организованно борющихся с суровой полярной стихией и стойко перенесших двухмесячный ледяной плен.

Входим с ходатайством в Центральный исполнительный комитет СССР:

1) о награждении всех челюскинцев, а также Ушакова и Петрова орденом Красной звезды,

2) о постройке в Москве монумента в память полярного похода «Челюскина»,

3) о выдаче всем челюскинцам единовременной награды в размере полугодового жалования.

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ,  
К. ВОРОШИЛОВ, В. КУЙБЫШЕВ,  
А. ЖДАНОВ».

Суровая страна революции прижала к груди головы юных героев. Ведь она их родила!

## IX

На льдине в Полярном море находились женщины и дети, принадлежавшие к семьям зимовщиков, направлявшихся для работ на остров Врангеля. Перед Правительственной комиссией встал трудный вопрос: как спасти челюскинцев?

Нельзя было предложить участникам экспедиции Шмидта двигаться самостоятельно, это значило обречь слабейших, в том числе женщин и детей, на верную гибель. Правительственная комиссия мудро решила послать в Арктику самолеты, пароходы, ледакол и даже дирижабли. Советская страна делала все для спасения своих стойких сынов.

Взоры всей страны были обращены к действиям Правительственной комиссии, краткие ее сообщения зачитывались миллионами граждан Советского Союза. К ним прислушивался весь мир. Следили за газетами даже дети. И свой восторг перед подвигом летчиков они выражали тысячами писем, которые направлялись в Москву в адрес председателя Правительственной комиссии, тов. В. В. Куйбышева.

Вот листок почтовой бумаги, исписанный четким детским почерком. Это пишут школьники:

«Уважаемый товарищ Куйбышев!

От имени пионеров-комсомольцев 1-й образцовой каменской ФЗД просим Вас передать пламенный привет летчикам, спасшим челюскинцев.

Последние два месяца самая интересная тема для обсуждения у нас в школе — это лагерь Шмидта и ход спасения его экспедиции. В коридоре у нас висит карта, где отмечаем путь «Красина». Ребята с увлечением спорят о том, где теперь спасательный ледакол. Ребята пишут сочинения о судьбе челюскинцев.

Слова «челюскинцы» и «лагерь Шмидта» звучат во всех углах нашей школы.

Героический полет Каманина, Молокова, Слепнева и других привел нас в восторг. Мы горды тем, что живем в стране, имеющей таких героев, мы горды тем, что большевики не страшатся арктических льдов, мы горды тем, что можем и должны стать достойной сменой уставших борцов за научное развитие страны. Обещаем Вам, т. Куйбышев, что мы этот учебный год окончим на «отлично». Вы помогли нам еще раз понять, что стране на всех фронтах нужны смелые.

всесторонне развитые борцы за дело коммунизма.

Среди арктических полей  
«Челюскин» — гордое судно,  
Упорно к цели шел своей,  
Но, льдом затертый, пал на дно...

Своих героев чтит страна —  
На помощь к ним она идет:  
Чтоб снять челюскинцев со льда,  
Был ею послан Красный флот.

Каманин, Молоков, Слепнев...  
Полетом вашим мы горды.  
Вы шли упорно средь ветров  
И вами люди спасены.

Мы все в восторге. Каждый рад.  
О, силы наши велики.  
Ведь нет нигде таких преград,  
Что не возьмут большевики!!!

*М. Цырлинг (уч. V гр. — автор стихотворения), В. Ковалевская, А. Потуряев, Ю. Кириллов, А. Поляков, Криворучко, Беликов, Ю. Мень, Застеба, Гапоненко, Усик».*

Почтовые поезда и самолеты ежедневно доставляли к Москве стопы писем, направленных в Правительственную комиссию. Писали рабочие, колхозники, моряки, воздушники, ученые, старики и дети. В начале спасательных операций многие давали советы в своих письмах. Когда работа комиссии была блестяще закончена и все челюскинцы были спасены, радостный поток писем говорил о сознании величия всего совершенного. Такого ликования не видала ни одна страна, это было всенародное торжество, ударники полей и заводов гордились своими братьями-ударниками Арктики, застрельщиками Северного морского пути, и мудрым ведением спасательных работ.

## Х

Профессор Хэрл Свердруп, известный полярный исследователь, сподвижник Роальда Амундсена, не верит тому, что Северный морской путь удастся освоить: «Пожалуй, судоходное сообщение на больших ледоколах там возможно, но экспедиции на этих судах на-

столько дорого обходятся, что для меня сомнительно, выгодно ли это».

Но не с одной только выгодой считается социалистическое государство. Оно прежде всего заботится о людях своей страны.

Царские казаки приходили в Чукотку, в Якутию, в Самоядь — для сбора ясака с туземного населения, для закабаления его, для грабежа. «Мильтанги-тан» — «ружейные иноземцы», — так прозвали чукчи царских пришельцев. «Ленин-Солнце» — говорят теперь они, украшая меховые стены своих жилищ портретом человека, слава о котором перешагнула через хребты и тундры к ледяным просторам Арктики. Ленин умер. Из нового мира, освещенного Лениным-Солнцем, великий Сталин шлет пароходы на Север целыми караванами. На этих пароходах приходят с «большой земли» люди — озарять яранги и юрты светом советского знания. В трюмах этих пароходов идут грузы для тундры и берега Студеного океана.

Гибель «Челюскина» показала всему миру, на что способен советский летчик, моряк, ученый. Гибель «Челюскина» показала всему миру, что для СССР не существует непреодолимых расстояний. Сквозь пургу, в штормы и непогоду наши летчики с одного конца света перебрасываются на другой, с жертвенной настойчивостью выполняя указания своего правительства.

Пусть те, кто потрясает мечами на наших границах, задумаются, прежде чем перешагнуть ее, пусть они сделают выводы из гибели «Челюскина». Иначе гибель ожидает их самих.

Тысячи героев Советского Союза раскиданы по нашей неохватной стране. Мы не всех их знаем в лицо. О них еще не пишут наши газеты, но они есть повсюду на наших фабриках и заводах, в колхозах, на машинно-тракторных станциях, на рыбалках, на море и в воздухе. Пусть помнит враг, что шестую часть мира занимает страна, родившая героев «Сибирякова», Беломорстроя, стратосферы, Кара-Кума, «Челюскина».

## 2. УБОРОЧНАЯ

Мих. Россовский

(Отрывки из книги «Записки политотдельца», ч. II)

1

В Покровском три бригады, и каждая должна скосить по сто двадцать шесть га луга. Правление внимательно изучило план уборочной кампании, данный МТС: на сенокосьбу, уборку — пятнадцать дней. Начало, если не подведет погода, — 20 июня. Конец — 5 июля.

Погода не подвела. Широкими волнами перекатываются высокие травы. Они серебрятся под солнцем. Все выше поднимаются — густозеленые, пахнущие острой свежестью и прохладой. Одеваются перистыми метелочками, расцветаются ромашками, торицей, белой горчицей, лисохвосткой, клеверами — сотнями разнообразных и ярко окрашенных цветов.

Бригадир Татьяна Васильевна Вершинова, Рогачев и Поля Туманова предупреждают колхозников: быть наготове! А сами выходят на луга, проверяют, не пора ли начинать. Как будто пора. А может, подождать еще денек? Время-то есть, сегодня только пятнадцатое июня. Пятнадцатое-то пятнадцатое, да народу мало: во всех бригадах косцов шестьдесят человек. Косилки, по плану, должны убрать сто га, остается на уборку косами двести семьдесят восемь... Если на каждого косца положить даже по двадцать пять соток в день, и то требуется девятнадцать дней. А вдруг дождь!.. А можно ли надеяться, что каждый косец сделает двадцать пять соток?..

Бригадир возвращается в деревню, идут в правление, делаются с председателем правления, товарищем Чулковым, своими сомнениями. Чулков молчит, его косые глаза бегают по лицам бригадиров, будто хотят высмотреть — хитрят с ним бригадир или правду говорят, что может быть задержка.

— Надо выдержать сроки. Понятно?

Как не понять, когда они сами давным-давно вырешили: во что бы то ни стало закончить косовицу к 5 июля.

Рогачев вносит предложение: объявить соревнование между бригадами на скорейшее окончание уборки и сдачи сена государству. Вершинова улыбается. Она готова соревноваться с кем угодно. Не было еще случая, чтобы первая бригада Покровского колхоза не была первой.

— А встречный по севу, — не может удержаться Поля Туманова, — разве не вторая бригада вышла на первое место?

— Вышла, — подтверждает Вершинова, — на встречном, а во всем севе?..

— Ладно, что было, то прошло, — успокаивает Рогачев, — давайте поговорим об уборке.

\*\*\*

Поля Туманова приходит ко мне под вечер. Робко останавливается у дверей. Молчит. Растерянно оглядывает комнату.

— Здравствуй, Пелагея Алексеевна, что тебе?

Поля еще больше смущается: «Пелагея Алексеевна»!.. Никто никогда ее так не величал. Какая она «Алексеевна», — Поля Туманова?

Она делает движение к двери. Видно, жалеет, что пришла.

— Куда ты, Пелагея Алексеевна! Садись, расскажи, что за нужда.

Она садится на краешек стула. Не смотрит в глаза.

— Помогли бы мне... Вот план... Соревнование у нас... Давеча ты... вы помогли, я и справилась...

Мы долго сидим над планами Поли Тумановой. Решаем: начать косьбу с лужка, что у Ельницкой дороги, — здесь посуше. Потом переброситься к лесу, а напоследок перейти к болоту. Так будет хорошо?

Поля сияет: лучше не придумаешь.

Высчитываем — для окончания всех работ требуется девятнадцать дней.

Девятнадцать?! Но в распоряжении Поля Тумановой только пятнадцать дней. Она снова отстанет от Вершиновой и Рогачева, снова будет искать какую-нибудь второстепенную работу, чтобы хоть на ней не ударить лицом в грязь?.. Ведь так именно получилось весной: всю посевную бригада Поля Тумановой плелась в хвосте, а на встречном, на несчастных семи гектарах, вышла на первое место.

Поля даже краснеет от стыда: и она могла похвастать перед Вершиновой, что ее бригада может хорошо работать!.. Небось, Татьяна и Рогачев смеются над ней... А как еще посмеются, если она отстанет на четыре дня с сеноуборкой.

— А шефы-то придут, Пелагея Алексеевна!

Шефы!.. Поля улыбается. Конечно, шефы помогут. Но тут же никнет радость: а вдруг не придут? Тогда и Татьяна, и Рогачев ее перегонят. Что же ей делать? Пойти к председателю Чулкову просить еще людей? Но где тот их возьмет? Ведь в числе косцов даже мужики, работающие в артелях и получившие отпуск на время косовицы.

Успокаиваю Полю: шефы обязательно придут. Все будет в порядке. Только ей надо помнить: главное — организация труда. Чтобы люди не болтались без толку, чтобы каждый имел свой участок. Только тогда можно наладить учет и социальное соревнование. И еще надо учиться у других. Вот Вершинова хорошо организует работу. Почему не присмотреться к первой бригаде, почему не перенять опыт?

Поля утвердительно качает головой, она это сделает...

\*\*\*

Поля Туманова ошибается: Татьяна Васильевна Вершинова и в мыслях не имеет смеяться над второй бригадой. У нее у самой не сходятся концы с концами, и у нее не хватает людей для окончания уборки к пятому июля. Она сидит над бумагами, морщит лоб, думает — ничего не придумает. Ничего не получается. Не уложиться ей в энтээсовские сроки...

Ребятишки пристают, хотят есть. Татьяна Васильевна отмахивается.

— Не мешайте!.. Нинка! — зовет она, — дай им поесть.

Нина куда-то выбежала, не слышит матери. Мальчишки дергают ее за юбку, за руки.

— Да отстаньте вы от меня! — в сердцах кричит она и ударяет меньшого.

Тот заливается слезами. У Татьяны Васильевны сердце сжимается от жалости. Она оставляет бумаги, берет сына на руки, утешает его. Достает из печи горшок с кашей, дает детям. Возвращается к столу.

Не сходятся расчеты. Нехватает людей, лошадей. Небось, у Рогачева и Тумановой лучше дела, у них больше людей. Нет, не больше, бригады уравнины. Что ж, сказать Чулкову, что уборка сена затянется? Он раскричится, скажет, что его не интересуют ее расчеты, ему дай все в срок, и никаких больше. И он будет прав: сенокос затянется, тогда и уборка зерновых не вовремя начнется, и весь план полетит к чорту на рога. Как быть?

Мальчишки с'ели кашу, снова пристают.

— Нина! — снова зовет Вершинова.

— Я здесь, мама.

— Где ты была, что ты всегда бегаешь? Никогда не сидишь на месте.

— Я кур загоняла.

Татьяна Васильевна видит, что Нина испугана грозным видом матери. Ей становится совестно: девочка все делает по хозяйству, еле успевает приготовить уроки и сбегать в школу. Все дети, как дети, а Нина всегда озабочена.

— Поди сюда.

Нина подходит. Татьяна Васильевна обнимает дочь, спрашивает ее, как она учится. Нина улыбается. Она рада, что мать не сердится. Пусть мама не беспокоится, Нина хорошо учится, она первая в группе, она — ударница.

— Не отстаешь, Ниночка?

А как может она, Нина Вершинова, отставать? Мать — первая бригадирша в колхозе, а Нина будет отставать? Не может этого быть!

Мама—первая бригадирша? А в уборочную кампанию отстанет... Что ж она

сидит? Ей надо найти Чулкова, посоветоваться с ним...

Вершинова спешит в правление. В дверях сталкивается с Рогачевым. Тот, как всегда, весел.

— Помни, Татьяна Васильевна, условие: к 5 июля закончить.

— Не закончу,—хмуро отвечает она.

— Вот так номер! — удивляется Рогачев, — как же соревнование?

— А ты-то кончишь в срок?

— Кончу!

Вершинова не понимает, как это у него получается.

— По сколько ты кладешь на человека в день? — спрашивает она.

— Двадцать пять соток.

— А людей сколько?

— Тридцать.

Вершинова широко открывает глаза. Где он набрал тридцать косцов, когда в каждой бригаде только по двадцати человек?

— А у меня тридцать! — повторяет Рогачев и смеется.

— Ты что, товарищ Рогачев, шутки вздумал шутить? Где ты столько набрал?

— Так и набрал. Своих двенадцать, да восемь из артели, да десять мне еще дали.

Вершинова больше не слушает. Она врывается в правление колхоза, видит— в комнате полно каких-то незнакомых людей, за столом сидит Чулков, тут же — вся сияющая Туманова. Ага, Полька тоже веселая, и она, как Рогачев, получила подмогу. Всем помогает этот косою Чулков, а ее оставляет без всякой помощи...

— Значит, Павел Иваныч, так оно будет?

Чулков не понимает:

— Что значит так?

— Третьей бригаде ты дал добавочных десять человек... второй... Поля, — обращается Вершинова к Тумановой, — ты получила подмогу?

— Получила...

— Вот. Вторая тоже получила, а мне пропадать?

Чулков смеется, и люди вокруг улыбаются. Вершинова еще больше сердится.

— Откуда людей достал?

— Да вот, Татьяна Васильевна, шефы приехали...

Так вот откуда люди у Рогачева и Тумановой! И она, значит, получит. Как это она могла подумать, что ее обойдут?.. Совсем одурела баба.

— Чего же меня не позвали? — возмущается Вершинова: — Я чуть не лопнула от досады.

— А зачем тебя звать, когда я знал, что сама прибежишь?!

## 2

Росные пришли утра. В высоких травах пугаются голубые туманы. Горячее солнце и молодые ветры разгоняют их, но все напрасно: луга подернуты легкой пеленой. Но то не туманы стелются, то началось цветение трав. Красными, синими, желтыми и белыми цветами расшиты зеленые с легкой проседью луга...

И повалил народ из деревень — с песнями, смехом и шутками. Будто помолодели все, будто оставили дома, в прокопченных избах, все заботы.

Эх, ты, жизнь моя, жизнь веселая! —

поет парень неизвестно откуда взятую песню. А может, это и не песня вовсе, может, и не петь никогда эти слова. Но он их выпевает, и девичьи голоса подхватывают:

Развеселая . Разудалая.

Звонят голоса, и косы звонят им в такт.

Пришла косовица, неумемной радостью разлилась по широкой, вольной и поющей земле...



На рассвете Поля Туманова стучится в окна своих бригадников.

— Вставайте, пора!

— Встаем!

Поля идет дальше. Встречает Настасью Назарову. Та давно уже встала: куда там спать, когда начинается соревнование.

— Так мы их, Татьяну-то и Рогачева, обгоним?

— Обгоним! — уверенно отвечает Туманова. — Ты, Настасья, буди остальных, а я пойду косы проверю.

— Разбужу, — отвечает Настасья, — всех подниму, как миленьких...

Настасья идет по деревне, еще об'ятой сном, будит колхозников, и сердце ее будто колышется под утренним свежим ветерком. И думает она легко. И улыбается своим мыслям: «Вторая бригада станет первой. Посмотрела бы Маруся, как я собираю людей на социалистическое соревнование. Похвалила бы...»

Маруся, дочь Настасьи, секретарь комсомольской организации дальнего района Московской области. Что бы ни делала Настасья, она всегда думала: «А что скажет Маруся?»

Настасья не ошибается: Маруся действительно была бы довольна матерью, которая не ждет, когда ее позовут, — всегда сама берется за самую тяжелую и ответственную работу, всегда в первых рядах ударников. Настасья болеет за свою вторую бригаду, мечтает, чтобы она стала первой по работе. Но не только о своей бригаде, — о всем колхозе печется Настасья Назарова. Вот и сейчас проходит она мимо сарая с сельскохозяйственными машинами. Видит — валяется вся ржавая, исковерканная сенокосилка.

— Большов Васька, — укоризненно качает головою Настасья, — тоже завхоз называется. Он больше в бутылку смотрит, чем за общественным добром... Снять его нужно, лодыря и вредителя. Шутка ли — сенокосилка!..

Она идет дальше, будит народ и по дороге забегает в правление колхоза.

— Павел Иванович, — кричит она, — видал, косилка пропадает?

— Какая косилка? — удивляется Чулков.

— Такая, наша... Большов Васька погубил...

Ладно, Чулков посмотрит, он даст вздрючку этому сукину сыну Большову.

Настасья спешит на сборный пункт, где Поля Туманова уже распоряжается.

Они начнут косить с луга, что подле Ельницкой дороги. Норма — двадцать пять соток на человека. Это — для колхозников-косцов. Что же касается товарищей шефов, то...

— Все шефы умеют косить?

Шефы смеются.

— А то зачем бы приезжали?

Поля смущается: вот и обидела товарищей шефов... Но как же она может не проверить? Ведь шефы будут косить не ее, Полин, а колхозный луг. А вдруг они попортят...

Она им верит, но все же направляет шефов на другой луг, что подле леса. С ними отряжает четырех опытных косцов. Незаметно отзывает их в сторону:

— Смотрите, помогайте шефам, да так, чтобы их не обидеть. Понятно?

Косцы усмеваются:

— Понимаем. Сами не лыком шиты.



От края до края растянулась живая цепь. Со свистом подсекается трава. Сразу ниже становится луг и меркнет его разноцветная ширь. Зато с каждым часом ярче блестят глаза: гляди-ка, сколько отмахали! Пожалуй, сделаем больше чем по двадцати пяти соток в день.

Поля Туманова смотрит на свою бригаду, и сердце ее наполняется гордостью. Она организовала косьбу. Ее, Польшку Туманову, слушаются эти бородатые мужики, и смешливая молодежь, и шефы, не желающие отставать от опытных косцов...

Она оставляет за себя Настасью, а сама идет на участок первой бригады. Там тоже весело кипит работа, но от взгляда Поля не ускользает некоторая разбросанность косцов. Зачем Татьяна разбила их на все луга? Не лучше ли поставить всех в одном-двух местах, как это сделала она?

Поля подходит к Вершиновой, говорит ей свое мнение. Татьяна Васильевна внимательно слушает Полю. Нет, она с ней не согласна. Она считает, что так будет правильнее. Зачем создавать толкотню в одном месте, когда лучше начать с четырех разных концов? Тогда и учет легче наладить, и соревнование внутри бригады можно провести.

— Соревнование между звеньями, — так, что ли?



— Именно так, — подтверждает Вершинова.

Поля не согласна с звеньевым дроблением бригады. Соревнование должно быть между косцами, а не между группами косцов. Она расставила людей на двух участках, каждому косцу дала определенную полосу, вот таким образом она и проведет индивидуальный учет. Деление на звенья приведет к обезличке внутри звена.

Татьяна Васильевна задумывается: а не права ли Поля?

Они идут на луга второй бригады, Поля показывает, как она организовала работу. Вершинова ходит меж косцами, подсчитывает: один, два, десять, двадцать пять, тридцать косцов. Ровно тридцать. А у нее только двадцать восемь, двое не вышли. Дрожь пробегает по телу Вершиновой: так она еще отстанет от Поли. А Полины бригадники как будто с насмешкой спрашивают:

— Пришла на нас посмотреть?

Вершинова берет себя в руки и весело отвечает:

— Пришла поучиться.

— Что ж, учись...

\*\*\*

— Вам бы только побольше накосить, о качестве не думаете. Посмотрите, какой кусок пропустили. А здесь посмотрите — одни головки срезаны, вся трава осталась. А что это за ряды, скажите на милость, будто пьяный косил.

Вершинова, Туманова и Рогачев ничего не могут мне возразить. Действительно, нечисто сделано. Но разве уследишь за всеми?

— А почему вам не иметь помощников? На каждые десять или восемь человек, смотря по тому, где работают, — помощник.

Вершинова, у которой вышло на работу только двадцать восемь косцов, возражает: выделишь старшего, он и косить не будет, не управимся тогда к сроку. Рогачев согласен со мною: можно назначить старшего из числа других колхозников, не косцов? Бригадирь соглашаются: можно.

Я также не согласен с организацией труда в бригадах.

— Вот у тебя, Татьяна Васильевна, проведено четкое деление на звенья. Звено имеет задание и соревнуется с другим звеном. Это хорошо.

— Видишь, — говорит Вершинова Поле, — а ты хаяла звенья.

— Подожди, Татьяна Васильевна. Но у тебя нет индивидуального учета, получается обезличка. Лодырь прячется в общей массе, а ударник, хочет он этого или не хочет, прикрывает лодыря.

— А что я говорила! — торжествует Туманова.

— И ты погоди, — успокаиваю я ее. — У тебя, Пелагея Алексеевна, и у тебя, товарищ Рогачев, звенья фактически созданы, но звенового учета совсем нет, следовательно, не может быть соревнования между звеньями, а оно очень полезно.

Советую им также завести доску соревнования. В каждой бригаде имеются комсомольцы, пускай они ежедневно к концу дня заполняют доску — кто сколько выработал за день. Надо завести бригадные красную и черную доски.

Бригадирь спешат на свои участки. Им надо уточнить учет и наладить соревнование.

\*\*\*

Разыскиваю Чулкова. Он сидит в правлении. Беру его в оборот: чего он не на уборке? В поле кипит работа, а он роется в бумагах. Почему политотдел должен выправлять недочеты в бригаде и звене, а председатель колхоза отсутствует?

Чулков оправдывается. Он не бездельничает, у него забот полон рот. Завхоз запил, кладовщик зашился. А, помимо всего, он анализирует план государственных поставок. Сейчас уже надо выделить бригаду возчиков, чтобы не было недоумений в будущем.

Очень хорошо, что Чулков уже сегодня думает о госпоставках, но его место главным образом в поле. Там нужен хозяйский глаз. Очень полезно наладить взаимоконтроль между бригадами, пусть одна бригада проверяет и подстегивает другую. Надо наладить ежедневный выпуск полевого бюллетеня, — привлечь к этому делу учителей и комсомольцев.

Чулков уже не возражает. Он согласен со мною и дает слово сегодня же, немедленно выправить положение.

— Понимаешь, Андрей Никитич, зашиваюсь. Колхоз большой, а людей нет.

— Неправда, есть у тебя люди. Умей их только расставить, правильно распредели обязанности, не дергай по пустякам. Твое дело — конкретное руководство и контроль исполнения.

— Будет сделано.

— Смотри, не думай, что политотдел будет тобой одним заниматься. У нас не один твой колхоз.

— Будь уверен, Андрей Никитич, не беспокойся.

\*\*\*

Иду в Кочки. По дороге снова захожу на покровские луга. Подхожу к звену, в котором работают шефы. Они сосредоточены, даже угрюмы.

— В чем дело? — спрашиваю одного.

— Не мешай, — отвечает он, — не видишь разве, нас те обгоняют...

«Те» — это колхозники. Они ласково и чуть насмешливо поглядывают на шефов, когорые изо всех сил тужатся, чтобы не отстать от опытных косцов. Но все же отстают.

— Вишь, как стараются. И чего, кажется, — забота не ихняя, трудодней не получают...

— Рабочий класс! На общее дело стараются.

— Общее-то общее, а задаром на нас работают.

— Хотят, чтобы мы стали зажиточными.

— И потому нам свои заработанные дни отдают?

— Они как бы старшие братья.

— Много тебе брат твой задаром дает?..

— Ты, голова!.. Не о моем брате речь. Шефы, понимаешь? Рабочий класс. Он — как бы старший, и помогает.

3

Идет Тузов Спиридон Константинович по молодой земле. За спиной коса отликает топленным серебром, в борде

горькая усмешка: вот идет он косить свой лужок, кругом — нескончаемые колхозные луга, народу на них видимо-невидимо. Дружно у них, весело. А он один. Будет он класть одиноличные свои ряды, потом придет жена-старуха и дочери, начнут ворошить сено, складывать его в убогие стожки. А те сложат большие, высокие скирды. Дух захватывает, какие высокие и длинные. В летошнем еще году дивился на них, но не было зависти. Наоборот. Куда, думал он, уберечь такую гору? Обязательно сгниет. То ли дело свой стожок, его и уложишь поаккуратнее, и дерном покроешь, и канавку вокруг выкопаешь, и шест воткнешь сверху. Покачивается шесток под ветром, будто кланяется Спиридону Константиновичу, привет посылает. А сейчас думает Спиридон Константинович о своем будущем одиноком стожке с шестом, и ему горько: плохо жить особняком от мира, скучно... Скорей бы пришла осень, войдет Тузов в колхоз, будет жить, как все люди.

И отчего это так случилось, что всего за один год так переменялся Тузов, что не мила ему одинокая и, казалось ему, хорошая, вольная жизнь? Разглядели старые, но еще зоркие глаза, что одному не выбраться из нужды. Много еще непорядков в колхозе, это верно, но и сейчас у них куда лучше, чем у одиночников. А непорядков в самом деле порядочно. Вот грохочет трактор, тянет косилку. Эх, и косить же ей! Спиридон Константинович с презрением смотрит на свою косу: попробуй, сравни ее с этой машиной, которая захватывает сразу сажень, а то и больше. Он подходит ближе, вглядывается: что такое с косилкой? — захватывает она широко, а режет высоко. И не потому, что так ей, косилке, на роду написано высоко косить. Тузов знает, он видел, что косилки подрезают траву чуть ли не у самой земли.

— Что ж ты вредительство делаешь! — вне себя от досады кричит Тузов. — Разве можно травить луга?

— А тебе какое дело? Не твои, небось!

Спиридон Константинович замолчал, словно захлебнулся. В самом деле, —

это не его дело. Его дело — клочок луга за лесом и коса...

— Огрели тебя, Спиридон Константинович, — слышит Тузов насмешливый голос и оглядывается. Учитель Нуров, Александр Иваныч, стоит, заложив руки за спину. В его очках отражается солнце и зеленая трава.

— Не мое, — смущенно подтверждает Тузов и тут же загорается злобой. — А если не мое, так не могу сказать? Не мое, так можно травить? Вредитель!

— Никакой он не вредитель, машина такая. По нашим лугам только косой и можно махать.

Спиридон Константинович с удивлением смотрит на Нурова: грамотный человек учитель, а такое говорит. А почему в Покровском или Конюхове, всюду, почему косилка не оставляет лишнего вершка? Там земля другая?

Нуров снисходительно улыбается:

— Там то же самое.

— Неправда, я сам видел.

Нуров весело смеется. Он очень хорошо знает, как работают косилки. Зряшная затея. Косилка — капризная машина. Там, где поля и луга, как стол, ровные, только там она хороша. А у них, по их кочкам...

— Какие здесь кочки? — сердится старик. — Где какая попадется, ее обехать можно.

— На обьезды больше времени потратишь, чем на косьбу.

Тузов выходит из себя. Что ж, он ослеп, что ли? Что ж, он не понимает, как нужно косить?

— Косить — это не сапоги тачать.

— Ты, Александр Иваныч, оставь насчет сапогов. Мы и сапоги знаем, и косить умеем. Чего другого по хозяйству не сделаем, а косить мы всю жизнь косим.

— Косой — конечно, а косилкой? Много ты ее видел на своем веку? — насмешливо отвечает учитель.

Спиридон Константинович в сердцах вскидывает косу на плечо и, не отвечая Нурову, не прощаясь с ним, уходит. Ему пора взяться за свой лужок, а то трава, чего доброго, перестоит, не соберет он ни фи́га, опять нельзя будет войти в колхоз: без фуража-то не примут.

Встречаю его в лесу.

— Здравствуй, Спиридон Константинович! Чего такой злой?

Он рассказывает о косилке, о Нурове, о своем желании, чтобы скорее окончилось лето, и тогда он немедля вступит в колхоз, — только бы опять не было каких задержек.

— А с непорядками как, Спиридон Константинович? — посмеиваюсь я. — Помнишь, ты говорил о председателе Кокареве? Да и сейчас вот — плохо убирают сено, и лен стоит неполотый, и Нуров подзуживает.

Тузов машет рукой: а чего же он будет ждать, пока все будет хорошо? Нет, уж лучше бытть со всем обществом, какнибудь наладят дело. Только бы приняли.

— Правильно, Спиридон Константинович. Поможем тебе вступить в колхоз.

Мы прощаемся. Повеселевший Тузов идет на свой единоличный луг, я — в Кочки. Итти — мимо косцов и трактора, который тянет подпрыгивающую и плодорежущую косилку. Нуров, как его оставил Тузов, так все стоит поодаль. Завидев меня, предупредительно кланяется и с места в карьер начинает ругать тракториста, который-де не умеет наладить косилку.

— Где ж это видано, чтобы так высоко косили? Это же прямое вредительство. Я видел работу трактористов в Конюхове и Покровском. Разве там так косят? Ведь мы подрываем авторитет МТС.

Внимательно смотрю на Нурова. Глаза его бегают под стеклами роговых очков.

— Правильно говорите, граждане! Нуров, вы подрываете авторитет МТС!

— Конечно мы виноваты. Нам вчера еще нужно было сообщить в МТС, вызвать механика. А мы только посмотрим и возмущаемся. Разве одним возмущением поможешь?

— Знаем мы ваше возмущение, знаем вашу помощь.

Нуров пытается продолжать, но я его уже не слушаю.

Иду к трактористу. Он ругается на чем свет стоит. Ничего у него не выходит.

— А ты пробовал что делать?

Как же, он пробовал. Но что поде-лаешь, когда рычаги управления не дей-ствуют, болтаются.

— А ну-ка, посмотрим, в чем дело.

Я не очень-то хорошо знаю трактор-ную сенокосилку, но не зря же мы все, политотдельцы, рылись в книгах, лазили вокруг тракторов и уборочных машин. Кой-что помню из объяснений Савченко и Финкельберга. Внимательно вместе с трактористом осматриваем косилку. Во-круг нас собирается народ.

— А ну-ка, друзья, идите к своим косам, не мешайте нам.

Косцы медленно расходятся. Им охо-та посмотреть, как это начальник будет исправлять машину, которая широко захватывает траву (трем самым ловким косцам не уложить такого ряда), бы-стро идет (самому быстрому косцу за нею не угнаться), но которая только пещипывает головки трав, а не косит.

Остаемся одни. Осматриваем косилку. Вижу — болты, прижимающие внутрен-ний башмак с пальцевым брусом, болта-ются.

Тракторист удивляется: как это он не заметил? Если болты болтаются, то и пальцевый брус шатается, значит, весь режущий аппарат, вся косилка ни к чор-ту не годится. Он подтягивает болты. Тут же замечает, что и рычаг управле-ния можно подтянуть. Ну конечно, ры-чаг поворота пальцевого бруса. И под-емный рычаг. И нижняя педаль.

— Эх ты, — укоряя тракториста, — и тебе не совестно?!

Еще как совестно! Он проверяет сцеп-ку, доликает керосин и масло и гонит трактор. Сейчас он может гнать сколько угодно. Трава подрезывается низко, у самой земли, ложится ровными густыми рядами. Издали поглядывают косцы: вот это так машина! Скоро косцам не-чего будет делать.

— Мы будем на печи лежать, а ко-силка — трудодни нагонять, — говорят колхозники. — Только мало придется этих трудодней, если все будем делать машиной.

— Зато на каждый трудодень при-дется в несколько раз больше.

Меня не совсем понимают, как это получится. Объясняя: предположим, что

после выполнения государственных по-ставок, натурплаты МТС, налогов, со-здания всяких внутриколхозных фондов останется тысяча пудов хлеба, а тру-додней всего десять тысяч. Тогда на каждый трудодень придется че-тыре фунта. А если трудодней бу-дет всего тысяча, то на каждый трудодень придется пуд хлеба. По-нятно?

Как не понять! Да, хорошее дело машина. А некоторые говорят, что от нее одна только порча...

— Вы побольше слушайте своего Ну-рова.

\*\*\*

Из деревни бегут ребятишки с узел-ками в руках: несут отцам и братьям поесть.

Приходит время обеда. Косцы скла-дывают косы, собираются под тень ближнего леса, закусывают, угощают меня.

Продолжаю начатый разговор о ма-шинах и Нурове: долго ли думают коч-киицы терпеть его? Они сняли его с ревизионной комиссии, повидимому, хо-рошо сделали. А какую приносит он пользу как колхозник? В поле он не работает, ходит только и занимается разговорами. Помогает в счетоводстве? Ох, насчитает им Нуров, не обра-дуются...

Кокарев, председатель правления, со-гласен, что от Нурова мало пользы.

— Пусть нам скажет политотдел, мы его из колхоза выключим.

— А почему это должен сказать по-литотдел? Разве сами колхозники не имеют своего мнения? Политотдел одно только говорит: в колхозе должны быть честные и преданные колхозники, лоды-ри не нужны, и не нужны люди, кото-рые распространяют кулацкие слухи. Вот говорят, что Нуров и про кабалу что-то болтал, когда было дело с ло-шадьми. Верно это?

Верно: Михаил Маслов подтверждает. Нуров ему говорил: в колхозе, мол, как в кабале, ни тебе лошади не получить когда нужно, ни тебе убирать, когда считаешь правильным.

— А вы спокойно слушаете? Или ждете, чтобы политотдел за вас выгнал врага из колхоза.

— В учителях его держат, почему же в колхозе нельзя?

— Правильно, и в учителях такого нельзя держать. А в этом кто виноват? Кто знал, что у вас сидит кулацкий агент, кто выбирал Нурова в председатели ревизионной комиссии сельсовета и колхоза, кто пил с ним водку, кто слушал его гнусные речи, слушал и молчал? Только во время посевной, когда политотдел сказал вслух и на весь колхоз, что Нуров не ревизует, а прикарманивает колхозное добро, голько тогда вы его сняли?

Со мной согласны: так было дело. Но как им было выступать против власти?

— Эх вы, хозяева... Посадили себе на шею кулацкого шептуна и назвали его властью. Весною его вывели из ревизионной комиссии сельсовета и колхоза, а он у вас все еще в почете.

Нет, никаким почетом Нуров не пользуется в Кочках, решительно никаким. И они докажут это. Сегодня же вечером исключают его из колхоза. Более того, они просят совсем убрать его из Кочек, не нужен им такой учитель.

— Наконец-то!.. Хозяевами надо быть. Да, хозяевами! Вот у вас неплохо идет косовица, не то, что прополочная льна...

Кокарев, предправления, перебивает меня: и без прополки у них будет хороший лен.

Ладно, посмотрим. А как с обязательствами перед государством? Помнят ли кочкинцы, что пора начать поставку сена?

Кокарев чуть снисходительно улыбается: за кого их принимает товарищ начальник, за неразумных детей? Они отлично понимают, что государству надо сдать в первую очередь. Только-только подсохнет сено, они его двинут на приемочный пункт.

\*\*\*

Звоню в районо. Там давно знают, что Нуров не на месте. Плохой он учи-

тель, по-старинке работает. Они не снимали его только потому, что некого было посадить. Сейчас дело другое, к ним на-днях прибывают окончившие пединститут учителя. Кочкинская школа получит нового учителя. Через неделю-две, не позже, Нуров будет заменен.

— Нельзя ждать, товарищи, надо немедленно снять.

\*\*\*

На шоссе нескончаемые вереницы возов, груженных сеном. На возах — одна молодежь, ей поручено отвозить сено на приемочный пункт. Переключаются парни и девчата, песни затягивают.

Густые ароматы текут по дорогам Покровской МТС.

Иду неприметными луговыми тропками, лесами и просыхающими болотами. Земля расцвечена. Вот вся белая с желтыми пятнышками лужайка, вот фиолетовая, желтая, красная. А вот озимь и в ней синие васильки. К поясу тянется уже рожь. Срываю нежнозеленый колос. Мягкое, молоком истекающее зерно.

Ветер треплет волосы, гладит по щекам. Кружится голова от ароматов. Широко, вольно дышит грудь. Легко ходить по весенней земле.

Встречаю девушку. Спрашиваю, как пройти в Донево. Она смеется, все смеется в эти дни! Я иду совсем в другую сторону. У них есть в деревне слепой старик, так тот, бывает, пойдет в поле и погеряет дорогу.

— А ты молодой и зрячий...

Она права: я совсем молодой. Три с лишним десятка лет я ношу легко, не чувствуя никакой тяжести. И это вовсе не потому, что дни мои прошли веселой вереницей. Нет, я хорошо помню тяжелые годы, много гяжелых лет. Но годы не старят, если сердце твое горит и тянется к новому.

Я зрячий, и вижу, что девушка по-весеннему улыбается мне.

— А тебе сколько лет?

Она качает головой: она уже старая, ей скоро будет девятнадцать.

О, да! Девятнадцать лет, это много, очень много. Я моложе ее.

— Ну? — искренно удивляется девушка, и я смеюсь громко, на весь луг.

Конечно моложе, разве по мне не видно? Мне только будет семнадцать лет. Она не верит. Она видит в моих волосах седые нити, много серебряных нитей. Не может быть, чтобы семнадцать.

— Поверь, что нет еще семнадцати, разве не видишь, какой я молодой и веселый?

Девушка, кажется, поверила мне. Она о чем-то думает, — не о том ли, что она такая старая, что есть люди моложе ее?

— Не горюй, — говорю я ей, — ты еще тоже молодая. В наши дни не старятся. Ты в колхозе?

— Ну да, в колхозе.

— Тогда все в порядке. До самой смерти, — а она наступит через много-много десятков лет, — до самой смерти будешь молодая.

Мы смеемся — друг другу и своей молодости, скошенному лугу и зреющей ржи, синему небу и яркому солнцу.

— А ты откуда сама?

— Из Ивановки.

— Я к тебе сватов пришлю.

— Кто же сейчас сватов шлет? Полюбились, — так идут записаться. Приходи, запишемся, — вызывающе смеется девушка.

— Ладно, — отвечаю я, — приду.

И мы расходимся. молодые и радостные...

Иду, и навстречу мне бесконечные зеленые поля, пронизанные солнцем, и люди, улыбающиеся и со светлыми глазами. Закидываю голову. Небо синее и прозрачное. Кажется, видишь его до самых глубин. Расстегиваю воротник. Как ласков ветер!

Как прекрасна моя земля!

## 4

Начполитотдела Ординов приезжает на бюро райпарткома.

— Неужто все луга скошены? — с плохо скрытой завистью спрашивает секретарь райкома Морозов.

— Скошены. И государственные поставки выполнены, — отвечает Ординов и про себя рассчитывает: до начала

уборки зерновых осталось добрых двадцать дней. Можно помочь Морозову.

И он предлагает выделить в распоряжение райпарткома группу партийцев. Они научились работать, пусть помогут району закончить сеноуборку.

— А тебе это не помешает?

— Ничего, справлюсь. Ведь через неделку-другую они вернутся ко мне?

— Конечно! — отвечает Морозов, и ему досадно, как он мог подумать, что Ординов высокомерный. Совершенно замечательный большевик! Настоящий товарищ.

После бюро Морозов приглашает Ординова переночевать в Ельниках.

— Не могу, Морозов, у меня сегодня совещание по подготовке к уборке зерновых. Хочешь, поедем, послушаешь.

Они едут.

Хорошо поговорить о работе, вспомнить старое, заглянуть в будущее, когда быстро и легко бегут сытые эмтээсовские лошади по исправленному шоссе, когда яркооранжевое солнце спускается за зримо-округлую, цветущую землю.

\*\*\*

Директор МТС Савченко, агрономы Финкельберг и Пименова и мы, политотдельцы, сидим у нас дома за чаем, когда приезжают Ординов с Морозовым.

Завязывается — вернее, продолжается — оживленный разговор. Конечно об уборочной. Финкельберг доказывает, что в ряде случаев соцсоревнование принимает уродливые формы. Никакое это не соцсоревнование, когда забывают о качестве. В двух из восьми колхозах, где он был, убрали раньше всех, а на гектар пришлось только по девяти центнеров вместо нормальных десяти с половиною — одиннадцати.

— А все почему? — кричит Степа и сам отвечает: — Потому что председатели колхозов и бригадиры — шляпы.

Савченко поддерживает его и добавляет: если эмтээсовцы и политотдельцы не посмотрят, получается плохо. Ни черта не делают председатели сельсовета

тов, даже единоличниками не занимаются.

— Правильно, Виктор Степаныч, они сидят в своих канцеляриях, как мыши в норах.

— Положим, не все, — замечает Ордынов, — как не все наши уполномоченные на высоте, некоторые только тем и занимаются, что болтают. Они забывают, что руководить — значит вести, у ч и т ь, п о к а з ы в а т ь.

Я поддерживаю Ордынова: надо учить, показывать, что мы не всегда умеем. Особенно плохо с машинами.

Да, с машинами неважно. Трактора работают не на полную мощность, часты аварии, прицепные орудия шалят. Не на высоте, далеко не на высоте трактористы.

Пименова, все время молчавшая и поворачивавшая свое девичье-розовое лицо к говорившим, робко напоминает, что не только эмтээсовский, но и колхозный инвентарь полностью не используется. Об этом никто почти не говорит.

— И не пишет! — подхватывает помощник Ордынова во комсомолу Степа Юрченко, обращаясь к редактору политотдельской газеты.

Мы опорожняем уже второй самовар, а разговоры все продолжают. Наконец Ордынов суммирует: Савченко должен заняться трактористами, Финкельберг и Пименова — инвентарем колхозов и единоличников, мы, политотдельцы, — председателями сельсоветов и колхозов, секретарями ячеек.

Когда все расходятся, Морозов спрашивает:

— Ну, когда у тебя совещание?

Ордынов смеется:

— А оно уже было. Разве ты не слышал — поговорили, приняли решение.

Морозов тоже смеется смущенно. А ведь верно, посовещались... Без официальных докладов, речей, резолюций. Молодец Ордынов, черт возьми, какой молодец!

— Ты что ж, всегда так проводишь совещания?

— Зачем? Бывает, по всем правилам. Как придется...

\*\*\*

Ордынов проводит слет сторожей.

Сидит дед Липинского колхоза, курит цыгарку из газетной бумаги. Слушает.

— ... Колхоз принадлежит не одному человеку, а всем колхозникам, всему обществу. Колхозная собственность — общественная собственность. Но если колхоз будет зажиточный, то и каждый колхозник станет зажиточным, и жизнь наша будет сытная и веселая. К этому мы идем, к этому зовет нас товарищ Сталин.

... Чем зажиточнее будет колхоз и колхозник, тем крепче будет советская власть.

... Кто расхищает общественное добро, кто покушается на колхоз, тот враг народа, враг каждого из нас и всей советской власти. Нет пощады кулаку и вору, которые тянут назад, к нищете и темной жизни. Не должно быть жалости к лодырю, который подрывает колхоз.

... Колхозная, общественная собственность священна и неприкосновенна.

... Колхозному сторожу почет и уважение!..

Как будто простые слова говорит начальник, а деду не совсем понятно. Может быть, с непривычки — никогда ему не приходилось такого слышать. «Колхозному сторожу почет и уважение». Много его уважают в Липине! Его и за работника не считают. Да и всюду в сторожа посылают самых уж никудышных стариков. А начальника послушать — какое говорит!

Дед усмехается и шепчет соседу, такому же старику, как он сам:

— Сколько живу, сколько сторожую, а не знал, что такой я важный человек в государстве.

\*\*\*

В то время, как Ордынов беседует со сторожами, а те преисполняются гордости и уважения к себе, Степа Юрченко во-всю агитирует секретарей комсомольских ячеек, пионервожатых и учителей, собравшихся в помещении школы. Он

всячески доказывает, что сохранение урожая зависит единственно от комсомольской организации и пионеров. Опыт Северного Кавказа, где пионеры проявляют чудеса организованности и преданности колхозному делу, полностью доказывает, что зажиточность колхозника — в руках комсомола и его смены — пионеров.

Паша Шпанова, пионервожатая покровской школы, перебивает Степу:

— А выдадут нам оружие?

Степа Юрченко удивленно смотрит на Пашу.

— Оружие? Ребятам?

— Ну да, оружие! Ну да, ребятам! Как же охранять урожай без оружия? Какая же это охрана? А что, если попадется вор? Или поджигатель, или вообще какой вредитель? Ты выдай нам винтовки, тогда мы и сохраним урожай.

— Или перестреляем один другого! — раздается чей-то насмешливый голос.

Степа Юрченко, а за ним все громко и весело смеются. Ай да Паша, ай да стрелок!.. Но Паша нисколько не смущается. Она подходит к столу президиума, легонько отстраняет смеющегося Юрченко и сердито бросает:

— Вы чего гогочете? Думаете, что пионеры не умеют обращаться с оружием? Так вы ошибаетесь. У меня в школе обучаются стрельбе из мелкокалиберной винтовки ТОЗ.

— А настоящую когда-нибудь видели?

Смех усиливается. Паша чуть смущена: по совести говоря, она сама видела настоящую боевую винтовку только на плакате. А почему не вооружить ребят мелкокалиберными? Но у нее одна только тозовка, и та не совсем исправная, а ребят, выделенных для охраны урожая, полсотни. Придется найти другое оружие.

Но Степа Юрченко предлагает «вооружить» ребят только мешками да свистками. Мешками — для колосьев, которые останутся в поле неубранными, а свистками — на случай, если дозорные заметят что-нибудь неблагополучное. Да и то не всем, а только старшим,

наиболее сознательным и серьезным ребятам можно доверить свисток.

Паша разочарована. Она совсем не так представляла себе охрану урожая. Пусть все соглашаются со Степой, пусть все идут по явно оппортунистическому пути, — Паша пойдет к товарищу Ордынову с требованием поставить пионеров-дозорных в условия, соответствующие их высокому назначению...

\*\*\*

Но до Ордынова Паша Шпанова не может добраться. Он в самом дальнем сельсовете проводит совещание бригадиров. Послушать его — никогда не скажешь, что этот человек только три месяца занимается сельским хозяйством. Его внимательно слушают опытные сельские хозяева. Слушают и спрашивают совета.

К примеру: как увеличить выработку на одну жнею? Известно, что жнея вырабатывает от силы десять соток, а обычно семь-восемь соток. Как повысить производительность труда?

Ордынов усмехается.

— Как повысить? Очень даже просто: не терять ни одной минуты зря, жать с самого раннего утра и дотемна. Устраивать перерывы на отдых: два больших перерыва — по часу и каждые полчаса — по пяти минут. Всегда иметь под рукой свежую питьевую воду. Организовать обеды в поле. Прикрепить к жнеям вязальщиц снопов. Вести тщательный качественный и количественный учет. Развернуть социальное соревнование. Все это в ваших силах, товарищи. Ничего невыполнимого я не предлагаю. Самое сложное — питание в поле, но и его легко организовать, стоит только захотеть. Точно так же нужно создать полевые ясли, чтобы кормящим матерям не нужно было бегать в деревню накормить ребенка.

Колхозники слушают начальника политотдела: а в самом деле, почему не сделать так, как он советует?

\*\*\*

Нет колхоза, в котором мы не побывали бы, нет селения, где мы не вели



бы бесед с единоличниками. Все как будто проверено и налажено.

Начинается массовая уборка.

## 5

Целую неделю, изо дня в день, утром, днем и перед заходом солнца выходили колхозники в поле, к высокой, шуршавшей под легким ветром ржи. Все выше тянулись желтевшие стебли, все ниже клонились набухавшие колосья. С великим томлением смотрели колхозники на зревшее поле. Ныли руки — так хотелось косить. Срывали колос, растирали его в шершавых ладонях. Нет, еще рано: молоком истекает зерно. И возвращались в деревню.

Старый, лысый дед, тот самый, который слушал Ордынова и в котором зародилась гордость, что он, обыкновенный колхозный сторож, выполняет государственной важности работу, — сторожит липинское поле. Он приходит на дежурство под вечер, поправляет чучело, чтоб шире болтались его пустые рукава, отпугивая прожорливых галок. Дед ходит по полю, чутко прислушивается. Старая берданка с заложеным в дуло почерневшим от времени патроном висит за спиной.

Спускается светлая ночь. Деду кажется, что во ржи кто-то возится.

— Эй, — кричит он, — кто там? Выходи!

Он срывает со спины берданку, бежит на шум. Что-то черное метнулось в сторону.

— Стой! Стрелять буду!

Дед вскидывает ружье, нажимает курок. Осечка. А тень уже растаяла в ночи. Дед зорко вглядывается — ни души. Может, никого и не было, может, шум от ночного ветерка, а тень почудилась?

Утро наступает яркое, росное. Рожь за ночь налилась, доспела, так и просится под серп. А на соседнем поле уже позванивает овес. В прозрачном воздухе трепещет жаворонок, ныряют ласточки.

— Вишь, — думает дед, — птицы, а будто понимают, что хлебушко созрел.

Он обходит поле и вдруг весь холодеет от ужаса. В одном месте будто прошлись цепями. Видно, кто-то свирепый и жадный топтал рожь тяжелыми сапожищами. И тут же множество наскоро срезанных колосьев.

— Вот она, тень-то ночная, — шепчет старик, — так-то я уберегу колхозный урожай!

Он вспоминает слова начальника политотдела. «Общественная собственность священна и неприкосновенна». Так-то она неприкосновенна... Проворонил старик общественную собственность», прикоснулась к ней злодейская рука.

Дед спешит в деревню. Навстречу ему идет председатель колхоза с бригадиром и колхозниками.

— Как, дед, ржица?

— Вытоптали родимую! — говорит старик и опускает голову, — казните виноват...

— Как вытоптали? Что ты мелешь, старый?

Дед подводит колхозников к потраве. Они ахают, ругаются: кто мог это сделать?

— Вредители, враги народа, — вспоминает дед слова начальника политотдела. — Кому еще вредить... А я-то, старый пес, проглядел.

\*\*\*

Дед потерял покой. Председатель колхоза гонит его с поля.

— Поди домой, днем не будешь спать — ночью опять проворонишь злодеев.

Дед качает головой:

— Не провороню, а насчет моего отдыха не беспокойся.

Он ходит среди жниц и вязальщиц, зорко вглядывается — хорошо ли жнут и вяжут, правильно ли складывают снопы в бабки, не оставляют ли колос в стерне. Одну девку он так хватает за руку, что та визжит от боли.

— Ты что делаешь, — сурово спрашивает дед, — как берешь сноп, зачем колос по земле волочишь, хочешь, чтоб зерно обсыпалось?

— Ничего не обсыпется! А за руку не цапай, не твоя.

— Ты у меня смотри! Делай, как тебе говорят. Колхозное, небось, добро, общественная собственность...

Другую, которая плохо сгребает колосья, он заставляет сызнова пройти ряд. Та ворчит, но сгребает все до единого колоска.

Все привыкли к тому, что дед всюду сует свой нос. Ему уже не возражают, исполняют все его указания.

Никто не знает, когда он ест, когда отдыхает. Утром и после обеда он незаметно исчезает часа на два, потом снова появляется. Всюду мелькает его согнутая спина.



Дед сидит в тени аккуратно сложенной бабки, возится с берданкой, которой, кажется, не меньше, чем ему, лет. А сколько лет деду, никто, даже он сам, не помнит.

Давно живет дед, много на своем веку поработал у чужих людей. Много сторожил. Всегда берег чужое, хозяйское добро. Даже в последние два года, когда он был уже членом колхоза и сторожил колхозные поля и овины, — даже тогда думал дед: чужие люди доверили ему свое добро. Только после совещания в Покровском, в политотделе, только после слов начальника политотдела об общественной собственности, дед по-иному стал относиться к охраняемому добру.

Он — хозяин! Он охраняет свое собственное! Дед усмехается в седую бороду и оглядывает широкое, усеянное людьми поле. Вишь, добра-то у него сколько... Хозяин... И та девка, на которую он кричал, — тоже хозяйка, а председатель — тот самый главный хозяин. Разве так? Кто, председатель или он, дед, главный хозяин? Товарищ начальник говорил, что сторож охраняет общественную собственность, которая священна. Священна! Дед знал, что существует священное писание, святая церковь, были когда-то, говорят (а другие говорят, что не были), святые люди. Большевики будто и не признают святых, а тут на тебе — «общественная собственность священна и неприкосно-

венна». Общественная — значит колхозная, а колхоз, — чтобы лучше жилось. Значит, лучшая жизнь священна, так оно получается? Никто злой не смеет к ней прикоснуться, и он, старый старик, должен за этим проследить.

Дед снова возится с винтовкой, смазывает ее взятым у старухи-жены льняным маслом, осторожно счищает зеленую ржавчину с патрона.

Пусть кто попробует покуситься на колхозный урожай, старый дед не даст ему спуска...



В пять дней управились липинцы с уборкой. Благо поле небольшое, и овес поспел одновременно с рожью, а других зерновых липинцы не сеяли. Скосили, увязали в снопы, свезли на гумно.

Чисты поля, будто прошлись по ним метлой. Уже татакают цепи по разложенным в круг — колос к колосу — снопам, уже розданы авансы — колхозники едят ароматный хлеб нового урожая, уже проскрипела телега, груженная кругобедрыми, полными зерна мешками, на сыпной пункт: в первую очередь сдают липинцы зерно государству, они помнят наказ политотдела.

Деду немного грустно: уже скошены рожь и овес. Остались лен да картошка, и те вот-вот поспеют. Вот и лету конец, а там и осень, зима... Так и жизни конец придет. Бродит старик по тихим полям. Хорошь лен, наливаются коробочки, кой-где уже морщатся перышки, через два-три дня нужно будет убирать. А картошка! Ботва-то какая! Цветет..

Ему, старику, доверили охрану всего этого добра. Большое дело сторожить, но лучше самому пахать и жать, чтоб другие охраняли. Дед вздыхает: куда ему работать, — единственное, на что он еще способен. это сторожить. Вот он один в поле. Один. Все в деревне работают, а он сторожит, никому он уже не нужен..

Но он ошибается, старый дед. Он еще нужен. В поле приходит председатель колхоза.

— Хочешь, дед, поехать в Покровское?

А зачем ему в Покровское? А кто будет сторожить картошку и лен?

— Найдем сторожа. За тобой прислали из Покровского. Политотдел требует.

— На что я им? — пугается дед.

— Помощи твоей просят. Начальник, товарищ Ордынов, присылал.

Помощи? У него, у старика, которому скоро конец, просят помощи?! Да еще кто — сам полит, сам начальник!

\*\*\*

Ордынов поднимается из-за стола, идет навстречу деду, жмет ему руку, усаживает. Дед смущен, не знает, куда девать шапку, палку и мешок с хлебом. Наконец палку ставит к стене, а шапку и мешок — под стул.

— Ты, слышал я, хорошо сторожишь в Липине, хорошо смотришь, чтобы не пропало зерно. Вот решили мы тебя потревожить. Посмотри, как идет дело в Покровском колхозе. Колхоз большой, нужен зоркий глаз, а свои, знаешь, не все приметят. Присмотришь, помоги им. Мы должны болеть не только за свое, но и за общее добро, не только за свой колхоз, а за все колхозы. Потому что, если хорошо подумать, так к хорошей жизни можно прийти не в одиночку, а всеми колхозами, всем народом. Покровцам будет плохо, так и липинцам не весело. Верно?

— Верно, — отвечает дед, — посмотри, все тебе скажу.

\*\*\*

Если у себя в Липине дед неизвестно когда отдыхал, то здесь, в Покровском, он и вовсе забыл о сне и покое. Все суетится. Нет такого места, куда он не заглянул бы, нет такого поля, на котором не побывал бы. А поля в Покровском широкие, тридцать Липиных перекроют. И видит дед на них те же промахи, что и в Липине, только больше их, хотя в его колхозе все руками делают, а здесь — и серпом, и конной жнейкой, и трактором работают. В одном месте жнут так, что колос обсыпается, в другом неровно вяжут снопы,

в третьем топчут хлеба. И всюду разбросаны колоски, — если собрать, целые бабки составишь.

Дед говорит об этом председателю колхоза, тот сердится: как будто он сам не знает! И зачем это политотдел прислал ему этого старика? Прислал бы лучше еще один трактор.

Председатель сердится, а деду все равно: его послал товарищ начальник, значит он имеет право! И он не устанет указывать на неполадки — тому же председателю, бригадирам, колхозникам.

Дед встречает пионервожатую, Пашу Шпанову, та тоже рыскает по полю. С нею — ребятишки. Подбирают колоски.

— Так, детки, так, — говорит дед и показывает, как складывать колосья, как связывать их в снопы.

— А ты, дедушка, зачем здесь и откуда?

Дед гордо выпрямляется.

— Липинский я, урожай охраняю. Меня товарищ начальник позвал, чтоб я посмотрел за ними вот, за покровскими.

— И нас политотдел послал. У вас в Липине есть пионеры?

— Кто такие?

— Пионеры.

— Не слышал что-то, не знаю.

— А кто у вас колоски собирает?

— Сами бабы. Я им с поля не давал уйти, пока не соберут все до единого.

— А здесь без нас нельзя, без ребят урожай пропадет.

Видит дед, что в самом деле без ребят нельзя. И без стариков тоже нельзя, — ведь вызвали его, старого, на помощь. Вот она какая, советская власть! Старых и малых собирает, всем находит работу. И все для того, чтобы лучше жилось.

Дед идет в политотдел, прямо к Ордынову. Он уже не смущается — подробно рассказывает, какие неполадки в Покровском колхозе.

— Хороший урожай уродил, главное — чтоб не пропал, чтоб зернышко к зернышку уложить.

Ордынов благодарит деда. Тот даже удивляется: за что благодарить? Он делает единственное дело, на которое

только и способен по старости: он охраняет общественную собственность, которая священна и неприкосновенна.

## 6

Прихожу в Троицкое. Председатель колхоза, член ревизионной комиссии, секретарь комсомольской ячейки наперебой рассказывают: Троицкий колхоз через пять-шесть дней закончит уборку зерновых, еще через неделю — лен, а там — картофель, огороды. Попутно уберут всякую мелочь — гречиху, горох, вику на зерно. Уже сейчас приступили они к выполнению государственных поставок. Пятнадцать центнеров ржи сдано. Вот и квитанции.

Комсомольский секретарь, — он без фуражки, с расстегнутым воротом розовой рубахи, — выпячивает грудь.

— У нас соревнование поставлено хорошо.

— Мы за первое место бьемся, — поддерживает председатель колхоза, — за красное знамя политотдела.

Идем в поле. Оно раскинулось между болотом и лесом — широкое, утыканное растрепанными копицами. С одного края — тракторная жнейка, с другого — конная, в центре — жницы. Следом за ними идут вязальщицы.

Золотая пыль висит в воздухе. Веселые голоса перекликаются.

— Марфа!

— Чего?

— Водички холодной хочешь?

Марфа выпрямляется, отирает пот со лба.

— Хочу!

— Сбегай в деревню, принеси ведрышко.

Кругом смех. Марфа сердится.

— Черти лысые!

Спрашиваю колхозниц: неужто нет воды? Вода-то есть, да теплая. Известное дело — жара. А Марфа все толкует о ключевой водичке, вот ее и дразнят...

Иду по полю, вижу — в колючей стерне валяются неубранные колосья. Много их, разбросанных по жнивью. Троицкие колхозники в соревнователь-

ском азарте не особенно помнят о качестве.

Останавливаюсь, подбираю колосья вокруг себя. На меня с любопытством поглядывают: чем это занимается товарищ начальник? Растираю колосья в ладонях, отбираю зерна.

— Будет десять грамм? — спрашиваю подошедшего бригадира.

Тот про себя считает: десять грамм — это сороковая часть фунта. Он взвешивает зерно на ладони.

— Пожалуй, будет.

Председатель колхоза, видимо, понял, к чему я клоню. Он с беспокойством осматривает поле.

— Это, — говорит он, — только здесь плохо вязали, в других местах лучше.

Идем на другое, третье, пятое место. Всюду одно и то же. Вокруг меня уже целая группа любопытствующих колхозниц.

Загорелся спор: сколько зерна собрано с каждого места? А оно площадью примерно с квадратный метр. Одни говорят — десять, другие — пятнадцать грамм. Сходимся на том, что всего с пяти квадратных метров собрано сорок грамм — одна десятая фунта.

— А с гектара сколько будет?

Подсчитываем: пять пудов.

— А сколько всего у вас ржи?

— Шестьдесят пять га.

Значит, по полю разбросано триста двадцать пять пудов ржи.

Десять грамм — пустяковое дело, о котором и не стоит говорить. Пять пудов — это уже целый мешок, а триста двадцать пять пудов — это сумма государственных поставок ржи всего Троицкого колхоза.

— Молодцы, — говорю я, — хорошо убираете... Займете первое место... по потерям...

Председатель, член ревизионной комиссии и секретарь комсомольской ячейки набрасываются на колхозниц: зачем они смотрят, как они убирают колхозный хлеб?!

— А ты зачем смотришь, товарищ председатель? — спрашиваю я.

— У меня целый колхоз в голове, — отвечает он.

— Целый колхоз вмещаешь в голову, а для трехсот двадцати пяти пудов не находится места? Ты отвечаешь за колхоз! А ты, легкая кавалерия, — говорю секретарю комсомола, — не отвечаешь? А ревизионная комиссия?

...На троицких полях начинается тщательная сгребка колосьев.

\*\*\*

Просыпаюсь от страшного грохота и не сразу понимаю, что происходит — рушится изба, горит, кого-то режут?.. Ничто не рушится, не горит, никого не режут! гроза — только и всего. По-лыхают голубые молнии, кажется, кто-то огромным и яростным бросает в окна пригоршнями крупные капли дождя. Гром рассыпается тяжелой дробью над самой головой. Моя хозяйка мечется по комнате, успокаивает детишек, а сама все время крестится. До смерти напугана и твердит сдавленным шопотом:

— Батюшки-светы, что-то будет?

Я и сам не знаю, что будет. Лежу и с ужасом думаю о несвеженном с поля хлебе.

Только под утро утихает гром. Но дождь продолжается. Он льет безостановочно целый день. С трудом пробираюсь в сельсовет, звоню Ордынову. Он раздражен.

— Куда ты пропал? Целых три дня не звонил.

— По колхозам шатаюсь.

— Именно шатаешься, работать надо.

Я возмущен: бегаю, как сукин сын, не зная отдыха, валяюсь, где только придется, а он чуть-ли не ежедневно бывает в Покровском и еще ругается. Отвечаю ему в тон:

— Конечно, только ты работаешь.

Ордынов молчит некоторое время, потом уже спокойнее продолжает.

— Ладно, Андрей, выкладывай, как дела.

— Какие у меня могут быть дела? Дождь хлещет, как из ведра.

— И у нас дожди. Барометр показывает «переменно».

— Барометры врут. Ты лучше скажи, что делать.

Ордынов смеется:

— Сидеть у лужи и ждать погоды.

— Дождешься! Конца-краю не видно дождю. Разверзлись хляби небесные.

— Да ты, видно, в библию ударился.

— Ударись от такой погодки. Колхозники сидят дома, хлеб в поле мокнет. Настроение падает.

— Плюнь на настроения, работать надо.

— Но что делать? Не косить же мокрый хлеб, не теревить же лен?

— Этого делать не надо. Подготовляй народ к хорошей погоде.

— К хорошей он готов, вот в плохую что делать?

— Повторяю: подготовляй народ к хорошей. Молотить надо, сдавать хлеб государству. Это одно. Второе — чинить инвентарь, который основательно поизносился за время уборочной. Немедленно отобрать льнотрепальщиц, пора готовиться к обработке льна. Я думаю организовать слет льнотрепальщиц, как ты на это смотришь?

Уверенность Ордынова приводит меня в восхищение. Ну, и молодец! Он никогда не теряется. А я, шляпа, раскленлся, поддался настроению своей хозяйки.

Ордынов будто угадывает мои мысли:

— А настроения оставь для поэгов, а, Андрюша? Пусть они грустят, а мы уж поработаем. И еще одно, ты где сейчас?

— В Троицком.

— И долго думаешь там сидеть?

— Пройдет дождь, сейчас же двину.

— А если дождь еще неделю будет лить?

В самом деле, а что, если дождь будет лить неделю? Буду сидеть в Троицком и слушать причитания моей хозяйки? Хорошее занятие для заместителя начальника политотдела, нечего сказать. Смотрю на свои сапоги. Они явно требуют ремонта. Пустилки, починю их в два счета. Мой «непросыхаемый» плащ прилип к плечам, тут уж ничего не поделаешь, придется его чаще просушивать. И я весело отвечаю Ордынову:

— Пойду по колхозам.

— Вот это другое дело. Я тоже двигаю по деревьям. Не падай духом, Андрей, держи связь.

— Есть, держи связь!

Третий день уже льет дождь. Дороги расползлись, все мельчайшие углубления заполнены водой. Только в непогоду по-настоящему замечаешь, как ужасны наши дороги. С трудом пробираюсь из деревни в деревню. Тону в грязи по колено, не в переносном смысле, а по-настоящему: бывает — заливают за голенище, и я руками еле вытаскиваю собственную ногу.

Случается — серая пелена неба прорывается. Солнце выглянет на два-три часа, поля подсохнут. Можно было бы ждать, но стоит ли, когда вот снова наползает туча? И снова дождь. Пробираюсь на поля. Подхожу к сложенным копицам ржи и овса. Кой-где набухает водой зерно. Вытеребленный лен залит дождем — это не страшно: он в естественной мочке; чем скорее промокнет, тем раньше поднимут его со стлища. Но зато еще несошенный хлеб, невытеребленный лен! Колосья ржи, метелочки овса, коробочки льна купаются в грязи. У меня сжимается сердце от тревоги и полной беспомощности. Неотступно и мучительно сверлит мысль: что делать?

Один выход: ждать ведра!..

Когда же, когда мы станем полными владыками природы? Когда мы сможем регулировать погоду? Нужен дождь — тучи сгоняются в одно место и разряжаются дождем. Нужно солнце — разгоняются тучи.

Под проливным дождем голова моя горяча от всяких фантастических планов: аэропланы, врезающиеся в облака... Зонды, заряженные электричеством, протыкающие и разгоняющие облака... Конденсаторы, собирающие вокруг себя облака... Мои мысли больше всего заняты облаками. Это они обложили небо от края до края, они закрыли голубизну неба и жаркое, такое нужное солнце, они извергают потоки воды, заливающие землю. Облака, облака... Ах, проклятые облака! Будет когда-нибудь на вас управа, или человек всегда будет в вашей власти? Ведь по-

лучается, что облака, и только единственно они, владеют миром. Они, и никто больше, похищают жизнетворящее солнце, они, и только они, крадут радость мира. А в засушливых районах они жизнетворящи, а их нет. Человечество явно недооценивает значения облаков, именно к ним должна быть прикована научная мысль. Почему наша советская Академия наук, и та еле-еле раскачивается на разрешение основной проблемы жизни — проблемы влаги?

Ордынов говорит — не поддавайся настроениям! Хотел бы я посмотреть, как он выглядит сейчас, после трехсуточного дождя!..

Прихожу в деревню и конечно не подаю вида, что меня угнетает дождь. Организовываю людей для текущих работ, на подготовку к хорошей погоде и к обработке льна. Странное дело: настроение колхозников совсем не такое плохое, как, казалось, должно бы быть. Редко-редко вижу по-настоящему встревоженного человека, и то это в большинстве случаев председатель колхоза. Рядовой колхозник спокоен. Не хочу спрашивать спокойных, чтобы не зародить в них тревоги. Нечего спрашивать тревожащихся, потому что отлично понимаю их без всяких расспросов.

В чем дело?

\*\*\*

Мой старый — с весны — приятель, Спиридон Константинович Тузов, хмур, как никогда.

— Что ж это будет, Андрей Никитич, погибать, что ли?

— В чем дело, чего горюешь?

Тузов откладывает в сторону сапог, который он как-то особенно тщательно, по-тузовски, обглаживал, отчего он весь сияет в его заскорузлых, но ловких руках.

— Как так чего, нешто не видишь? Заливат!.. Заливат! — с тоскою повторяет он. — Одноличникам совсем каюк. Убраться не успел, пропадет ржица и лен поляжет...

— Не у тебя одного хлеб в поле, у колхозников не многим лучше.

Тузов укоризненно качает головой, он удивляется моей непонятливости.

— Что ты, Андрей Никитич, разве можно меня с колхозником равнять? Ему что от непогоды, — убыток, не больше. А мне — конец! В колхозе если и сгниет малость, — все больше останется, а мне что? У самого малость, и та пропадет. С чем же я войду в колхоз, а?..

Мне сразу становится понятным спокойствие колхозников. Прав Тузов: в колхозе, если и сгниет малость, все больше останется. Колхозник перестал бояться случайностей, от которых гибнет единоличник, ему на практике стал понятен непреложный закон экономики: чем крупнее хозяйство, тем оно устойчивее. Колхозник на деле увидел преимущества крупного хозяйства. И единоличник понял это, не зря он тянется в колхоз. Но в спокойствии колхозников таится также опасное равнодушие. Равнодушие к общественному хозяйству. Колхозник еще не чувствует себя хозяином, он не боится за общественное добро. Мне хотелось бы видеть встревоженных колхозников, хотелось бы почувствовать, что люди болеют за общественное добро. А они спокойны, как будто дело идет о чужом.

Сложна, ох, как сложна натура колхозника! Много еще надо поработать, чтобы он стал социалистом.

Работать, но не причитать! И я беру себя в руки. Шляпа, — ругаю я себя, — байбак! Раскис от непогоды, возмечтал о регулировании облачного движения. Дело конечно нужно, но мечтами о покорении природы не поможешь. На деле покоряй ее и своди к минимуму потери от неполного еще овладения природой.

## 7

В Саввине не думали о ригах с прошлого года. Крыши протекают, двери сорваны, печи развалены, стены, и те расшатались. Зову членов правления и колхозный актив.

— Много хлеба и льна просушите в этих ригах?

Некоторое время все хмуро молчат, потом поднимается шум. Колхозный актив набрасывается на членов правления: они должны были следить за со-

стоянием построек, — на то они и выбраны. Члены правления отругиваются: почему они отвечают больше других? Они не наняты. Отвечает за все председатель.

Все обращаются к председателю правления.

— Ты о чем думал, Степан?

Молодой парень, Ваня Талыгин, на смешливо бросает:

— Пусть лошади думают, у них головы большие.

Председатель правления внезапно выходит из себя.

— Почему я один должен отвечать?

— Ты трудодни за это получаешь!

— Провалитесь вы со своими десятью трудоднями в месяц! Как простоять колхозник я в два, а то и в три раза больше выработаю и буду знать одно дело, а сейчас я мотаюсь, как собака, не знаю отдыха и покоя. Посмотрите на мою избу, она выглядит не лучше риги.

Беру под защиту председателя. Конечно он не доглядел, но почему правление не помогает председателю? Хотя бы напомнили о ригах. Председатель не может и не должен работать один за всех. А где был актив? Вот хотя бы этот Ваня Талыгин. Остер на язык, что и говорить, а почему он молчал, когда разваливались риги, был ли один случай, чтобы он пришел в правление со своим предложением об улучшении работы?

— Не было, ни разу не было, — кричит председатель, — он только и знает, что насмешки строить.

— Ты меня звал?

— А кто тебя сегодня звал?

— Сам пришел.

— Почему раньше сам не приходил?

Кой-кто уже поддерживает председателя. В самом деле, разве может один Степан за всем уследить?

Ваня Талыгин молчит. Тоже люди. Только-что все ругали Степана, председателя, а теперь на него набросились. Как будто он, Ваня Талыгин, председатель.

Вижу, что спор может затянуться, как дождь. Надо действовать.

Все согласны, что споры не помогут, и берутся за дело.

Стучат топоры, чавкает глина, визжат пилы. Степан, который не имеет времени починить собственную избу, взобрался на крышу риги и, несмотря на дождь, споро латает ее. Ваня Талыгин, забыв про обиду, возится у печи. Третий навешивает дверь. К вечеру рига отремонтирована. Завтра можно взяты за другую.

— А ведь пустяки-то дело их починить.

— В пустяках и путаемся.

— Пока нашего брата не ткнешь носом в дерьмо, мы и примечать его не будем.

— Не пора ли, товарищи, самим научиться действовать?

— Ты только скажи, а действовать будем сами..

\*\*\*

Иду ночевать к Талыгину. Под ногами плюхает грязь, сверху безостановочно сыплет мелкий дождь. Ваня Талыгин жалуется:

— Что у них за деревня? Ни тебе избы-читальни, ни комсомола, районная газета, и та редко приходит. Вообще ничего нет. Темнота. И ниоткуда помощи. Случалось, к ним приходили товарищи из Ельников, заглядывал также агроном из Покровского. Но какой от них толк? Придут по общественному делу — налож какой или посевная кампания. Соберут собрание, потолкуют и уйдут. А чтобы посидеть хоть один день, так этого он не запомнит. Саввино — на отлете, им не помогают.

— Почему ты сам ничего не делаешь?

— Что я один могу? Меня не послушают.

— Попробуй.

— И пробовать не стоит.

Рассказываю о комсомоле: были одиначки, потом десятки, сотни, двадцать тысяч, а сейчас за пять миллионов с лишним перевалило.

— Пять миллионов? — удивляется Ваня, и голос его вздрагивает.

— Пять миллионов рабочей и крестьянской молодежи!

— А ведь я сам до колхоза был из бедноты, — задумчиво замечает Ваня.

— Почему ты не вступишь в комсомол?

— У нас ячейки нет.

— В соседней деревне есть.

— А разве можно так, чтобы жить в одной деревне, а в комсомоле быть в другой?

— Можно.

— Мне никто не говорил.

— Ты не спрашивал, оттого и не говорили... А много в деревне таких, которые пошли бы в комсомол?

— Найдутся, только позови.

— Позовем!

Молча продолжаем путь. В душе ругаю Степу Юрченко. Тот плохо, совсем плохо налаживает комсомольскую работу, мало думает о беспартийной молодежи. А молодежь есть, действительно правы колхозники: ты только скажи, а действовать будем сами. Разве нельзя заставить действовать Ваню Талыгина? Таких Талыгиных сотни, тысячи, с ними горы перевернешь, сразу двинешь деревню вперед. Подумать только: если бы в каждой деревне была комсомольская ячейка, если бы понастоящему работать с молодежью!

— Так, говоришь, можно записаться в комсомол в другой деревне? — прерывает молчание Ваня.

— Можно. Запишись и других втяни, а там и свою ячейку создадите.

— Так и сделаю, товарищ начальник. Нам, бывшей бедноте, а теперь колхозникам, нельзя без комсомола.

— Никак нельзя. Политотдел тебе поможет.

— Вот помоги, товарищ начальник, — оживляется Ваня, — мы такое в деревне сделаем. Избу-читальню откроем, книжки купим, газеты. И такого не будет, как с ригами, все раньше делаем. А вот здесь я живу.

Нам открывает дверь старушка — мать Вани. Она не совсем приветливо встречает меня: где ей принять гостя в своей избушке? Но Ваня не обращает на нее внимания. Он зажигает подслеповатую, без колпака, лампу, сам достает с полки хлеб, крынку молока.

— Ты, мать, не сердись, что я ввалился непрошенный, — говорю старухе, — переночую только и уйду.



Старуха машет руками:

— Что ты, милай, что ты? Ночуй на здоровье, от нас не убудет. Тебе бы ладно было.

Она сидит на краешке скамьи, внимательно слушает мой разговор с Ваней. Я ему — о комсомоле, он мне — о деревенской их жизни, о колхозе.

— Что, — спрашиваю старуху, — в колхозе тебя не обижают?

Ее не обижают, ей хорошо в колхозе, не то, что раньше, когда горе-горевала. Сейчас она уже о новой избе думает. Ванятка вот подрос, надо же избу сладить. Это раньше они жили — кусок хлеба во рту считали, а сейчас, слава богу, можно и об избе подумать. Ванятка трудодни зарабатывает, и она тожс..

— Вот погляди, — достает она из-за образов труднижку, — сколько у меня их, трудовых-то дней? Еще середина лета, а у меня одной, небось, сто будет.

— Сто восемь, — подсчитываю я.

— Она ударница, — не то с гордостью, не то с легкой насмешкой говорит Ваня.

— А ты не скаль зубы, — сердится старуха, — не хуже тебя работаю.

\*\*\*

Просьпаюсь от легкого толчка.

— Товарищ начальник, а, товарищ начальник!

— В чем дело, Ваня?

— Погляди, дождь-то перестал..

Вскакиваю, подбегаю к окну. Действительно, дождь перестал. Небо проясняется. Тучи поредели, сквозь мутную пелену пробивается серебристый диск луны, кой-где блестят звезды. Тучи бегут, подгоняя друг друга, наполкая одна на другую. За ними образуются широкие проталины. Совсем безоблачно на востоке. На самом горизонте вдруг вспыхивает красная полоска.

— Будет ведро, — радостно шепчет Ваня.

\*\*\*

Мне казалось, что потребуется несколько дней, пока просохнет земля. Я недооценил силы солнца. Уже к полу-

дню оно настолько высушило дороги, что по ним можно итти, не промочив сапог, а к четырем часам дня от пятидневного дождя остались одни озерца в глубоких впадинах.

Люди, до тошноты отдохнувшие за дни вынужденного безделья (какое это дело — починка инвентаря, конюшен, риг и всякая иная работа вне поля?), с особой охотой высыпали в поле. Наквозь промокшие снопы поставлены в бабки. Солнце и ветер быстро делают свое дело. — снопы просыхают буквально на глазах у повеселевших колхозников. Вокруг склонившихся под дождем ржи, овса и льна нетерпеливо похаживают женщины: можно бы начать уборку, да правление решило повременить до завтра, пусть лучше просохнет.

Смотрю на небо. Оно упруго-голубое, устоявшееся. Пожалуй, можно повременить, по настроению колхозников вижу, что они наверстают упущенные дни.

Подхожу к старухе Талыгиной:

— Ну что, мать, как лен?

— Маленько обмяк, вишь, головки разбухли. Но их солнышком и ветерком проймет, налитые станут.

Ухожу из Саввина. Меня провожают до околицы председатель сельсовета и Ваня Талыгин.

— Помирились? — спрашиваю.

— Помирились, — улыбается председатель, — он у меня с сегодняшнего дня первый активист. Верно, Ваня?

Ваня кивает головой: активист. Приходи, повидишь, как у нас завтра пойдет уборка.

\*\*\*

Завтра они не начнут: к вечеру снова затянуло небо, а с ночи полил дождь, такой же назойливый и, кажется, нескончаемый, как все эти пять дней.

8

Прихожу в Покровское мокрый и злой. Кончится когда-нибудь этот дождь, уберем мы урожай? Если такая погода протянется еще несколько дней, мы погибнем. Все сгниет. От наших уси-

лий, от колхозного труда останется буквально мокрое место.

Встречаю старшего агронома Финкельберга. Он тоже мрачен.

— Что, Исаак Самойлович, плохо?

— Плохо, Андрей Никитич, совсем плохо.

Он зовет меня к себе. Посидим, мол, чайку поьем, отогреемся. Охотно принимаю его предложение.

Живет он, как и все мы, приехавшие в Покровское, холостяком. Семья в Ельниках. Не успел или не хочет переводить ее сюда: все-таки деревня.

У него чистая, уютная комната. Занавески на окнах, половики, яркая лампа. Этажерка с книгами. Больше всего конечно сельскохозяйственных. Есть общеполитические. Порядочно беллетристики: Толстой, Глеб Успенский, Неверов, шолоховская «Поднятая целина». «Бруски» Панферова, «Разбег» Ставского, «Лапти» Замойского.

— И беллетристика сельскохозяйственная? — улыбаюсь я.

— Ничего не поделаешь, тянет к земле.

— Толстой тоже земляной?

— А то как же!

Вспоминаю Игоря, политотдельского секретаря, который предпочитает Толстого всем агрономическим авторитетам беру книгу с полки.

— Хорошо писал, — говорит Финкельберг, — нашим бы так.

— Не плохо.

— «Анна Каренина»? — заглядывает он в книгу, которую я перелистываю, — совершенно замечательная книга.

— Не потому ли вы любите ее, что в ней всякие рассуждения о сельском хозяйстве?

Финкельберг смеется.

— Вы думаете, что я читаю «земляных» писателей потому, что они знают сельское хозяйство? Нет, никак нет. Они мне ближе, потому что пишут о родной мне стихии, только. И старые, и молодые писатели очень слабо знают самое сельское хозяйство, меньше всех знал его Толстой. Люблю Льва Николаича, но, знаете, он рассуждал о сельском хозяйстве, как либеральный барин:

немножко цивилизации в виде сельскохозяйственных машин, признание рабочей силы как основной движущей силы сельского хозяйства — и все. Либеральная декламация. Возьмем хотя бы «Анну Каренину». Сколько там рассуждений о деревне! И как все неконкретно! Константин Левин, любимый герой Толстого, пишет даже книгу о сельском хозяйстве, но заметьте, — кончается роман, а книга не только не написана, но остается неизвестным, что он, собственно, хотел в ней написать. Зато совершенно четко изложены религиозные воззрения Левина. Толстой боялся додумать до конца свои, в какой-то мере правильные, положения, он прятал их за размышления о боженъке.

Мы пьем чай, говорим о Толстом, о погоде, об убытках, которые приносит дождь, о колхознике. Финкельберг настроен явно скептически.

— Знаете, Андрей Никитич, что меня поражает в нашем колхознике?

— Нет, не знаю.

— Его собственническая натура! Хожу вот по колхозам, советую, в какой-то мере помогаю и руковожу. Я превратился, — улыбается Финкельберг, — в политагронома.

— Вы жалеете об этом?

— Наоборот, совсем наоборот. Это обогащает меня лично и помогает мне подойти к колхознику. Так вот о нем-то я и хотел сказать. Наблюдаю за ним и с каждым шагом все больше удивляюсь: как силен в нем еще собственник.

Я настораживаюсь: значит не я один заметил новое качество колхозника! Впрочем, почему новое? Колхозник, каким был месяца два назад, таким и остался. Опять не то. Он изменился, стал за это время большим коллективистом, но и сейчас он меньше коллективист, чем это казалось. мне несколько месяцев назад. Но тут не его вина, а моя беда: я идеализировал, прикрашивал действительность. Надо знать, надо видеть, куда что идет.

В тоне Финкельберга я слышу разочарованность. Решительно спорю с ним, и, чем дальше, тем больше вижу свои собственные ошибки.

— Не терпится вам, Исаак Самойлович, по готовенькому новому человеку тоскуете?

— Да нет, — досадливо отмахивается Финкельберг, — знаю, что колхозник еще не новый человек. Но все же в нем должно быть больше социалистических элементов. Вот сейчас дожди, хлеб мокнет, портится. Вы думаете, колхозник болеет за урожай?

— А по-вашему, ему безразлично?

— Ну, это было бы чересчур. Как бы вам объяснить? Ну вот. Я уже сказал, что хлеб портится, казалось бы, надо было изыскивать способы его спасения, хотя бы волноваться. А что мы наблюдаем? Какое-то поразительное спокойствие. Не будь вас, Ордынова, нас всех, он бы и не подумал о хлебе. А все почему? Не его добро пропадает!

— Вы сгущаете краски. У колхозника куда большая тревога за урожай, чем вам кажется.

Финкельберг волнуется.

— Да нет же, Андрей Никитич, он по-настоящему не тревожится. Вы посмотрите, как колхозник относится к своему огороду и как — к общественному полю. Совсем по-разному. А все потому, что огород принадлежит ему лично, а поле — общее. Неужто вы будете это отрицать?

— Буду!

— Простите, Андрей Никитич, но вы не искренни. Или же ослеплены.

— Ни того, ни другого. Вы правы, когда говорите о собственнических инстинктах колхозника, есть также разное отношение к своему и общественному.

— В чем же дело, — перебивает меня Финкельберг, — значит, я прав?

— Нет... И вот почему. Надо брать колхозника, вчерашнего одиночника, со всеми его положительными и отрицательными качествами, надо переделывать его, не помышляя сделать его сразу идеальным социалистическим человеком.

— Знаю, знаю! — опять с досадой прерывает меня Финкельберг, — вы мне скажете, что новое побеждает не сразу. А я о чем говорю? О том, что нет еще нового человека.

— Так-таки нет? Ударный сев, социалистическое соревнование.

— Все это ерунда, если не изменилось отношение к собственности, если свое это свое и за него человек будет драться до смерти, а на общественное ему наплевать.

— Надо, чтобы общественное стало своим, надо, чтобы колхозник почувствовал себя хозяином колхоза.

— В этом все дело!

— Выслушайте меня спокойно, Исаак Самойлович.

— Ладно, слушаю.

— Повторяю: надо, чтобы колхозник почувствовал себя хозяином колхоза. Вы правы — все дело в этом. Но вы забываете, что тот, кто относится к общественному, как к своему, уже есть новый, социалистический человек. Этого еще нет? Правильно! И быть пока не может.

— Когда же это будет?

— Погодите, Исаак Самойлович, мы ведь условились, что вы спокойно выслушаете меня.

— Слушаю, слушаю, простите.

— Обратили вы внимание на такое явление: где обмолотили первый хлеб и выдали авансы, там колхозник сразу как-то ближе подошел к колхозу. Он почувствовал, на деле увидел: колхозный хлеб — его хлеб! А когда закончится уборка, молотьба, государственные поставки, когда будут созданы все фонды и колхозник получит полностью по трудодням, он сразу и решительно изменит свое отношение к колхозу. Заметьте еще, что старые колхозники и сейчас уже куда более коллективистичны, чем новые. Вы думаете, оттого, что они больше привыкли, сжились с колхозом? Нет, они просто поняли пользу колхоза. Вот в чем дело. Крестьянин не мыслит абстрактными положениями, он очень конкретен. Почему он пошел в колхоз? Потому что увидел: колхоз выгоднее единоличного хозяйства. Когда он почувствует колхоз своим? Когда тот будет приносить ему ощутимую пользу. Тогда он станет хозяином, будьте уверены! И сейчас он уже все больше и больше хозяин, а через некоторое время станет еще лучшим, настоящим, со-

циалистическим хозяином. Личное и общественное станет одинаково дорогим. А это будет только тогда, когда колхоз даст ему хорошую, культурную жизнь. Этого нельзя сделать в течение одного года, но это будет сделано в течение второй пятилетки. Чем крепче будет колхоз, тем больше социалистических элементов будет в колхознике. Колхозник станет социалистом только, когда он станет зажиточным, а зажиточным он может стать не в одиночку, а только, исключительно вместе со всем колхозом. Вы конечно помните сталинский лозунг: сделать всех колхозников зажиточными, колхозы — большевистскими. Заметьте, что это не два разных лозунга, а один. Этого добьемся мы тем скорее, чем меньше будем идеализировать колхозника и ударяться в панику. Не правда ли, дорогой Исаак Самойлович?

Финкельберг поднимается, ходит по комнаге. Думает.

— Да, — говорит он наконец, — это правильно. Счастливый вы народ, большевики: знаете, что нужно и как нужно делать, чтобы перестроить мир. Я смеюсь:

— А почему бы вам не знать?

— С вашей помощью, видимо, узнаю.

## 9

Мы собираемся у Ордынова. Он сидит угрюмый и злой.

— Что ж, товарищи, будем еще ждать и охать, а скошенный хлеб тем временем преспокойно сгниет?

Мы молчим: а что делать, когда дождь безостановочно льет?

Ордынов считает, что мы можем действовать. Надо взять пример с лучших единоличников.

— С кого? — поражаются собравшиеся.

— С лучших сдиноличников! — твердо повторяет Ордынов. — Они свозят скошенный хлеб в риги, сушат и даже молотят его.. Чем, скажите, колхозник хуже единоличника и кому, кроме как кулаку, выгодно наше бездействие?..

Стоит человеку растеряться, как ему кажется, что все действует против него

Жизнь обратилась к нему самыми неприступными своими сторонами. Люди все злые, неласковые. Природа, и та ополчилась против него, потерявшего точку опоры. Если же человек не теряется, тогда, наоборот, все, кажется, благоприятствует ему, вообще жизнь великолепна.

Так и у нас. Когда мы не знали, что делать, нам казалось, что дождь льет, не переставая, скошенный хлеб сгнил, а нескошенный весь до последнего колоса полег и вот-вот пропадет. Когда же Ордынов предложил действовать побоевому, когда он встряхнул нас, мы вдруг увидели, что дождь вовсе не беспрерывен, что скошенный, поставленный в баки хлеб, хотя и промок, но отнюдь не гниет, а нескошенный полег только в самых низких местах. Жнейкой его, пожалуй, не возьмешь, а серпом — сколько угодно.



Прихожу в кочкинский сельсовет. Мения встречает Козловский, совпартшколец, избранный на время производственной практики председателем сельсовета. Козловский рассказывает о своих успехах.

После моего последнего посещения он широко развернул работу. Все риги приведены в порядок, инвентарь отремонтирован, лошади отдохнули. Остается ждать хорошей погоды, чтобы со всей силой взяться за окончание уборки. Все в порядке. Да, он чуть не забыл: распоряжением районо Нуоров снят, покинет до осени в Кочках, а там его совсем уберут.

— Все это хорошо, а как хлеб?

Козловский мрачнеет:

— Что ж хлеб? Мокнет.

— А нельзя ли скошенный свезти в отремонтированные риги?

Козловский удивляется: как его провезешь по болотам? И толк-то какой?

А толк такой, что хлеб не будет мокнуть под дождем.

Это конечно верно, но лучше уж подождать, ведь дождь-то не может продолжаться до бесконечности. Вот позавчера было уже совсем хорошо.

— А что сделали кочкинцы за этот день?

— Что ж за день сделаешь? Не успело, как следует, подсохнуть, как снова поило.

Пока мы ведем этот разговор, сельсовет наполнился любопытствующим народом. Колхозники и единоличники слушают разговор начальника политотдела и председателя. Молчат. Переглядываются. Перешептываются. По лицам вижу, что большинство на стороне Козловского. Так можно провалить дело. Я дискутирую, когда нужно действовать. Легче всего конечно приказать: начать, мол, свозку в риги, и никаких больше. Но это не в правилах политотдельцев. Мы должны убедить людей.

Замечаю среди собравшихся Тузова. Он тоже внимательно слушает наш разговор.

— Спиридон Константинович, — обращаюсь я к нему, — у тебя-то как со жнивом?

Тузов тяжело вздыхает.

— Плохо, Андрей Никитич, совсем плохо.

— Как так плохо?

— Не подступишься к жнитву-то, — раздается чей-то злой голос.

— Во-во, не подступишься, — подтверждает Тузов, — разве можно мокрое то жать?

— Об этом никто не говорит. Ты хоть что-нибудь да убрал?

— А то как же, — даже пугается Тузов, — убрал, целую полосу ржи убрал.

— А где у тебя убранный рожь?

— Известно где, — на гумне.

— Успел свезти?

Тузов, как ни опечален тем, что у него убрана только лишь одна полоса ржи, не может сдержать усмешки.

— А как иначе, Андрей Никитич? Конечно свез, что же хлебу-то пропадать?

— В дождь свез?

— Пришлось.

— Ты в колхоз хочешь, Спиридон Константинович?

Тузов вздрагивает от неожиданного вопроса.

— Сам знаешь, Андрей Никитич, — тихо говорит он, — только об этом мечту имею.

— А зачем в колхоз? Сейчас ты сжал полосу, свез ее на гумно, а был бы в колхозе — хлеб мок бы под дождем.

Тузов оживляется.

— Не было б этого, Андрей Никитич! Я бы не допустил.

— Допустил бы, Спиридон Константинович, стоит кому вступить в колхоз, как с него снимается забота об общественном добре. Мне не веришь, — спроси Михаила Маслова, он имеет опыт.

Сельсовет сразу наполняется шумом. Будто прорвало плотину. Люди кричат, размахивают руками. Громче всех кричит Михаил Маслов, все время мрачно слушавший наш разговор.

— Правильно говорит Андрей Никитич, снимается забота! — говорит он.

— А почему? Помнишь, Михаил Федорович, как ты ерепенился весной, когда был еще единоличником? Говорил, что не вступаешь в колхоз, потому что колхозники плохо работают. Когда же колхоз хорошо закончил сев, ты попросился в колхоз, а сейчас сам ничего не делаешь, ждешь, когда сгниет хлеб.

— Не могу я один за всех.

— А ты требовал, чтоб свезли скошенный хлеб на гумна?

— Я...

— Врешь, — выходит из себя председатель колхоза Кокарев, — врешь, Михайла! Ты только о себе и думаешь... Когда случилось, что тебе не дали лошади в Ельники, ты бузил, а с тех пор молчишь, о колхозном деле не заботишься.

— Я всегда ударяюсь в работу.

— Что тебе поручают, ты выполняешь, а дальше — шагу не сделаешь.

— А ты поручай! Было такое, чтобы ты меня спросил о деле?

Кокарев должен признать: он не помнит такого...

— А сам ты чего не приходил? — спрашиваю Маслова. — Когда ты вступил в колхоз, ты говорил, что повернешь все по-своему? Вступил и забыл? Так активист не поступает. Человек ты зна-

ющий и дельный, надо проявлять себя в работе. И ты, товарищ Кокарев, помни: надо привлекать людей, нечего ждать, пока они к тебе придут. А теперь давайте обсудим — кто поступил правильно: Спиридон Константинович Тузов, который успел сжать одну полосу, но всю свез на гумно, или же колхозники?

Со мною не спорят: правильно поступил Тузов.

— А не следует ли нам поправить дело? Не следует ли немедленно свезти скошенный хлеб?

Следует! Они завтра же возьмутся за перевозку снопов в риги.

Ухожу из Кочек удовлетворенный, даже радостный: какой пошел замечательный народ! Потолковали, и все уладилось. Пожалуй, прав Степа Юрченко, что мы вступили в такой период, когда колхознику нужно только напоминать, иногда легонечко подталкивать его. А некоторым и напоминать нечего. Вот Липино, они еще до дождей полностью убрали зерновые, сдали, что причитается, государству. И в соседнем Коныхове не хуже.

\*\*\*

На следующий день возвращаюсь в Кочки. Отремонтированные риги пусты. Не дымятся их трубы. В чем дело?

Молчит Кокарев. И правленцы молчат. Отводят глаза в сторону.

Они не могут заставить колхозников выехать в поле.

— Мало, что хлеб гниет, еще коней хотят погубить. Мыслимое ли дело возить в такую погоду!

— А Тузов свез?

— Раньше легче было, земля была крепче.

— А в Ельники на базар можно ехать?

— По накатанной дороге еще можно, а по нашим топким полям не проедешь.

\*\*\*

Звоню Ордынову. Он кричит, — даже в трубку слышно, как дрожит негодованием его голос.

— Не можешь убедить?

— Не переубедишь. Уперлись — и ни с места.

— Поддались кулацкой агитации. И ты с ними.

Я возмущен. Он что, с ума сошел, уважаемый товарищ Ордынов?

Нет, он в здравом уме и утверждает, что в Кочках действует кулак, а я этого не замечаю. Он требует от меня решительных действий.

— Надо заставить, понимаешь, заставить надо, свезти скошенный хлеб. Пусть на тебя злятся, — это лучше, это более исправимо, чем гибель урожая. Не поддавайся настроениям.

Бросаю трубку. Не могу слушать дурацких нравочений Ордынова. Что за чушь в самом деле, что он меня обучает, как мальчишку!..

Однако что-то надо делать. Как переубедить колхозников? Почему они вчера соглашались со мною, а сегодня отказываются? Может быть, прав Ордынов — их кто-то сбивает, а я не замечаю? Кто же?

Телефонный звонок. Ордынов. Он уже спокоен. Странно, но, кажется, просьба в его голосе.

— Чего ты бросил трубку, Андрей? Послушай меня, не горячись.

— Не говори глупостей, тогда и я буду спокоен.

— Не в этом дело. Мы же с тобой не жених и невеста. Понимаешь: надо спасти хлеб. Если не можешь убедить, заставь. Надо, понимаешь, надо!

Я сам отлично понимаю, что надо. Ладно, что-нибудь придумаю, хлеб с кочкинских полей будет свезен.

\*\*\*

Ищу Кокарева. Он дома. Чистая, просторная изба. Молодая жена. Мальчонка возится в углу.

— Твой?

— А то чей же?

— Сколько ему?

— Пятый пошел.

... А моему седьмой. Далековато отсюда, в Москве. Дома... А я здесь мокну под дождем. Хорошо-бы домой. Же-

на, сын... Уютно, сухо... Фу, чорт, совсем расклеился...

— Товарищ Кокарев, скажи мне, кто подрывает работу?

Кокарев молчит некоторое время, потом — решительно:

— Убери Нурова! Он мутит. Только ты ушел вчера, как он заявился. О лошадях сказал, которые, мол, дороже хлеба. Вот и получилось...

Опять Нуров? Враг. Значит, прав Ордынов! А я... Ах, какой я...шляпа, ничтожество! То — «колхозник замечательный», то — паника. Слунгтяй!

— Хорошо, уберем Нурова. А сейчас вели запрягать лошадей. Едем в поле

Кокарев растерян:

— Андрей Никитич, народ-то против...

— Ничего. Собирай колхозников. Я с ними поговорю.

\*\*\*

Комната ссльсовета полна.

— Кому больше верите — Нурову или политотделу, советской власти, большевистской партии? Нуров, когда был в ревизионной комиссии, обкрадывал вас, он агитирует против колхозной дисциплины, против машин, а сейчас подбивает на то, чтобы ваш хлеб, ваши трудодни сгнили под дождем. Этого хотите?

Они этого не хотят. А Нуров в самом деле тово... такое скажет, что сердце перевернется... Но лошадей-то жалко!

— Не пропадут лошади, ручаюсь.

Едем в поле. Что и говорить — плохи дороги. По выбоинам тяжело качаются возы, груженные насквозь промокшим хлебом. Навстречу в Ельники едет телега. На ней Нуров, скорчился под дерюгой. Рядом с ним милиционер.

Жарко топятся риги. В них, как в бане, пар стоит от просыхающих снопов.

10

Со всего района деятельности МТС съехали льнотрепальщицы. Ордынов открывает слет, говорит о важности хорошей и быстрой трепки. Покровская

МТС должна сдать лен не ниже тринадцатого номера.

Ордынов хотел еще сказать, что надо закончить сдачу льноволокна к 15 октября, но сдержался: разве можно сейчас определить сроки? Ведь лен еще стоит в поле, и неизвестно, когда он будет убран. Кто может сказать, когда прекратится дождь?

Слет разбивается на группы, которыми руководят приемщики с льнозавода и агрономы — Финкельберг и Пименова. Старые, опытные трепальщицы делаются своим опытом с молодыми.

Ордынов идет в политотдел.

\*\*\*

Вот уже десять дней, как стрелка барометра стоит, как прикованная, на «переменно». А дождь льет... То под ряд целые сутки, то с перерывами в два три часа. Действительно «переменно»!..

Ордынов остро ненавидит круглый глаз барометра. Его стрелка кажется ему узким, злым зрачком циклопа.

— Чтоб ты пропал! — сквозь зубы шепчет Ордынов и отходит к окну.

Небо затянуло сплошными темными тучами. Пройдет когда-нибудь дождь? Просохнет площадь, по которой с трудом пробираются замызганные, усталые лошади? Что за проклятый район! В других местах вода стекает в реки, озера, уходит в землю. А Ельницкий район — точно в блюде из плотной вязкой глины. Кажется, что вода со всей Московской области устремляется именно сюда. Нет спасения!

Ордынов резко отворачивается от окна. Взгляд падает на блестящий круг барометра. «Переменно»!

— Пропади, дьявол!..

Входит секретарь политотдела Игорь. Он мрачен, как и его начальник. А отчего радоваться? Работали-работали, и все напрасно. Гибнет урожай. Хоть вешайся от тоски.

Игорю жаль Ордынова: вечно он моет по деревьям. Приедет на час-другой в Покровское, просмотрит сводки, созвонится с сидящими в колхозах уполномоченными политотдела — и обратно.

«И так всю жизнь», — печально думает Игорь.

— Николай Алексенч, пойдем домой

— А что дома?

— Обед дома.

— Хороший обед?

— Мировой! — оживляется Игорь, — бульон с пельменями и свиная отбивная.

— Ресторанное меню, — усмехается Ордынов, — ну что ж, пошли.

Они идут домой. Обедают. Ордынов критикует «мировой» обед Игоря. И бульон не бульон вовсе, а обыкновенный перловый суп, и пельмени — не пельмени, а прокишшие вареники, и свиная отбивная — сухая подошва. Игорь возмущен: безобразия! ничем не угодишь! Пусть Ордынов поищет такого секретаря, который думает не только о политотдельских делах, но и о здоровье политотдельцев.

Дискуссия об обеде затянулась бы надолго, если бы не телефонный звонок.

— Алло! — кричит Ордынов, — кто говорит?

— Морозов.

— Ну, здравствуй, тебя еще не затопило?

— Пока бог миловал. Как дела?

— Гроб с музыкой.

— Ты, я чувствую, сегодня злой.

— А ты добрый?

Морозов смеется.

— Как на чей взгляд. Иной раз на людей бросаюсь.

— Будешь бросаться, — соглашается Ордынов. — А Игорь советует повеситься.

— Другого выхода он не видит? — еще громче смеется Морозов.

— А тебе, я вижу, весело.

— Не скучно.

— С чего бы? — иронически спрашивает Ордынов. — Может быть, у тебя солнышко сияет и птички поют?

— И такое бывает.

— Ну, и что ты по этому случаю думаешь делать?

— Как так что? Жать думаю!

У Ордынова чуть не падает трубка из рук.

— Ты серьезно?

— Вполне!

— Постой, что ты говоришь?

— То, что слышишь: жать!

— Как ты дошел до этого?

— Сам не дошел, к сожалению. МК довел.

— Кто?

— М. К. Московский Комитет ВКП(б)!

— Постой, Морозов, расскажи толком.

Морозов рассказывает: только-что получена телеграмма МК. В ней указывается на недопустимую бездеятельность некоторых районов, которые, ссылаясь на дожди, прекратили уборку. МК предлагает производить уборку, используя для этого каждую, буквально каждую, хорошую минуту. Надо так организовать колхозников, чтобы можно было начинать уборку, как только к этому представится возможность. А возможности имеются: ежедневно перепадает два—три, а то и больше солнечных часов. В эти часы надо производить уборку.

\*\*\*

Ордынову мучительно стыдно... Он тоже прекратил уборку. Он ждал, когда барометр установится на «ясно». Он, начальник политотдела, поддался паническим, надо прямо сказать, оппортунистическим настроениям...—Четче, четче, чорт возьми! — Он пошел по кулацкой дорожке... Он успокаивал себя: дескать, отремонтировали инвентарь, построили, свезли с поля скошенный хлеб. Хороша заслуга! Единоличники сделали это без всякого шума, без политотдела, а он считает это чуть ли не верхом организованности. Э-эх, партийный руководитель!..

По площади проходит Финкельберг. Ордынов высовывается в окно, окликает:

— Исаак Самойлович, зайдите на минутку.

Финкельберг заходит. Удивляется, что с Ордыновым, почернел как-то, осунулся.

— Вы нездоровы?

Ордынов машет рукой.

— Как вы считаете, можно использовать солнечные, недождливые часы для уборки?



Финкельберг задумывается. Наконец уклончиво отвечает:

— Нужна очень четкая организация. Гибкость большая нужна.

— Значит, можно?

— Можно, но повторяю...

Ордынов резко перебивает:

— И без повторений понятно. Значит, начинаем, не возражаете?!

Финкельберг колеблется.

— Конечно, Николай Алексеич...

— Ну и отлично. Идемте на слет.

\*\*\*

Ордынов собирает старух. Как они думают: можно жать в часы, когда нет дождя?

Молчат старухи. Только одна говорит, что можно. Раньше всегда так бывало — чуть ведро, как жница в поле... Ее перебивают: то было! Какое может быть сравнение между одноличником и колхозом?

— Что ж, единоличники сильнее колхоза? — мрачно спрашивает Ордынов.

Нет, они не сильнее, но ловчее. Чуть выглянет солнышко, он круть-верть — и готов, идет в поле... А в колхозе, пока соберется бригада, так и солнышко зайдет...

А почему в колхозе нельзя «круть-верть», почему бригада не может быть в постоянной готовности? Не научились? Так надо научиться!

— Что ж, вы — политики... вам виднее...

Ордынов подходит ближе к старухам. Голос его теплеет.

— А вам разве не видно, что пропадает хлеб? А вы, колхозницы, хотите, чтобы сгнил ваш труд? Вы не хотите стать зажиточными?

Они все видят, и они хотят стать зажиточными. Но погода...

— Надо перебороть погоду, хорошего часа нельзя упускать. Мы вам поможем, товарищи!

... Кажется, старухи поняли Ордынова.

\*\*\*

Ордынов и Финкельберг висят на телефоне. Звонят уполномоченным:

— Начать уборку!

— В дождь?

— Нет, в хорошие часы. И смотрите, чтобы колос зря не пропадал. Партийным билетом отвечаете!

11

Федор Иванович Шаталов с удивлением смотрит на меня:

— Что говоришь, Андрей Никитич?

— А то я говорю: начать уборку. Жать надо, Федор Иваныч. Разве не время?

Шаталов медленно поднимается из-за стола, подходит ко мне и крепко трясет мне руку. Некоторое время молчит, потом тихо, каким-то особенно душевным и торжественным голосом говорит:

— Правильно, Андрей Никитич, время.

Меня интересует, почему этот рассудительный председатель колхоза, все силы свои отдающий общественному делу, ни разу за последние дни даже не пытался организовать уборку. Я был в эти дни в Макове, беседовал с Шаталовым, он ни разу не говорил мне о возобновлении косовицы. А тут эта торжественная радость!..

— Почему ты вчера, два и три дня назад не начал уборки? Разве погода была хуже, чем сегодня?

Шаталов отрицательно качает головой. Нет, погода не была хуже.

— Почему же раньше нельзя было выйти в поле, а сегодня можно?

— Распоряжения не было, Андрей Никитич.

— А если бы еще пять дней не было распоряжения, ты тоже ждал бы?

Шаталов удивляется:

— А как иначе? Разве против советской власти можно?

— Советской власти полезнее было бы раньше начать уборку.

— Видно, не было, коли не распоряжались. Товарищу Сталину, ему виднее, чем нам. Он за всем смотрит.

— Товарищ Сталин не говорил, что нужно прекращать уборку. Это мы, МТС и политотдел, виноваты. Помнишь, весной, как с перевыборами случилось? Моя была ошибка. Так и сейчас.

Шаталов серьезно, даже сурово смотрит на меня.

— Ты меня, Андрей Никитич, на это не возьмешь! Зря наговариваешь. Мы знаем полит. Товарища Ордынова и тебя, Андрей Никитич, знаем. Вы против народа не идете. А что по весне случилось с перевыборами, так я думаю, обхитрил ты нас, Андрей Никитич, и правильно обхитрил... Ты вспомни, как дело-то было: приехал ты, видишь — развал в колхозе, Марья Парамонова глупая, будто правит, а за нее Петр вожжи держит, а все мы, как ягнята. Видишь ты, что терпение наше кончается, велел перевыборы сделать, а сам думаешь: рановато, нужно отчет от Марьи принять, но если народ хочет новое правление. — пусть их. Активности у нас не было такой, чтоб не только с жару да злости переворот сделать. Дал ты нам снять Марью, а мы сразу и увидели, что мало снять, нужно все до корня просмотреть. Вот и пришел ты на другой день, будто себя поругал, а в самом-то деле нас посрамил: смотрите, мол, как вы зря торопились, какие вы дети оказались. И хорошо получилось... Так, я думаю, и сейчас. Если уборку не начинали, зато инвентарь и риги починили. Снопки убрали. А сейчас и погода крепчает, солнышко чаще высвечивает... Сейчас в аккурат за жнитво пора ввязаться.

— Ошибаешься, Федор Иванович, на перевыборах я, лично я, поторопился, допустил ошибку. Меня выправил начполитотдела, товарищ Ордынов. И сейчас, задержав уборку, мы, а не кто другой, допустили большую ошибку. А ее могло не быть, если бы мы советовались с народом. Спросил бы я тебя несколько дней назад: надо убирать? Ты бы ответил: надо! Я не спросил, — моя вина.

Шаталов отрицательно качает головой:

— Нет, Андрей Никитич, у тебя и без того много работы, я вижу. Ходишь ты все по колхозам и с единоличником разговариваешь, советуешь всем. Нет у тебя свободной минуты. Если уж говорить о вине, так о моей, о нашей, колхозной. Мы тебе не помогаем.

— И это верно, Федор Иванович. Ты еще не чувствуешь себя хозяином. Если видишь, что неладное делается, — приходи, скажи.

— Правильно говоришь, Андрей Никитич. Должны мы душа в душу жить, чтоб никакая вода меж нами не протекла.



Федор Иванович Шаталов пользуется неограниченным авторитетом. Всеми признано, что с тех пор, как он стал председателем, Маковский колхоз идет первым в сельсовете. Раньше, когда председателем была Мария Парамонова, все было не как у людей: с посевом и уборкой всегда запаздывали, во-время не выполняли государственных заданий, вечные были споры и никакого толку. И неправильностей было немало, растрат всяких. Недаром муж Марии Парамоновой, который был счетоводом колхоза, получил пять лет принудительных работ.

Федор Иванович так поставил дело, что все у него делалось во-время и по-хозяйски. Он точно и аккуратно выполняет все указания райзо и МТС. А особенно слушается Федор Иванович политотделцев. За короткое время председательствования он убедился, что лучше политотделцев нет людей. Сказали вот, чтоб рано сеяли, — всходы получились на диво как хороши. Сказали, что надо полоть лен, так после прополки соседи, — кочкинцы, — которые своего не пололи, все приходят любоваться маковским льном. Сказали политотделцы, чтобы скосенный до дождей хлеб просушить да обмолотить, — он послушался, и получилось совсем хорошо: закончена хлебосдача, и колхозники довольны, потому что Федор Иванович отмерил ровно десять процентов с отмолоченного и роздал авансы колхозникам. Несколько тревожился Федор Иванович, что последние дни, когда начала устанавливаться погода, не дают распоряжения убирать, но и тут подоспел полит, дал распоряжение.

Он собирает колхозников: так, мол, и так, граждане колхозники, завтра выезжаем в поле, чтобы все были готовы.

Мария Парамонова, которая никогда не отличалась особой говорливостью, а после осуждения мужа совсем замолчала, хмыкнула носом.

— Ты чего сказала, Марья? — спрашивает Шаталов.

Нет, она ничего не сказала. Она только подумала, что дождь еще не перестал и можно подождать с выходом в поле.

Марья затаила злобу на Шаталова, который нет-нет, да и поминал то время, когда она была председателем. Марья видит, что все в колхозе ладится, совсем по-иному, чем при ней было... Всем, значит, и Марье Парамоновой, от этого — одна польза. А ей сейчас без мужа и с маленькими детьми особенно ценны трудовни. Но все же досадно, что при новом председателе дела идут на лад. Да и муж, Петр, к которому она пошла раз в тюрьму, сказал: «От колхоза, от Федора мы с тобой страдаем».

Вот почему, когда начались дожди, Марья часто выходила в поле, смотрела, как гнет к земле налитые колосья, смотрела и чему-то радовалась. Иногда подумает: «Мне же меньше будет...» А все же была рада. Она подохнет, но и другим не будет лучше. Пусть видят люди, что без нее, как и при ней, не клеится дело...

И когда начали свозку скошенного хлеба в риги, а особенно, когда начали возить хлеб в Ельники, тихо, по-собачьи, взвизгнула Марья. Вышла бы она на середину деревни, завопила бы от горя: как это забирают хлеб, дают его тому самому государству, которое держит ее мужа в тюрьме!.. Но ничего не скажешь: все, как один, слушаются Федора Шаталова... Раз она шепнула:

— Нас с чем оставят? С голоду, что ли, помирать?

Кто-то ее поддержал. Заволновались колхозники. Федор Иванович пришел в бригаду.

— Ты мутишь, Марья?

Марья засуежилась, затараторила: не она, вот-те крест, что не она. И думать не думала, чтобы хоть словечко против сказать.

— Смотри, Марья, чтоб не пожалела!.. — И к колхозникам: — Ее будете слушать, которая мужа своего, вора, прикрывала, или меня?..

Когда Федор Иванович предложил возобновить уборку, у Марьи горький ком остановился в горле.

Она пришла домой, избита от злости детей, те заплакали, она их еще крепче отшлепала: замолчите, сукины дети!..

А наутро встала, пошла с бригадой в поле.

К полудню опять надвигаются тучи, опять дождь. Всем — будто нож в сердце, а Марье весело.

— Перестанет, бабоньки! — говорит оча. А сама думает: «Хоть бы до морозов не перестал...»

\*\*\*

Туго, с переборами, идет уборка. Обгоняют ее ядовитые шопотки о гибели хлебов: принудили, дескать, рано сеять, вот и выросло раньше времени, а сейчас пропадает урожай...

Парторганизация и комсомол, эмтэ-эсовцы и политотдельцы — все мы неустанно, днем и ночью организуем людей — на уборку, против кулацкого сопротивления.

Наше упорство, кажется, ставит в тупик самую природу: ничего с ними не поделаешь, все равно работают... И природа уступает. Все реже идет дождь. Наконец наступают долгожданные солнечные дни.

Ожил народ.

Но сумрачные дождливые дни глубокой зарубкой остались в нашей памяти

— Помнишь, Степа,—говорит Ордынцев, — помнишь, ты утверждал, что наше дело напоминать колхознику, иногда его легонько подталкивать. Сейчас видишь, что одним напоминанием не обойдешься. Нужно организовывать, перешивать косность. И врага, еще не добитого врага, надо добить.

— Да, — задумчиво отвечает Степа Юрченко, — умнее становимся... Умнее и прозорливее..

### 3. ЖЕМЧУЖИНА

И. Скляр

1

Тянул горячий степной ветер. Знойное августовское солнце, как горячим утюгом, припекло землю. Ветвились по забору тусклые тени от ветел. Рыскали у корней сохлых колючек и курослепов ящеры, юркие мыши, суслики. Утомительно стучали хрустальными молоточками кузнечики. Давно скошенная, степь дышала огнем. Хлопотно бегали люди, смело и дерзко идя наперекор суховету. Гудели тракторы.

У зубчатой ограды МТС стояла легковая машина с заведенным мотором. Рядом, загораживая газетой только-что выбритую голову, стоял начальник политотдела. В кабинке сидел его помощник по комсомолу. Облокотившись на сиденье, он выслушивал начальника:

— Каждую мелочь проверь, в этом сила... Ну, ты понимаешь... найди жемчужину в колхозе и накручивай.

Машина плавно тронулась и, вильнув зеленой, поблескивающей спинкой кузова, бесшумно скрылась за углом ограды.

Через несколько минут помощник начальника Торин поменялся местами с шофером. — сел за руль.

— А почему не с места? — спросил шофер.

— Сам знаешь. Пока не овладею, начальнику не покажусь, — нащупав носком кнопку стартера, довольно посмеиваясь, ответил Торин

Ехали по взбитой, пушистой дороге, оставляя позади легкие вихри пыли. Машина направлялась в колхоз «Искра». В третий раз шофер доверял машину Торину и, глядя на его успехи, давался диву. «Молодой, да шустрый» — думал он.

Торину двадцать три года. В летнем, жестком костюме юнг-штурма, с новой ременной портупеей, он выглядел гораздо моложе, совсем юнцом. Глаза его были задумчивы и строги.

Навстречу бежали пыльные и редкие бугорки «катышек» пшеничной соломы. «Работа комбайна» — догадался Торин.

В темной синеве широкого лесистого оврага лениво, как овцы, блуждали багровые облака дыма, разорванного ветром. Торин свернул с дороги на другую, заезжую, тянущуюся вдоль оврага, и там замедлил ход мотора. Перевалив широкий овраг, он повел машину пологими местами. Изредка бросались в глаза пестрые поляны дикорастущего житняка.

Шофер не знал плана Торина. Не знал цели заезда в овраг. Торин рассчитывал разыскать зеленую массу. Знакомые сенокосные поля, неудобные, бестравные, — там нет сенокоса силосной массы. А здесь, в овраге, она есть. Теперь он придет в колхоз, уверенный в победе начатого дела. Теперь никто не посмеет сказать ему о том, что солнце все выжгло. «Массы здесь найдется не на двести тонн, а на восемьсот» — подумал Торин, оглядывая овраг.

Вдруг, неожиданно для шофера, Торин насторожился. Из тальника поднялся живой вихрь. Это, разрезая крыльями воздух, гулко снялись стрепета и низом, изломами крутого оврага, то поднимаясь, то припадая, потянули вперед — и снова опустились.

Торин передал руль шоферу, ловким аллюром перевалился за сиденье, поднял дробовик с темнокоричневым ложем, попросил шофера остановиться, заглушить мотор.

— Где? — шепотком спросил Торин.

— Да вот, вот они, вот! — нетерпеливо протянул шофер. Торин свободно положил стволы на руль...

Вдруг, неожиданно и нервно, заурчал сигнал сирены...

— Зачем, зачем сигналишь?!

— Не я, а вы сами нажали кнопку дулом.

— Тьфу!

Стрепета, снявшись, пропали.

Торин вытянул руку. На широком изломе кисти, обтянутой ремешком, блестящие небольшие четырехгранные часики. Он, задумчиво поморщив лоб, завел их.

— Не опоздаем? — спросил шофер. Досадовал на Торина: — «Чего медлит?»

— К семи часам будем...

За оврагом, на желтом пологие взгорья, показалось село с рассыпанными в два ряда бревенчатыми избами. На узком деревянном мосту машина неожиданно вильнула вправо, под шинами расхлябисто загрохотало, Торин улыбнулся, кинул глазами на шофера; тот, от неожиданности толчка и крутого поворота машины, испуганно вздрогнул, по лицу его разлилась желтизна. Он, то ли в порыве озлобления, то ли испуга, нервно протянул к рулю руку.

— А здесь надо было дать ножной тормоз и газу поубавить... Видите, мост перекошен, — оборачиваясь назад, произнес шофер. — И кто это умудрился положить поперек доску... А вообще, проезжая через мосты, надо уменьшать скорость! — поучал шофер своего «ученика».

Машина, уверенно переключенная на первую скорость, с энергичным, бодрым говором мотора выбежала на пригорок. В'ехали в село. Из бревенчатых изб и палисадников показывались женщины, дети.

У крыльца избы-читальни знакомая Торину девушка, повязанная красной косынкой, помахала ему рукой. Это — секретарь комсомольской ячейки колхоза «Искра». Ему надо было с ней поговорить об установках начальника. «Ну, ладно, нукуда не денется, придет в правление» — подумал Торин.

Со всех углов, огородов и палисадников выбегали в распоясанных темных рубашенках ребятишки. Они бежали за машиной.

Машина, сверкая никелированным поясом радиатора и абажурами фар, с полного хода подкатила к самым порожкам покосившегося крыльца.

— Ну, как, — вылезая из кабинки, спросил у шофера Торин, — могу управлять?

— Можете, только нужна практика, да на хороших дорогах... Вот на американке она у вас лучше катит. «А по оврагам — зря» — подумал шофер.

— Советуешь держать экзамен? — поправляя врезавшуюся в плечо порту-

пею и оглядывая запыхавшихся ребятишек, спросил Торин. Он вызвал начальника политотдела на соревнование: овладеть техникой управления автомашиной в двухмесячный срок. Через две недели, в присутствии старшего механика, начальник политотдела непременно напомним ему, как он, его помощник, увязывает слово с делом. Но для Торина эта задача была не сложна. Он на переездах часто заваливался в угол пружинистого сиденья машины перелистывал учебник. Мотор он знает, и теперь усиленно налегал на практику. Тут у него выходило просто, ловко, большой инициативы не требовалось.

Всю дорогу от МТС, на расстоянии восемнадцати километров, он, одновременно с практикой езды на машине, обдумывал детали установок своего начальника: «Осуществить комсомольскими силами закладку силосных ям... найти жемчужину, звено в колхозе, ухватиться за него и тащить...» Он разыскал эту жемчужину: силосная масса — есть... Теперь ясно: «вытащить комсомолом силос». Торин, понимая, что на этом будет проверена его ленинская боеспособность, чувствовал волнуемое беспокойство за неповоротливость предколхозов, бригадиров. За колхоз «Искра» он больше всего беспокоился. Здесь не было партячейки, а комсомольская ячейка насчитывала всего восемь человек. Вся надежда — на секретаря, на Буряшкину. «Эта вытает» — подумал Торин, поднимаясь по давно невымытым, скрипящим порожкам. Через окно он заметил встревоженное, смуглое лицо предколхоза, товарища Путова.

Торин знал, что посещения политотдельцев Путов воспринимал настороженно и что про всякий его приезд он каким-то образом узнавал заранее и, дабы избавиться от выполнения новой нагрузки, потихоньку скрывался в степь. Попытки разыскать его редко-редко имели успех.

Торин переглянулся с ним, довольный, что застал его на месте.

В комнате с низким, давно небеленым потолком накурено и душно. За большим, без ящика, столом сидел, дробно отщелкивая на счетах, счетовод. Против

него сидел Путов. Перед ним лежал клочок желтой бумаги. Путов отгрызком плоского карандаша выводил цифры...

— Наконец-то, товарищ Путов, ты в правлении... А я вчера к тебе заезжал, облетел все бригады и нигде не мог даже на твой след напасть.

— А нам, товарищ Торин, вы же сами советовали повесить замок на правлении и даже с ночевкой бывать в поле, в борозде.

— Вся беда, что тебя ни тут, ни в борозде за хвост не уловишь. Приедешь в одну бригаду — говорят, не был, а где-то стороной прокатил на велосипеде. Ищи, свищи «сторону». Ну, словом, поймал.

Протягивая Путову руку, Торин уселся рядом с ним на длинной скамейке.

Председатель колхоза Путов заранее знал, что товарищ Торин поинтересуется ходом хозяйственно-политических кампаний, поэтому он, не дожидаясь вопросов, деловито кашлянул и провел дрожащей рукой по бритой, отливающей синью голове с белым, рубцеватым шрамом на макушке, похожим на петушиный гребень. Это — гордая отметина и память славных боев восемнадцатого года. Торин на этот раз вместо дельных вопросов спросил у него о шраме.

— Давненько это было... Ты наверно тогда еще пешком под стол ходил... Получил я наказ, строгий наказ — снять с моста офицера, отбить у него пулемет. Командир мне говорит: «Ты парень с изюминкой, тебе это дело поручаю...» Зарезал офицер нашу колонну пулеметом. Туман был — глаза не берут. Я подкрался к офицеру, толкнул его с моста... сам поскользнулся и — ахнулся вниз... А он меня на-лету и клюнул по коробке шашкой... зато я его водой в смерть опоил. Покончил с ним и — по круче на мост. Ну, и отшиб пулемет...

— Здрóрово! — восхищенно произнес Торин. — А как за силос воюешь?

— За силос? — растерянно протянул Путов. — Подвод нет, не до силоса, хлеб возить надо... график...

— График не составлен до сих пор, — не ясно?

— Ясно, товарищ Торин...

Но по тону, по лицу Путова Торин догадывался, что ему вовсе не ясно...

— Ясно? Ну, давай подсчитаем, сколько у тебя подвод. Торин называл счетоводу цифры, тот пощелкивал костяшками... Подсчитали.

— Пятнадцать подвод дуром гоняете. Так ведь, а?

— А скирдовать хлеб... лежит хлеб в катышках, опять спрашивать будете, почему не скирдуется, а вдруг дождь хлынет?

«Ага, сдается. Проверю и скирдование. Насчет дождя тревога у него законная» — рассуждал Торин.

Вмешался в разговор счетовод:

— Все лето не было дождя, и не нужен теперь он.

Путов, смахнув со лба мутный пот, настаивал на своем:

— Жара тут... это правильно, кони падают. Плотина никогда не высыхала, а тут разлужовалось идолово пекло, все до капли, как голодная, все вылакала. Нет, без дождя зарез и для бахчей, и для огородов.

В комнату неслышно вошла Буряшкина, секретарь комсомольской ячейки. Она — в мужской косоворотке, стянутой в талии тонким, узким ремнем. Глаза обращены к Торину. Он стоял к ней в профиль, не замечая ее. Продолжал подсчеты. Перед ним лежала карманная записная книжечка в голубом коленкоревом переплете. Он изредка что-то записывал в ней: тонко очиненный карандаш впиался в бумагу, как жало...

— Имей в виду, в другой раз не выпутаешься... С действующим графиком по вывозке хлеба у тебя дело дутое. Лишние подводы есть. И еще найдутся... Скирдование проверим... вместе. Три подводы лишних наскребли. Так, ведь, так? Держи! — Торин вручил Путову листки. Вот тебе политнаряд. Это тебе, как красному партизану, политотдельский наряд, а бригадирам раз'яснишь его и дашь им свой агронаряд. Договорились?

Не первый раз давал Путов Торину подобного рода обещания, но, как только он уезжал из колхоза, Путов снова принимался за свое дело и только перед вечером, сидя за обедом, вспоминал об

этом. Тогда он, выскакивая из-за стола, сел на свой старый, с погнутым рулем велосипед и стремительно возвращался в правление колхоза. Вызывал бригадиров, но... не раз'яснял им сути задания, прямо предлагая записывать установки. При этом часто курил, скручивая толстые и длинные папиросы.

— Так вот вам политнаряд. Пишите!

И бригадиры записывали... и, в свою очередь, медлили с исполнением. И поэтому колхоз «Искра» ни одного хозяйственного мероприятия не доводил до конца. А сегодня «запарился» Путов, не знал, куда девать свои черные, с пепельно-синим налетом, большие глаза. В них светилась и готовность, и жгучая обида за свою оплошность.

## 2

К Торину, когда он приподнялся со скамьи, подошла Буряшкина.

— И ты здесь? А я только-что думал о тебе, хотел послать. Кстати, — зверь на ловца бежит. Садись, у меня к вам обоим большой специальный вопрос.

— Это к нам-то, к зверям, — сверкнув ровным мраморным гребешком зубов, пошутила Буряшкина.

— А я серьезно. Тут с этим вопросом ты должна вгрызаться именно, как зверь, и, если понадобится, гладить кое-кого против шерсти. Санкционирую!

«Опять, небось, о силосе... Ну, я его причешу насчет силоса» — устало потянувшись за кисетом, подумал Путов.

— Не закуривай, погоди, вы план о закладке силоса получили?.. Две недели тому назад получили?..

Путов насмешливо кивнул головой.

— Надеюсь, покажете мне, что сделано.

Такого вопроса Путов не ожидал. Он хорошо помнит этот план. Он получил его от района, на тонкой, цвета яичного желтка, папиросной бумаге, и от МТС — на красной, оберточной бумаге. Помнит, как расписались в прочтении этого плана бригадиры, и на этом вся история с выполнением плана по закладке силоса обрывалась. Перебирая в голове детали, Путов вспомнил и о том, что было вынесено решение правления колхоза:

«план считать нереальным, так как ввиду засухи и низкого травостоя хлебов отсутствует на полях колхоза «Искра» зеленая масса». Путов, наизусть помнивший им же сформулированное предложение, приказал счетоводу подать ему книгу протоколов и, сам разыскав это постановление, произнес:

— Мы даже гуртом обсуждали этот вопрос.

— Как, как? — не веря глазам, дружественно переглянувшись с Буряшкиной, недоуменно спросил Торин. — «Нереальный план»? Смело записано. Кто вносил это предложение?

— Вносил это предложение я...

— Обдуманно?

— Обсосано со всех уголочков, дорогой товарищ.

— А ты как находишь? — оборачиваясь к Буряшкиной, спросил Торин.

— Увертка. Я уже с ним спорила, а он говорит — найди мне зеленую массу. Нет ее...

— И опять скажу — нет! Разве мыслимо, все лето капли на землю не брызнуло. Какая ни есть лебеда, и та сплошь посохла.

— Точка! Айда ко мне на машину, и я покажу вам все гнезда массы.

— Ой, не покажешь! — настаивал Путов.

Но, когда Торин снова посмотрел на него немым, укоряющим взглядом, он, в неожиданном для него смущении, последовал за ним.

Путов, увидя легковую машину, подумал: «Пришла-таки...» Он давно читал в газете, что политотдельцам идут машины, и не верил.

— Видишь, как о нас, о колхозных делах, заботятся партия и правительство? Я сюда ехал бы два-три часа, а теперь в двадцать минут, — сказал Торин.

— Жемчужина, — умиленно разглядывая машину, произнес Путов. Он всякий раз, когда ему на что-либо открывали глаза, называл это жемчужиной. Путов в жизни не ездил на легковой машине, а проехаться хотелось. И вот выпал случай.

Шофер без труда открыл дверку. Уселся. Путов с шофером, Буряшки-

на — рядом с Ториним. Она удивилась, что у руля не шофер, а Торин. Ей было радостно, и за себя, и за него. Непрошенно прилиwała к лицу кровь. Она чувствовала, как у нее горят и светятся на солнце щеки. Сказать о своих волнениях, о своем восторге, о том, что в каждом повороте руки Торина, в каждой его фразе для нее — целая школа... Как, как сказать ему обо всем этом? Неделю тому назад он заявил ей, что, как только он научится управлять машиной, непременно прокатит ее... Вспоминая об этом, Буряшкина подыскивала повод для «частных» разговоров: решила спросить у него, как он так быстро успел овладеть машиной, и не спросила, сочла неуместным. Буряшкина третий год знает Торина. Нередко встречалась с ним в городе, когда кончала совпартшколу, а он учился в комвузе. По окончании школы ее снова потянуло сюда, в родное колхозное село, хотя здесь не было у нее родных: отца и мать потеряла она в голодный двадцать первый год.

Машина, катившая задами дворов, замедлила ход.

Торин нагнулся к ручному тормозу и, потянув к себе рычажок, остановил ее. Шофер первым выскочил из машины.

Торин глядел по сторонам. Перед ним лежали спутанные заросли арбузной и огуречной ботвы. Тянулись увядавшими, тонкими змейками вьющиеся зазвизы тыквы. Отцветал картофель: кусты, окутанные серебристой пылью, намертво крыли землю. Широко лохматилась лебеда.

«Эту дичь, сорняки, — думал Торин, — надо взять, переработать. Без рук человека завянут. Нужно и сорняки превратить в жизнь...» Торин, улыбаясь, с хитринкой произнес:

— Ну, вот вам и зеленая масса.

Он показал на бурьян у канав и на покинутую ботву небольших дворовых огородов колхозников.

— Сколько у вас дворов?

Путов сосредоточенно молчал. На лбу у него поигрывали морщины. Он не помнил, сколько здесь дворов, но он знает каждый двор, знает, кто живет в

нем, и, мысленно подсчитывая количество дворов, горько думал о том, что он жестоко ошибся, утверждая нереальность плана. Зеленая масса есть, — он вспомнил про овраги. На-днях он там плутал на велосипеде. Вспомнил и про большой колхозный огород в два гектара, — и там немало этой массы. «Сбил спонтальку бригадир первой бригады Шипилов. А ведь он — зять высланного кулака. Вон откуда подуло» — размышлял Путов. Однако решил не сдаваться.

— Масса есть, слов нет, а какими силами мы будем ее поднимать? Ну, коней пришвартуем, а люди... Все — на уборке, на отправке хлеба. За шестьдесят километров приходится ездить, не дело график ломать. Лошадей мало-бато...

— Людей найдем, — нетерпеливо встала Буряшкина.

О том, что с людьми будет тесно, узко, Торин даже не подумал. Нობодрое заявление Буряшкиной ободрило его. «Нет, тут не ускользнешь... Но почему он упрямится? Ну, трудно, словнет, но без кормов, дополнительных кормов, скот не перезимует... Такой истины — и не понять?» — размышлял Торин.

— Масса есть зеленая и лошади есть. Порожняком ведь они у тебя обратно. Ну вот, ты и организуй их на подвозку на обратном пути. Массу заготовляй заранее, чтоб на погрузку требовались не часы, а минуты... Ну, как реальный план? — строго и в упор спросил Торин. — Эх ты, красный партизан! Конечно, кулаку на радость, чтоб по весне колхоз без кормов сел в лужу... Так гот, триста тонн будет засилосовано. Комсомольская ячейка должна это взять на буксир и вытащить колхоз из прорыва да по-большевистски драться за сроки...

По небу сизыми громадами передвигались тучи. С северо-запада дул горячий ветер. На гумне, в полуверсте от села, у высоких пшеничных скирд, где стоял трактор, гоняя приводным ремнем



молотилку, кипела работа. Задавальщики бросали в зев молотилки солому, эстер трепал ее, разбрасывал в стороны. Женщины возили к стогам на волокушках обмолоченную солому. Ведроми — конвейером — подносили зерно к бунтам.

Бригадир первой бригады, Шипилов, забился в солому, — видны только широко разбросанные ноги в валенках, прожженных у пят.

Семь лошадей, запряженных в деревянные волокушки, стояли без дела на ветру, неохотно пощипывая с обмолоченной скирды пшеничную солому. Ветер топорщил их гривы, шевелил, трепал хвосты...

— Сколько без дела толпится людей, тягла, а на закладке силоса ни души, — произнес Торин.

Путов, оправляя у пояса рубаху, разбудил бригадира Шипилова. Шипилов, с сонными опухшими глазами, побежал, ничего не собирая, к молотилке.

— Погоди, ты куда? — остановил его Путов.

На вопрос Торина, почему не все работают, Шипилов равнодушно, чистой октавой, буркнул:

— Погода мешает. Ты норовишь солому в барабан, а она тебе в сторону. А Клавдию Скорову, как перышко, ветром с молотилки... руку всю барабаном покарежило...

— Скорову? — встревоженно переспросила Буряшкина. Ее удивило, почему она торчала на молотье. Ведь она работает избачкой. Почему же она не занялась организацией бригадной газеты? Вчера еще она видела ее на ногах, веселой, крепкой, а теперь... Где ж она, как это случилось? На току не замечала ее. Конечно никому не возбраняется покидать вилами. Ведь вон Торин на-ходу изучает машину. «Но основная ее работа — организовать массы на борьбу, на преодоление трудностей, на выполнение поставленных перед нами задач...»

Поодаль, у весов, сметал в кучу зерно Огоров. «Этот всегда себе дело найдет» — с восхищением подумал о нем Торин. Но почему обычно веселое лицо

Огорова, изрезанное тонкими, приятными морщинками, казалось сейчас суровым и окаменело-жестким, как цемент? Торину хотелось узнать подробности о беде Скоровой, но до нее ли теперь, когда почти приостановились и молотилка, и трактор, и люди?

— Значит, серьезно покалечилась? — встретившись со строгими глазами Огорова, спросил Торин.

— Мы не лекари, не знаем, — снова неохотно пробурчал Шипилов.

— Не отвезли еще в город?

— Хотели, да она сама заочевряжилась: «Куда, — говорит, — я поеду — труско, как-нибудь сама отойду», — ответил Шипилов.

— А ты, бригадир, не крути товарищам головы зря... не так это было, — кинув метлу, резко и взволнованно оборвал его колхозник Огоров. — Хотела ремень вилами поправить и поправила, да ее отбросило в сторону... испужалась, руку маленько пришибла, и все... А ты развел ектенью, вроде — покарежило всю. Тебя, скажу, покарежило... Помимо колхоза жить норовишь. Вон у тебя что!

Показалась плечистая колхозница Параскева. Она, не слушая Огорова, спокойно блуждала глазами по сторонам.

— Осиротеет человек, и никому до него дела нет, а ведь не себе, людям ворочаем, — пожаловалась колхозница.

— Да с нашим братом спокон века так... покуда кишка стоит — нужен, а как послабнет — никакой поддержки ему.

И Торину, и Буряшкиной понятно, почему Шипилов преувеличивал пустячный случай со Скоровой. Шипилов использовал ее «оступку», чтоб расхолодить колхозников, чтоб ослабить их работу. А для чего понадобилось? «Кто он?» — напращивался вопрос у Торина.

— С нами обращение короткое, товарищ полит, — бросая работу, жаловались колхозники.

— Ну, ну, — хмуря брови, крикнул Путов. Ему не понятно, почему люди ищут холодка, почему молотилка работает почти вхолостую. «Лень заела кол-

хозников, не иначе. И бригадир тоже развёз — ветер помеха, а лодырям дай сорвать» — думал Путов.

— И зря ты, Огоров, выглаживаешь, гляди, какую пургу ветер поднял. Какая работа тут, — недовольно гудел Шипилов.

Торин, не слушая его, присел на солому. Колхозники, обступив его тесным кругом, то спорили, то жаловались на свои нужды.

— Кто покрепче — выдерживает, кто послабее — крошится, как хлеб черствый, — резал напрямик Огоров.

Для Торина ясно — Шипилов размагничивал, Шипилов раздувал «оступку» Скоровой. «Так вот она где, жемчужина, не только в зеленой массе, а и в живых людях», — неожиданно подумал Торин. — Ну да, это о них так иносказательно говорил ему начальник».

Немного сумбурные, но открытые жалобы колхозников подобны вскипающей пене. Снять ее, отделить умело от чистого сплава — основная задача Торина... Тут одного слова, одного желания мало. Нельзя только этим поднять людей на закладку силоса. Живые примеры нужны, руки приложить надо, да так приложить, чтобы, освобождаясь от накипи, не выплеснуть полезного и необходимого. Ведь степь не ждет, солнце, как изголодавшийся телок, тянет из высохшей земли последние соки. Вянут, сохнут перезревшие травы в оврагах, вянет на огородах и бахчах ботва. Требуется большие усилия, чтоб все это вырвать из его жадной, жаром пылающей пасти. Сумели же этим летом под руководством политотдела перехитрить солнце... Перехитрили тем, что до суховея убрали хлеб в восковой зрелости. Такие же усилия потребуются и теперь, при закладке силоса. Только необходимо осмысленно расставить людей по местам... Торин жалел, что в колхозе нет партячейки. Была кандидатская группа, но ее члены — пока только преданные и честные исполнители. А тут надо дерзающих людей, людей с инициативой. Председателю колхоза Пугову нужен толкач, напористый, как стальной поршень...

4

Третий день на пологом бугре за мельницей звенели, с трудом вонзаясь в окаменелый грунт, железные лопаты.

Путов, налегая сапогом на плечи лопаты, кривил от усилий лицо. Огоров, работавший рядом с ним, пошучивал:

— Не расколушаешь, тут бы поубавить ее малость стальным винтом, а потом и лопатой орудовать. Ведь есть такие машины, что на сто сажень колодцы роют. Вот бы нам достать...

— Есть, да не нам в честь, — смахивая рукавом пот с лица, недовольно отзвывался Путов.

Он взялся за лопату с охотой. Сперва жаловались ему колхозники, что не брать такую землю: «Уголь, не земля». Добравшись до глины, успокоились.

Путов в третий раз берется за лопату. Показывает колхозникам, что стойкому «затор — не беда», и работает упорно, настойчиво. Отвык Путов от физических напряжений. Три года председаствует. Больше распоряжался, «орудовал головой и языком», а тут помучил Торин — примером вести надо. И если бы не Буряшкина, — тоже живец, ухватилась за лопату, — он бы доказал, что не вырыть им ямы... не вырыть лопатами, хоть переломись. У Путова ломило спину. По спине, по груди горохом катился пот. Прилипла к сутулым плечам, к спине рубаха. Часто ходил к бочке, пил большими глотками холодную, как лед, колодезную воду. Пот не унимался. «А вот Буряшкина и Огоров не пьют так часто, и ничего... и пота на них не видно, только лица красные, как нагретое железо».

С дороги подходили фургоны, подвозили ботву. Там жужжала силосорезка, трещал под ножами, как на костре, сухой бурьян.

Рыгье второй траншеи подходило к концу. У Путова кипела досада на Огорова: «Про какие-то буравцы мелет, а тут доски не везут на облицовку... опять же Шипилов лошадей не подослал». Путов бросил лопату. Она свалилась в другую яму. Он поглядел вниз, почесал затылок, подозвал Буряшкину:

— Лопата повалилась в траншею, ты помоложе, достанешь. А я в третью бригаду сметаюсь, раскачаю Шипилова насчет подвод. Да в село еще надо, может, коровенок заналыжим. Есть ведь обученные к ярму... да вот еще досок надо, чтоб траншеи были у нас на славу. Поняла? Обшиты были, чтоб не так, как у других, — квашеной глиной мажут... Наша «Искра» так должна запылать, чтоб пожаром зажгла всех, — поняла? — как жемчужина...

— Ладно, катись, а я в село сбегая.

До заката солнца Буряшкина бегала по селу, тормошила колхозников запрягать коров, вести к траншеям доски. Неожиданно напоролась на жену Путова. Она — тоже партизанка.

— Не дам корову... Досок тебе... а где я возьму их, забор ломать? Не дам. И затея ваша не впрок...

Буряшкина молча показала ей рукой на сарай.

— Сарай ломать? Да я тебе за сарай по волоску повыдергаю. Ишь, дошла. Мужа попутала, а меня, Дуняша, не побешь, не опугаешь. У меня еще на плечах голова, не кочан капусты, — не раскроишь.

— Сарай обобществлен, ведь колхозный.

— Ну-ка, выкуси, — сжав в кулак руку и высунув большой палец с длинно отросшим ногтем, горячилась Путова.

Буряшкина присела на завалинку. Пристально поглядела в злые глаза Путовой, улыбнулась и, откинувшись корпусом к стене, рассмеялась. Путова оторопела. Пошла в сарай и — остановилась. Буряшкина подозвала к себе. Попросила присесть. Путова с неохотой подошла, присела. Широко расставила босые, длиннопалые ноги, упрямо сунула их в пыль.

— Эх ты, бесстыдница... куцехвостка... Да мыслимо ли забор, а то сарай — на яму. А хлебушко под небо, а корову... Да ты подумай только, подумай...

Буряшкина молча слушала. Сидела без движения. На лице у нее ни улыбки, ни укора. Казалось, она соглашалась с Путовой.

Незаметно Путова перешла на дружеский тон.

— Остыла.

Путова повела плечами. Большие, узловатые в суставах пальцы нервно шевелились, меж них опадала, убегала в развилки теплая щекотная пыль.

— Тебе, партизанке, такая неуравновешенность, сама знаешь, — не к лицу... Я хочу сказать... что силос не мне, поняла, не мне нужен, а больше тебе и в первую очередь тебе. У меня — что! Разве разгороженная изба, и та колхозная. У тебя же коровенка и даже вон свинья поросная. А чем ты их прокормишь, чем, спрашиваю...

— Не для нас ведь силос готовится.

— А я говорю — для нас, для тебя... силос будет доволь — и сена побольше останется, тебе ж побольше на трудодень выпадет. Так ведь, а?

— И без тебя знаю, что так, — неожиданно согласилась Путова.

Буряшкиной хотелось крепко, дружески похлопать ее по плечам, но вдруг Путова снова взволнованно прорвала:

— А чего ты за мою корову уцепилась, чего мой сарай облюбовала, чего не Шипиловых, не Капустиных, не Огородных...

— А потому, — протянула ей в тон Буряшкина, — ты передовая, ты красная партизанка, а не они, ты и должна им задавать тон. Поняла, почему?

Путова плотно сомкнула губы, поднялась с завалинки, молча зашлепала по пыли к сарайчику. Концы ее кумачевого платка пламенно бились на длинной загорелой шее. Шла медленно, не оглядываясь, до самого сарая. У дверей обернулась:

— Так я насчет коровы, Дуняша... ежели передом — первая на корове, а про сарайчик подумаю... погожу... Я насчет коровы и Шипилову, и Капустину, и Хряслову — в два ярма, — произнесла Путова.

До прихода коров с выгона Путова и Буряшкина ходили по дворам. К утру колхозники готовили ярма, подводы. Выезжали в балки, — там, под серпами и косами, трещала трава. К траншеям подвозили зелень, бочки, доски.

Буряшкина вечерами созывала комсомольцев, молодежь, коротко докладывала о том, чего недостает. Обсуждали, как и где достать.

— Далеко, за шесть километров, зеленая масса.

— Надо ближе.

— В селе надо, — решали комсомольцы и беспартийная молодежь. Не пускали к себе во двор колхозники. И не жаль ботвы, и не нужна, ни к чему, посохнет, а «не смей со двора мово брать» — упорствовали бабы. «Ни к чему ваша «сила», погнойт траву», — ворчали старики.

Комсомольцы терпеливо и настойчиво разъясняли, кому нужен силос.

Возле траншеи крутым холмом нарастала подвезенная ботва. Бабы на длинных, гладко стесанных столах подталкивали обнаженными руками к желобу силосорезки обваленные сорняки, картофельную, арбузную ботву. Огород, вперемежку с Буряшкиной накручивали силосорезку, вилами подбрасывали зеленую массу.

— Что, Палаша, кусается? Это тебе не капусту ножом тесать.

— Крути, крути, вишь, сколь бурьяна насугробилось в корыто, — сердито отозвалась Путова.

— И какая свинья жрать ее будет?

— Груня, утрись, а то глаза закает, — острил Огород.

Груня, принимая остроту всерьез, подолом поднятой рубахи смахнула с лица пот.

— Правда колет. Прошло лето резали, мочили, сушили, а никакой «силы» не вышло, одну гниль от ямы на всю деревню распустили.

— Так то ж твой муженек эту «силу» готовил. А ноне Буряшкина у нас, что твой самосад-агроном.

Буряшкина вдруг странно подпрыгнула, закачалась. У края траншеи уселась, задрала ногу.

— Наколосась? — спросила Путова.

— Берегись, задавлю. Берегись, — неожиданно раздалась хриповатая октава.

Буряшкина обернулась, на миг увидела над своей головой горячо желтые, как гыква, раздутые ноздри лошади, пахнувшие жаром в лицо. Копыто ударило

о вытянутую ногу. Буряшкина ползком откинулась в сторону, встала на ноги, оступилась и с легким испуганным вскриком повалилась в яму.

## 5

Торин приехал в «Искру» через три дня и снова — на легковой машине. В правление заезжать не стал, — у него выработалась теперь привычка прежде побывать в борозде, на току, на производстве, а затем уже появляться в селе. в правлении колхоза.

Теперь он приехал проверить, как наматывается работа по силосу. У мельницы, где шумела силосорезка, его остановил колхозник Огород. Он, расковыривая ногой груды глины, с волнением рассказал ему про случай с Буряшкиной. Торин закусил губу, сдвинул фуражку на затылок. Круглая, бритая голова, отливая свинцом, блеснула под солнцем.

— И серьезно?

— Упала на лопату и черенком ударила по лицу, как бы еще не окосела. Да, кажется, синяком отделилась. А вот с ногой беда, кажется, поломала. С места не двигается... Надо ж было этому хамлету Шипилову подвернуться...

— Как с обшивкой траншей?

— Досок нет, — отозвался из ямы Шипилов.

— А сколько у тебя сараев? — спросил у бригадира Торин.

Шипилов рассеянно смотрел по сторонам, — он думал о другом. Перед его заспанными глазами стоял обваленный пушистым навозом дощатый сарайчик, в котором он развел кроликов. Он помнит, что его сарай обобществлен, но, пока он не требовался колхозу, принадлежал ему... теперь же с ним, хоть умри, надо расставаться. Обдумывал, дать или не дать «им» сарайчик и куда ему поместить кроликов. Накинется на него баба его, Фекла. Она без побоев — кизяком с шабром<sup>1)</sup> не поделится. А однажды, когда чужой цыпленок забрался в палисадник, на грядку с луком, она убила его кирпичом. Потом

<sup>1)</sup> Соседом.

прибежала хозяйка «чужого» — и Фекла ей сгоряча оборвала косу... Нет, ни за что этот сарай не уступит...

— В нашей бригаде пятьдесят четыре двора, и у каждого по одной, а то и по две-три постройки наскребем, — вставил за Шипилова Огоров. — К нашей бригаде церковь прилегает, она у нас за колхозный амбар служит, и ее...

— Ее трогать нельзя, — серьезно вставил плотник.

— С одной каланчи, где колокола висят, бревен на сарай наберем, а досок... она ведь, каланча, ни к чему.

Торин заносил в тетрадь советы колхозников. Потом помог составить бригадирю список колхозников, которые смогут завтра к утру собственным тяглом подбрести необходимый лес. Тут же заметил с ним, кто будет плотничать и в какой срок необходимо закончить работу... В маленькой карманной книжечке мелко, почти точечками, написал:

«Необходимо предложить правлению заменить бригадира Шипилова более расторопным и смекалистым парнем-колхозником вроде Огорова».

— С этим вопросом пошабашили. В два дня стены нашьете... Бригада разбивается на две смены, одна будет работать ночью, на молотье. Ночью вегер затихает и лунно. Другая будет сооружать стены, а семь человек с одной лошадью ты выделишь сейчас же в помощь комсомолу на закладку второй силосной ямы. Точка.

Торин захлопнул тетрадь и сунул ее в полевую сумку. Застегивая, вспомнил о Буряшкиной. Ведь он даже не поинтересовался, где она.

Он зашагал под горку, к мельнице. Потянулся за ним Огоров. Спрашивал:

— А как занять бескоровному, скажем, ударнику, корову.

— Кредит отпустили уже, а теперь ваше правление колхоза должно вывить всех бескоровников, и кто честно работает и никогда своей коровы не имел, ему и будет первому честь оказана. Вытянете силос, тебе первому...

— Это по праведному... А силос и свинья, сказывают, трескает.

— Как приготовить, — силос можно и на стол человеку подавать.

Торин посадил в машину Огорова и вместе с ним доехал до избы Буряшкиной. Она, с вытянутой ногой, сидела на глиняной завалинке, перелистывая толстый журнал с пожелтевшими и примятыми в уголках страницами. Хотела подняться навстречу подходившему Торину, но не смогла, и ее всегда спокойное лицо вдруг резко, слезно покрылось. Она, скрывая острую боль, поджала губу. Буряшкина досадовала и на свою беспомощность, и на то, что к ней специально приехали. К чему, мол, ей такое внимание. Отвернулась, чтоб скрыть волнение. Торин подошел к ней вплотную, протянул руку. Присел на завалинке. Сидела молча. Он посмотрел ей в лицо. Глаза ее сухие, колючие. Торин покачал головой. Для Буряшкиной ясно без слов — корил ее за оплошность, и вместе с тем она чувствовала, что он жалел ее и что беда ее нехстати... и об этом заметно жалел. Но разве только в ней дело. «Подумаешь, жемчужина какая. Дело, ведь, не только во мне, а в людях. Неужели он этого не понимает», — подумала Буряшкина.

— Ну, рассказывай, что у тебя выходит, что нет.

— Все выходит. Остановка не за мной. Все, как советовал, так и распланировала. Яма готова. Долго упирались бабы, бузили. Лопаты надо было, не дали. Я тогда поставила вопрос на комсомольском собрании: на каждый нос — по лопате. Принесли. Понадобилась нам лестница, — нет, и кончено. Я — во дворе. Лестниц — хоть плотину пруди. Отстыдила жену одного красного партизана.

— Предколхоза Путова? — поинтересовался Торин.

— Эту тронь за живое, так она гору своротит. Гремучая, как динамит, — естивил Огоров.

— Ну да. Так она, как вертушка на ветру. Закружилась, забегала. Такая активная теперь стала, хоть в бригадыры ее впору...

— Партизанская кровь взыграла.

— Вот еще — досок. Говорю — не ехать же нам на Волгу за ними. Ну, тут ни в какую. Я опять на собрании комсомола поставила вопрос. Говорю:

какие ж мы ленинцы, когда нам старые заборы дорогу перегородили. Наконец сдались: «Досок дадим, — согласилась «бригадирша» Шипилова, — а обучать коров в ярме ходить — сами погоняйте». Думала, не посмеет. Так Путова первая ее за рога, да в пару ей — свою, «Маркизу» обученную. Раз до глинища сходили, а на другой день четыре воза коровами привезли. Бочки вот надо — на пожарку возложила.

— С массой как?

— С массой же, видишь, зеленый курган стоит, а вон подводы еще подходят. Нам бы вот что... силосорезку дружную с трактором, а то запаримся. А вдруг — дождь?

— К директору МТС надо.

— К директору? Да к нему с шилом надо. Путов совался, я просила — не проколей их, не сдвинешь.

— Директор — камень. Его ни злом, ни жалобой не проймешь, — вставил Огоров.

— Чудно у него получается. На ном, большом деле сидит, а вроде кючки. Ты ей норовишь дыпленка из кожиры выколупнуть, простору новорожденному прибавить, а она нет-нет, да и клюнет в лицо. Не за это ж, а клюнет. Хитро как-то получается.

— Хитро, хитро, товарищ Огоров. А мы, товарищ Буряшкина, попробуем еще понажать. Не выйдет — навалимся на него в четыре плеча. Договорились. А вот в больницу тебе ехать надо... Теперь же, сию минуту, ехать. Ты слышишь, товарищ Буряшкина?

Она слушала и молчала.

— Ну, ну, вставай, вставай, Дуняша. От лекаря никуда не уйдешь, — беря подмышки Буряшкину, отечески увещевал ее Огоров.

— Слышь, дядя Степа, пусти, — оборонялась руками, упорствовала Буряшкина. — Никуда я не поеду...

— Надо, товарищ... понимаешь, надо, — настаивал Торин.

— Э, да зачем еще тут... копытиться. Да, по-моему, силком ее в машину надо.

Огоров, обняв Буряшкину, осторожно понес ее в машину. Дул ветер, задирая юбку Буряшкиной, обнажая ее крепкие,

загорелые ноги до икр. Торин заметил поспевшую, как несозревшая слива, и опухшую вровень со щиколоткой ступню ее ноги. С горечью подумал: «Разнесло-то каким пузырем, как бы еще не ампутировали». Не представлял себе Торин Буряшкину без ноги. Подумав об этом, вздрогнул...

До города тридцать пять километров. Ехали по разутюженной, вновь проложенной «американке», обсаженной по сторонам молодыми, ветвистыми кленами. Их листья трепетно бились, бились беспомощно, готовые вот-вот сорваться под напором тоскливо свиставшего ветра.

## 6

На следующее утро Торин ехал в гору на велосипеде, — в колхоз «Долой собственность». Навязчиво липли мысли о Буряшкиной. Переплетались личное с общественным, деловое чувство — с чувствами новыми, незнакомыми, теплыми Торин попросил начальника, уехавшего на бюро райкома, обязательно заглянуть в больницу к Буряшкиной. Он почему-то странно на него поглядел, улыбнулся: «так уж, мол, и быть, пощажу твое раненое комсомольское сердце». А потом его круглое, давно небритое лицо вдруг посуровело. Торин не допускал мысли, чтоб начальник политотдела мог заподозреть его в каких-нибудь «посторонних», неделовых чувствах к Буряшкиной. А хотя бы и так... Но не это связывало его с Буряшкиной. А тут — на тебе... От этих мыслей, словно холодной и мокрой тряпкой, кутало сердце.

Торин упрямее нажимал на педали. У развилки трех дорог: одна — степная, где звенела высокая, еще не скошенная полоска пшеницы-седоуски, другая — прямая и, вправо, третья — в колхоз «Искра», как раз на самое взгорье, — он слез с велосипеда, уселся на сухой, колючей брице, решил с пяток минут передохнуть. Вытянул из-за пояса газету, бегло просмотрел заголовки. Хотелось свернуть в «Искру», но там дело как будто налажено. К тому же надо бы поторапливаться в колхоз «Долой собственность», — к обеду снова подует с

горячих астраханских степей упорный ветер...

Торин поставил велосипед на дорогу. Фуражку приспособил ремешком к рулю. Приподняв за сиденье колесо велосипеда, подав педаль к центру, он, с упора оттолкнувшись правой ногой от земли, вскочил в седло и легко покатил под гору. Завтра, поутру, он непременно заедет в колхоз «Искра». Надо проверить работу по закладке силоса, по расстановке людей, тягла. Должна была заняться этим Буряшкина при поддержке бригадиров и предколхоза Путова, но Буряшкиной нет, и неизвестно, когда еще ее выпишут из больницы... В лицо ударила первая прохладная волна поднимавшегося ветра, пахнувшего свежим сеном и терпкой керосиновой кислородкой — от тракторов.

Да, пусть как хочет и что хочет думает о его отношениях к Буряшкиной начальник, а Торин знает, что стоит он на правильной дороге: помогать колхозникам, помогать их организаторам, но помогать не только в производстве, а не в меньшей мере и в их быту. Это крепко, стальными нитями связано с Буряшкиной, связано с Огородовым и даже с неповоротливым товарищем Путовым. «Отрывать заботу о личных нуждах колхозников от их коллективного труда так же нелепо, как нелепо заводить трактор без искры в магнето, — рассуждал Торин. — Да, я подружил на деловой почве с Буряшкиной, и не моя вина, если люди понимают это по-иному».

В колхоз «Искра» Торин на обратном пути не заехал, — начальник вызвал его по телефону на совещание.

Когда спросил его, как положение Буряшкиной, начальник ответил: «Не падай духом, все в порядке». Это все, что узнал он о Буряшкиной.

## 7.

На столе у Торина лежала «Поднятая целина» Шолохова, но он никак не мог ее прочесть до конца и продумать. Не раз во время поездок читал ее вслух шоферу. Прочел одну главу в тракторной бригаде и в полевой, во время обеденного перерыва, на току. Хотелось по-

чаще так, но надо было в первую очередь ознакомиться с приказами, с материалами ЦК партии, прочесть «Правду», «Крестьянскую газету» и «Соц. земледелие». Нельзя было не читать краевую газету, районную и свою многотиражку. Да еще сам вызвал начальника на соревнование по овладению техникой машины. Мало приходилось выкраивать времени на чтение художественной литературы, поэтому и читал на собраниях, на току, во время переездов. Сегодня побанился с березовым веником. Распарился. Тянуло в постель, клонило в сон. Он быстро разделся и улегся в кровать, сладко вытянув ноги. На сосновой табуретке приспособил керосиновую лампу, раскрыл книгу — и вдруг... по окну прошел странный стук, как горохом посыпало. Кто? Торин притаил дыхание. Подумал — стучат, но некому стучать, — было за полночь. Кто бы это мог? Начальник обычно заходил по-приятельски, без стука, словно к себе в комнату. Не было случаев, чтобы кто-нибудь стучал в окно. Разве ветер покачал сухие, безлиственные ветки яблони. Ветра не было, ночью он обычно затихал... Снова стук — и все сильнее, рассыпчатей. Глянул в окно, — по стеклу ползла ручейками вода. «Дождь» — в тревоге прошептал Торин. «Почему, откуда его надуло. Не нужен дождь». На полях кипела молотьба. В бунтах лежал хлеб. А что теперь будет с силосной массой? Ведь она повсюду под открытым небом. Погибнет масса, особенно в незаделанных траншеях. Торин, забыв про усталость, проворно вскочил с кровати. Подбежал к окну. За окном плескалось, кипело, как рыбешки на сковороде. Он быстро натянул брюки. Хотел выйти на порог, поглядеть, насколько опасен дождь. Если обложной, конечно дело швах. Надо начинать сначала. А может, просто набежала случайная тучка. Она не помеха, не опасна — прибьет разве пыль, и только. Пока одевался, за окном снова стало тихо, в ушах — покой, как легкая оглохлость после выстрела. Присел у стола. Снова стук, теперь не в окно, а в дверь, стук щекотки. Но ведь у него дверь не заперта.

Торин, на-ходу натягивая рубаху, распахнул дверь, вышел на стук. Со двора потянуло мягкой, щекочущей прохладой. Тихо, звездно. Где-то из водосточной трубы, как из горла бутылки, журчала вода. За зубчатым забором фыркала лошадь. На пороге стояла Буряшкина, с узелком в руках.

— Я к вам за вырубкой. Видите, задождило, а у нас позлее отхлестывал. Была у директора МТС по поводу силосорезки — отказал, говорит: «Она испорчена, шестерня в ней лопнула».

— Шестерня лопнула... бывает. Заходи в комнату, а то я босой, прогудаться можно.

Буряшкина, прихрамывая, вошла в комнату.

— Как с ногой?

Буряшкина слегка приподняла подол сарафана, показала ногу.

— Как видишь, все благополучно обошлось. Ходила в шине. Сняли шину и сказали: «Хорошо, что так легко отделилась». Советовали в другой раз не падать.

— А почему хромаешь?

— По привычке, две недели ведь ходила с деревяшками... Хорошо, ты подвернулся, а то б еще калекой...

— Ну, ну, расквасилась, — пожурил Торин.

— Обещал, а не выполнил, пришлось самим проворачивать. Ой, и Шипилов.

— Опять в чем-нибудь подкузьмил? Да чего ты кислая такая... Я конечно будто подвел, но это, Дуняша, только одна видимость. Начальник послал в бригаду, в колхоз «Вперед». Эх, и растерюши. Пришлось Домаеву плечи править.

— А мы Шипилову тоже мозги на место поставили.

— Шипилову следует... Правильно, по-нашему.

— Теперь у нас в «Искре» весело. И день, и ночь под гармонь силосуем. Опасно — заждит. Не выбьем силосорезку, трактор, тогда, как ты говоришь, делу швах.

Буряшкина приехала к Торину с надеждой уладить вопрос, а он молчит... Потом — уходит в другую комнату.

Слышит Буряшкина легкий шорох за окном. Там, словно давая знать о себе, бьет копытами, фыркает лошадь. Поедет ли Буряшкина сейчас за восемнадцать километров в свой колхоз, или ждать до утра? «До утра — лошадь покормить надо, сводить на водопой и ей где-то прикурнуть, разве на возу», — подумала она и, загоразивая ладошкой рот, сладко зевнула. Она вторые сутки, как вернулась из больницы, почти не спала. «Без силосорезки она не вернется в колхоз».

Скучно рассматривала комнату. На трех продолговатых окнах с побеленными рамами припилены вместо занавесок газеты. На стенах, начисто выбеленных, ни трещинки, ни пятнышка. Все — ново, все казалось пустынным. «Не обжилась» — подумала она.

У стола, заваленного ворохами газет и журналов, висел знакомый ей политотдельский план-регламент, концы его были скрючены. План, приколотый одной булавкой к стене, еле держался. Буряшкина приколола его ровней. Мебели, кроме двух табуреток и стола, никакой. В углу, смазанный маслом, поблескивал дробовик. Коптила лампа. Буряшкина прикрутила огонь.

Торин натянул сапоги и, позвякивая медной пряжкой пояса, туго затянувшись в талии, вошел к Буряшкиной.

— Пошли к директору.

— К директору, так поздно?

— Думаешь — спит? Он у нас, как крот, — и день, и ночь, если не в борозде, то в мастерской. Скажи — дома не будет? Подождем.

Директор жил через дорогу. Из окон его дома лил белый яркий свет.

— Видишь, не спит еще, — показывая на свет, произнес Торин.

Вышли за калитку. Торин взял плотно об руку Буряшкину, иносказательно произнес:

— Будем крепость брать штурмом. Поняла? И ни шагу назад.

Пересекли улицу и через открытое парадное, облитое голубоватым светом, вошли, без стука, в комнату директора. Под гладким, свежее-выбеленным потолком висела металлическая лампа с зеркальным отражателем прожектора. Ди-



ректор, обхватив голову жилистыми руками, читал газету. Он сразу догадался, зачем к нему пришли. У него ведь силосорезка неисправная, — он уже сообщил Буряшкиной. А может, силосорезка исправная? Так нет же, ему сам старший механик сегодня доложил, что у нее лопнула шестеренка. Но директор не проверил, хотя знал за механиком по сельхозмашинам некоторые грешки. Он способен был одному колхозу немотивированно отказать, другого же этим просимым наделить. Директор предложил товарищам присесть. Указал на мягкий диван, обшитый гемной кожей.

— Как это сделать, чтоб вышло, Семен Филиппович, и нельзя ли Буряшкину сегодня же отправить с машиной в колхоз? — обратился к нему Торин.

Директор, глубоко всунув в карманы широких брюк руки, молча заходил по комнате. На его загорелой шее, сморщенной клетками, выступила краска. Он отказал ей в старой силосорезке, а раз отказал, — думал директор, — значит слово должно быть твердым. Есть три новых силосорезки, но они только отгружены. Да и на этот счет у него имелись свои соображения: если дать силосорезку такому колхозу, как «Искра», — он ее загонит, как загнал в прошлом году. А сейчас силосорезки стоят у него под навесом, смазанные, новенькие, попахивающие свежей краской. Колхоз «Искра» у него в долгу, хотя этот колхоз по договору и надо обслуживать. Но колхоз колхозом, а он тоже на жестком хозрасчете. Ему подавай копейку в копейку.

Торин знал эту черту директора и даже в шутку иной раз говорил ему: «Ты там потруси, хозяин, капшуком».

Политотдел Марьевской МТС  
Чапаевского района.  
Январь — март 1934 года.

— А почему бы колхозу «Искра» не дать новую? — спросил Торин.

— Новую? — вздрогнув кругловатыми плечами, переспросил директор. Его удивило, что о новых машинах так быстро узнал Торин.

Директор не стал упираться, дал согласие отпустить колхозу «Искра» новую силосорезку. Бригадиру тракторной написал записку: дать трактор.

Торин и Буряшкина быстро покинули директора, вышли на улицу. Вместе, на дрогах, проехали впритруску к усадьбе МТС. Там, под навесом, освещенным стосвечевой электролампой, они нашли ногу силосорезку.

С помощью скукавших сторожей, погрузили машину на дроги. Выехали за ограду.

— Ну, с победой, Дуняша.

— Э, и ловко же с вами работать, И кто вас придумал, таких шустрых да смелых.

— Пересаливаешь, Дуняша.

— Не пересаливаю, Вася.

— А я говорю — пересаливаешь. Не я, а мы — жемчуг, люди, в них — сила. Поняла?

— И я так думала.

— То-то же. Ты погоди в колхоз одна ехать, я тоже с тобой. Вижу — помочь тебе надо.

Он подмигнул и побежал к крыльцу конторы МТС. Вскоре вернулся на дроги улыбающийся.

— Ты это зачем бегал? — спросила Буряшкина.

— О выезде разрешения у начальника просил.

— Разрешил?

— Есть, товарищ, и еще знаем, где взять, — вспрыгнув на цовозку, пошутил Торин. Пошевелил возжами. Лошадь тронулась с места под горку, — навстречу росистому утру.

# За рубежом

1. БЕЛА КУН—Вооруженные силы двух фронтов. 2. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ—Марафон танцев

## 1 ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДВУХ ФРОНТОВ.\*)

### Бела Кун

Два фронта развернулись и встали друг против друга — фронт австро-фашистской контрреволюции и фронт вооруженного восстания<sup>1)</sup> австрийского рабочего класса.

Численность и соотношение сил как фронта контрреволюции, так и фронта революционного восстания не только не были тайной для руководства партии, они были хорошо известны и широким массам. Резервы восстания подсчитать было труднее, так как они были гораздо более рассеяны и в своем развертывании труднее поддавались учету, чем резервы контрреволюции. Но они безусловно были значительно больше резервов фашизма.

\*) Здесь мы даем две главы из еще не напечатанной брошюры: «Февральские бои в Австрии и их уроки».

<sup>1)</sup> Если мы в связи с февральскими боями в Австрии говорим о восстании и повстанцах, то лишь в условном смысле. Картина февральских боев уже показывает, что речь идет не о таком восстании, где рабочий класс руководится революционной коммунистической партией, где он подготавливает и ведет вооруженную борьбу под ясным лозунгом завоевания власти, с ясно поставленной целью разгрома буржуазной государственной власти и установления диктатуры пролетариата. Героические бои австрийского пролетариата были — и этого не может изменить никакой героизм — не только в во-

### Вооруженные силы контрреволюции

Контрреволюция располагала следующими видами вооруженных сил: а) регулярная армия, б) вспомогательная армия, в) тайные вооруженные организации, которые после государственного переворота в марте 1933 года большей частью были «легализованы».

#### а) Регулярная армия.

Австрийская армия согласно сен-жерменскому договору является наименьшей армией, дополняемой добровольческими частями. Численность ее была ограничена 30.000 чел., в том числе 1.500 офицеров, 200 унтер-офицеров и 25.500 солдат. Но прежде австрийская армия не достигала этой цифры.

енном, но и в политическом отношении выраженном оборонительного сопротивления насилию буржуазии. Рабочие взялись за оружие для отпора. Такое выступление рабочего класса, которое без оговорок может быть охарактеризовано как вооруженное восстание, должно быть — на основе ясной цели установки — подготовлено революционной рабочей партией в массах.

Австрийская социал-демократия не была партией вооруженного восстания, она была с самого начала партией саботажа, предательства вооруженного восстания. Мы поэтому пользуемся словами «восстание», «повстанцы» лишь в том условном смысле, что выступления рабочих в Австрии приняли форму широких вооруженных боев.

После взятия власти Гитлером в Германии, ввиду усиленных стремлений германского фашизма к унификации Австрии, Франция и другие заинтересованные великие державы разрешили Дольфусу увеличить численность армии для защиты независимости Австрии. До начала восстания армия была значительно увеличена, так что к моменту восстания насчитывала примерно 35.000 человек.

Армия состояла из шести бригад, из которых две имели свой штаб в Вене. Шесть бригад состояли из 12 пехотных полков, 32 батальонов и еще четырех отдельных батальонов, шести велосипедных батальонов, шести кавалерийских эскадронов, шести артиллерийских дивизионов, трех самостоятельных артиллерийских отрядов (артиллерия отчасти моторизована), шести саперных батальонов, шести телефонных и телеграфных рот и шести автомобильных рот. Вооружение армии было ограничено сейжержменским договором, — этот договор не разрешает Австрийской республике иметь танки, аэропланы, тяжелую артиллерию и химические средства войны.

Австрийская армия еще несколько лет тому назад превозносилась социал-демократией как самая демократическая армия в мире. Она была гордостью всех социал-демократических военных политиков. После трусливого предательства, совершенного социал-демократией во время июльского восстания в Вене, христианско-социальная партия всецело забрала в свои руки руководство армией и шаг за шагом вытеснила социал-демократов из их позиций в армии. В 1926 году социал-демократический военный союз был представлен в системе армейских уполномоченных 218 мандатами, а христианско-социальный «вербунд» только 35 мандатами. В 1927 году после июльского предательства число социал-демократических мандатов упало до 118, а число мандатов христианско-социальной партии возросло до 214. В 1929 году, когда армия была очищена от социал-демократов и правительство совершенно свело на-нет права уполномоченных, число социал-демократических ман-

датов упало до 93, в то время как христианско-социальная партия имела 250 мандатов. В офицерской организации почти совсем не осталось социал-демократов, зато среди офицеров очень много сторонников Гитлера. Таковы успехи социал-демократической реальной политики в военно-политической области.

б) Вспомогательная армия состояла из полиции, жандармерии и пограничной стражи.

Полиция насчитывала 17.500 человек, она вооружена лучше, чем армия. У нее были бронированные автомобили, полицейские аэропланы и химические средства борьбы. Полицейские были вооружены винтовками и имели в своем распоряжении большое число пулеметов.

Жандармерия насчитывает 5.500 человек. Она вооружена винтовками, штыками и саблями, а также пулеметами. У каждого жандарма есть либо велосипед, либо мотоцикл.

Пограничная стража — около 9.000 человек, вооружена так же, как и жандармерия.

Все эти военные формации были прежде в руках социал-демократии и в огромном большинстве своем были организованы в профсоюзы. После 1927 года они ускользнули из рук социал-демократического руководства.

в) Тайные организации контрреволюции.

Хейматс шуцвер (известный под именем хеймвера), по различным источникам, охватывал от 100 до 150 тысяч членов. Тирольская организация хеймвера — его крупнейшая организация — насчитывала 25—27 тысяч человек. В Каринтии хеймвер охватывал 25—30 тысяч человек, в Штирии около 30 тысяч. В рядах хеймвера были представители всех буржуазных партий.

Члены хеймвера были вооружены и носили мундир. Вооружение состояло из винтовок, легких и тяжелых пулеметов и полевых пушек. Обучение членов хеймвера проводилось активными и резервными офицерами армии.

Остмеркише шуцшарен была относительно юная и неорганизо-

ванная формация. Это — «личная армия» канцлера Дольфуса. О численности ее мы не имеем надежных данных. Но, повидимому, она была не только не очень многочисленна, но и в военном отношении не имела достаточной выучки.

Союз австрийских офицеров насчитывал будто бы около 10 тысяч членов, в том числе около 1.500—2.000 офицеров действительной службы. Повидимому, до восстания он не был вооружен.

Национал-социалистическая рабочая партия, филиал партии Гитлера, до своего роспуска имела несколько десятков тысяч вооруженных членов. Их оружие правительство Дольфуса не могло конфисковать. Если кое-что из их запасов оружия и попало в руки полиции, то эти потери были щедро восполнены из Германии. Национал-социалистические формации имеют в своих рядах много кадровых офицеров и полицейских чиновников, часть которых была удалена из армии и полиции и теперь образует кадры национал-социалистических командиров.

### Вооруженные силы восстания

Республиканский шуцбунд был социал-демократической организацией, предназначенной для защиты буржуазной республики. С какой целью социал-демократическое партруководство создало эту организацию, показывает то обстоятельство, что коммунисты были из нее исключены. Несмотря на эти исключения, в рядах шуцбунда остались и коммунисты и сочувствующие им рабочие. Перед началом восстания шуцбунд уже был запрещен, но он продолжал полулегально существовать в качестве социал-демократической организации «орднеров». В шуцбунд по уставу принимались члены социал-демократической партии не менее чем с двухлетним партстажем и не моложе двадцатилетнего возраста.

Численность шуцбунда до роспуска достигла будто бы 200 тысяч. На основании ряда данных можно предположить, что непосредственно перед восста-

нием число членов составляло около 80.000. Среди членов шуцбунда молодежь представлена в небольшом количестве. Вооружение шуцбунда состояло из револьверов, винтовок и ручных гранат. Шуцбунд обладал большими складами оружия, часть которого была конфискована полицией. На складах оружия шуцбунд, кроме винтовок и револьверов, имел ящики и много пулеметов и ручных гранат, а согласно некоторым сообщениям, и несколько пушек; во всех важных центрах у него были радиоаппараты. Во главе шуцбунда стоял трехчленный центральный комитет, политическим руководителем которого был Юлиус Дейч (главнокомандующий шуцбунда), а военным руководителем — второй член центрального комитета, генерал Кернер, тоже социал-демократ.

В отдельных провинциях во главе организаций шуцбунда также стояли трехчленные комитеты, состоящие из политического руководителя, военного руководителя и кандидата. Военными руководителями прежде были большей частью кадровые офицеры и до последнего времени хорошо подготовленные резервные офицеры и бывшие унтер-офицеры.

289 батальонов, которыми, по некоторым данным, обладал шуцбунд, были разделены на 16 округов, в том числе в Вене было пять округных штабов, в Нижней Австрии — четыре, в Верхней Австрии — два, в Штирии — два, в Каринтии, Тироле и Коральберге — по одному.

Подготовка шуцбунда в форме военного спорта, стрельбы из малокалиберных винтовок и тактических упражнений, стояла на высоком уровне. Дисциплина была образцовой.

Коммунистическая партия после роспуска организаций «Роте арбейтервер» не имела значительной организованной вооруженной формации; вокруг нелегального журнала «Дер роте солдат» начинали сплачиваться маленькие группы солдат армии, кроме того, коммунисты имели значительное влияние на некоторые низовые организации шуцбунда.

Таково было соотношение вооруженных сил контрреволюции и вооруженного восстания в тот момент, когда поднялись массы.

### Пять дней в огне битвы против фашизма

Вооруженные силы австрийского фашизма — армия, полиция и жандармерия и военные организации австрофашистских партий — уже стояли в полной боевой готовности еще до 11 февраля. Вице-канцлер, майор Фей, который одновременно является заместителем начальника хеймвера, князя Штаремберга, командовал всеми вооруженными силами контрреволюции, за исключением национал-социалистических. 11 февраля он произнес речь, из которой ясно видно, что правительство решило двинуть свои регулярные силы и фашистские банды, превращенные в регулярные отряды, на рабочих, на их организации.

Этому предшествовала оживленная деятельность полиции, подкрепленной вспомогательной полицией хеймвера. Обыски шли непрерывно. Искали шуцбундовские склады оружия. В рабочих кварталах Вены и главных центрах провинции, в Линце, Граце, Инсбруке, Шлагенфурте, Зальцбурге, Эльзенштадте, Винер-нейштадте, кишмя кишело полицейскими шпиками, агентами хеймвера, агентами «Отечественного фронта» в мундирах и в штатском. Было очевидно, что на основании заранее составленных черных списков установлен надзор за командирами шуцбунда, за членами фабзавкомов, известными в качестве левых, и нелегальными коммунистическими функционерами, чтобы затем своевременно их обезвредить.

Мы даем изображение событий на основе газетных материалов — весьма скудных.

#### Первый день боев (12 февраля).

В Линце перед социал-демократическим рабочим домом появилась полиция с сильно вооруженными отрядами хейм-

вера. Полиция собиралась произвести обыск, — искали оружие. В эти дни это было обычным явлением. Полиция и хеймвер были встречены пулеметным огнем. Фашистские «герои» не были подготовлены к такому приему. По старой традиции австрийской армии «они «повернули тыл», то-есть обратились в бегство. Рабочие не преследовали беглецов, они тотчас же начали строить баррикады вокруг дома.

Командир линцской бригады, генерал-майор Ценер, взял на себя командование вооруженными силами Линца. Он тотчас же мобилизовал роту «альпенегеров» с отрядом пулеметчиков. Дом партии был обстрелян из пулеметов и через несколько часов взят был штурмом военными силами фашизма.

Эти бои были сигналом для всех формирований шуцбунда в Линце и окрестностях. Они заняли, ожидая сигнала сверху, рабочие клубы, школы, корабельную верфь и вокзал и приготовились к защите.

Контрреволюция довольно быстро мобилизовала свои силы и бросила их в битву. Войска хеймвера в окрестностях Линца были подняты на ноги, и пехотный полк, стоявший в расположенном поблизости от Линца городке Вельсе, был также пущен в дело. В то же время немедленно была мобилизована артиллерия.

Начался жаркий бой между военными силами контрреволюции и рабочими отрядами, бой, длившийся почти всю ночь и сопровождавшийся тяжелыми потерями с обеих сторон.

С этого дня в Вене также начинаются провокационные обыски и аресты. В Флоридсдорфе был арестован ряд членов фабзавкомов. Настроение рабочих приближалось к точке кипения.

ЦК социал-демократической партии тотчас же после начала боев был уведомлен из Линца обо всем происходящем. Линцские шуцбундовцы требовали проявления солидарности, — провозглашения всеобщей стачки, — так как налицо была именно та ситуация, при наличии которой, согласно решению внеочередного партсъезда австрийской

социал-демократии в октябре 1933 г., следовало объявить всеобщую стачку.

Ответ гласил — «выжидать».

Социал-демократический ЦК послал двух посредников, членов христианско-социальной партии, к Дольфусу для новых переговоров.

Завкомы венской электростанции и газового завода также были немедленно извещены из Линца о начале вооруженных боев. Рабочие этих заводов вступили во всеобщую стачку.

В Линце всеобщая стачка была уже объявлена самотеком, по инициативе железнодорожников. Она вспыхнула со стихийной силой.

В Вене трамвайщики и другие муниципальные рабочие между 12 и 13 часами присоединились к стачке рабочих электростанции и газового завода.

Рабочие ждали сигнала ко всеобщей стачке, шуцбундовцы ждали приказа.

Между тем полиция, жандармерия и солдаты заняли ратушу, помещение ЦК социал-демократической партии, все штаб-квартиры шуцбунда.

Войска контрреволюции начали занимать вместе с том рабочие кварталы и забаррикадировали центр города с помощью проволочных загромождений.

Коммунистическая партия Австрии призвала рабочих ко всеобщей стачке.

Руководство объединения профсоюзов вслед за тем выбросило через свои органы контрпароль: «Выжидать! Продолжать работу!»

Когда уже началась частичная стачка, когда уже начался разгул фашистского террора полицейских и хеймверовских банд, тогда и шуцбундовцы начали концентрироваться в определенных сборных пунктах. Но руководство шуцбунда не трогалось с места. Большая часть вождей уже была арестована. Коммунисты и младшие руководители шуцбунда били тревогу всюду, где только могли.

Один социал-демократический шуцбундовец, которому удалось бежать из Австрии в Чехо-Словакию, рассказывал корреспонденту «Рейхенбергер форвертс» о начале боев в его округе, в Зиммеринге. Он набросал следующую картину:

«Наш отряд шуцбунда тотчас же после получения сообщения, через 35 минут, был на месте. Нас было 340 человек, то-есть в таком количестве мы должны были собраться, по нашим расчетам. Я полагал, что на место придут лишь  $\frac{3}{4}$  наших людей. В действительности же явилось 405 человек. Все исключенные прежде за нарушение дисциплины были на месте, и кроме того к нам присоединилось свыше 40 коммунистов, которые подчинялись нашей команде и соблюдали дисциплину. Мы выполнили свою задачу, заняли один вокзал и несколько комплексов зданий. Мы ждали приказа к атаке».

Не во всех округах мобилизация происходила так быстро, как в Зиммеринге. Тот же самый младший командир шуцбунда рассказывает об этом следующим образом:

«И вот заместители арестованных вождей шуцбунда в отдельных округах медлили с сигналом к тревоге. В Зиммеринге например мы заняли наши позиции. Соседний округ сделал это приблизительно через пять часов. Другой граничащий с нами округ лишь через восемь часов... мы просто висели в воздухе, не могли двигаться вперед и должны были ждать и бездействовать, пока другие нас догонят. Аресты, поиски оружия и в особенности медлительность руководства,— вот что, я полагаю, стоило нам победы».

Другой социал-демократический функционер рассказывает в выходящей в Саарбрюкене газете «Дейче фрейхейт», что таким образом «добрых десять тысяч человек в Вене не были мобилизованы». Точно так же то обстоятельство, что склады оружия и снаряжения большей частью были известны лишь лю-

дям, которые отчасти находились под арестом, отчасти не включились в борьбу, сильно мешало мобилизации и ведению борьбы.

В это время в Вену было уже стянуто 17 тысяч человек полиции, 3—4 тысячи жандармов и несколько десятков тысяч хеймверовцев и членов военной организации «Остмеркише шуцшарен».

Броневики и артиллерия были готовы.

Бои в Вене начались в Фаворитене (10-й округ), Зиммеринге (11-й округ), в Оттакринге (16-й округ), на южном (правом) берегу Дуная. На северном (левом) берегу Дуная, в крупном северо-восточном округе города, Флоридсдорфе (21-й округ) образовался большой очаг восстания, к которому примкнули предместья Кагран и Штадлау. На правом берегу были заняты Восточный и Северный вокзалы. Связь между южным и северным берегом Дуная была обеспечена занятием моста Рейхсбруке. В северной, пролетарской части города, в Деблинге (19-й округ), важнейшим центром восстания стал муниципальный дом им. Карла Маркса. К Деблингу присоединился 17-й округ, образуя связующее звено с Оттакрингом (16-й округ) в западной части города.

На юго-востоке главными очагами восстания были Зиммеринг (11-й округ), Фаворитен (11-й округ), где находился Восточный и Южный вокзалы, и Лаарберг с радиостанцией. Мейдлинг (12-й округ), возле которого находятся Винерберг, Маргаретен (5-й округ) и часть Гицинга (10-й округ), служили ареной боев.

В центре города, в той части его, которая примыкала к Рингу, бои не происходили. В той части города, которая находится между Рингом и кольцевым Валом (Гюртелем), были лишь незначительные бои. Большинство боев разыгралось на правом берегу, между линией Внутреннего и Внешнего Гюртеля, в рабочих кварталах.

Все эти центры восстания большей частью образовались в первый же день боев. В первый день начались бои и в большинстве очагов восстания в провинции: в Нейнкирхене, Глогнице, в Бруке-на-Муре, Граце, Леобене, Штейере, Линце, Зальцбурге, Инсбруке, Винер-Нейштадте, где шуцбунд был застигнут врасплох полицией и большей частью разоружен и т. д. Контрольно-революционные военные силы немедленно перешли в наступление. Маневренная способность высшего командования австро-фашистов выиграла оттого, что железнодорожники не вступили в стачку.

Национал-социалисты не подавали признаков жизни.

### Второй день боев (13 февраля).

В Вене господствовала политическая массовая стачка в форме частичной стачки, в провинциальных центрах вспыхнули всеобщие стачки. Все это были стихийные движения. На многих фабриках рабочие были на месте своей работы, но не работали. Буржуазные газеты вышли.

Рано утром началась новая бешеная борьба вокруг дома Карла Маркса в Гейлигенштадт-Деблинге. Сюда была двинута артиллерия фашистов, которая открыла огонь. Рабочие защищали дом пулеметным огнем с крыши и из окон. Наряду с артиллерией были пущены в ход бронированные автомобили. Большая часть дома продолжительным артиллерийским огнем (который длился около пяти часов) была обращена в развалины. Часть сражавшихся эвакуировалась, другая часть осталась в доме. Очищение дома было проведено фашистами с беспощадной жестокостью.

В округе Маргаретен фашистские военные силы штурмовали муниципальные дома, и почти все они были взяты, несмотря на упорное сопротивление отдельных повстанцев. В округах Фаворитен и Зиммеринг, где коммунисты имели довольно большое влияние на ход боев, были в некоторых

местах предприняты контратаки. В Зиммеринге шувбундовцы заняли территорию между вокзалом Аспанг и Центральным кладбищем, чтобы получить доступ к сложным на кладбище запасам оружия.

В округе Мейдлинг рабочие обстреляли три автомобиля контрреволюционеров и овладели ими. Мейдлингский отряд шувбунда без сопротивления забрал три пулемета в близлежащих казармах.

В Гринцинге развернулись бои вокруг электростанции. У Восточного вокзала собрались бронированные автомобили правительственных войск, и началось кровопролитное сражение между ними и повстанцами, отбившими правительственные войска с большими потерями.

В округе Оттакринг рабочие укрепили свои позиции, заняли несколько лежащих возле рабочего клуба домов, где образовались фланговые позиции и были устроены пулеметные гнезда. Они прогнали хеймверовские и правительственные войска. К концу дня шувбундовцы в Оттакринге заняли ряд улиц.

На северном берегу Дуная, в Флоридсдорфе и Кайзермюлене, бои приняли более кровавый характер. Флоридсберг был обстрелян артиллерией из Бизанберга.

В течение всей ночи 13 и 14 февраля боевые действия продолжались с обеих сторон. Рабочие повели вместе с тем партизанскую борьбу. В некоторых случаях хеймверовские отряды были обстреляны из частных домов.

В Мейдлинге, Зиммеринге, Флоридсдорфе правительственные войска стояли под сильным огнем, которым обстреливали их жители этих районов. Рабочие из предместья Штадлау поспешили на помощь жителям Флоридсдорфа.

В провинции бои продолжались. В Линце около 4 тысяч рабочих на левом берегу Дуная защищались против превосходящих сил противника — 6 тысяч человек. В Штейере, где фабрика и город находились в руках повстанцев, они были обстреляны артиллерией. В Зальцбурге контрреволюционные войсковые части вынуждены были очистить

несколько улиц. В Капфенберге рабочие окружили и разоружили фашистов. В Вергле (Тироль) началось восстание.

### Третий день боев (14 февраля).

Правительство по радио сообщает, что восстание ликвидировано. Но восстание продолжается.

В Вене образуются два связанных между собой участка фронта: северо-восточный и южный.

В Флоридсдорфе попрежнему продолжают ожесточенные бои. Несмотря на артиллерийский огонь, рабочие не очищают своих позиций.

В Хейлингенштадте снова начинаются бои вокруг дома Карла Маркса.

Вокруг дома им. Гете бои принимают все более кровавый характер.

В некоторых местах округа Зиммеринг рабочие отбросили назад штурмующие их контрреволюционные войска. Артиллерия расположилась непосредственно перед муниципальными домами. Рабочие отвечали пулеметным огнем.

После полудня рабочие в доме им. Гете отразили попытку штурма со стороны правительственных войск после кровавых боев. Часть правительственных войск была отбита в рукопашной схватке на лестницах и в комнатах домов.

Лаарберг обстреливался артиллерийским огнем. Рабочие попытались атаковать радиостанцию, на протяжении двух километров устроили окопы. В Лаарберге рабочие заняли эти укрепленные позиции. Из Лаарберга рабочие звали на помощь виннернейштадтцев, но безуспешно.

В округе Оттакринг рабочий клуб, из которого рабочие были изгнаны 13 февраля, снова был взят ими штурмом.

В Мейдлинге были построены баррикады. Оттуда рабочие защищали муниципальные здания и отбили осаду правительственных войск пулеметным огнем. Бои вокруг дома Матеоти и дома Реймана продолжались.



В Фаворитене бастовали рабочие хлебозавода. Они принимали участие в боях вокруг дома Либкнехта.

Рано утром началась новая атака на Флоридсдорфе. Ей предшествовал разведочный полет полицейского летчика. Осада велась при помощи артиллерийского пулеметного огня правительственных войск. Полторы артиллерийских батареи открыли огонь и были поддержаны пушками и пулеметами с расположившегося на Дунае броненосца. После 3-часовой бомбардировки всего округа в целом ряде зданий возникли пожары. Рабочие продолжали свое сопротивление, не дрогнув.

К югу от линии Северо-Западной железной дороги — в Флоридсдорфе, в Едлезее — рабочие сымпровизировали бронемашину из грузовиков для вывозки мусора, принадлежавших городскому парку. Они были снабжены пулеметами. Так они поддержали флоридсдорфских бойцов.

В Флоридсдорфе правительственные войска понесли большие потери. Большинство позиций повстанцев им взять не удалось.

При Шлингергофе в Флоридсдорфе несколько сот повстанцев произвели вылазку и отбили правительственные войска ручными гранатами. Начиная с полудня, позиции в Флоридсдорфе переходят из рук в руки.

В Вене вечером ряд важных позиций был в руках рабочих: комбинат здания им. Карла Маркса, рабочая колония Зандлейтен в Гернальсе, Рабочий дом в Оттакринге, вокзал Аспанг, Восточный вокзал, городская бойня, зиммеринговские железнодорожные мастерские и ряд муниципальных домов.

Правительство стянуло новые подкрепления из провинции и призвало бывших офицеров и сочувствующие ему элементы добровольно мобилизоваться для борьбы с повстанцами.

14 февраля бои в провинции продолжают, в особенности в промышленных центрах вдоль линии железной дороги — в Нейнкирхене, Тернице и

Бруке-на-Муре. Рабочие заняли город Капфенберг.

В Линце рабочие защищали пивоваренный завод, товарную станцию и судостроительную верфь.

В Фрейберге близ Линца рабочие заняли пороховые склады и город.

Огонь из гаубиц и мортир из Линца продолжался. Вынужденные к отступлению рабочие заняли несколько важных высот в окрестностях и продолжали оказывать сопротивление.

Вблизи Вергля рабочие на лесопильных заводах и других предприятиях забастовали и с оружием в руках поспешили на помощь борющимся рабочим Вергля.

Из Инсбрука в Вергль был послан хеймвер и правительственные войска.

Рабочие взяли обратно Брук-на-Муре. Начальник хеймвера князь Штаремберг велел обстрелять город моторизованной артиллерией, сначала безуспешно, но затем рабочие вынуждены были отступить.

В Бруке-на-Муре и в Штейере развернулась маневренная война между повстанцами и правительственными войсками, причем повстанцы предприняли несколько успешных контратак.

В Эггенберге рабочие забастовали, заняли правительственные здания и солеварни.

Во многих местах, в особенности в Вене, у рабочих начинает ощущаться недостаток снаряжения. Кульминационного пункта бои достигают 14 февраля. Работают военно-полевые суды. Начинается работа палача.

#### Четвертый день боев (15 февраля).

Ночью с 14 на 15 февраля в Вене все еще происходят упорные бои. У повстанцев ощущается недостаток не только военных припасов, но и продовольствия. Большинство позиций еще находится в руках рабочих.

15 февраля рано утром огонь в некоторых местах на время смолкает. Дольфус в переданном по радио ультиматуме требует сдачи оружия и обещает амнистию. Военно-полевые суды присту-

пили к делу. 13-го они были уже за работой.

После ультиматума Дольфуса бои снова разгорелись.

В Флоридсдорфе повстанцы продолжали бороться, хотя дом Шлингера был разрушен артиллерийским огнем. Часть борющихся сдалась, другая очистила здание. Правительство стянуло новые вооруженные силы в окрестностях Флоридсдорфа, флоридсдорфцы снова отбили атаки. Они предприняли контратаку, которая была прекращена только артиллерийским огнем в спину повстанцам. Они начали отступление к югу в направлении Каграна. Там они возобновили борьбу.

В Кайзермюлене рабочие также возобновили борьбу за муниципальные дома, где они зарарриковались.

В Едлезее борьба за школы и за здание муниципального управления продолжалась. Десять полицейских были взяты рабочими в качестве заложников.

Против здания им. Гете была пущена в ход артиллерия и минометы с разрывными гранатами. Батарея гаубиц обстреляла здание им. Гете с левого берега Дуная. Целыми часами продолжаются ожесточенные бои. Дом Гете падает.

В округе Фаворитен рабочие утром держались на хлебозаводе и в четырех муниципальных зданиях.

Поблизости от Вены была взорвана железнодорожная линия Южной железной дороги.

В Лаарберге бои продолжались с тем же ожесточением и героизмом. До полудня рабочие под непрерывным огнем удерживали в своих руках занятые ими высоты, после полудня они отступили на вторую линию обороны. Правительство посылало все новые и новые силы против Зиммеринга и в особенности против Лаарберга.

В Хейлигенштадте снова началась стрельба вокруг здания Карла Маркса, часть которого находилась в руках правительственных войск, а другая часть — в руках рабочих. Последние корпуса дома Карла Маркса были взяты штурмом правительственными войсками.

В Штейере, Линце, Брукена-Муре, Эдлезее бои продолжают.

В Вальдеке (Верхняя Австрия) рабочие в кровопролитных боях отбросили правительственные войска.

В Эгенберге они силой берут жандармскую казарму и захватывают несколько минометов.

В Граце важные стратегические пункты попали в руки рабочих. Железнодорожники забастовали.

В Линце рабочие провели отступление до Урфара и в этом округе продолжали драться.

В Зальцбурге рабочие заняли вокзал и прервали железнодорожное сообщение.

Брукена-Муре перешел в руки правительства.

Вечером снова начались кровопролитные бои в восточных частях Флоридсдорфа, Штадлау и к югу от Лаарберга. Артиллерийский огонь был прекращен, в ночь на 16 февраля отступление рабочих принимает всеобщий характер.

Несколько отрядов, в особенности из Флоридсдорфа, отступают до чехо-словацкой границы. Здесь они разоружаются и интернируются. Другие рассеялись по городу.

Ночью по улицам шныряют броневики, идут обыски, ищут оружие, участников восстания, спрятанных раненых. Дикая резня в рабочих кварталах, где свирепствуют мародеры поля битвы, в особенности фашистская вспомогательная полиция. Крупные бои в Вене закончились.

16 февраля еще происходят бои в Штейере, в Вейсберге (Штирия), Эбензее и в некоторых других местах.

Правительство посылает новые подкрепления в Штейер, где хеймверовские фашисты, под руководством Штаремберга, несмотря на численный перевес и лучшее вооружение, еще не сумели сломить сопротивление рабочих.

Рабочие из Брука-на-Муре отступают в леса и начинают вести партизанскую борьбу против правительственных войск. В Вене опять влекут на виселицу раненых рабочих, взятых из больниц и

приговоренных к смерти военно-полевым судом. Продолжается разгул фашистского террора в Вене и провинции.

17 февраля происходили еще только отдельные стычки между рабочими и правительственными войсками.

В Эбензее повстанцы, убедившись, что в Вене восстание прервано, прекращают борьбу.

Электростанция в Зальцбурге благодаря актам саботажа выходит из строя.

В Тироле, в Бургенланде, где крупных боев не было, военное положение отменяется, в Вене, Граце, Линце в промышленных центрах продолжается фашистский террор.

Все социал-демократические партии и профорганизации распущены. Нелегальная коммунистическая партия призывает рабочих к новым боям против террора.

Вечером 18 февраля рабочие предприняли новые партизанские выступления.

В округах Маргаретен и Мейдлинг в течение двух часов велась борьба между рабочими, полицией и отрядами правительственных войск. Рабочие с крыши дома Реймана обстреливали полицию. В округе развернулась борьба между рабочими и отрядами хеймвера, причем рабочие разогнали хеймверовские банды. Вокруг комбината зданий им. Карла Маркса начался новый бой.

Вот, в самом сжатом очерке, изображение боевой деятельности повстанцев и правительственных войск. Мы не можем еще окончательно установить численности повстанцев и сил контрреволюции. Для определения числа повстанцев во всех очагах восстания можно без преувеличения взять цифру 50 — 60 тысяч. Правительству пришлось двинуть на повстанцев более  $\frac{2}{3}$  правительственной армии, полиции и жандармерии.

Разоружение рабочих после восстания провести правительству не

удалось. Даже правительственные отчеты говорят о том, что рабочие, несмотря на обещание амнистии, не сдают оружия и снаряжения. Несколько тысяч винтовок, несколько сот пулеметов, более миллиона патронов, несколько тысяч ручных гранат были взяты правительством при обысках.

Мертвых и тяжело раненых со стороны правительственных войск насчитывается приблизительно несколько сот. Некоторые газетные сообщения говорят о том, что число убитых на стороне повстанцев колеблется между 1.500 и 2.000. Точно установить это число трудно, как и цифру раненых на стороне повстанцев. Многие из них, даже тяжело раненые рабочие, не давали увести себя в больницу, где их выдавали фашистам, а прятались в Вене и провинции. Повидимому, число раненых достигает 4.000 — 5.000. Все опубликованные в печати рассказы о героизме повстанцев, о варварстве фашистов слабы и бледны по сравнению с действительностью. Слова Карла Маркса о Парижской Коммуне дают яркую и верную картину героизма повстанцев и варварства фашистских банд.

«Самоотверженный героизм, с которым парижские мужчины и женщины и дети... продолжали бороться, так же ярко отражает величие их дела, как зверские действия солдатчины отражают характер той цивилизации, наемными бойцами и мстителями которой они являются. И в самом деле, хороша цивилизация, которая стоит перед вопросом, — как избавиться от гор трупов убитых ею людей».

Борьба повстанцев не закончилась, она лишь прервалась. Партизаны, явившие бессмертный пример героизма, организации и дисциплины, теперь находят и то, чего не было у них во время борьбы, — революционное руководство. Они находят путь к революционной партии, к КП Австрии.

## 2. МАРАФОН ТАНЦЕВ

Ф. Раскольников

### I

Багряное солнце быстро склонялось к закату. Неровные тени вытянулись, стали светлее. Я вышел в сад, над воротами которого бледно горели зажженные раньше времени разноцветные электрические лампы, выводившие узорную надпись: «Луна-парк». На дорожках, усыпанных гравием, пестрели яркие желто-зеленые павильоны.

В одном павильоне бросались в глаза две кровати; на них лежали под одеялами молодые девушки. Они были ограждены от публики частой решетчатой сеткой, как крупные, но не опасные звери в зоологическом саду. Над сеткой висел круглый диск, и публика метала в него шары.

Когда небольшой деревянный шар со стуком ударялся в диск, обе кровати перевертывались, и полуобнаженные девушки с развевающимся бельем падали на пол. В другом павильоне высокий негр с крупными белками и веселой улыбкой, обнажавшей ослепительно белые зубы, искусно притопывая мягкими подошвами черных лакированных туфель, мастерски, с темпераментом, выстукивал американскую чечотку. Фалды его фрака нервно подергивались, а высокий шелковистый цилиндр слегка съехал на затылок.

Аттракцион состоял в том, что всякий желающий за несколько мелких алюминиевых монет мог взять напрокат небольшой резиновый мяч и швырнуть его в голову танцующего негра. Каждый, сбивший цилиндр с его головы, получал дешевый приз или мог бросить в негра еще три мяча бесплатно. Когда кто-нибудь, широко размахнувшись, старался влить литой резиновый мяч не в цилиндр, а в лицо негра, тот морщился, жмурил глаза и стремился увильнуть от удара. Когда мяч все же попал в лицо негра, то он, снова раскрыв глаза с крупными синими белками, беззаботно-весело, как ни в чем не бывало, продолжал танцевать чечотку.

— А вот мышинные бега! Первый раз в Европе! — раздался звучный, молодой голос.

Женщина с длинными белокурыми локонами, перевязанными на голове синим бантом, в легкой бело-голубой пижаме прикрывала узким, продолговатым ящиком что-то шевелящееся на столе. На полках были расставлены призы.

Первым призом была большая кукла с неестественно белым цветом лица, с полукрытым крошечным ротиком, белыми зубами и черными густыми ресницами. Ее мягкие белокурые локоны были тщательно завиты и, как у хозяйки, перевязаны голубым бантом. Широко раскрытые синие глаза куклы, казалось, навсегда застыли в каком-то холодном оцепенении. Она была обута в носки и лайковые туфли с помпонами. Из-под ее нарядного кружевного платья виднелись зубчики панталон. Женщина с локонами взяла ее на руки.

— Мышиный тотализатор! — громко и зазывающе кричала по-французски блондинка. — Каждый выигравший немедленно получает приз. И она победоносно размахивала в воздухе куклой. В голове куклы что-то мягко стучало, когда она открывала и закрывала глаза. Соблазненные призами мужчины вынимали толстые крокодиловые бумажники, а женщины расстегивали сумочки из змеиной кожи и платили деньги блондинке, которая, улыбаясь, выдавала квитанции с номерами. Когда все билеты были проданы, блондинка в пижаме сняла со стола ящик, прикрывавший мышшей, и маленькие серые мышки с блестящими бисерными глазами, ошарашенные внезапным светом, кинулись враспынную, волоча за собою крошечные тележки, и, уткнувшись в первую попавшуюся стенку, в ужасе замерли. Ни одна из них не добежала до финиша, где были приготовлены специальные мышинные стойла; но какая-то мышь боязливо уткнулась подвижным носиком в тон-

кую перегородку между двумя стойлами и притаилась, не двигаясь и не шевеля усами.

— Нужно дать приз, — неожиданно по-русски обратилась устроительница бегов к своему компаньону.

— Но кому же дать? Ведь никто не выиграл, — возразил он.

— Все равно. Надо дать приз. Это поощрит публику.

И, бегло взглянув на номер мыши, уткнувшейся в перегородку, она закричала на чужом языке:

— Пятнадцатый номер выигрывает. У кого пятнадцатый номер, messieurs, dames?

Из толпы протискалась женщина в большой, украшенной розами шляпе и в черных метенках на руках. Русская эмигрантка сняла с полки гипсовую статуэтку сгорбленного Квазимодо и с грациозной улыбкой передала ее даме в метенках.

«Как вам не стыдно заниматься такой чепухой?» — хотелось закричать мне. Но это было бесполезно. Поэтому я махнул рукой и, увидев знакомое с детства здание цирка, зашел в него.

## II

В большом и душном шатре цирка Нони Бедини остро, как в зоологическом саду, пахло хищными зверями, лошадьми и навозом.

Крутой амфитеатр простых, деревянных скамей, в первых рядах покрытых красной материей, был доверху наполнен пестрой толпой.

Наверху, за невысоким барьером, давя и толкая друг друга, свешивались зрители галереи в кепках и рабочих каскетках. На шатком деревянном помосте небольшой духовой оркестр лихо и разудало нажаривал какой-то бравурный марш.

Оркестр находился так высоко, что зрителям первых рядов приходилось естественно закидывать головы и напряженно вытягивать шеи, следя за движениями вертялого дирижера во фраке с карикатурно длинными и узкими фалдами. Музыканты сидели вплотную, в ужасающей тесноте.

Раскрасневшись от духоты и усталости, туго надув лоснящиеся щеки, музыканты звонко и оглушительно гудели в изогнутые медные трубы, искристо сверкавшие, в лучах висячих и ослепительно ярких ацетиленовых фонарей.

С важностью римских воинов, вступающих в Капитолий, на арену вышли высокие, широкоплечие, осанистые атлеты, щеголяя округлыми бицепсами, твердыми и упругими, как литые резиновые мячи. «Придворные артисты шаха персидского» — крупными буквами назывались они на афише.

Их могучие груди от одного плеча до другого были увешаны ожерельями золотых и серебряных медалей. Пыхтя и надрываясь от тяжести, придворные артисты шаха персидского схватили с земли и, слегка откачнувшись, подняли вверх на вытянутых руках многопудовые гири; от напряжения их отвердевшие бицепсы округлились, как шары голландского сыра, а на лбу вздулись толстые синие жилы. Потом один из них проворно лег на спину и трое штальмейстеров с трудом принесли тяжелую наковально, осторожно установили ее на широкой и выпуклой груди силача, а другой атлет стал изо всех сил колотить по ней молотом. Публика не выдержала и закричала: «Довольно!»

Огненно-рыжий, добела напудренный клоун в красных чулках и в белых замшевых гетрах на стоптанных и неуклюжих ботинках, ежеминутно поправляя спадающие неизмеримо широкие гетры, внезапно выскочил со стороны входа, зацепился ногою за плюшевый барьер арены, с притворной неуклюжестью растянулся на ковре и, растопырив руки, заголосил, как ребенок. Поднявшись на ноги и делая вид, что он потирает ушибленные места, рыжий нечеловечески тонким голосом, похожим на писк говорящей куклы-чревоушателя, рассказывал анекдоты и грубо острил с наивной непосредственностью странствующих актеров времен комедии дэль-арте. В заключение клоун катался по всей арене на шаре, ловко передвигая его своими ногами.

Оркестр заиграл попури из итальянских песен, и под веселый, бешено-стре-

мительный темп музыки трое гимнастов в розовом, туго обтянутом трико и в легких туфельках с привычной ловкостью выбежали на рыхлый песок арены. Гимнасты — двое мужчин с черными усиками и одна девушка — легко поднялись по канату на трапецию под самым куполом цирка, а шталмейстеры в красных камзолах растянули под ними сетку, похожую на рыболовный невод.

Акробаты раскачивались на трапеции, как на качелях, кувыркались в воздухе, проделывали рискованные прыжки. Все зрелище было построено на опасной игре со смертью, и публика с ужасом и замиранием сердца следила за гимнастами.

Когда номер кончился, шталмейстеры в красных камзолах прибежали убирать ковер. Огненно-рыжий клоун все время путался у них под ногами и наконец упал. Тогда они завернули его в ковер, уложили на тачку и увезли вместе с ковром, из которого торчала и дрыгала его нога в красных чулках и в с'ехавших набок белых замшевых гетрах.

Директор цирка Нони Бедини с длинным бичом в руке вывел на арену серую, в яблоках, лошадь с лоснящимся, как бы атласным крупом, с подстриженной ежиком челкой и с кокетливым черным султаном на голове.

Из-за кулис выбежала жена директора цирка, маленькая, уже немолодая, брюнетка с тонкими, кривыми ногами. Шталмейстер помог ей подняться на лошадь. Оркестр заиграл галоп, и серая лошадь помчалась по кругу. Укротитель щелкал гугим бичом, как деревенский пастух, на заре выгоняющий стадо. Синьора Бедини, стоя на крупе лошади, выбрасывала вперед то одну, то другую ногу, стараясь сохранить равновесие. Золотые блески ее короткой юбочки играли, как бриллианты.

Хотя ее номер был не лучше других, но как жене директора, ей аплодировали больше, чем остальным исполнителям. Вызовы и овации долго не прекращались. Потом пожилой шталмейстер с бритыми и дряблыми щеками вышел на арену и строго провозгласил: «Антракт!» Я вышел в пахнущий розами, сад.

### III

Крупная световая вывеска «Марафон танцев», переливаясь яркими огнями синих, зеленых и красных лампочек, заманчиво сияла над большим деревянным сараем. На грубых, шершавых, плохо обструганных досках сарая — точно бюллетень с театра войны — висела широковещательная афиша:

«Марафон танцев продолжается 30 часов. Бернгард Леви на 26-м часу непрерывного танца упал в глубокий обморок и выбыл из состязания. Он лежит в стеклянном гробу».

В кассе, наспех построенном из досок, с полукруглым отверстием на уровне груди сидит полная женщина; пухлыми пальцами в дешевых кольцах она пересчитывает деньги и небрежно бросает сдачу. В центре зала, на высокой эстраде, пять пар танцуют фокстрот. Они едва держатся на непослушно подгибающихся ногах. Их мускулы дрожат, и заплетаются одна за другую их большие, затекшие кровью ступни. Мертвенно-бледные лица танцоров носят печать бессонных ночей, тоски и усталости.

Под глубоко ввалившимися глазами танцующих — желто-фиолетовые круги, их носы обострились, как у покойников. Они танцуют, вернее, устало передвигают ногами в такт музыке с равнодушным, скучающим и страдальческим видом.

Это не спортсмены, желающие поставить рекорд неутомимости в танцах. Это безработные, жертвы кризиса, ногами зарабатывающие хлеб. Едва касаясь пола усталыми маленькими ножками, худенькая и обессиленная девушка с болезненно-желтоватым лицом всем телом висит на руке кавалера. Ее голова безжизненно откинулась назад, судорожно кривится полуоткрытый рот. Ее кавалер в обтрепанном пиджаке не чувствует под собою ног и лишь машинально переступает ими.

Теодор трое суток испытывал муки голода. В выцветшей синей блузе и синих, закапанных краской штанах, он одиноко и хмуро бродил в поисках труда и хлеба по улицам приморского курортного города. Жадными глазами раз-

глядывал он витрины колбасных, где за промывными стеклами лоснились жирные окорока, а среди колбас и сосисок, как мраморная глыба, возвышалась гора гладкого, слезящегося сыра. Сильные спазмы схватили пустой желудок Теодора, во рту его появилась густая слюна, которую он проглотил с мучительной жадностью.

Он опустил руку в карман, надеясь найти там какую-нибудь монету. Но в дырявых карманах выцветшей блузы не было ни одного сантима.

Он попробовал просить милостыню, но приехавшая отдохнуть и веселиться публика равнодушно проходила мимо его протянутой руки.

Внезапно к нему подошел коротконогий человек в порывевшем от солнца котелке.

— Я — маленький Поль, — представился он, не снимая шляпы, — я вербую людей для предстоящего «марафона танцев». Не угодно ли вам принять участие в конкурсе? Кроме небольшой поденной платы, вы имеете шансы выйти на первое место и получить ценный приз, — сняв порывевший котелок и вытирая пестрым фуляровым платком красную вспотевшую лысину, соблазнял маленький Поль.

Но Теодора не приходилось уговаривать. Из-за куска хлеба он был готов на любую работу. И он пошел вместе с маленьким Полем в «Луна-парк», подписал контракт и стал участником «марафона танцев».

После каждого часа танцев следовал 15-минутный отдых. Но танцоры не имели права садиться. Парами, взявшись под руки, они ходили по эстраде на слабых, шатающихся ногах. Иногда они брали со стола стакан холодного молока и на-ходу выпивали его залпом.

Затем они снова продолжали танцы, изнемогая, мучаясь и проклиная свою судьбу. Кругом эстрады были расставлены столики, за которыми хорошо одетые люди, развалившись в покойных и мягких креслах, любовались страданиями других людей.

Какой-то полный мужчина с маленькими, глубоко впавшими свинными глазами, покоя в низком кресле свое туч-

ное, оплывшее тело и опираясь на трость с круглым серебряным набалдашником, не сводил глаз с эстрады, раскатисто хохоча самодовольным утробным смехом.

Его забавляла неуверенная, колеблющаяся походка истомленных, похожих на лунатиков, едва передвигающих ноги людей. Рядом с толстяком сидела низенькая, черная, как пережаренный сухарь, женщина, с накрашенными губами и с круглыми, желтыми, как у филина, внезапно разбуженного ярким светом, пугливо моргающими глазами.

С важным, почти таинственным видом официант, учтиво согнувшись, подал им карточку.

— Дайте белое вино, фрукты и рюмку коктейля, — небрежно сказал толстяк.

Официант поставил перед мужчиной мутно-зеленый коктейль в маленькой рюмке на длинной и тонкой ножке, затем принес серебряное ведерко, осторожно опустил в него откупоренную бутылку и под легкое шуршание раздвигающегося льда бережно прикрыл бутылку вина белоснежной, туго накрахмаленной салфеткой.

Большая хрустальная ваза была до краев наполнена румяными яблоками, ароматными грушами «дюшес», желтыми бананами и гроздьями матово-зеленого винограда. Господин взял яблоко и стал жевать его, чавкая и хрустя зубами, как лошадь, когда она ест свежую морковь. А на эстраде нанятые для потехи публики и совершенно измученные люди, валяясь с ног от усталости, танцевали фокстрот, напрягая последние силы.

Мне стало противно, и я вышел на свежий воздух. В углу сада, куда не проникал свет электрических ламп, стояла густая тьма. Женщины в белых платьях сверкали в темноте, как светлячки. Я зашел в павильон, где в стеклянном гробу лежал не выдержавший состязания Бернгард Леви. Упав в обморок, он выбыл из игры, но не хотел остаться без заработка и, по предложению хозяина, согласился лечь в стеклянный гроб. Бернгард Леви, пожилой человек, с глубокими морщинами на бескровном лице и с легкой проседью в

волосах, закрыв глаза, неподвижно лежал в широком гробу с граненой стеклянной крышкой, слегка пропотевшей изнутри. Его худая и впалая грудь мерно подымалась и опускалась: при входе посетителей он старался не дышать.

Лежа в своем стеклянном гробу, он думал:

«Как хорошо, что я не умер, а только притворяюсь мертвым. Мои силы не выдержали, я не мог танцевать, но, лежа в гробу, я все же зарабатываю деньги и приду не с пустыми руками к жене и годовалой дочери Жанне. Как хороша, радостна и весела жизнь! И как тяжелы и жестоки страдания! Почему полки

роскошных магазинов ломятся под тяжестью товаров, а безработные среди дня в изнеможении падают на квадратные плиты тротуаров? Какой я тупой и упрямый человек! Мне понадобилось лечь в гроб, чтобы через его стекла увидеть истину. Нет, не филантропия сытых и от сытости благодушных людей, как я думал прежде, а только борьба, неустанная, отважная и самоотверженная борьба самих угнетенных может сделать нашу планету раем...»

И, лежа в неудобном стеклянном гробу, задыхаясь от спертого воздуха, он на миг представил себе эту счастливую и праздничную жизнь завтрашнего дня — и чуть не захлебнулся от радости.



# Литература и искусство

1. Мариэтта ШАГИВЯН — Беседы с начинающим автором. 2. И. АНИСИМОВ — Андре Жид

## 1. БЕСЕДЫ С НАЧИНАЮЩИМ АВТОРОМ

(Опыт методологии новой эстетики)

Мариэтта Шагинян

(Продолжение<sup>1</sup>)

### IV. Проблема языка

Задолго до начала занятий с литкружковцами, помню, был у меня такой случай: пожилой рабочий, больной раком, рассказал мне на курорте о том, как его бросила семья. Рассказ был беден сюжетом (рабочий шестидесяти лет вступил в партию, семья мещански настроенная, зажиточная, получился раскол, сперва ушли дети, потом жена), но этот бедный сюжет был так свежо, ново, потрясающе подан, что я, забыв время и курортный режим, сидела и слушала, не шелохнувшись, часа три. Когда он кончил, я ему вместо утешения и совета подала мысль — написать рассказанное, написать именно так, как он мне только-что рассказал, и тем же языком. Сперва рассказчик как будто обиделся, нахохлился от неожиданности. Потом в его глазах появилось нечто новое, — то затаенное, про себя, обдумыванье, когда меняешь отношение к пережитому, и вместо лица страдающего, потерпевшего, становишься вдруг хозяином над всем этим, как мастер над материалом. «А что ж, и напишу» — прочитала я в этом взгляде. И примерно через три месяца, уже в городе, я получаю большой, толстый конверт с письмом и рукописью. В письме

было «большое спасибо» за товарищеский совет, помогший ему «облегчиться от прошлого», а в рукописи, называвшейся «Личная повесть»... но в рукописи не было и следа всего того, что зажгло, взволновало, восхитило меня в рассказе. Страницу за страницей, добросовестно отстуканные на машинке, перелистывала я в надежде найти хоть намек на прежнее, но намек не было. Между тем слова рабочего, весь его лексикон, были тут в наличии. Даже образы были тут. Я узнала «кошолку», на которую обратила его внимание во время рассказа. Когда жена-старуха ушла к старшей дочери, она, оглянувшись напоследок, перед уходом из комнаты, — нет ли еще чего, — сняла со стены кошолку. Это сильнее всего уязвило рабочего, и, слушая рассказ, я так и представляла себе этот ее последний, скопидомский жест, — как она обшарила комнату глазами, нет ли еще чего. А кошолка была общая, и он мог бы отстоять и кошолку, и другое имущество, но «как партиз не пожелал грязниться». В устном рассказе с образом кошолки была связана именно эта психика «уноса последнего имущества», причем рассказчик невольно выдал и то, какое большое место для него самого занимало в разрыве с семьей унесенное из квартиры добро, и в то же время, как сам он внутри себя уже пе-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн.кн. 1 и 3 с. г.

реоценил или заставил по-новому переоценить это старое чувство, потому что хотел поставить себя перед женой по-новому, «по-партийному». В устном рассказе был живой человек, с живой речью. В рассказе написанном — та же кошолка (которую я похвалила, как удачный образ) появилась следующим образом:

«Жена постояла в раздумьи, подошла к стене и, снявши с гвоздя кошолку, сказала:

— Прощай теперь.

Я хмуро ответил:

— Прощай.

Жена сделала шаг к двери, со криком захлопнула, и в комнате остался я один. На голый стене против меня, где раньше висела кошолка, осталось темное. просаленное пятно, должно быть, след от многолетнего ее пребывания».

Иначе сказать, кошолка стала символом, — символом наступившего одиночества, — да и не сама кошолка, а ее сальный след на стене, до которого в устном рассказе рабочему никакого дела не было и который в письменном рассказе (должно быть, под влиянием литучебы или указки литредактора) выплыл на первое место, совершенно изменив и атмосферу, и весь тон рассказа, и значение всего события для самого рассказчика, и главное, — центральный действующий образ этой сцены, образ старухи-жены. Иначе сказать, «кошолка» претерпела превращенье: в реальном (устном) рассказе это была вещь, которую забирали, как имеющую ценность, и унос которой долил «чашу горечи» последней каплей. В художественном (написанном) рассказе кошолка превратилась в ерунду, в побочный призрак, забираемый со стены мимоходом и только для того, чтоб остался след после нее, остался след, как символ отнюдь не кошолки, а глубокого и полного одиночества покинутого в четырех стенах пустой комнаты хозяина. И образ жены, — старухи вместо скопидомки, жадной собственницы, сметающей со стола даже последнюю крошку в ладонь, — овеялся вдруг какой-то лирической грустью, потому что он не только не «все с собой утащил до по-

следнего», а даже, наоборот, оставил, уходя, за собой след, оставил воспоминание.. В результате этой перемены, этого «химического превращения» кошолки получилось и психологическое уравнение душевных состояний старика и старухи, а тем самым безнадежно пропал сюжет, а вместе с сюжетом и тема: пропал сюжет, то-есть конфликт ухода мещанской семьи от отца, пошедшего в партию, пропала тема, то-есть разница в ощущении имущества двух действующих лиц рассказа, старухи-собственницы и старика, начинающего сознавать себя коммунистом. И остались новая тема и новый сюжет: «всем людям одинаково больно, виноватых нет», «разлука двух стариков, проживших под одной крышей вместе сорок три года». Так небольшое (и с виду незаметное даже) изменение в употреблении образа, изменение, где: 1) главное слово — кошолка — осталось тем же; 2) происшествие осталось такое же; 3) автор остался тот же, — это небольшое изменение повело за собой огромнейшую разницу в теме и сюжете, разницу двух миров, нового и старого, и двух мировоззрений, коммунистического и «гуманитарного», и переделало весь рассказ до неузнаваемости.

Но если это так, если изменение в употреблении слова при сохранении того же самого слова меняет до неузнаваемости весь рассказ, какой нужно сделать отсюда вывод? Тот простой вывод, что художественный язык определяется не выбором слов, а их построением.

Но вернемся к «Личной повести». Когда она лежала передо мной во всей своей штампованной неудачливости, во всей гибели того свежего, яркого, первоначального зародыша, какой прозвучал в устном рассказе, я задала себе вопрос: что же именно сделал рабочий, чтоб погубить свой рассказ? Он вел его, когда говорил, от себя; и, передавая слова и поступки действующих лиц, не употреблял литературного приема: «он сказал, она ответила, я воскликнул» и так далее, — прямая речь

в ковычках, — а вкладывал чужие слова и косвенную речь: «он мне говорит, что дескать поздно и не придет», связывая свое и чужое частицей «что». Такая передача, тормозившая придаточными предложениями всю речь, была обычна для раннего этапа художественной литературы, для первых лет ее зарождения в Европе, — для рыцарских романов, какого-нибудь «Романа о розе», рассказов Чёсера, и впоследствии она еще очень долго задерживалась в жанре новеллы. Даже Клейст и Тик в своих рассказах еще не делают театральной разбивки на «он сказал, я ответила» или пользуются ею в редких случаях, и оттого их замечательные рассказы кажутся нам чересчур «густыми», загруженными, а периоды в них невероятно длинными. Так вот, рассказывая мне о своей жизни, рабочий дал «устную новеллу» по системе того раннего, наивного, чересчур загруженного придаточными предложениями примитива, каким раньше, на заре литературы, начинали. А усевшись за стол и принявшись писать, рабочий подчинился требованию нашего времени, он стал строить форму, расставлять действующих лиц, вкладывать им в «уста» (как говорится) прямую речь, то-есть пошел на выучку искусству, принялся «естественное и натуральное» подчинять начальным, азбучным требованиям литературности. Чтоб читатель лучше понял значение (и результаты) этой первой учебы в школе литературы, я расскажу ему о значении (и результатах) такой первой учебы в школе живописи и рисунка. Лет пятнадцать назад, в первые годы революции, меня позвали на детскую ученическую выставку. Дело было в Ростове-на-Дону. Ее устроитель, молодой художник Д. Федоров, как и все мы в те замечательные дни, переборщил в революционности, и выставка вышла необыкновенная, — живой протест не только против рутины, но и против школы. Она создавала примерно такое впечатление: взгляните, как обездаривает, уродует и штампует школа гениальных детей. В одной из зал висели «первобытные» рисунки дошколят, детей пя-

ти-шести лет; в другой — ученические рисунки младших и старших классов художественной школы. Публика, — преимущественно высшие слои интеллигенции, «знатоки», — толпилась в дошкольной комнате. То и дело слышались возгласы: «Помилуйте, да ведь это Сезанн!», «Смотрите, Матисс...», «Сарьяновская краска...», «Япония» и так далее. Комната и впрямь поражала. На листках, облапанных детскими пальчиками, не совсем чистых, не всюду ровных, ярко пестрели оригинальные, ломаные, изысканные линии и формы предметов, — цветка, лисенка, домика, человечка на лошади, — сделанных так, как если бы очень большой мастер старался создать этот примитив, это нарушение обычных форм, эту скудость и сжатость, это полное отсутствие перспективы... И зеленая лошадь, пятиногий стул, красная голова, «ну, совсем Сезанн, Пикассо, Петров-Водкин...» А рядом, в другом зале, удручающе серые правильные школьные рисунки детей, учившихся живописи в школе. Индивидуальное, свежее и оригинальное, как ветром, сдуло, — однообразные кубы с растушеванной половиной, головы Зевса с кругляшками бороды, тщательно выписанная перспектива: на переднем плане большой предмет, за ним квадраты пола и стулик поменьше и еще дальше — мелкое окошко, а в нем, как гвоздик, дальняя колокольня; пропорции соблюдены, но предметы, составленные в этой пропорции, так убоги и убиты, что зрители невольно, как достижение, вспоминали замечательный рисунок у дошколят, где колокольня сидит на самой голове всадника, который едет к ней по дорожке, кренделем обвивающей голову его лошади, и все — колокольня, всадник и дорожка — живет само по себе, яркой жизнью. Впечатление было очень живо и сильно, и немало посетителей выставки задумалось, уж не губит ли школа талант, и не лучше ли вовсе обойтись без школы. Представим себе на минуту, что этот взгляд победил бы и мы после революции — хотя бы в одной живописи — упразднили школу и пустили наших вундеркиндов учиться у самой природы,

кто во что горазд. Те из них, кто был склонен к живописи, безо всякого сомнения, наугад и на-ощупь, с огромными усилиями, пустились бы... по тому самому пути открытий одной закономерности за другой, какой и дает в сжатом виде школа, — пустились бы, подобно тому бедняге-самоучке, который гениально открыл где-то в Одессе в девятых годах прошлого века дифференциальное исчисление, не зная, что оно давным-давно открыто. Почему это случилось бы? Потому что школа есть не что иное, как конспект опыта всего человечества, и задача ее — дать вкратце новому человеку пробежать по той дорожке, какую проторили до него бесчисленные предки. Нечто вроде «коротенького изложения предыдущего содержания», какое печатали раньше перед текстом больших «романов с продолжением» иностранные журналы. Но цель таких конспектов вспомогательная: дать знание предыдущего, чтоб смочь читать дальше. И цель всякой школы, по существу, такая же вспомогательная: дать усвоить культуру прошлого, чтоб смочь ее творить дальше. Там, где эта цель забывается и вспомогательная система опыта становится сама целью, — там школа и превращается в рутину. Но полное упразднение школы из страха перед рутинной в конечном счете отнюдь не ведет к победе над рутинной, а только удлиняет путь отдельного человека, желаящего преодолеть рутину. Тут между прочим и кроется разница между ребенком, нарисовавшим под Сезанна, и Сезанном, нарисовавшим, как Сезанн: первый сегодня случайно намазал одно, завтра другое, а через пять лет, быть может, и вовсе не будет мазать; второй преодолел рутину, чтоб создать свои закономерности, и когда бы он ни писал, он будет давать себя, Сезанна, — устойчивую индивидуальную комбинацию, по которой знаток всегда определит, что «это — Сезанн».

Итак, мы увидели в области живописи, что первая грамота — учеба грамотного обращения с пространством, закон перспективы — вначале как будто объединяет ученика, причисляет его под

общую гребенку, делает его работы похожими на работы других, серенькими, не индивидуальными. Но это и есть неизбежный «дебет учебы», расход на учебу; и выставлять, показывать ученические работы надо именно под углом зрения такого «дебета», то-есть той практики, какая в них заключена. Плохие, серенькие, неинтересные, бедные работы учеников движутся, они — показатель движения, потому что в них ученик от природного нутра перешел к искусству, к усвоению законов избранного им мастерства. И яркие, сочные, оригинальные пятна вундеркиндов, в сущности, неподвижны, потому что они случайны, а случайность сегодня есть, а завтра ее нет, и нет той прочной булавки (кроме школы), которая смогла бы ее закрепить на будущее время за учеником.

То, что наблюдается в живописи, по своему происходит и в литературе. Вот сейчас уже легче ответить читателю, что, собственно, сделал рабочий, «погубив» свою устную новеллу. Проведя аналогию между перспективой и пространственной действующих лиц при помощи диалогов с прямою речью (а эта аналогия до некоторой степени законна, потому что и тут, и там мы имеем дело с заполнением пространства: в живописи — условного пространства на полотне, в литературе — условного пространства «в уме»), я решаюсь сказать, что рабочий, начавши писать рассказ, стал учиться своего рода «литературной перспективе», без которой немислимо «построение». Когда он мне рассказывал, как ушла его старуха, он представлял себе свою обиду, живых, обидевших его людей, их действия и поступки, и он так ярко нагромоздил их передо мной, что я с ним пережила его драму. Но вот в литературном произведении, на бумаге, которую перед ним растелили, чтоб он мог повторить тот же рассказ, как его пишут писатели, он видит перед собой уже не пережитую обиду (материал жизни), а комнату без мебели, женщину и ее мужа, и женщина должна пройти эту комнату, подойти к комоде, снять ее со стены и уйти, а мужчина должен во время этой процедуры

стоять, не вмешиваясь, а потом остаться один (материал для воплощения темы искусства). И так как рабочий пишет впервые и обращение со словом на бумаге ему ново и незнакомо, то совершенно неизбежно, как и во всякой учебе, наступает для него период голой практики, то-есть: такого писательства, где все предметы обедняются и формализуются в процессе борьбы за правильную их расстановку в пространстве, и то, что должны были выразить собой эти предметы (содержание и тема искусства) пропадает или сдвигается.

Рассмотрим этот процесс на прежнем примере из «Личной повести», но сперва разобьем задачу «размещения в пространстве» на составные части:

- 1) Женщина должна пройти комнату.
- 2) Женщина должна подойти к кошолке.
- 3) Женщина должна снять кошолку со стены.
- 4) Женщина должна выйти из комнаты.

- 
- 1) Мужчина должен стоять.
  - 2) Мужчина должен стоять.
  - 3) Мужчина должен стоять.
  - 4) Мужчина должен стоять.

Иначе говоря, покуда старуха-жена четырежды действует, муж четырежды бездействует. Как это пространственно переменить? Мы все отлично знаем знаменитый пример литучебы, данный когда-то Григоровичу Тургеневым. В этом примере Григорович «бросил монетку в окно», а Тургенев сказал, что так нельзя, а надо еще добавить: «и она, звякнув, покатилась» (привожу на память). Что сделал Тургенев с монеткой? Он ее вынул из двухмерного пространства Григоровича и пустил в трехмерное пространство, он снабдил ее качеством (звоном) и действием (покатилась) и тем самым создал большую реальность ее образа для читателя, усилив этот образ иллюзией глубины, иллюзией земного пространства. Но тут оговорка: я вовсе не считаю создание трехмерности пределом для усиления образа, и эстетику Тургенева — годной

для всякого художника. Отнюдь. Есть замечательные художники, сознательно оставляющие образ двухмерным, скучным, без иллюзии глубины, на плоскости, — например Стендаль, и такое искусство куда выше тургеневской пространственной красоты. И есть художники, развивающие образ в четвертом измерении (ассоциация, внутренний мир, психопатия, мистика), например Достоевский, и его образы тоже сильнее тургеневских. Японцы знают другую перспективу и сознательно отвергают нашу. Словом, трехмерное развитие образа вовсе не закон. Но это — школа. Нужно пройти через умение трехмерно давать образ, завоеванное по слепушкинской русской классической прозой, и уже тогда, сообразно с характером своего дарования, пользоваться или не пользоваться им. Во всяком случае для моего рабочего-автора это было начальной школой литературного письма, и он стал в этой школе учиться. Чтоб оживить действия старухи, он придал им разнообразие и нарастил пространство вокруг своих персонажей:

«Жена постояла в раздумьи, подошла к стене и, снявши с гвоздя кошолку, сказала:

— Прощай теперь.

Я хмуро ответил:

— Прощай.

Жена сделала шаг к двери, со скрипом захлопнула, и в комнате остался я один. На голой стене против меня, где раньше висела кошолка, осталось темное, просаленное пятно, должно быть, след от многолетнего ее пребывания».

В этом отрывке мы видим практику литературной учебы, неполную грамотность автора (захлопнула — что?), карандаш литруководы. Завоеывая пространство для своих героев, автор вводит диалог (прямую речь), и это помогает мужчине быть разнообразнее в том одном действии, которое уделено ему, — стоянии в комнате. Дальше автор характеризует душевное состояние героев, и опять не прямо, а через действие: мужчина не «был хмур», но он хмуро ответил; женщина не «была

нерешительна», но она сперва «постояла в раздумьи», потом «сделала шаг к двери», потом «захлопнула»; унесенная кошолка не «увеличила одиночество старика», но от нее «осталось темное просаленное пятно, должно быть, след». Иначе сказать, не написав прямо, как было дело, мой автор в этом отрывке заставил вещи и действия «героев» так размещаться и менять место в пространстве, чтоб сами эти действия за автора объяснили положение.

Однако, начав учиться «литературно строить речь», мой автор затерял и загубил то, что хотел сказать при помощи искусства. Он выговорил не свою обиду, не свой конфликт нового со старым, а нечто совсем другое, смягченное и общечеловеческое. Получилось, как с человеком, пробующим ездить на мотоциклете: он правит, а машина забирает вбок, и этот боковой крен сильнее, чем руль в его руках. Боковой крен — могучая инерция — подстерегает в искусстве не только начинающего, но и крупного мастера; этот боковой крен есть опасность штампа, легкость пользования уже готовыми построениями, обилие выбора заготовленных прошлым и другими мастерами фабрикатов, шаблонов, — та самая опасность работы на фабрикате, о котором я говорила в первой своей беседе.

Но мы уже яснее видим, откуда этот фабрикат возникает, а поэтому нам легче и определить, как бороться с опасностью. Фабрикат возникает, потому что художественный язык не есть сумма или отбор слов, а построение слов. Если бы художественный язык был только отбором слов (индивидуальным вкусом к употреблению того или иного слова), то тогда и отдельные словечки того или иного мастера, пущенные им в обиход, должны были бы играть роль шаблонов и фабрикатов, пользование которыми делало бы шаблонной и подражательной речь других авторов, а применение их в шутку, в виде пародии, тотчас же создавало бы представление об их творце. На деле получается совсем другое. На деле «отдельные словечки» не в силах создать ни стиля, ни штампа, ни пародии.

Но самым бесспорным доказательством того, что художественный язык есть построение, служат так называемые литературные пародии. У нас к пародиям относятся несерьезно, никто не пишет, не дает рецензий о талантливых пародистах, не задумывался над природой их странного искусства, а между тем для теоретика оно представляет драгоценное опытное поле. Чего добиваются пародии? Они хотят выставить данного художника в смешном виде, но так, чтоб этого художника можно было безошибочно, тотчас узнать. Если художник не похож, не узан, то пародия не удалась. Поэтому пародист должен взять из данного художника именно то, что его наиболее характеризует. Посмотрим же, что именно он берет, и вы убедитесь, какое это не праздное, а полезное дело, — анализ пародий. Вот Зошенко употребляет например выражение: «Старушка, божий цветочек». Сказав «старушка», мы не вспомним Зошенко, то же и со словами «божий» и «цветочек» в отдельности, — это самые обычные слова. Но, произнеся все три слова вместе, мы вспомним Зошенко. Однако, если бы наш Архангельский или другой пародист написал:

«А вот на перекрестке стоит старушка, божий цветочек. И синие летят птицы над нею... Маменька, пожалейте своего бедного сына, тяжело, тяжело больной голове его...» и так далее, то в первую очередь нам вспомнился бы вовсе не Зошенко, а Гоголь, потому что построение фразы тут не зошенковское, а гоголевское, и даже самый характерный, несомненный букет из лексикона Зошенко теряет в этом построении свой душок и как-то незаметно проглатывается.

Пародия, тонкое искусство пародии, обнажает перед нами с предельной ясностью, что в языке построение решает все; до такой степени решает все, что даже самый типичный словарь художника перестает звучать, если дать его в чуждом для этого художника построении.

Спрашивается, как же бороться начинающему с этим «креном направо», с этой властью над ним готовых шабло-

нов? Ясно, что борьба должна произойти в процессе «построения» языка, разобранном нами выше, и компасом в этой борьбе. рулем, за который надо ухватиться, силой, могущей развить сопротивление перед готовым шаблоном и удержать машину от заворота по инерции набор, будет правильное выражение именно того замысла, какой поставил себе художник. «Личная повесть» была загублена не потому, что мой рабочий написал более бездарно, нежели у него вышло в устной речи, то, что он мне рассказывал. А потому, что он мне рассказывал одно, а вышло совсем другое. Трудно определить, что именно было удачно в его устном рассказе, он себе помогал и жестом, и интонацией, и даже шероховатостями языка, но всем этим он помогал, он именно помогал вылиться тому, что хотел рассказать, и образы его были всякий раз искомы и находимы для передачи того содержания, которое жило в нем. А в написанном виде все средства искусства — эпитеты, диалог, образы и прочее — улеглись у него вовсе не в жаркой схватке за выражение основного замысла, а на холостом ходу формирования литературной речи, и потому они вышли более или менее случайными и протащили за собой ту неточность, приблизительность, тот сдвиг на миллиметр, полмиллиметра, сотую миллиметра, какие при вы-

работке деталей оказываются гибельными и не только для детали, но и для всего целого. Сдвинем обратно на эту сотую миллиметра образ, — и что окажется? Старуха не «постояла в раздумьи», а деятельно напоследок обшарила комнату глазами, — не забыла ли еще чего. Она не могла сказать «прощай теперь», потому что уходила навсегда, прочно. И этот «сделала шаг к двери» тоже не верен, потому что жесты ее не могли быть пластическими, нерешительными жестами любовницы, думающей о разлуке. И пятно сунулось, притянутое сюда всей этой неподходящей к моменту лирикой, потому что мой автор писал здесь отсебятину (взял набор), а не боролся с натурой, не силился перенести ее на бумагу, не схватился с реальностью, с объектом, с фактом (как он схватился с ним в устном рассказе, желая передать мне все, как оно было). А реальный факт — унос имущества, злоба старика на жену, неясное ощущение своего нового, обязывающего положения как партийца, и осиление в себе своей злобы: не исколотил, пусть ее, шут с ним, с добром... — все это неясное, но живое, историческое, движущееся исчезло и провалилось, задаленное литературным штампом, хотя могло бы, если б автору удалось его воплотить в своем рассказе, и привести к своему, свежему, индивидуальному построению, к тому, что отличает язык данного автора от языка другого.

*(Продолжение следует).*

## 2. АНДРЕ ЖИД

### И. Анисимов

Андре Жид — блистательная и одинокая фигура в современной литературе Франции. В смысле изумительной культурности, глубоко ощущаемых связей со всей прошлой культурой его можно сравнить только с Анатолем Франсом, путь которого во многих отношениях напоминает путь Андре Жида, несмотря на различие этих писателей.

Андре Жид порывает с капитализмом. Это — факт огромного исторического значения. За последнее время западная литература дала многочисленные подтверждения известности слов Маркса: «Самым ходом развития обусловлено то неизбежное явление, что к борющемуся пролетариату присоединяются отдельные лица из господствующего до сих пор класса и приносят с собой свои знания». Всеобщий кризис обнажил разложение капитализма, — мощный рост и укрепление СССР сделали социализм действительностью. На сторону нового мира переходят лучшие представители буржуазной литературы. Имена Ромэн Роллана, Драйзера ярко характеризуют этот исторический поворот западной интеллигенции.

Но «обращение» Жида особенно значимо. Это — художник, который прошел иной путь развития, чем мелкобуржуазные литераторы, застрявшие в гуманистических иллюзиях. Ромэн Роллан на протяжении ряда десятилетий выступал против капитализма. Он стремился разоблачить капитализм, но гуманизм связывал и обескрыливал его критику, вел к примиренчеству. Мы видим, с какой страстью новый Роллан разоблачает гуманистические иллюзии своего прошлого.

Переход Андре Жида на сторону революции имеет другой характер. Здесь рушатся уже основные массивы культуры современного капитализма. С буржуазией порывает писатель, воспитанный в изысканной обстановке интеллектуального аристократизма, стоявший на вершине буржуазного искусства.

Надо представить развитие этого замечательного художника, чтобы огромный исторический смысл его мужественного и благородного решения встал перед нами во весь рост. «Отныне я всем сердцем желаю гибели капитализма и всего, что укрылось под его сенью: злоупотреблений, несправедливости, лжи, всей его чудовищности» — пишет А. Жид в «Дневниках» 1932 года. Каким образом в творчестве его, раскрепощаемся теперь, созревало понимание «чудовищности» капитализма, как накапливались противоречия, нашедшие выход в решающем скачке?

Андре Жид имеет за собой длинный путь развития. Он выступил в 90-х годах, на заре империалистической эпохи. К девяностым, девятисотым годам, когда возникли первые произведения Жида, как к истокам, восходит и творчество Роллана. Это были годы, когда капитализм во Франции начал переходить на новые рельсы, становился капитализмом империалистическим. Это была эпоха, когда Третья республика перестраивалась в форму господства финансового капитала. Эпоха стремительного роста французских банков. Эпоха колонизаторства. На эти годы падает основание «колониальной французской империи».

В кипении сложных событий, на этом переходном моменте, возникает творчество ряда художников, которые станут в дальнейшем типичными фигурами новой литературы.

Символизм был литературной средой, влиявшей на раннего Жида. Морис Метерлинк, приветствовавший новый капитализм, Анри де-Ренье, в рафинированном творчестве которого ярко выразились черты упадка и загнивания, Клодель, католический пафос которого явился выражением агрессии, Валери, прикрывавший свое упадочничество иллюзиями «духовного аристократизма», — эти писатели, начавшие свою деятельность в 90-х годах, определившие облик буржуазной литературы на заре империалистической эпохи, стояли



рядом с Жидом и были с ним связаны. Оскар Уайльд, наиболее глубоко и ярко выразивший начинающееся загнивание капитализма, был другом и учителем Андре Жида.

Андре Жид вызревал в недрах «большой» буржуазной литературы. Тесно связанный с литературной средой Валери, Пруста, Клоделя, он резкой гранью отделен от крупнейших мелкобуржуазных писателей этого времени.

В 90-х гг. зарождается и складывается раннее творчество Ромэн Роллана. Шарль Пэги с огромной силой формулирует недорожество мелкой буржуазии, испытывающей потрясения в результате побед «нового капитализма». Этих больших литераторов мелкобуржуазного направления мы не встречаем в поле деятельности молодого Жида. Он не считается с ними, как будто не знает их.

Первые произведения Жида проникнуты сочувствием капиталистическому «процветанию». Правда, с самого начала писатель объявил себя стоящим вне политики, замкнутым в кругу узкоэстетических интересов, но, как всегда бывает, аполитичность Жида была конечно формой политики.

Характерны ранние экзотические работы Жида, его колониальные произведения: «Voyages» — «Книги путешествий».

В эпоху Жюлья Ферри и колониальных экспедиций в Тунис, Тонкин, Индокитай Жид написал такие книги, как «Путешествие Уриена» (1896) и «Аминта», как «Nourritures terrestres» (1897), что надо перевести приблизительно «Соки земные». В этих книгах он говорит о Северной Африке, на которую опустилась тяжелая пята французского империализма. Но эти оптимистические и восторженные произведения далеки от действительности.

Художник стремится найти «ощущение полноты жизни», найти «удовлетворение всем своим желаниям», «восславить все желания и инстинкты». Гедонизм.

Колониальная правда совершенно вытеснена из поля зрения художника. Молодой Жид пишет о «белом, сосредоточенном, классическом Тунисе осенью»,

как о земле обетованной, как о счастливой, радостной, солнечной стране. Он пишет чудесные жемчужные пейзажи Северной Африки. Он видит свою задачу в том, чтобы гнаться за «редкостным», «необычным», «страшным», экзотическим. Но ведь за всем этим изяществом скрыта драма колониально-го рабства!

Так обнажается почва, на которой возникли настроения художника, славящего свои желания и инстинкты, восхищенного тем, что «чувства его утончаются до прозрачности». Изысканные экзотические книги Жида, говорящие о «наслаждении жизнью», об «опьянении жизнью», книги, внешне оторванные от политики, должны быть поставлены в связь с политикой.

Они возникли в годы, когда Третья республика «зарабатывала» свои колонии, когда основывалась колониальная французская империя. Но они ни одним словом не напоминают о том, что происходило в тогдашнем Тунисе и Алжире. Эта очень рафинированная, очень «эстетическая» литература лакировала действительность. Она окрашена фафосом капиталистического наступления.



Большой интерес приобретает в этой связи книга критических статей — «Pretextes» — «Поводы» (1903). Для Жида вообще характерна огромная культурность. Его произведения пересыпаны тончайшими реминисценциями, историческими параллелями, обращениями к художникам и мыслителям прошлого времени. Как литературный критик, Жид ставит большие вопросы литературной жизни. «Поводы» открываются речью «О влияниях в литературе», произнесенной в 1900 году. Это — «апология влияния». Андре Жид ведет критику мещанского индивидуализма.

Его собственные книги являются ультраиндивидуалистическими. Но есть индивидуализм и индивидуализм. Жид подчеркивает, что его индивидуализм не имеет ничего общего с мещанским крохоборством, — это нечто монументальное, глубоко оправданное временем и

исторической обстановкой. Разговор о влияниях в литературе он ведет с той целью, чтобы защитить «подлинный индивидуализм» от дряблой мещанской фальсификации.

Он набрасывается с уничтожающей критикой на Штирнера, в котором справедливо видит выражение мелочного, кичливого мелкобуржуазного индивидуализма.

Жид смеется над многочисленными специалистами по выяснению того, из каких влияний сложился тот или иной писатель, — над людьми, которые думают, что если влияние на писателя открыто, то этим снижено достоинство писателя. Он восклицает: «Я за то, чтобы художник впигывал в себя особенно много влияний!» Все дело в масштабе художника, в том, какого он роста. Большой писатель не боится никаких влияний, а жадно, как губка, впитывает их в себя.

Мещанскому индивидуализму Штирнера он противопоставляет «величественный», «благородный», «побеждающий», «сверхчеловеческий» индивидуализм Ницше. То, что связало автора «Заратустры» с идеологами империализма в Германии, импонирует и Жиду. Философию больших индивидуальностей, господствующих над толпой, с восхищением усваивает он, стремясь перенести ее в собственное творчество.

Пафос большого индивидуализма, проповедь ницшеанства, окрашивает искусство раннего Жиды. В «Поводах» мы находим мысли, которые очень скоро исчезнут, мысли о «большой эпохе».

«Нашу эпоху я люблю, ею восхищаюсь!»

Это сказано как обобщение всего, что создавал художник.

Ранние книги Жиды полны пафоса. Это произведения, воспевающие зарю империализма. На «новую эпоху» художник возлагает большие надежды, эждет от нее новой и большой литературы, больших художников, которых он защищал в своей речи «О влияниях». Жид предвидит новое искусство, по-настоящему и по-новому отражающее большую эпоху.

«Я ожидаю чего-то еще невиданного в искусстве, новых форм и новых мыслей!»

\*\*\*

Но этими чертами, обнажающими связь Жиды с господствующим классом, не исчерпываются уже ранние книги Жиды. Они неизмеримо сложнее.

В «Аминте» — при всем радужном колорите этой книги, при всей «экзальтированности» ее — мы встречаем много мрачных признаний, говорящих о противоречиях, таящихся в художнике. Пессимизм, разочарованность, сознание внутренней опустошенности прорывают то и дело блестящую оболочку этой как бы покрытой лаком работы. Особенно характерна в этом отношении книга «Paludes» («Болота»), проясняющая замысел «Соков земных».

Жиду свойственно выворачивать наизнанку собственное творчество, над самим собой поиздеваться. Книга «Paludes», представляющая как бы изнанку «Соков земных», полна настроений глубокого и терпкого пессимизма. В «Соках земных» автор вполне удовлетворен наслаждением жизнью, полностью ощущений, прозрачностью чувств, а скорбная книга «Paludes» пронизана лейтмотивом: «Душа моя утратила надежду». Этот иронический психоанализ художника опровергает все надежды на то, что эпоха может породить большое и новое искусство.

Перед нами — исповедь писателя, работающего над новой вещью, стремящегося создать произведение в тоне тех больших возможностей, о которых Жид мечтал в своей «апологии влияния». Но, зажженный великими замыслами, писатель на каждом шагу убеждается в том, что он не может бьгть понят. Среда, его окружающая, мелка, отравлена пошлостью, ханжеством, она тянет литератора, стремящегося подняться вверх, в болото, на дно, в грязь.

«Я схожу с ума. Я задыхаюсь. Невыносима жизнь моя!»

На каждой странице полуистерической книги мы наталкиваемся на признание невозможности большого и воз-

вышающего творчества в обстановке «большой эпохи». Герой «Paludes» сравнивает с «могилой», «тюрьмой» условия, в которых творит он.

Такова изнанка оптимистических, полных ницшеанского пафоса «Соков земных». Уже здесь Жид «догадывался», что искусство буржуазного мира поражено внутренней болезнью, деградирует, идя к своему концу. Он видел, как возникает уродливый тип художника, соответствующий условиям упадка.

Уже первые книги Жида отмечены двойственностью. Они насквозь противоречивы. Рядом с чертами пафоса проявляются в них болезненные настроения разочарованности. В этой связи представляет интерес ряд небольших произведений, также относящихся к ранней эпохе творчества Жида. Это вещи разной манеры, но все их можно объединить вокруг одной оси.

Вот библейская драма «Саул», изображающая царя, которому все прекрасное ненавистно, который утратил смысл своего существования, утратил жизненную опору и спокойно созерцает начавшееся вокруг него разложение. Вот библейская же повесть «Эль Гаади» — о лжепророке, который ведет доверившийся ему народ к гибели.

Настойчиво обращается Андре Жид к мысли о том, что общество поражено в своих основах, пропитано ложью. Ощущением «фальшивости» общества он полон. В этом отношении характерна вещь, не имеющая библейских покровов, непосредственно рассматривающая современную действительность, — фарс о «Прометее, плохо прикованном» (1899). Это очень ироническое, отвлеченное и очень экстравагантное произведение, начиная с самого замысла.

В современный Париж приезжает легендарный Прометей со своим орлом. Прометей встречается в кабачках Парижа с писателями и художниками — «духовной знатью» Франции. Внешне рассказ этот — гротеск, небылица, изящная и легкая игра фантазии. Но, вылушывая зерно этой очень ядовитой вещи, мы видим, что она переполнена горечью,

проявлявшейся в книге «Paludes» и библейских реминисценциях.

Прометей, спустившийся в душную атмосферу современной Франции, оказался сразу смешным, нелепым, жалким. Прометеевы муки здесь никому не понятны. Мелко, ничтожно искусство, производимое окружающими Прометея людьми. Прометеевы дерзания, огонь Прометея опаляющий, — все это на фоне упадочного искусства буржуазной Франции кажется далеким, несбыточным мифом.

Самодовольные, кичливые лавочники, дельцы буржуазного искусства окружают Прометея.

«Ярмарка на площади» — как сказано в книге Роллана, разоблачающей пошлость, продажность, опустошенность буржуазного искусства.

Прометей вскоре убеждается в том, что никому из деятелей буржуазного искусства не нужен и не понятен огонь подлинного творчества. Прометей сам погружается в пошлое самодовольство «ярмарки», превращаясь в разжиревшего лавочника.

Несмотря на всю эксцентричность одежд своих, фарс о «Прометее, плохо прикованном», представляет вещь правдивую, реальную и очень резко направленную. Это великолепная сатира на загнивающее буржуазное искусство.

Критика Жида беспощадна. Еще недавно говорил он о большой эпохе и ярком искусстве больших индивидуальностей. Теперь он признается в своем заблуждении. У него не осталось никаких надежд. Впервые сложилась и приняла ясную форму типичная для художника мысль о том, что безобразие капитализма есть вещь роковая, нелепым образом завершающая всю историю человечества. Отсюда — глубочайший пессимизм Жида. Отсюда — характер повести «Прометей, плохо прикованный». Это произведение, содержащее столько энергии в себе, столько яростного сарказма, проникнуто настроением безвыходности.

Как подняться над всей этой грязью? Художник ставит трагические «вопросы, не имеющие ответа».



Сравним с фарсом о Прометее роман Жида, не имеющий никакой внешней экстравагантности. Напротив, он как бы намеренно снижен до уровня будничного, ограниченно-бытового произведения.

«Тесные врата» (1909). Здесь развиваются, наполняясь новым содержанием, уже известные нам мотивы. В романе дана тысячу раз рассказанная история любви, не имеющая никаких внешних обстоятельств, препятствующих ее счастливому концу. Из обычного сюжета Жид делает нечто совершенно необычное. В «Прометее» безобразия, нелепость общественной жизни разоблачились в злом гротеске, — здесь это безобразие обнажено в сугубо реалистическом изображении. Кажется, что герои Жида поставлены под увеличительное стекло. Роман не содержит никаких бытовых «подробностей» и разворачивается как бы в безвоздушном пространстве. С чудовищной подробностью представлена нам анатомия «обыкновенной» буржуазной психики, уродливой, как само буржуазное общество.

Два героя «Тесных врат» — люди, мучимые условностями, исковерканные нелепыми предрассудками. Они любят друг друга и не могут соединиться, потому что им кажется, что они еще не достойны друг друга. Действие течет на отрезке времени, достаточном для того, чтобы осуществились большие события, но перед нами все время разворачивается бесплодная, голая пустыня чувств, которые выветрились раньше, чем возникли, мысли, которые вывели.

Кропотливый бытовой роман принимает очертания настоящего фарса, обличающего опустошенность буржуазной морали, буржуазной мысли. Чем дальше длится роман, тем более действенным становится он. История несчастной любви двух существ, застрявших в «тесных вратах» морали, принимает все более трагический облик, оканчивается гибелью этих существ, и вместе с тем нарастает напряжение сарказма, ядовитой насмешки над нелепой механикой общественных отношений, порождающих такие человеческие «трагедии». Герои

романа успевают состариться, одряхлеть прежде, чем они решают запутавшие их проблемы. Развязка не менее ироническая, чем в «Прометее».

Необычный роман написал Жид, внешность его монотонна, сера, сущность горька. Роман, построенный очень «правильно», традиционно, кажется перекошенным, напоминает гримасу. Все изображенное в нем чудовишно.

Получил широкую известность роман 1902 года «Имморалист». Мы находим в нем краски ранней экзотики Жида, скрывавшей мрачную действительность колониального рабства. «Аминту» и «Соки земные» вспоминаешь, читая этот роман. Снова перед нами сверкающий Алжир, «сладостная земля». Колониальные рабы, изображенные идилически, сравниваемые с пастухами Феокрита. Поиски наслаждения жизнью. «Ах, как мне хотелось бы, чтобы сейчас из каждой моей фразы излилась целая жатва наслаждений!»

Но от этого колониального оптимизма в «Имморалисте» остались лишь клочья. С силой выступили настроения разочарованности и отчаяния. Еще отчетливо и еще не зная всего, как бы в смутной догадке, художник говорит о драме современного общества, о проклятии, над ним тяготеющем, о роковой смертельной болезни. В книге созревают большие и сложные противоречия.

В романе «Имморалист» возникает образ, который часто будет встречаться у Жида, — образ человека, который чувствует себя отверженным, видит безобразии окружающей его действительности, но сам погрязает в нем. Он не хочет стать выражением окружающей его пошлости и все же становится. Этот мятущийся, утративший жизненное спокойствие человек, неудовлетворенность которого смутна и желания которого неясны, человек с трагической, беспросветной, исковерканной жизнью, представляет яркое выражение противоречий, которые характеризуют самого Андре Жида. Это — живой образ, показывающий высокоинтеллектуальную личность буржуазного общества, способную понимать, как непривлекательна и страшна жизнь, но совершенно не

способную что-либо противопоставить этому.

Трагический облик Мишеля Ламориньер окрашивает в мрачный колорит весь роман. Он заставляет поблекнуть радужные экзотические декорации, в которых развертывается действие. Это — исповедь разочарования, книга болезненных и бесплодных исканий.

Диапазон противоречий художника чрезвычайно широк. В очень сложное положение попадает критик, кроме Рамона Фернандеса, написавшего об авторе «Имморалиста» сочувственную монографию, — он стремится представить Андре Жида, как нечто цельное и гармоническое. Такой критик гонится за недостижимым. Сверху донизу произведения Жида пронизаны глубокими и неотвратимыми противоречиями.

Писатель строит свои вещи, как бы намеренно комкая, поверкая и перекашивая их. Часто развернув какое-либо изображение, он немедленно возвращается к нему для того, чтобы подвергнуть ироническому разоблачению. Так «Сокам земным», книге, полной пафоса, противостоит книга «Paludes», в которой все пронизано сарказмом, развенчивающим патетику. Эта манера, полная горечи, глубоко свойственна Жиду. Он любит повторять фразу: «Настоящее искусство то, в котором противоречия торчат». Гармония, равновесие представляются мечтой несбыточной.

В этом — важнейшая особенность, облегчившая отрыв художника от капитализма.

Творчество Жида было живым трагическим доказательством невозможности большого, гармонического, радостного искусства в рамках умирающего капитализма. Оно пропитано ощущением уродливости, «фальшивости» мира. Жид чувствует запах начинающегося гниения. С замечательной силой отобразил он безобразие капитализма.

Как огня, чуждался он политики. Запаха политики не переносил. Все взгляды на искусство и всю свою художественную работу он осмысливал, как флорбертианец. Крылатую фразу Флорбера о том, что истинный художник пре-

бывает в башне из слоновой кости, возносящей его над грязной действительностью, Жид сделал своим убеждением.

Обнажая неизбежную опустошенность, искалеченность творчества в его эпоху, беспощадно разрушая всякие иллюзии на этот счет, Жид был уверен в роковой непреодолимости безобразия общества.

Мышление Жида избирает колею нигилизма. «В течение долгого времени я сознательно разубеждал себя во всяком credo. Как только я начинал задумываться над каким-нибудь найденным мною credo, это неизбежно приводило к его разгрому».

Во всем, что он пишет, обнажена горькая мысль о том, что нет никакой перспективы, что тщетны поиски выхода. Отсюда — понимание искусства, как чисто эстетической деятельности, отсюда — трагический характер замыслов Жида, отсюда — глубочайший индивидуализм его.

Брунsvик назвал творчество Жида формой «интеллектуального донжуанизма». Сказано неверно. Не понята вся горечь творчества Жида, но зерно правды есть в этой формуле. Жид — художник, черпающий мужество в отчаянии. Скептицизм его приобретает исключительную последовательность, даже форма вещей его нигилистична. Своеобразие ее в том, что она «уклоняется» от цельности и равновесия. Это нарочито перекошенная, нарочито разорванная, подчеркнута хаотическая форма, избегающая единства. В этом смысле облик Жида необычен. Это — неповторимый мастер, но сложное новаторство Жида — горько, как и вся его литературная деятельность, полно отчаяния. Один критик сказал о том, что Жид «смотрит на мир, улыбаясь, глазами, полными слез». Горька ирония художника. Очень мрачен, безысходно мрачен нигилизм его.



Всего более ярко раскрывается трагический характер творчества Жида в немногих попытках найти какую-то пер-

спективу, преодолеть пессимизм. Обреченными оказались эти попытки.

Такова «Пасторальная симфония» (1919). Художник хотел написать утопию чистых и высоких отношений. Эта вещь — одна из наиболее привлекательных у Жида — осмыслена как нечто возвышенное, даже в смысле красок своих. Действие «Пасторальной симфонии» разворачивается среди снеговых гор. О людях чистых, как белая и величественная декорация природы, о патетических людях хотел рассказать Андре Жид. Эта вещь заставляет вспомнить прекрасную фразу из более позднего романа Жида «Фальшивомонетки»: «Лаура, я хотел бы всю свою жизнь при малейшем ударе издавать звук чистый, честный и подлинный; все люди, которых я знаю, звучат фальшиво...»

В таких тонах написана «Пасторальная симфония» — книга, в которой все патетично и возвышенно. Пастор живет среди холодных снегов, как ибсеновский Бранд. Девочка, подобранная в доме одного из прихожан, слепая от рождения, растет в доме пастора. Слепая воспринимает мир так, что он совершенно не похож на реальную действительность. Мир, скрытый от нее пеленой, кажется ей прекрасным, сверкающим и радостным.

В дальнейшем рассказ течет по трагическому руслу, как и другие произведения Жида. Возникает уже знакомый нам конфликт. Крушение иллюзий, обнажение того, как нелепа, безобразна и жалка действительность. Девушке, воспитанной пастором, делают операцию, возвращающую ей зрение. Это — трагедия ее жизни. Очень скоро она убеждается в том, что мир совсем не таков, каким он казался. Узнав мир, она кончает с собой.

Так закончилась утопия о чистых и высоких отношениях, о людях, «издающих звук чистый, ясный и подлинный». И, может быть, ни одна вещь Жида не подчеркивает с такой силой глубину нигилизма, как эта книга, которая могла стать патетической и возвышенной утопией, а стала лишь новой исповедью отчаяния.



Жид — писатель огромной культуры. Он впитал в себя богатейшую традицию. Он стоит на самой вершине. Полон интереса вопрос о понимании им наследства. Близость свою к Достоевскому, о котором он написал книгу, и к которому часто возвращается в своих произведениях, Жид подчеркивает прежде всего. Задолго до того, как болезненная мода на Достоевского охватила Запад, Жид углубился в этого писателя. Для него Достоевский был образом великого отчаяния, образом великой муки. Так понимал, так видел он автора «Преступления и наказания».

Рядом с этим характерно отношение к Флоберу:

«Я долго любил Флобера, как учителя, как друга, как брата».

В глубокой нежности к Флоберу признается Жид, — Флобер стоит перед ним, как образ всепроникающего скептицизма, образ трагической замкнутости, одиночества полного. У Флобера учится он делать искусство горьким. Отчаяние Флобера, ядовитый нигилизм Флобера, флорбертианское понимание искусства, флорбертианский эстетизм стали его достоянием.

С огромным вниманием относится Жид и к Монтеню, скептицизм которого ему близок. Влияние Монтеня можно различить во многих работах Жида; Монтеню он посвятил специальное исследование.

Всегда тяготел он к Гете, который представлялся ему недостижимым образом «гармонического», примером того, как художник может «возвыситься над действительностью».

Жид черпает из прошлого там, где находит нечто родственное своим настроениям. Он крайне субъективен в понимании художников прошлого. Достоевский, Монтень, Флобер, — во всех этих привязанностях Жида проявляются трагические черты его облика. Прошлое художник хочет сделать школой отчаяния, пессимизма и разочарования. Так, сама тончайшая культурность Жида становится трагической.



«Подземелья Ватикана» (1914) идут гораздо дальше, чем все ранее написанное Жидом. В это произведение врывается свежий ветер.

До сих пор в понимании искусства Жид держался бергсонянского принципа бессознательности. Вот почему Пруст был для него идеальным типом художника.

В «Подземельях» от пассивности, которая казалась Жиду основным качеством большого искусства, от «непосредственности» в самом дряблом смысле слова он переходит к неожиданно страстному решению вопросов. И эта книга называется фарсом, и здесь перед нами внешне усложненный эксцентрический замысел, но все приобретает иное направление. Очень плотно, жизненно, реально изображена здесь действительность, здесь бьется метко направленная политическая мысль.

В «Подземельях Ватикана» изображена воровская организация, которая шантажирует верующих католиков, предлагая им жертвовать на спасение папы, будто бы похищенного.

Роман разрастается в целую серию авантюры, предпринятых жуликами, «спасающими» папу. Сатира на религиозное ханжество, замечательное разоблачение поповщины! Книга, несмотря на утонченный и эстетический облик свой, имеет большое и ясное социальное звучание. Художник вышел в область, совершенно для него новую, он хлебнул свежего воздуха, и не случайно эта книга Жидом многим отличается от всего ранее написанного. Она сочнее, реальнее, глубже.

Понятна ненависть, какую питают с тех пор к Жиду католические, поповские литераторы, вроде Массиса. Жид потревожил муравейник. Жид сделал здесь шаг в сторону от литераторов, с которыми еще недавно он был близок. Ведь Клодель — столп литературы поповского мракобесия, католический символист — был его другом!

В «Подземельях Ватикана» есть моменты, напоминающие «Имморалиста». Здесь есть свой мятущийся Лафкадио, который презирает действительность, противопоставляя ей необузданный ин-

дивидуализм свой, свое право «чистого действия». Лафкадио совершает бессмысленное, ничем не оправданное убийство, рассматривая его как высшее проявление своей индивидуальности. Безрадостный персонаж, порождение буржуазного мира, исчадие его противоречий! Жид однако идеализирует этого героя. Он хочет сказать, что есть смысл в его анархическом, бесплодном и нелепом бунтарстве. Резко подчеркнута трагичность облика Лафкадио. Но не в истерических метаниях Лафкадио ценность книги «Подземелья Ватикана».



«Подземелья Ватикана» написаны перед войной. О годах войны Жид говорит позже: «Плохо, что я молчал тогда!» Жид не разделял шовинистических настроений, охвативших всю буржуазную литературу, но он и не стал рядом с Ромэном Ролланом. Он молчал. Он переживал глубочайшую моральную депрессию, «кризис мистицизма».

Обращаясь к произведениям Жидом после войны, естественно ожидать сдвигов в творчестве писателя. Эти сдвиги значительны. Кризис многому научил художника, заострив и углубив те моменты, которые были наиболее жизненными в его творчестве, — моменты критики капитализма. Они приобретают теперь большую напряженность, силу и ясность.

Книга критических статей «Случаи ности» — первое свидетельство того, что кризис оказался основой пронизательной и глубокой критики капитализма, становящейся все более сознательной.

Снова подчеркивает Андре Жид свою близость к наиболее «почвенным» представителям литературы французской буржуазии.

Так, Пруст для него — «светлый гений». «Искусство Пруста наиболее высокое из всего, что я знаю. Это писатель, которым я восхищаюсь более, чем кем-либо другим из современников». И далее: «Читая Пруста, погружаешься в озеро прелестей, очарования, в книгу Пруста входишь, как в зачарованный лес».

О Валери говорит Жид с такой же симпатией. Он сближает свой творческий путь с развитием Валери. Книга «Случайности» написана в 1924 г. Это — важный период в жизни Андре Жид. Он стал духовным вождем избранной верхушки литературы французской буржуазии. Он — признанный «мэтр». Вокруг него группируется писательский «трест» «Нового французского обозрения». Не только Валери и Пруст, но и более молодое — Жироду, Моран.

Но книга «Случайности» резко отклонена в другую сторону. Она показывает, какая глубокая трещина прошла между художником и капиталистическим миром. Книга представляет страстное разоблачение капитализма. «Не знаю, может ли продолжаться наша цивилизация» — восклицает Жид.

«Кажется, мы присутствуем при конце мира!»

«Случайности» — самая обнаженная в смысле противоречивости книга Жид. Она насыщена настроениями безысходности, отчаяния, пессимизма, но ее критическое жало заострено, как никогда.

Книга переполнена политикой. Она вышла из узких берегов рафинированного эстетизма. Жид громит Барреса, этого зловонного попа французского империализма: «Мозг Барреса напоминает мне машину для делания шляп, которую я когда-то видел».

В книге, пронизанной ощущением близящейся гибели капитализма, еще проникнутой безвыходностью, раскрываются уже новые перспективы, — утонченнейший интеллигент начинает понимать механику буржуазных отношений. Из стекольной башни эстетического равнодушия Жид еще не выбрался в книге «Случайности», но уже многое позволяет здесь ожидать того, что принесли дневники 1932 года.



Книга «Случайности» была широкой панорамой культуры современного капитализма, идущей к закату. Этим порожден трагический характер всего произведения. Жид говорит здесь о крушении того, что самому ему близко. Он настой-

чиво подчеркивает связи свои с культурой буржуазного мира. В свете этого интереснейшего произведения надо рассматривать роман «Фальшивомонетчики» (1926).

«Мой первый роман» — говорит Жид.

Раньше художник признавался в неспособности дать цельное, монументальное, компактное произведение. Теперь он делает первую попытку. Он решает заговорить во весь голос. Так возник в полном смысле слова социальный роман Жид. В нем есть все особенности предшествующего развития художника. Это очень капризно построенный, как всегда, подчеркнуто-бесформенный, хаотический роман. Действие течет, пересекаемое «дневниками» автора, вводящего в свою творческую лабораторию. События взяты так, что вскрывается относительность, условность, зыбкость их понимания.

Бергсонский релятивизм еще питает форму этого произведения, «непосредственную» и «распадающуюся». В строении книги, в трактовке событий ее Жид еще остается экстравагантным скептиком. В книге еще нет цельной, последовательно защищаемой идеи. Это еще очень созерцательная, пассивная, полная нигилизма вещь, но она уже движется к новым берегам.

Жид развертывает в «Фальшивомонетчиках» широкую критику современной Франции. Литературная среда, полная лжи, продажности, ханжества, то, что уже являлось в сарказмах книги «Paludes» или «Прометея, плохо прикованного». Теперь Жид говорит об этом не только более гневно, но и более жизненно, более полно. Облик современной буржуазии, шкурнической, тупой, бездарной, получает реальную, жизненную трактовку. Весь роман отличается неожиданной для Жид «материальностью». Во многом противостоит он его обычной манере доводить абстрактность, холодную «безвоздушность» произведения до предела.

На фоне сочно и ядовито написанных картин общества развертывается основная драма романа, имеющая значение символа гибели буржуазного мира. В «Фальшивомонетчиках» показана «моло-



дежь. Школа, отупляющая и полная не-  
лестности, молодежь, порывы которой от-  
равлены дыханием умирающего мира.  
Молодежь обреченная и безобразная,  
как и все современное буржуазное обще-  
ство. Молодое поколение буржуазии  
гниет на корню. Оно отмечено чертами  
уродства.

В «Фальшимонетчиках» повторяется  
не раз взятая Жидом тема о людях мя-  
тущихся, о тщетных попытках их выйти  
из тюрьмы, разорвать связывающие их  
цепи.

Для Жида 1925 года и мысли не возни-  
кало о возможности для буржуазной  
интеллигенции найти выход. Он пишет  
горькую книгу о поколении обреченных.  
«Фальшивомонетчики» — роман о ги-  
бели молодого поколения буржуазии, о  
его растлении.

Молодое поколение мельчает, оно  
опустошено, бесплодно, не способно на  
что-либо значительное.

Так возникла формула — «фальши-  
вомонетчики», не подлинно молодое, не-  
сущее что-то новое и свежее поколение  
перед нами, а «фальшивая монета». Бес-  
поощаен роман Жида. Он развертывает  
неопровержимую и потрясающую аргу-  
ментацию против капитализма.

Роман поражен еще скептическим бес-  
плодием, но он настолько глубоко про-  
никает в действительность современного  
капитализма, что становится мощным и  
смелым ударом.

Мужество Жида не опирается на ка-  
кую-либо надежду; как Саул в его ран-  
ней драме, Жид, созерцая гниение во-  
круг себя, не видит «спасения». Вот по-  
чему «Фальшивомонетчики» при всей  
социальной насыщенности своей, при  
всем трагизме своем остаются романом  
холодного и утонченного эстетизма, —  
автор как бы стремится прикрыть кло-  
кочущую взволнованность произведения  
чисто флорбертианским спокойствием.

«Фальшивомонетчики» — важнейший  
этап в развитии Жида. Последний из  
великих художников буржуазной Фран-  
ции, утонченнейший интеллигент, вра-  
щенный капитализмом, возвысил здесь  
свой голос против буржуазного обще-  
ства. Он готовится погибнуть вместе с  
ним, он уже не молчит больше. От эсте-

тических химер, от «Фальшивомонетчи-  
ков» путь Жида идет вверх. Голос ху-  
дожника, разоблачающего капитализм,  
крепнет, ширится круг обвинений, кото-  
рые он выдвигает против буржуазного  
общества.



Два года спустя появляются две кни-  
ги, приведшие в смятение буржуазных  
критиков: «Путешествие по Кон-  
го» (1927) и «Возвращение с  
озера Чад» (1928). Сравнивая их  
с колониальной экзотикой раннего Жи-  
да, с «Аминтой» или с «Соками земны-  
ми», мы видим, какой большой путь  
прошел художник. Книги, возникшие в  
результате поездки Жида в эквато-  
риальную французскую Африку, беско-  
нечно далеки от ранних его произведе-  
ний. Жид говорит теперь уже, как гнев-  
ный обличитель. Он требует отчета в  
тех страшных вещах, которые увидел  
он в Африке.

«Путешествие по Конго» начинается  
так, что кажется, что вы вступили в  
область «Аминты» или «Соков земных».  
Замечательно написанные пейзажи, «рас-  
тительные симфонии». Тончайшие крас-  
ки найдены, чтобы рассказать о цвете  
африканского неба, о прозрачности  
африканского воздуха.

Но в дальнейшем эта сверкающая  
идиллия раздирается, как завеса, обна-  
жая будничную и страшную колониаль-  
ную правду.

Жид увидел в колониальной француз-  
ской Африке рабство. О чудовищной  
железнодорожной линии Брацзавилль—  
Океан, построенной на трупах сотен  
тысяч негров, он написал. О вымирании  
целых областей племен, деревень, из ко-  
торых выжаты все соки, об открыто про-  
цветавшем, цинически признаваемом  
рабстве в колониях «свободной» Фран-  
цузской республики, о зверствах белых  
цивилизаторов, о подвигах белых пала-  
чей, о «белых, за которых стыдно», рас-  
сказал он. Так «Путешествие по Конго»  
превратилось в обвинительный акт про-  
тив «цивилизованного варварства».

Начиная с Пьера Лоти и еще дожива-  
ющего свой век Фаррера ловкие сочини-

тели эротических историй с колониальным колоритом славят «благородство и геройство белых», — наемная армия апологетов на все лады доказывает, что французские чиновники, жандармы, офицеры в колониях — это «носители цивилизации». На фоне этой официальной литературы, имеющей широкое распространение, топящей в своем зловонном потоке всякую попытку сказать правду, книги Жиды имели гигантский резонанс.

«Путешествие по Конго» представляет дневник, который Жид вел во время путешествия. Глубоко запечатлены здесь драматические переживания художника, столкнувшегося с совершенно неожиданным, потрясающим, чудовищным. Он увидел в Африке то, чего все-таки не ожидал. Он думал о капитализме все же лучше. У него сохранялись иллюзии относительно «гуманности» французской политики. Столкнувшись с действительностью колониального рабства, Жид сделал попытку уйти в себя, предаться созерцанию природы, уйти в мир образов старого искусства. Но ни томик Лафонтена, с которым провел он месяцы путешествия, ни изумительная, во многом напоминающая стареющего Гете страстность естествоиспытателя, изучающего рыб, птиц, цветы, муравьев, растения Африки, не отвлекают его. Эти последние попытки остаться пассивным опрокинули действительность, и книга Жиды принимает совершенно необычный характер.

Жид превращается в статистика, подсчитывающего с карандашом в руке заработную плату колониальных рабов и прибыли, награбленные белыми администраторами. Цифры, вырезки из документов, подсчеты заполняют произведение автора, еще недавно чуждавшего действительности, смотревшего на творчество, как на утонченнейший, высоко над жизнью поднятый процесс. Жид стал публицистом. Он пишет обвинительный акт, тщательно и подробно подтвержденный. Произошел целый переворот в отношении к искусству. Какая там «бессознательность», если нужно действовать художественным словом, как оружием!

В «Путешествии по Конго» Андре Жид выступил против капитализма, но он оставался еще во власти иллюзий. Он даже сделал попытку, возвратясь в Париж, протестовать в разных ведомствах Третьей республики против «несправедливостей», допускаемых в колониях. Он быстро убедился в нелепости этой затеи.

Новая большая волна пессимизма захватывает творчество Жиды. В произведениях 1929 — 1931 гг. Жид выступает как смятенный, утративший под собой почву человек. В журнале «Новое французское обозрение» он напечатал ряд небольших вещей, объединенных общим заглавием: «Факты». Вот один из них: «Пленница Пуатье» (1930). Нечто вроде судебной хроники, откликающейся на нашумевший и действительно потрясающий случай. История с пленницей Пуатье такова: обнаружилось, что в одном из французских городов добропорядочная и уважаемая буржуазная семья держала строптивого ребенка в запертой комнате несколько лет. «Мораль» торжествовала. Когда эта скандальная история раскрылась и девочку хотели освободить из ее домашнего застенка, она отказалась выйти оттуда. Тюрьма казалась ей единственным возможным существованием.

Этот трагический эпизод Жид взял как образ современного варварства. Многими чертами эта реальнейшая, выкваченная из жизни драма перекликается с тем, что ранний Жид давал в своих абстрактных внебытовых фарсах.

Большинство «фактов», собранных Жидом, имеет подобный характер. Перекликается с ними и драма, навеянная образцами античной древности, — «Эдип». Во всех этих произведениях звучит отчаяние, — художник убежден, что наступает «конец мира».

Даже события биографии Жиды в этот период обнаруживают смятенность. На всю Францию прогремела история с библиотекой Андре Жиды. В один прекрасный день писатель объявил о том, что распродает свою библиотеку, составленную из редчайших изданий. Мотивировал он это тем, что хочет от всего отрешиться. Поступок, несколько истерический, не случаен. В кропотливой и бес-

примерной по откровенности автобиографии, которую начал в эти годы печатать Жид, в отношении к прожитой им жизни он занял такую же позицию, как к источнику своей мудрости, — книгам.

«Если семья живет» (1926) — это исповедь художника, в которой раскрыты самые интимные переживания его настолько откровенно, что «Исповедь» Жан-Жака Руссо, можно сказать, бледнеет перед этой книгой, ничего не оставляющей в тени. Художник метался в поисках выхода. Он хотел сбросить с себя лохмотья старого, он хотел очиститься, он хотел вырваться из всей обстановки, породившей его как человека, художника и мыслителя.



Выход возник как разрыв с капитализмом, как понимание того, что не мир гибнет, не цивилизация человеческая, а всего лишь сгнивающий, «чудовищный в его несправедливости» капитализм. Есть новый мир — будущее человечества, мир социализма, — СССР. Этот глубочайший переворот в сознании художника раскрыл перед ним сверкающие горизонты. Десятилетиями писатель разубеждал себя в том, что возможно какое-либо положительное убеждение. Теперь он впервые находит свою «веру», становясь на сторону нового мира. «Теперь вся моя сущность направлена к определенной мечте, к определенной цели. Все мои мысли невольно сводятся к ней».

«Целью», «мечтой» Жида стала страна социализма.

«Никогда я не склонялся над будущим с таким страстным любопытством. Мое сердце целиком сочувствует этому гигантскому, глубоко человеческому мероприятию».

«Если понадобится моя жизнь, чтобы обеспечить успех СССР, я немедленно отдам ее, слившись со множеством тех, кто жертвовал и жертвует своей жизнью той же цели».

Валери и Андре Жид шли вместе. Они были духовными вождями буржуазной интеллигенции. Теперь они разделены пропастью. Пан-европеец Валери

защищает капитализм. Андре Жид порвал с капитализмом. В «Дневнике» есть замечательные строки: «Если коммунизму обеспечен успех, — говорил мне Валери, — это огобет у меня всякий вкус к жизни, а у меня наоборот, — если он погибнет».

Валери и Жид говорят, как представители двух миров. Распалась связь, соединявшая этих крупнейших литераторов буржуазной Франции.

«С какой легкостью отрываюсь от всего, что раньше казалось мне содержательным!» — пишет Андре Жид.

Переход на сторону пролетарской революции принес «разрешение» самым мучительным противоречиям развития писателя. Все, что говорит теперь Жид, отмечено чувством найденного равновесия, целостности, «вкуса к жизни». Перед уродливостью, «фальшивостью» мира он стоит теперь, как строитель нового человеческого общества. Он не опустошенный скептик теперь, не трагический одинокий страдалец, он — «деятель», отдающийся «со всем пылом, на который способен», борьбе против капитализма. Андре Жид становится поэтом сверкающей радости, молодости человечества, энтузиазма. С «восхищением», с «завистью к героическому мужеству» говорит он о нашей стране.

«Я всем сердцем с вами. Ваш энтузиазм, самоотверженность возвращает мне вкус к жизни».

«Страницы из дневника» дают глубокую и страстную оценку той буржуазной культуре, из недр которой вышел художник. Они обращены своим острием против старого мира. Жид издевается над плоскими политиками французского империализма, обнажая варварский облик этих «носителей цивилизации». Особенно много внимания уделено Барресу. И раньше Жид боролся с «пагубным и плачевным влиянием» этого пророка шовинистического иступления. Теперь он делает облик Барреса символом чудовищности загнивающего капитализма.

«Все, на чем лежит печать его влияния, при смерти или смердит...»

С империалистического Тартюфа сорвана маска. Жид клеймит «невежества

дряблую красоту» прозы Барреса, проникнутой «глубоким сознанием собственного оскудения». Мудро подмечена в ханжеской прозе Барреса смесь «искусства кондитера» (этот литератор, «как парикмахер, надушен») с разнуданным варварством, одичанием, — «Баррес скалит зубы».

Жид издевается над тупоумием некоего Г., вся мудрость которого заключена в «чудовищной фразе»: «Существуют неизблемые принципы, в которых не дозволено сомневаться» (причудливая смесь поповщины и благоговения перед полицейской дубинкой!). Замечательно сказано о Мориаке: «Привычка жить вниз головой и заставляет его все видеть шиворот-навыворот».

Так «Страницы из дневника» становятся галлереей метких, сатирических портретов «носителей цивилизации».

Полно и глубоко поставлен в «Страницах из дневника» вопрос о культуре буржуазии. Жид резко ограничивает великое прошлое этой культуры от ее современного положения. Говоря о Мольере, Руссо, Мишле, Декарте, Бюффоне, Шекспире, Гете, Монтескье, Флобере, Гюго, Жид рассматривает все эти

великие достижения культуры прошлых эпох, как минувшее величие. Обращаясь к современности, он вспоминает «дурацкую клоунаду, плоскую и похабную», которой цирк Медрано кормит своих посетителей, или постановку «Прекрасной Елены» у Рейнгардта — «простоповод к выставке костюмов и голого тела».

Упадок, гниение искусства! «Я без конца повторяю себе: прошел тот век, когда могли цвести литература и искусство...»

Но этот вывод уже не наполняет его отчаянием. Он понимает теперь, что в Европе разлагается искусство капитализма, идущего к краху, но не гибнет человеческая цивилизация. «Я предвижу совсем особую литературу, особую поэзию, с иными возможностями, с иными поводами для рвения и энтузиазма, вижу новые пути...»

Критика культуры умирающего капитализма в «Страницах из дневника», глубокая, страстная и мужественная, опирается на «положительное credo» революции.

«Надо не руины восстанавливать, а строить заново на надежном месте...»

Редакция

А. И. Безыменский,  
Ф. В. Гладивв.  
В. В. Григоренко,  
И. М. Гронский,  
Л. М. Леонов,  
А. Г. Малышкин,  
В. П. Ставский.

Отв редактор И. М. Гронский.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1934 г.**НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**НОВЫЙ  
МИР**

(10-й год издания).

**РЕДАКЦИЯ:**А. И. Везьменский,  
Ф. В. Гладков,  
В. В. Григоренко,  
И. М. Гронский  
(отв. редактор).  
Л. М. Леонов,  
А. Г. Малышкин,  
В. П. Ставский.**В 1934 году в первых четырех книгах „НОВОГО МИРА“ НАПЕЧАТАНЫ:**А.Л. ТОЛСТОЙ — Петр Первый, роман, кн. 2-я.  
В.С. ИВАНОВ — Похождения факира, роман.  
БОР. ПИЛЬНЯК — Рассказы.  
П. НИЗОВОЙ — Недра, роман.  
П. СЛЕТОВ — Равноденствие, роман.  
И. ЛЕЖКНЕВ — Записки современника.  
МАКС ЗИНГЕР — Огни, повесть.  
Л. ФАРИД и БОР. ПИЛЬНЯК — Записки уполномоченного, художественные очерки.**ЛЮДИ И ФАКТЫ**МАКС ЗИНГЕР — Герои Советского Союза.  
А. КАРЦЕВ — Сталиниаи.  
М. РОММ — Восхождение на пик Сталина.  
МИХ. РОСОВСКИЙ — Уборочная.  
И. ОКЛЯРОВ — Жемчужина.**СТИХИ И ПОЗМЫ**ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ — Трактир.  
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ — Анастасия.  
А. ЖАРОВ — Два паспорта.  
ЛАХУТИ — Труд рапортует.  
БОР. ПАСТЕРНАК — Переводы из грузинских поэтов.**ЗА РУБЕЖОМ**БЕЛА КУН — Вооруженные силы двух фронтов.  
Проф. НЕМЕНОВ — Из впечатлений о Германии.  
Ф. РАСКОЛЬНИКОВ — Марафон танцев.**СТАТЬИ И ВОСПОМИНИЯ**А. ГАРРИ — Все выше и выше.  
В. Е. ЛЬВОВ — Ленин и физика.  
Научное обозрение.  
Э. РАХЬЯ — Мои предоктябрьские и послеоктябрьские встречи с Лениным.  
СПЕКТАТОР — За десять лет.  
Г. СТРЕЛЬЦОВ — Десять лет без Ленина.**ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО**И. АНИСИМОВ — Андре Жил.  
О. БУБНОВА — О турецком искусстве.  
П. РОЖКОВ — Эдуард Багрицкий.  
А. СТАРЧАКОВ — Тарас Шевченко.  
МАРИЭТТА ШАГИНЯ — Беседы с начинающим автором.А. ЭФРОС — Мартирос Сарьян.  
**КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.**

**П**одписчики, срок подписки которых истек 1 апреля, должны поспешить возобновлением подписки на второй квартал (апрель — июнь) и следующие месяцы 1934 года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА  
на 1934 год:1 год — **30** РУБ.  
на 9 м. — 22 р. 50 к.  
на 6 м. — 15 р. — к.  
на 3 м. — 7 р. 50 к.  
на 1 м. — 2 р. 50 к.  
Цена отд. №-ра — 2р.50к.

ПОДПИСКУ СДАВАЙТЕ

**ПОЧТЕ,**

письмоосцу, сборщику подписки и уполномоченным „ГУДКА“ на транспорте, или непосредственно Главной конторе Изд-ва „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“, Москва, 6, Пушкинская площадь.